90 коп.

Индекс 73293

ISSN 0132-0637. Октябрь. 1989. № 4. 1—208.

1989 4 Октябрь

ISSN 0132-0637

Октябрь

4

1989

ОКТЯБРЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

4

1989

АПРЕЛЬ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Анатолий АЛЕКСИН

Игрушка

ВОСПОМИНАНИЯ О ДЕТСТВЕ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО

Я не любила эту куклу. Ее рост и внешние достоинства сравнивали с моими, по-взрослому наивно полагая, что доставляют мне удовольствие. Походя, с дежурно-умилительными интонациями восклицали: «Кто из вас девочка, а кто кукла — трудно понять!» Человек непонятлив, когда речь идет о том, на что ему наплевать. Но сразу обретает понятливость, если дело касается его самого...

Я была хрупкой и малорослой. И оттого что взрослые, восхищаясь этой хрупкостью, именовали ее «изяществом», а меня «статуэткой», мне не было легче. Я была самолюбива, и мне казалось, что «статуэтка» — это лишь вещь, украшение, а не человек, тем более что статуэтками называли и трех фарфоровых собак, оцепеневших на нашем буфете. Воспитательница в детском саду, словно стараясь подчеркнуть мою хлипкость, выстраивала нас всех по росту, начиная с самых высоких и кончая мною. Воспитательница так и определяла мое место в общем строю: «замыкающая».

— Не огорчайся: конец — делу венец! — услышала я от отца. Венца на моей голове, увы, не было, а венценосные замашки имелись. Полвека минуло, но помню: замашки имелись... Уже потом, в школе, я с удовольствием узнала, что Суворов от рождения тоже был хилым. Это меня обнадежило.

— Метишь в генералиссимусы? — спросила мама.

Нет, в полководцы я не метила, но командовать очень любила. Это обнаружилось уже в дошкольную пору.

Царство игрушек по-своему отражало реальный мир, никого не унижая, а меня возвышая. Миниатюрностью своей игрушки подчеркивали, что созданы как бы для подчинения мне. А безраздельно хозяйничать — я сообразила уже тогда — очень приятно. Я распоряжалась маршрутами автомобилей и поездов, повадками и действиями зверей, которых в жизни боялась. Определяла судьбы своих «сверстников», одетых в такие же, как и я, костюмы, юбки, рейтузы, только меньшие по размеру. Я властвовала, повелевала ими. Они были бессловесны, безмолвны, и я втайне подумывала, что хорошо было бы и впредь обращаться с окружающими подобным образом.

Но вдруг, когда мне исполнилось шесть лет, появилась огромная кукла с нерусским лицом и русским, хотя и необычным для игрушки именем Лариса. Обычное ей бы не подошло. Отец привез куклу из Японии, где был в недельной командировке. Он и имя ей самовольно придумал. Я должна была бы обрадоваться заморской игрушке. Но она была выше меня ростом, и я, болезненно на это отреагировав, сразу же к ней придралась:

— Не русская, а Лариса!

— Обвинять по национальному признаку — это мерзость,— возразила мама.

Не очень поняв, что это значит, но не вынося замечаний в свой адрес, я зарыдала.

Меня принялись успокаивать: отец-де в командировке не ел и не пил, а все откладывал деньги на эту Ларису. «Мог бы не мучить себя до такой степени!» — подумала я, не торопясь «выходить из рыданий».

Мама нередко вторгалась в мои взаимоотношения с игрушками.

— Любишь наказывать? — вполушутку спросила как-то она. И вполу-

серьез добавила: — С бессловесными так поступать нельзя. Они же не могут ответить ни на добро, ни на зло.

— На добро отвечают,— возразила я.

— Чем?

— Подчиняются.

— Это оскорбительно. Не для них... Для тебя! — уже совсем серьезно сказала мама.

Она, похоже, хотела, чтоб я отказалась от абсолютной власти над своими игрушками. Она вообще была против самовластия. Но я к этому отвращения не питала.

С появлением Ларисы многое изменилось. Игрушечное царство, чудилось мне, послушно задрало голову и взирало на нее снизу вверх. Так смотрела на Ларису и я. Как кукла она была более необычной, поражающей воображение, чем я как человек. Мы и куклой-то ее называть не решались, а именовали только Ларисой.

Отец зачем-то брил наголо свою безукоризненно круглую голову. Эта безукоризненность не выглядела запрограммированной: в ней была свобода горного валуна. Большая отцовская голова состояла, мне казалось, из одного только лба. А глаза были как бы его продолжением. Не размером, не красотой, а выразительностью своей они, как и лоб, отвлекали внимание от всего остального в отцовском облике. Глаза ничего не контролировали, но заставляли собеседников обдумывать фразы чуть дольше, чем они обдумывались обычно.

Лоб и глаза... Это и был мой отец.

Мама же обладала всем, без чего, по моему мнению, просто не мог обойтись красивый человек. Сами собой, как дикорастущие, вились ее волосы. Глаза были зелены, точно поле. Нос, губы и зубы каким-то образом избежали даже малейших изъянов, а шею грех было прикрывать воротником или шарфом. В фигурах я тогда разбиралась слабо, но говорили, что и фигура у мамы была отменной. Одним словом, ей не приходилось соперничать с куклой.

У отца были три закадычных приятеля. А у приятелей — свои дома́, семьи и жены. Но по выходным все закадычные оказывались у нас. Их, быть может, и влекли дружественные чувства к отцу, но более всего — чувства к маме. Это меня настораживало. Мы с Ларисой заслоняли отца собой. Я продолжала не любить Ларису. Но разве только друзей делают союзниками в нужный момент?

Говорят, что красивые женщины ни на минуту не забывают о своей красоте. Но мамина внешность существовала вроде бы отдельно от мамы и никакого отношения к ней не имела. Так оригинально мама себя вела. Мне было обидно! Даже подозрительно регулярные посещения закадычных отцовских друзей она сваливала на эту самую закадычность.

— Что значит сила товарищества!—говорила она.

Проявление мужской слабости она зачем-то выдавала за силу.

«О, достанься мне мамина внешность (а досталась мне папина), я бы поступала совсем иначе!» — говорила я самой себе. Теперь, через десятилетия, я все вспоминаю, восстанавливаю картину... А это невозможно без реставраторского умения, которое является к нам лишь с годами.

Похожа я была на отца. Но мужские черты женщину почти никогда не красят. Сейчас мне кажется, что я напоминала шарж, нарисованный на отца, который нельзя было назвать дружеским. Как бы повторяя отцовский облик, я его искажала: отец не был ни хрупким, ни маленьким. И «замыкающим» его невозможно было себе представить. Наверно, я выглядела игрушкой, безнадежно пытавшейся повторить в миниатюре значительный образ.

Одним из отцовских приятелей был нарком, другого называли то Менделеевым, то Ломоносовым, поскольку он «внедрял» химическую науку в жизнь, а третий был комкором. Вроде ни у одного из них не было имени-отчества. Задумав, чудилось, какую-то игру, мама, а вслед за ней и все остальные говорили просто «нарком», «комкор». И лишь старичку-химику доставались пусть не свои, но все же фамилии. Да к тому же какие!

Должностям мама значения не придавала. О наркомовском охраннике, установившем пост возле двери на табуретке, точно он опасался, что наркома через эту дверь могут утащить, безвозвратно похитить, она как-то сказала:

— Мышей не ловит, потому что мышей в квартирах, которые он посещает, нет!

— Однако могут быть... гидры,— негромко, но с волевой интонацией поправил ее охранник, дав понять, что хоть мышами и не питается, но хлеб даром не ест. Охранник по совместительству работал шофером. Но первая его должность была призванием, а вторая только профессией.

От химии и от старичка-химика, взорами своими томительно напоминавшего, что любви все возрасты покорны, мама была далека.

Таким образом, больше всего я ревновала ее к комкору. На его петлицах сверкали три ромба, а на груди — два ордена Красного Знамени. Он воевал со всеми, кого я считала самыми заклятыми врагами Советской власти,— с Юденичем, Деникиным и Колчаком. Вот только с Врангелем, к сожалению, не успел! Он сидел и в камере смертников. А кроме того, играл на гитаре и, как мама считала, «обворожительно» пел. Пел он не о сражениях с Деникиным и Колчаком, а о сражениях за женские души, что меня особенно наэлектризовывало. Когда мама садилась рядом с комкором, чтобы «лучше услышать», я с Ларисой умудрялась протискиваться между ними.

— Мы здесь будем сидеть! — говорила я.

И комкор смотрел на меня как на представительницу белогвардейского стана.

Слушая романсы, нарком обычно поглядывал на маму. И внимание охранника автоматически устремлялось туда же.

— От кого вы его охраняете? — проскакивая с тарелками мимо двери, я помню, спросила мама.

Служака лет сорока не смог ей ответить, но видом своим дал понять, что бдительное сидение на табуретке — операция особой государственной важности. И что нам бы ее не доверили. Он проводил маму таким длинным взглядом, будто от слова до слова записал ее странный вопрос и по буквам, по слогам куда-то его передал.

Все поглядывали на служаку с опаской. Все, кроме мамы... Напуганность от его присутствия сдавливала, спирала воздух в нашей квартире, где всегда — даже в какой-нибудь лютовавший впервые за двести лет мороз! — форточки были распахнуты мамой настежь.

Она и тут распахнула форточку:

— Вы бы погуляли лучше на улице. А мы в случае чего его защитим.

И охранник ей подчинился: стал прогуливаться возле нашего подъезда, пугая жильцов.

— Маня, как же ты так... неинтеллигентно? Мы ведь сами,— отец кивнул на наркома,— его пригласили.

Отца не раз, я слышала, предупреждали, что «интеллигентность его погубит». Но он такой гибели не боялся.

— А разве интеллигентно за стол не садиться, в разговорах не участвовать и только подслушивать? — возразила мама.

— Может, он не подслушивает, а просто слушает?

— Ума набирается? Нет, не ума, Володенька, а сведений. Только сведений!.. Нечистая сила!

«Нечистая сила»... Это было самое резкое выражение, которое мама себе позволяла.

Нарком умышленно задремал и участия в переговорах между мамой и папой не принял. Он знал, когда выгодно дремать, а когда бодрствовать. Но в отсутствие охранника стал поглядывать на маму еще активнее. Она же, по собственному признанию, «взглядам» начальства не подчинялась. Так она действовала в своем мединституте, где преподавала историю партии. Вероятно, по инерции и на взгляды народного комиссара не реагировала. А он преодолевал усталость, вызванную интересами государства, интересом к маминой прелести. Но когда натыкался на безразличие, интерес временно угасал,— и нарком уже не нарочито, а естественно начинал дре-

мать. Потом, вздрогнув всем телом, но как-то дробно, не одновременно (тело было слишком солидным и вздрагивало по частям), он мысленно перешагивал в свой наркомат, принимался что-то подсчитывать в записной книжке. Направляясь к телефону, нарком грузно наваливался на спинку отцовского стула и консультировался с отцом.

Внешне подвергая его ответы сомнению, он тем не менее записывал их. И делал это с видом учителя, собирающегося поставить за ответ тройку. Заблокировав по бокам трубку рукой, звонил, давал неслышные нам указания. После этого подчинялся усталой дреме, чтобы из подчиненного минут через двадцать вновь превратиться в руководителя. Но он ни разу не превращался в него, минуя отца! В наркомате было много управлений, отделов и трестов, однако единственный трест, без которого нарком не мог обойтись и часа, назывался «мозговым трестом». А это как раз и был мой отец...

— Какой-то ненасытный аппетит на отцовскую мудрость. Слава богу, что она, кажется, неиссякаема! — с гордостью, приглушенной легким упреком в адрес наркома, говорила мама.

Отец был заместителем наркома, и я не понимала, почему «заместителем», если нарком с ним непрестанно советовался.

— Он потому и нарком, что не боится советоваться,— объяснил мне отец. И добавил: — Он никогда не спит.

— А у нас дремлет...

— Я для того его и зову: должен же человек когда-нибудь отключаться. И общаться с людьми не по делу!

Мне в отличие от отца было ясно, что приезжает к нам народный комиссар не для общения с народом, а для общения с мамой. Хотя бы на расстоянии. Мужчинам доставляло удовольствие просто видеть ее. Это я четко осознавала даже в свои одиннадцать с половиной лет. Осознавала и то, что нарком ищет у нас не покоя, а как раз того, что людей покоя лишает. Я не умела еще так формулировать свои впечатления, но и не будучи сформулированными, они были весьма безошибочны. Дети реагируют острее, чем взрослые, на все, что не требует опыта. Это я поняла, лишь приобретя опыт.

Иногда мама просила комкора не петь при мне каких-то романсов.

— Не позволяет аудитория! — говорила она.

Было странно, что меня называли тяжеловесным словом «аудитория». Затем меня отправляли спать. И я думала, что именно тогда комкор и начинает петь то, что, по мнению мамы, не должно было проникать в мои уши, а через них еще глубже.

Я страдала, когда подчеркивали не только хрупкость моего телосложения, но и детскую хрупкость моего сознания.

Раздираемая обидой и любопытством, я однажды решила подслушать, что же все-таки в мое отсутствие исполняет комкор...

Но он ничего не успел исполнить: мама вдруг отобрала гитару и вернула ее на стену, где она обычно висела,— рядом с портретами двух бабушек и двух дедушек. Всех их на этом свете давно уже не было, а гитара напоминала, что песни, переживая людей, которые их любили, доносили до нас отзвук их надежд и мечтаний.

Двух дедушек и одну из двух бабушек я на земле не застала. А мамина мама растила и воспитывала меня до семи лет.

— Мечтаю повести тебя на первый школьный урок!

Но повести меня в школу бабушке не довелось.

Мама и отец хотели, чтобы у них родилась девочка. Я откликнулась — и выполнила это желание! Два дедушки и одна бабушка, хоть и не дожили до дня моего рождения, но тоже ждали меня, как уверяла мама, с большим нетерпением. И только та бабушка, которая дождалась, грезила не внучкой, а внуком. От планов своих она не отказывалась и, когда я наконец родилась, сделала вид, что план ее выполнен: я-де хоть с виду и внучка, но фактически внук. Первой игрушкой, которую она лично мне подарила, был качающийся — то опускающий, то гордо вздымающий голову — конь. «Конная Буденного, дивизия, вперед!» — командовала бабушка, руководив-

шая много лет хором в кавалерийской воинской части,— и я, подчиняясь команде, целыми днями качалась в седле.

— Никто пути пройденного у нас не отберет! — уверяла бабушка.

— Отобрать его можем только мы сами,— вполголоса, я слышала, возразил ей как-то отец.

В знак протеста бабушка расправила красный матерчатый бант, который торчал у нее на груди и в приятные, и в горестные дни. Бант был волшебным: он не выцветал, не терял своей боевитой окраски.

Мама тоже была уверена, что никто не отберет у нее ни «пути пройденного», ни того самого бесценного, что она обрела на этом пути: меня, папу... Она верила в это и потому, что, как в магический талисман, верила в личность, которая способна все понять и все поставить на свое место. Надо лишь довести до ее сведения! А раз так, то и трусить нечего... Она призналась мне однажды, что любит эту всемогущую личность почти так же, как нас с папой. Призналась негромко, потому что любить ее полагалось гораздо больше, чем нас.

И в тот вечер, когда я воровски приникла к дверной щели, мама не изменила своим убеждениям. Но вначале она повесила гитару рядом с портретами тех, трем из которых, мне рассказывали, гитара была близка. Четвертая же предпочитала песню про «конную Буденного», которую под гитару не пели.

— Так вот, давайте договорим,— не предложила, а потребовала от всех мама.— В прошлое воскресенье мы к согласию не пришли...

Отец обхватил свою бритую голову так крепко, что она со звуком стукнулась о его ладони.

— Зачем это, Маня?

— Я хочу еще раз задать вопрос: вы верите в Пашину виновность? Если верите, то я встречаюсь с вами последний раз.

— И со мной тоже? — как-то мучительно пошутил отец.

— Ты в это не веришь. Так что можешь не отвечать.

— Похоже на допрос,— своим сносившимся от времени голосом съехидничал химик, которого иногда называли академиком. Он же в этих случаях поправлял: «Я пока только член-корреспондент».

Слово «пока» присутствовало обязательно. Старичок приходился отцу дальним родственником, жена его интересовалась лишь внуками, он поэтому был позабыт-заброшен, и приглашать его отец считал «своим святым долгом». Отец столь многое считал «святым долгом», что горстями глотал лекарства от головной боли. На других «святые долги» почему-то не давили с такою силой, и у большинства голова от них не болела.

— Маркс утверждал, что все надо подвергать сомнению,— напомнил маме приглашавшийся к нам «по долгу совести» химик.— Значит, надо подвергать сомнению и возможность виновности, и возможность невиновности. А вообще-то... почему вы, Мария Никитична, предполагаете, что человека могут просто так, за здорово живешь, взять да и посадить в кутузку?

— Не могут посадить, а уже посадили,— ответила мама.

— Просто так? Ни с того ни с сего? — не успокаивался химик столь упрямо, что его голос с трещинкой грозил вот-вот треснуть совсем и разлететься на куски в разные стороны.

— Не просто так! Кому-то понадобилось отторгнуть людей друг от друга... Создать атмосферу ужаса. Всеобщего отступничества!

— Ужас... Отступничество... Зачем такие слова? Они сами создают паникерский климат! — скрипуче, жестко одернул маму старичок-химик. В этот момент его возраст уже не был покóрен любви. При всей своей заброшенности старичок, оказывается, умел наступать. Сухонькое тельце его штыкообразно заострилось, готовое к схватке: я-де несчастен и хил, но, когда речь идет о политических принципах, брошусь в атаку!

Однако мама отступать не умела:

— Я уверена: кто-то из кожи вон лезет, чтобы погрузить нас во мрак того трепета, того всеобщего оцепенения, когда можно творить что угодно. Во тьме так удобнее действовать.

— В этом я как раз не уверен,— вмешался нарком.— К таким обобщениям я еще не пришел.— Вероятно, он не мог допустить, чтобы подобные обобщения звучали в его присутствии и остались бы без ответа. Если б охранник-шофер не прогуливался возле подъезда, а сидел по-прежнему на та-

буретке, нарком бы возразил еще резче.— А за Павла могу поручиться. И поручусь!..

О ком шла речь, я не знала: мама называла его Пашей, а нарком сообразно своей должностной солидности — Павлом.

«Может быть, боятся произнести фамилию? — думала я.— Но мама-то не боится! Она считает страх не просто унизительным, а толкающим на преступления чувством».

— Если были такие, которые не боялись и смерти... стыдно страшиться чего-либо остального. Ты же в гражданскую ничего и никого не боялся? — обратилась мама к комкору.—Или быть смелым на войне легче, чем в будни?

— Сейчас тоже идет война,— с заученной уверенностью ответил комкор.

— Война? С кем?

— С врагами.

— С чьими?

— Народа... Как и в гражданку!

— Ты это серьезно говоришь? Нечистая сила...

Комкора мама почему-то называла на «ты». Раньше мне это казалось подозрительным, а тут вдруг понравилось: она не трепетала перед его ромбами.

— Я не только так говорю... Я так думаю.

— И о Паше?

— Этого я не сказал.

— Опять боишься? С двумя боевыми орденами боишься?!

— Чего?

— Признаться...

— В чем?

— Не хочу сказать, что в предательстве, но...

— Что? Что?!

Комкор вскочил с дивана так, точно хотел вытащить из кобуры пистолет. Только ужас заткнул мне рот... Иначе бы я заорала.

— У вас... нет соседей? — прошептал химик, хотя знал, что соседей нет.

А мама во гневе стала такой красавицей и так бесстрашно двинулась навстречу комкору, что тот осел на диван.

— Если бы это была не ты...— бессмысленно прошептал он.

— То что бы случилось?

— Я бы уж... не сомневайся...

— Сомневаюсь. В храбрости твоей сомневаюсь! И в верности...

— Ну, знаешь...

— И всюду страсти роковые...— проскрипел заброшенный химик.

— Гораздо страшнее следующая строка,— откликнулась мама.— «И от судеб защиты нет...» И правда нет, если кругом отступники.

Нарком продуманно задремал.

Мама в очередной раз распахнула форточку:

— «Я б хотел забыться и заснуть»?

Нарком не вышел, а прямо-таки выскочил из своей дремы:

— Зачем же мне забываться? По какой причине?

— Гораздо важнее следующая строка: «Но не тем холодным сном могилы...» — поучительно взял, по его мнению, у мамы реванш старичок-химик.

— От партийной совести никто из нас не отступал! — с новой силой вскипел, но уже не поднимаясь с дивана, комкор.

— Я не знаю, что такое партийная совесть. И чем она отличается от обычной. От человеческой... Тем, что приказывает бросать людей на произвол судьбы? И вчерашних друзей считать сегодняшними врагами?

Подобно бабушке мама стояла на своем до конца. Пусть в иных ситуациях, но до конца.

— У вас за стенкой не слышно? — прошептал химик.

— Дом строили до революции. Поэтому в нем не стенки, а стены,— ответила мама.

— Разве до революции строили лучше? — попытался образумить ее старичок-химик.

— Я человек военный! — внезапно объявил зачем-то комкор.

— Значит, либо командующий, либо подчиняющийся?.. И то и другое — беспрекословно?! Но ведь ты был с Пашей в одной камере смертников. И понимаешь, что ему было бы легче... если б его тогда расстреляли. Хоть знал бы за что!

— Вы, стало быть, продолжаете считать, что сейчас могут, так сказать... ни за что? — Старичок-химик вновь штыкообразно заострил свое тельце.

— Но ведь он был далеко... Защитить на таком расстоянии?..— впервые с виноватостью в голосе произнес комкор.— Ты представляешь себе, где это самое Приморье?

— «Чтобы с боем взять Приморье...» — возбужденно пропела мама.— Когда-то ты брал его с боем. А сейчас, думаю, не взял бы. Раньше бы доскакал на выручку, а теперь и на самолете не долетишь!

«Не хватает еще, чтобы она пропела: «Конная Буденного, дивизия, вперед!» — подумала я.

— Тогда я бился с недругами... с кровавыми недругами,— ответил комкор, забыв, вероятно, что недавно назвал врагами людей, подобных приморскому Павлу.

— Те, которые арестовали Пашу, тоже недруги. И тоже кровавые! Но, так сказать, «родные», свои...

Так вот почему я ни разу у нас этого Пашу-Павла не видела: он жил в Приморье.

Отец давно собирался вступить в разговор. Но со своей интеллигентностью никак не мог встрять, найти подходящее для этого место. Наконец, улучив паузу, он сказал:

— В такое время мы не должны конфликтовать. Надо быть вместе.

— Всем вместе? Или за исключением Паши?—внезапно спросила мама.

Ее слова не сдавались, а голос ослаб.

— Пашу мы обязаны вызволить,—ответил отец.

— Давно ждала, когда ты это предложишь... О чудовищной ошибке,— если нападение на человеческую жизнь можно назвать ошибкой! — надо немедленно сообщить товарищу Сталину. Он ужаснется!

Нарком встал и направился в коридор, впервые не посоветовавшись с отцом. По дороге он тайно метнул в маму короткий взгляд, который не был прощальным, а был восторженно-изумленным. Тайну его я успела перехватить.

В ту же ночь арестовали старичка-химика. Когда он пришел от нас, его уже ждали... Об этом сообщил отец, потрясенно примчавшись днем из своего наркомата. Прежде он никогда днем оттуда не отлучался: нарком мог обходиться без разных управлений и трестов, но без «мозгового треста» не мог.

Мама уже вернулась из мединститута: в тот день у нее была всего одна лекция.

Отец, не отрывая глаз от того стула, на котором вчера сидел старичок, рассказал, что в наркомат приходил следователь («галантный такой молодой человек с длинными, восковыми пальцами») и два часа допытывался, что у нас накануне говорил старичок. Оказывается, он собирался использовать свою химическую науку, чтобы отравлять озера и реки.

— Академиком ему стать не придется...— прошептал отец.

— Если и от него мы отступимся! — ответила мама.

Она недолюбливала заброшенного родственника, но сейчас его забросили чересчур далеко. К тому же она не умела идти на попятную, как отец не умел забывать свои «святые долги». Так они и стояли друг перед другом посреди комнаты, не зная, как совместить эти тяжкие неумения с навалившимся на них временем.

— Пойди поиграй с Ларисой,— попросил отец почти таким же тоном, каким мама просила меня отправиться спать перед вчерашним ночным конфликтом.

Я подчинилась мгновенно, без капризов и хныканья. Было стыдно хныкать на фоне того, что произошло со старичком-химиком и с незнакомым мне человеком из Приморья, сидевшим до революции в камере смертников

и в такой же камере сидевшим теперь, после революции, за которую он сражался. Однако внешне выполнив желание родителей, я его тут же нарушила, уже привычно прильнув ухом к двери.

— Надо сегодня же послать письмо. И написать о двух людях, за которых мы ручаемся,— не предложила, а потребовала мама.— Эти люди не одинаковы. Даже очень не одинаковы... Но одинакова причина беды. И с ней должно быть покончено! Обвинять их в измене? И не женам, не детям, а государству?.. Товарищ Сталин ужаснется!

Мама второй раз употребила этот глагол — дерзкий для того времени: величие не могло быть ужасающимся, содрогающимся. Величие могло быть только величием.

— Я подпишусь один,— спокойно произнес отец, взглянув на маму в упор глазами, с которыми нельзя было не соглашаться, если они того хотели.

— Почему?..— по-вчерашнему неожиданно обессилев, спросила мама.

— Зачем же две подписи от одной семьи? Дай-ка бумагу... Может, еще Танюшу с Ларисой пригласить подписаться?

Отец объединил меня с куклой, что делал иногда и что было мне неприятно. Но в тот раз обида не кольнула меня: обижаться было нелепо.

— Одного я тебя не оставлю! — сказала мама.

— Где?

— Нигде... И на этой бумаге тоже.

— Две подписи от одной семьи?

— А нарком с комкором? — упрямо не желая оставлять отца в одиночестве, спросила мама.

— Они... я думаю, не подпишутся,— в растяжку ответил отец.

— Почему? Товарищ Сталин оценит их честность!

— Но письмо до н е г о может и не дойти. А если прочтет этот... галантный с длинными, восковыми пальцами, который сегодня высасывал из меня...

— Какое право он имел допрашивать замнаркома?!

Отец уже понял что-то такое, чего мама не понимала. «Почему же он не объяснит ей? Почему?!» — трепыхалась я возле дверной щели. Мне было страшно оттого, что отец подпишет и пошлет письмо, которое может дойти до «галантного с длинными пальцами».

Что такое «галантный», я не знала, но догадалась, что понятие это сродни слову «галантерея».

— Тогда подпишем вдвоем! — вновь обрела мама стойкость.

— Танюшу пожалей,— тихо попросил отец, уже не объединяя меня с Ларисой.

Внешне нарком и комкор выглядели совершенными антиподами: военный был типично военным, а штатский — типично штатским.

Одергивая под поясом высококачественную гимнастерку, комкор, наверное, бессознательно подчеркивал свою подтянутость и моложавую стройность. Он был прямым, как приказ, а обветренно-сухощавое лицо и седая охапка волос на голове напоминали о том, что он твердым, негнущимся шагом явился к нам из боев и походов.

— Прежде он не был таким «типичным»,— без осуждения, но с грустью сказал как-то отец.— А потом насмотрелся фильмов, спектаклей про себя самого — и стал подражать актерам, исполняющим его роль. Но в сабельную атаку кинется по первому зову.

Это отец сказал, когда мне было лет шесть. Но я запомнила... А в одиннадцать с половиной подумала, что атаки бывают разные. И что в одни из них комкор кинется не колеблясь, а в другие — навряд ли.

Расслаблялся он только у нас на диване с гитарой в руках. В нем появлялось нечто раздольно-гусарское. И с неожиданными для него лиричными интонациями он пел про любовь. Но не про ту, что закаляется в пекле сражений, побеждая разлуки, а про чужую и, безусловно, неведомую ему, заставлявшую кого-то страдать и даже погибать в тиши и при полном материальном благополучии. Он действительно вынес невыносимое и за гитарой хотел забыться.

— Битый-перебитый человек,— сказал отец в разгар спора о подписях

под тем самым, как оказалось, даже для меня опасным, письмом.— А битые не хотят, чтобы их снова били. Второй раз в камеру смертников? Нам неведомо, что это такое. А ему ведомо!..

Нарком не был бит-перебит, но выглядел куда более истерзанным, чем все испытавший комкор. Рыхлое нездоровье как-то органично сочеталось в нем с никогда не ослабевавшей напряженностью. Она была в мыслях, в четко немногословных фразах и отредактированных движениях. Он не принадлежал ничему, кроме дела. Громада ответственности еще не успела раздавить его, с почестями отправить на привилегированное кладбище, но давила на него непрестанно. Он искал и находил спасение в нашей семье: отцовский «мозговой трест», тоже испытывавший повышенное давление, и мамина несказанная женственность были теми подпорками, которые, по моему представлению, не давали громаде обрушиться и уничтожить его. Нарком слыл выдающимся строителем и однажды доверительно сообщил маме, что «научился строить все, кроме личного счастья». Грусть его тоже была не рядовой, а по-наркомовски значительной, осененной грифом «Совершенно секретно». Но я, как всегда, не теряла бдительности,— и грусть была рассекречена.

Сталина нарком называл и считал «хозяином», но хозяином беспредельно любимым, надрывавшимся от работы гораздо больше, чем он. Хотя больше уж было некуда! «Хозяин» вдохновлял его, дарил ему способность все вынести. Единственное, чего он не ждал от «хозяина», это пощады в случае ошибки или малейшего промаха. Он считал такую беспощадность справедливой, оправданной. Он верил «хозяину» больше, чем моему отцу, без которого не мог обходиться... И даже, чем маме, не только во внешние достоинства которой (я это видела!) был влюблен. Нарком не обладал такими достоинствами, и он им изумлялся — то восхищенно, то, мне казалось, завидуя, но всегда осмотрительно. Даже когда возражал маме. Впрочем, и сама мама никому не верила так, как наркомовскому «хозяину». Она не произносила слово «хозяин», но могла бы, я думаю, произнести слово «властитель» — дум и надежд.

Нарком сутками стремился к одному и тому же: сделать так, чтобы «хозяин» не имел претензий и был полностью удовлетворен. Это значило для наркома, что им полностью удовлетворен народ, удовлетворена Родина.

И комкор думал так. Сталин, народ, Родина — для него это было одно и то же. Как для наркома... И как для мамы... Об отце я этого сказать не могла.

— Хозяин? — произнес он как-то.— Интересно, нравится ли ему самому такое... прозвище?

— Прозвища бывают у школьников! — возразила мама.

Она боролась с моим тщеславием, с моим стремлением казаться выше, чем я была. «Длиннее,— заступился как-то отец.— Еще Наполеон подчеркивал разницу между понятиями «длиннее» и «выше». Мама терпеть не могла тиранства и самовластия, когда речь шла о людях. Но е г о (его одного!) она в людях не числила. О н, по ее убеждению, не мог подчиняться земным законам. И е г о можно было называть так, как никого другого называть было нельзя.

В глубь споров своих родителей я проникла только сейчас. Но осознание это, как здание из кирпичей или блоков, сложилось из детских воспоминаний. Я не помню многих мелочей и событий, происшедших совсем недавно, но все, что происходило т о г д а, не замутняясь, остается со мной. То ли мозг был до примитивности здоровым, не тронутым даже приметами склеротических изменений? То ли сами первые впечатления обладают здоровьем и долголетием? А может, и то и другое?

Отец написал письмо. И один подписал его. И сам отправил. Даже отнести на почту запечатанный конверт он не доверил маме: а вдруг бы она тайно вскрыла и добавила свою подпись?

«Танюшу пожалей». Я не поняла тогда, что это значит...

«Ведь не могли же тех двоих просто так взять и арестовать?» — размышляла я. Но внезапно споткнулась об эту мысль: она почти слово в слово повторяла сомнения, высказанные старичком-химиком. Да, именно им... И все же в чем-то он виноват? Думая так, я, как это ни стыдно, испыты-

вала успокоение: раз мои родители в отличие от старичка ни в чем не виноваты, им ничего и грозить не может.

«Виноватые» стали обнаруживаться и в нашем доме. Мама в полный голос называла их «без вины виноватыми».

— Александр Николаевич Островский придумал этот афоризм для других ситуаций,— поправил ее отец.— Вот при т е х ситуациях ее и употребляй. А так не надо... Танюшу пожалей.

Я опять ничего не поняла. «Значит,— думала я,— в чем-то хоть немного, но соседи по дому все же грешны...» Эта мысль казалась мне спасательным кругом: мои-то родители были безгрешны! Чего же тревожиться по ночам? Мамина честность была наступательной, резкой, а отцовская — скромной, застенчивой.

Я перестала вслух горевать по тому поводу, что и физкультурник в школе выстраивал нас по росту, в результате чего я вновь оказывалась «замыкающей».

— Вот видишь,— сказала мама,— все действительно познается в сравнении. На фоне происходящих бед твои недавние переживания кажутся нелепыми и смешными. Ведь правда же?..

Все чаще по утрам гигантский дом, замкнувший в гранитный квадрат наш двор, с первого до последнего этажа пронзала весть: «Ночью взяли...» Фамилию произносили одними губами, родственников «взятого ночью», с которыми еще накануне раскланивались, старались не замечать, обходить стороной. А столкнувшись, не узнавали. Постепенно люди вообще переставали улыбаться друг другу... на всякий случай... Так поступали почти все, кроме мамы. Она звонила даже в те прокаженные квартиры, в которых раньше не бывала ни разу.

— Все выяснится! — успокаивала она.— Напишите товарищу Сталину. Только сегодня же!

— Даешь советы? — с грустью осведомлялся отец.

— А что, ты в них не веришь? В эти советы?

Отец водил руками по голове, будто искал свои исчезнувшие волосы. Один раз он проговорил:

— На мое письмо ответа, как видишь, нет.

— Еще будет,— выразила уверенность мама.— Боюсь, не дошло оно до него. Самое главное — чтобы письма до него доходили. Он ужаснется!

Отец промолчал... Он не запрещал маме действовать столь рискованно. Однако и не поощрял ее действий. Иногда предупреждал об опасности. Но чаще со вздохом предоставлял ей свободу.

У нас с отцом были свои, особые отношения. «Секреты — на стол!» — так не без иронии называла их мама, потому что перед ней я свои секреты на стол не выкладывала. Мама судила обо всем с таких дистиллированно безупречных позиций, что перед ней мог раскрываться и человек безупречный. А я себя такой не считала.

Мама страдала лишь одним пороком — «чисто женским», как говорил отец: она была пылко ревнива. Даже меня ревновала к отцу, а его — ко мне. Или, точней, нас обоих друг к другу.

Отец помогал мне утихомиривать ссоры с подругами. А они возникали часто, потому что я унаследовала мамину прямолинейность, не унаследовав ее храбрости, но добавив от себя бессмысленное упрямство. Впрочем, упрямство всегда бессмысленно, ибо, приобретая справедливость и смысл, оно становится принципиальностью.

Отец не выяснял подробно, кто прав, а кто нет,— он считал, что мириться надо при всех обстоятельствах.

У мамы было время в н и к а т ь в суть моего характера и противоречий между мною и окружающим миром. У отца же времени не было: короткие общения со мной были для него праздниками. А праздники не принято омрачать... Он и не омрачал их разбирательством, придирчивым проникновением, а все стремился уладить и сгладить. Ныне, через годы и годы, я поражаюсь, как он, спавший иногда по три часа в сутки, все же находил силы для этой миротворческой деятельности. Да еще и притворялся, что в делах моих он отдыхает...

Возвращался он из наркомата почти под утро. А ровно в половине десятого за ним приезжала вместительная машина с «подвижным» верхом, такая вместительная, что в ней были и откидные стульчики. Они производили особое впечатление. Отец до отказа заполнял машину моими подругами, меня усаживая впереди, между собой и шофером (мама посадила бы меня даже не на откидные стульчики, а совсем сзади!). У перекрестка мы с подругами высыпали на тротуар. А отец на прощание покупал нам по порции мороженого. Первую порцию он протягивал мне (мама бы угощала меня последней!). Это бывало не каждый день, но раз в неделю уж обязательно... Подруги перед отцом до онемения благоговели. «Как хорошо, что мы учимся во вторую смену и утром свободны!» — помню, провозгласила одна из них. В этом единственном случае мама не ревновала.

А потом отец стал катать нас с подругами на машине все чаще и все чаще угощал нас мороженым... Словно хотел, чтобы я накаталась на всю свою жизнь и налакомилась тоже на всю жизнь вперед. В этой обязательности утренних праздников появилось нечто совсем не праздничное, какая-то отчаянность, предчувствие обрыва. И конца всяких праздников... Такое предчувствие я уловила даже на лице шофера — то услужливого, то с опаской поглядывавшего на отца и как бы от него отрекавшегося. Я перестала ощущать вкус мороженого — и без прежнего наслаждения глотала его, как проглатывала страницы учебника по ненужному мне предмету или урок неприятного мне учителя.

— Ты не любишь Ларису? — спросил в один из дней отец о кукле, как о живом человеке.

— Почему не люблю? — чтобы не обижать его, солгала я.

— Ты не обязана ее любить только потому, что она... связана как-то со мной. Ничем не отягощай себя. Тягот и так предостаточно. Тебе и мороженое надоело?

— Почему надоело? — опять неискренне удивилась я.

— А чего бы тебе хотелось? Ходить в кино, в театр... или в цирк? Скажи мне. И ходи хоть каждый день! Ладно?

Я почувствовала, что и развлечения он пытается сделать для меня обязательными... что хочет у с п е т ь доставить мне удовольствие. И я заранее перестала ощущать их вкус, как и вкус мороженого.

Мама продолжала читать в медицинском институте свои лекции по истории партии. Ее любимым революционным деятелем был Дзержинский. «Железным Феликсом» она его называть отказывалась.

— Железность не сочетается с человечностью. И каким же он был железным, если получил разрыв сердца? Сердце может разорваться только у того, у кого оно есть... Я это сказала сегодня на лекции. Совершенно открыто!

— Пожалей Танюшу...— вновь попросил отец.

— Разве я сказала что-нибудь вредное? Или преступное?

— А наказывают разве только за преступления?

«Наказывают разве только за преступления?» — Этот вопрос отца отбирал у меня спасательный круг.

Нет, мамина прямота не была прямолинейностью и железобетонностью, думаю я сейчас. Она была честностью... Облеченной в непривычно открытую форму, но все равно честностью!

— Кому-то выгодно карать невинных людей. Кто-то продолжает дезинформировать партию... и товарища Сталина. А ты как считаешь?

Зеленые мамины глаза обычно вопреки своему цвету перекрывали дорогу другим мнениям. А тут они открыли зеленый свет.

— Но разве е г о возможно дезинформировать? — двинулся отец по свободной пешеходной дорожке. С необычной чеканностью он почти повторил слова старичка-химика. Но интонация и ударения были совсем иными.

— Кому-то выгодно лишить партию сил.

— Лучших сил,— добавил отец.

— А у товарища Сталина столько всего... что не доходят руки...

— До этого не руки должны доходить... а совесть.

Зеленый цвет маминых глаз, как обычно, стал противоречить себе самому.

— Кому-то выгодна атмосфера окаянного страха! А великий человек так занят, что не ведает...

— Ну, если не ведает того, что все, кроме него, ведают... то какой же тогда он великий?

Отец прошептал эту фразу. Но чтобы совсем заглушить ее в памяти, с настоятельной твердостью, тоже для него необычной, предложил:

— Давай переменим тему. При Танюше... Как ты говоришь? «Не позволяет аудитория!»

Меня опять обозвали тяжеловесным словом. Будто я была помещением для институтских лекций. А может, мама и произносила это слово, потому что привыкла читать лекции?

Заметив, что я огорчилась, и поспешая утешить, отец отвел меня в дальний угол и, как бы выпытывая секрет, спросил:

— А как твои отношения с Ларисой? Все еще сложны? — Он опять осведомлялся о ней, как о живом человеке.— Ты не вникай в наши споры с мамой. Занимайся лучше Ларисой. После школы ты ведь... в медицинский решила? Еще не передумала быть хирургом? Вторгаться внутрь какой-нибудь мысли и то нелегко, а внутрь человека... Не передумала?

До окончания школы было тогда далеко, но я уверенно ответила:

— Не передумала.

— Ты права: в медицинском лучше всего заниматься самой медициной.— Он, наверное, намекнул на маму, которая в медицинском институте занималась историей партии.— Вот и потренируйся на Ларисе,— посоветовал мне отец.— Представь себе, что у нее, допустим, аппендицит. Сделай операцию, спаси ее!.. Тогда она и станет тебе дорогà. Мы ценим тех, кому помогаем. Обратной закономерности, к сожалению, нет... Но врачи ведь вызволяют из несчастий не ради благодарности. Так что спаси ее!

Через несколько дней я и правда вспорола Ларисе живот, мысленно удалила аппендикс, а потом все зашила. Это понравилось мне: все-таки обрела власть если не над самой Ларисой, то уж, во всяком случае, над ее здоровьем. «Еще что-нибудь ей удалю! — задумала я.— А потом будут осложнения... И она станет смотреть на меня с мольбой и надеждой, как на спасительницу. Но почему отец так заботился о наших с ней отношениях? — недоумевала я.— Неужели в такое время ему до моих игрушек?..»

— Что это ты сегодня не посадил в машину Надю с пятого этажа? — спросила у отца мама.

— Она сама не подошла к машине.

— А ты знаешь, п о ч е м у она не подошла?

— Сейчас догадываюсь... А сразу не сообразил. Прости меня.

— Она пусть простит... Усаживай ее рядом с собой. Вместо Тани! Какая ей разница, где сидеть? Завтра же утром усади Надю на переднее место. Не забудешь?

Мама строго звала меня Таней, даже этим как бы воспитывая и подтягивая. А отец звал Танюшей.

— Ты все продумала? Это не будет выглядеть... вызовом? — выверяя свои опасения, спросил отец.

— Вызовом кому? Тем, которые делают вид, что жестокостью утверждают добро?

— Эти самые «те» пока еще обладают правом незваными приходить по ночам. И сутками рыться в чужих вещах, письмах... в чужих жизнях.

— Испугался?.. Вот этого они и добиваются! — вспыхнув и сделавшись вызывающе красивой, воскликнула мама.— Породить ужас и всех им сковать. Но со мной у них ничего не получится.

— Хорошо... Про Надю я не забуду. Можешь не волноваться.

— Хочу, чтоб и вы с Таней волновались по таким поводам!

— Обещаю тебе волноваться... Пока, как говорил мой дальний, заброшенный родственник. Теперь и в самом деле заброшенный судьбой неизвестно куда!

«Пока...» Холодея, я поняла, что имел в виду отец.

И одновременно (в который уж раз!) убедилась, что мама была не просто храбрее нас, а была безоглядней: никакие опасности не заставляли ее

отступиться. Теперь вот от Нади с пятого этажа, отца которой уже официально в газетах объявили врагом народа. Я знала этого деликатного человека, который здоровался со мной столько раз в день, сколько встречался. Слово «враг» не могло иметь к нему отношения. Но кому-то понадобилось, чтобы имело... «Зачем?!» — терзала я себя безысходным недоумением с того утра, когда, оглядываясь по сторонам, мне сообщили, что ночью «взяли с пятого этажа».

Надя заняла мое место между отцом и шофером. Это не уменьшило ее горя, но немного облегчило нашу совесть.

После ареста старичка-химика, выражавшего уверенность, что просто так никого за решетку бросить не могут, нарком и комкор перестали бывать в нашем доме.

— Боятся, чтобы их не объявили создателями вражеского центра со штабом в этой квартире?

Мама задала отцу вопрос, не требующий ответа. Но он все же ответил:

— Что касается наркома, то он так занят, как никогда.

— Еще бы: половину наркомата пересажали, приходится потеть за всех выбывших.

— Он и раньше потел с утра до утра. А ты... если не жалеешь себя, то хоть пожалей Танюшу.

Мама неожиданно, что с нею случалось, обмякла. Но так явно и обессиленно, как прежде не бывало.

— Если и можно наступать себе на горло, то ради детей. Я учту твою просьбу.

Мама сникла... Причиной того были не одни лишь застенчивые отцовские просьбы: семь квартир в нашем доме не только посетили ночью без приглашения, но и замуровали сургучными печатями. Попасть под такие печати было страшней, чем под любую бомбежку: там хоть родные люди страдали вместе, а печать означала, что родные разлучены, быть может, никогда не увидят друг друга... и никогда друг о друге ничего не узнают.

— А ответ от товарища Сталина еще не пришел,— с ироничной безнадежностью отметил отец.— Я думаю, ответы, когда они и м написаны, доходят мгновенно.

— Разбираются... выясняют,— ответила мама.— Если он получил!

— Как ты говоришь, «кому-то» удобнее не выяснять.

— Это заговор против партии... Против ее истории! — закричала мама, которая эту историю преподавала.— Наш долг — раскрыть глаза...

— Е м у? Он же всевидящий!

«Сегодня весело живется, а завтра будет веселей!» — пели по радио.

— Еще веселей? — спросил неизвестно у кого, завтракая на кухне, отец. Заметив меня, он спохватился: — В цирке мы с тобой в воскресенье были. Следующее воскресенье — Большой театр... Пойдем на «Щелкунчика»! Разве не весело? А прямо из театра можем отправиться на международный футбольный матч! Хочешь?

Отец не был спортивным болельщиком. Он «болел» за меня. Ему хотелось без конца доставлять мне какие-нибудь радости. От его предложений развлекаться я каждый раз вздрагивала.

Раньше наш дом считался привилегированным. Теперь он пользовался лишь одной привилегией: по ночам его навещали гораздо чаще, чем другие дома переулка.

На лицах соседей я читала: «Кто следующий?»

Героем дня в доме чувствовал себя только дворник, верткий человечек, непрестанно двигавшийся, мне казалось, для того, чтобы не дать никому себя разглядеть. Но я все же разглядела его выступавшие вперед, хищно обнажавшиеся зубы. Раньше дворника собирались уволить,— он содержал двор в той неопрятности, в какой содержал и себя самого: то не убирал мусор, то не счищал снег, то не скалывал лед.

— Переломаем из-за него ноги и руки! — ворчали жильцы. Но теперь ворчать перестали, потому что он мог переломать их судьбы.

Встречаясь с ним, одни заискивали, другие почтительно раскланива-

лись: по ночам он был понятым — и, помогая копаться в чужих квартирах и жизнях, мог давать этим жизням оценки, которые, как сам он горделиво сообщал, «вносились в протоколы дознаний». От бессонных ночей у него появились зловещие круги под глазами. Родом он был из-под Смоленска и летом сорок первого, скрывшись там от военкоматовских повесток, стал полицаем. Опыт ему пригодился.

Он первый во дворе сладострастно оповестил маму:

— А дружка-то вашего с тремя ромбами взяли.

— Откуда вам известно?

— Мне все известно. Про всех! Частенько этот... с ромбами вас навещал. И все вечерами! Все вечерами...— Чистить двор он не умел, но пачкать человеческие биографии обожал.— Говорят, и ордена-то украл. С убитых сымал и на себя вешал. В гражданскую! Еще тогда продался.

— И что ты ему ответила? — с едва осязаемой дрожью в голосе поинтересовался отец.

— Сказала: «Вы клевещете!»

— А он?

— По-моему, не понял. Ну, не знает, как называется то, что он делает.

— Хорошо... если так.

— Вспомнила... По пути в домоуправление приостановился и, обернувшись, изрек: «Партейных-то в нашем доме почти не осталось». Нечистая сила!

— Стало быть, все понял. И пригрозил.

— Боишься? — впрямую спросила мама, часто обвинявшая людей в трусости.

— Боюсь,— впрямую ответил отец.

Но какая-то была в его ответе двусмысленность, недоговоренность. Мне почудилось, для того чтобы спрятать их, отец торопливо добавил:

— Ты же мне обещала?

— Что?

— Наступать на горло. Ради Танюши.

— Прости, не сдержалась.

— А если и он не сдержится?

— Ты-то сам сдерживаться умеешь...— с непривычно робким укором (если уж она укоряла, то в открытую!) и тоже каким-то вторым, загадочным смыслом сказала мама.— Возвращаешься под самое утро, а спать не ложишься. Вот уже двадцать три дня так... Я подсчитала. Бродишь по квартире, заходишь ко мне... что-то хочешь сказать, но не решаешься. Объясняешь, что бродить тебе полезней, чем спать.

— Я?!

— Ты, ты... Что ты хочешь сказать? Скажи... Освободи свою душу!

— Не позволяет аудитория,— взглянув в мою сторону, машинально проговорил отец.

Раньше он в три или четыре часа ночи подкатывал к нашему подъезду. Подкатывал без шума: колеса солидного, знавшего себе цену автомобиля еле шуршали. Дверца захлопывалась негромко, подчиняясь ночному времени. Но я все равно просыпалась, как только «Паккард», украсивший бы ныне выставку необтекаемых, старомодных машин, въезжал во двор. Но потом ночные шуршания шин и ночные хлопанья дверцы улавливал, затаившись, весь дом. Поэтому отец выходил из машины за воротами и старался как можно тише пересекать двор: ночные шаги тоже стали плохой приметой. И по квартире он ходил так осторожно, что лишь мама ощущала его нервные передвижения.

Но в ту ночь хождений не было. Отец и мама разговаривали вполголоса, даже вчетверть голоса. Я же так навострилась подслушивать, что, прильнув к двери, не пропускала мимо ушей ни одной фразы.

— Зачем понадобилось арестовать Алешу? — Отец наконец-то назвал комкора по имени.— Ну зачем? Ведь он же в самом деле легенда. Пусть простоватая по форме легенда, но по сути... Человек из песен, из фильмов! Кому это было нужно?

— Тем, кто хочет подорвать партию.— Мама, преподававшая историю партии, употребляла слово «партия» чаще других политических слов.— Тем, кто замыслил унизить ее в глазах наших граждан и всего мира.

Мама говорила это обдуманно, не запинаясь.

— А что же товарищ Сталин?

— Умоляю, не трогай его. На него вся надежда! И она осуществится. Я верю!

Слово «уверена» мама впервые заменила менее утвердительным словом «верю».

— А ты знаешь, что он лично обязан Алеше? Быть может, и жизнью... Это было в гражданскую, где-то под Царицыном. В других местах товарищ Сталин опасности, кажется, не подвергался.

— Не смей иронизировать! — приказала мама.

— Факты и ирония — разные вещи.

— Я впервые слышу про это... Надо будет напомнить в письме... которое мы напишем.

— Еще одно?

— Не одно... Мы будем писать до тех пор, пока наш голос к нему не прорвется!

— А ты убеждена, что товарищ Сталин любит, чтобы ему напоминали о подобных событиях? Не все ведь жалуют тех, к кому по долгу совести должны бы испытывать благодарность.

— Он, как никто, благороден! И ему можно напомнить... Корректно, разумеется.

— А не кажется ли тебе странным, что Алешу взяли через месяц после Авксентия Борисовича? — Отец и своего заброшенного невесть куда родственника назвал не академиком, как было принято у нас в доме, а по имени-отчеству.— Авксентий Борисович не из героев гражданской войны! И боль не выносит даже малейшую. Помнишь, как ты ему на даче занозу из пальца вытаскивала? Ну, а если ему не занозу вогнали, а что-нибудь поострее и не в палец, а, допустим, под ногти?

— О чем ты? Такие методы применяли в средневековье!

— Зачем столь дальние экскурсы? И сейчас применяют. Вот, к примеру, в гестапо.

— Но у нас не гестапо!

Отец промолчал.

— Авксентий Борисович, комкор, отец Нади с пятого этажа...— проговорила мама.

— Долго перечислять! — перебил ее отец.— В этих арестах даже логики никакой...

— Почему? Я разгадала их нелогичную логику. Все же я теоретик!

— Любопытно послушать.

— Кто-то хочет создать, как я уже не раз говорила, атмосферу страха. Но не какого-нибудь обычного, маленького... а сатанинского! Тут как раз и нужна непредсказуемость, нелогичность репрессий. Пойми, если они логичны, то не так устрашающи, их можно избегнуть: не буду делать ничего предосудительного — и меня не тронут! А нелогичные действуют как бы вслепую,— и от них не гарантирован, стало быть, ни один человек. Ни один!

— Жутковато... Но, думаю, ты права.

— Обличать «варфоломеевские ночи» я не боюсь!

— Ты, к несчастью, вообще ничего не боишься.

— Ему надо обо всем сообщить. И как-то так передавать письма, чтобы прямо... из рук в руки.

— Танюшу пожалей...

Отец долго молчал, прохаживался по комнате, потом вновь присел на кровать и склонился прямо над подушкой, над маминой головой. И я уже не слышала его голоса. Чуть в соседнюю, родительскую комнату не ввалилась, так налегла на дверь. Но разобрать ничего не смогла. Голос отца шуршал осторожно, как шины его длинного вместительного автомобиля в нашем ночном дворе.

А потом мама заплакала. И это я услышала сразу. Никогда за все свои одиннадцать с половиной лет я не видела слез на ее лице. И свои-то обдуманные рыдания я чаще всего адресовала отцу: на него они действовали. Мама отвергала такой «способ доказательств». И вдруг сама... Она обхватила бритую голову отца и стала исступленно твердить:

— Не отпущу... Не отпущу... Не отпущу...
— Тише. Танюшу пожалей,— попросил отец. И снова зашептал что-то маме в ухо. Но это не было успокоением, потому что она стала захлебываться плачем, как захлебываются лишь малолетние и как даже я давно не захлебывалась.
— Не отпущу!
— Прошу, умоляю тебя: потише.
— Из-за этого, значит, ты и вышагивал по квартире? Я думала, что ты сходишь с ума из-за Пашиного и Алешиного несчастий. А ты, оказывается, сходил с ума от...
— Ты права,— перебил отец, чтобы она не смогла договорить свою правду.
— Что ты придумал?!
Мамин крик был особенно жутким, потому что прозвучал в ночной тишине.
— Я ничего не придумал. Так придумала жизнь.
— Тогда я... ненавижу тебя. Не жизнь, а тебя! Презираю...
Мама это прошептала. Но мне показалось, что тоже выкрикнула. И даже громче того, что действительно было криком.

Мама слыла общепризнанной красавицей, а у отца даже волоска на голове нельзя было отыскать. Но он ее не ревновал, а она его ревновала. Страдания без слез бывают особенно заметны. Мамино лицо искажалось мукой, когда она уверяла отца, что он в театре или в гостях на кого-то *не так* посмотрел.
— Откуда ты взяла? Я смотрел на тебя.
— Наберись мужества и сознайся, что меня ты вообще не замечал. А от нее не отрывал глаз. У тебя такие глазищи, что их не спрячешь...
— Да не смотрел я!
— Смотрел!
Едва я успела накануне подумать, что было бы счастьем, если б вернулись такие вот мамины переживания... как они и вернулись.
— Не отпущу...— заклинала она.— Не отпущу!
Куда? Или к кому? К «кому» было тогда менее угрожающим, чем «куда».
В дни бедствий дети взрослеют быстрей... И чем невообразимее беды, тем раньше настигает их взрослость: нарушение законов общечеловеческих вызывает и нарушение физиологических правил. Когда ныне ликуют по поводу акселерации, я недоумеваю: «Чему, собственно, радоваться? Тому, что от детей до срока уходит детство?»
Атмосфера, в которую опрокинул наш дом тот год, как-то сразу, с жестокой, не желающей ни с чем считаться стремительностью сделала меня взрослой.
«Наверное, мама опять мнительно приревновала отца... и воображает, что он к кому-то собирается уходить»,— так примерно я размышляла. От необходимости непрестанно воспитывать меня маму отбрасывали лишь волны женской ревности. Теряя самообладание (а она теряла его исключительно в этих случаях), мама при мне начинала упрекать отца за его взгляды — не политические, разумеется, а буквальные! За какие-то его «мужские намерения», которые она подразумевала.
В общем-то я понимала маму. Будь моим мужем такой человек, как отец, я бы тоже боялась его потерять! Но что именно отец придумал, если мама не смогла удержаться от вопля? Вопля в ночи?! Что он придумал?
Когда ночь, в которую я увидела и услышала мамины слезы, начала понемногу оттесняться рассветом, отец вошел в мою комнату. И не заботливыми шагами, боящимися разбудить. Ему необходимо было, чтоб я проснулась.
— А я и не сплю,— отвечая его не произнесенному вслух желанию, сказала я.
Отец присел ко мне на постель так же обреченно, как недавно присел возле мамы.
— Ты, вероятно, слышала мамин крик?
— Да... А что? — ответила я агрессивно.

Я не знала, в чем дело, но меня подмывало почему-то быть на маминой стороне, хоть обычно я бывала на папиной.
— Сейчас происходит столько невообразимого,— продолжал отец,— что я не буду убеждать тебя... в возможности невообразимого.
Наши особые отношения заключались и в том, что отец никогда не подбирал слов или фраз, понятных моему возрасту. Но в тот предрассветный час он вовсе забыл о моих годах! Что невообразимое собирался поведать он мне? Меня ожидала невообразимость не радостная, а тяжкая, даже чудовищная — это было понятно. Но какая именно?
— Я давно хотел сообщить вам с мамой... что должен уйти.
— Как уйти?
— В самом буквальном смысле. Покинуть ваш дом, который был *нашим*. И он дорог мне! Прости за такую сусальную фразу... Дорог, но я покидаю его.
— Насовсем?
— Насовсем.
— Как это? Почему?!
— Потому что я, Танюша... прости меня, умоляю... полюбил другую женщину. Тоже истертая фраза. Но полюбил!
— Больше мамы?
— В каком-то роде... да.
— В каком роде?
— Ты не поймешь.
Раньше он верил, что я все способна понять.
— Но ведь ты всегда говорил: «Пожалей Танюшу...»
— Я и жалел. Долго жалел. Нет, не так... Я и сейчас жалею. Очень, бесконечно жалею тебя.
Отец прижал меня к себе вместе с одеялом, которое накрывало меня, и подушкой, на которой я лежала... Я почувствовала, как прикоснулись к моему лбу его глаза. Они были влажно-жаркими. Но я все-таки вырвалась и оттолкнула его.
— Твой «мозговой трест» в *такое* время не придумал ничего другого? В *такое* время?
Наверно, я сказала это немного по-иному, более детскими словами... Хоть наедине с отцом и становилась вроде бы равным ему человеком. С другими я выглядела гораздо младше. Сказать «моложе» не могу, потому что мне было одиннадцать с половиной.
— Я уже не «мозговой трест» наркома,— ответил отец.— Потому что и сам нарком уже не нарком.
Мне стало зябко под одеялом: за наркомом должен был последовать его заместитель... Подумав, что этот страх для меня страшнее страха его ухода к другой женщине, отец, как в прежние, будто уже и не существовавшие годы погладил меня по лицу:
— Не бойся: наркома лишили не жизни, а только должности.
— Пока?
Я повторила любимое словечко дальнего отцовского родственника, которое сейчас уже было для меня не словечком, а словом.
— Не беспокойся за меня,— попросил отец.— Конечно, случается, что страдают невинные... Но не все же подряд.
Он не знал, что я навострилась подслушивать разговоры, происходившие в соседней комнате, всякий раз опасаясь стать неподходящей для них «аудиторией».
— У вас, я думаю, все будет хорошо,— продолжал жалеть меня отец.
— У кого... у вас? У меня и у мамы отдельно от тебя, а у тебя отдельно от нас? С кем?
— *Она* не виновата... Я повинен во всем!
— Сейчас кругом страдают невинные. А ты, стало быть, в отличие от других виноват?
— Перед тобой и мамой. За это меня можно судить. И судите! Даже в присутствии, как говорится, общественности. Я заслужил. Перед вами повинен. Очень повинен... Но *в том* смысле будь за меня спокойна.
Странное дело: самообманно успокоившись «в том смысле», я с особым ожесточением набросилась на отца в другом смысле, который касался не

Родины в целом, а нас троих. Я все, повторюсь, произносила по-детски и не могу сейчас воссоздать те фразы, но смысл их не искажаю.

— Мама сказала, что ненавидит тебя. Я слышала. И тоже буду тебя ненавидеть!

— Правильно сделаешь.
— Правильно?!
— Это будет справедливо... Нормально!
— Зачем же... зачем же ты... если сам понимаешь?
— Ничего не могу с собою поделать.
— А с нами ты такое... поделать можешь? — Неожиданно для себя самой я соскочила на пол в ночной рубашке— А где мама? Почему она молчит?

— Я дал ей снотворное. Вместо пилюли от головной боли, которую она просила... подсунул ей другую пилюлю.
— Пилюлю? Ты не пилюлю подсунул, а яд!
В разговорах с отцом я обретала тот стиль, которого требовало наше с ним равноправие.
— Извини меня, если сможешь.
— Не извиню. Не смогу! И презирать буду тебя... как мама.
— Правильно сделаешь.
— Почему ты соглашаешься со мной?!
— Потому, что ты права. Абсолютно во всем.
— Объясни все-таки, как ты... в такое время?!
— Влюбляются даже на войне. Даже под огнем... за десять минут до гибели. И я, может, влюбился тоже... незадолго до гибели,— проговорился отец.

— Значит, и то возможно?
Мне стало до того зябко, что я вернулась под одеяло.
— Не страдай из-за меня, Танюша. Я не заслуживаю.
— Но что я скажу... другим людям?
— Как есть, так и скажи.
— Ты не будешь возражать?
— Не буду.
Что было говорить дальше? Я не знала. И произнесла то, что уже через минуту показалось мне непостижимо глупым (но ведь и все происходившее было непостижимым!):
— Подруги спросят меня, почему больше не приезжает машина...
— Многие машины, которые раньше подъезжали к нашему дому, теперь уж не подъезжают.
— Но то, ты знаешь... совсем иное. Про то не спрашивают.
— Скажи всю правду.
— Мы с тобой... совсем не будем больше видеть друг друга?
— Первое время... не будем... Потому что каждый раз возвращались бы к этой ночи, к этому разговору.
— И ты не соскучишься?
— Я поступаю как плохой отец и плохой муж. Так вышло. Изображать из себя при этом хорошего отца значило бы быть и плохим человеком.— Отец через силу добавил: — Хотя плохой отец и есть плохой человек. Но я не хочу быть еще и лживым. Пусть все знают, каков я есть... по отношению к тебе и к маме. Хоть в этом я найду очищение.
Что было еще говорить? И зачем? Но я вдруг спросила:

— Как ее зовут?
— Кого?
— Ну, ее...
— Ларисой.
— Как?! Ты, значит... мою куклу назвал в ее честь?
— В ее... Прости меня. И здесь виноват!
— Но зачем же... зачем, объясни еще раз, ты говорил маме: «Танюшу пожалей»? А сам пожалел Ларису? Нечистая сила! — неожиданно для самой себя произнесла я.

Он еще раз прижал меня вместе с подушкой и одеялом. Но так, что оттолкнуть его я не смогла...

— Отец думал, что я смогу заснуть от снотворного? Но я не спала,— на следующее утро, когда машина с поднятым верхом последний раз прощально отчалила от нашего подъезда, сказала мне мама.— Я слышала звуки ваших голосов — только звуки! — и до утра думала... В том положении, в каком мы с тобой оказались, облегчение вроде бы искать бесполезно: ни друзей, ни отца, ни мужа. Ни справедливости... Ни пощады! Но я поняла, что облегчение все-таки есть. Оно — в нашей с тобой любви. В неспособности кого-либо на земле нас разлучить... Теперь даже спать будем вместе. Ты согласна? Чтобы и ночью не разлучаться.
— Конечно... Прижмемся друг к другу — и нам станет легче!
— Спасибо, доченька.
Мама не была сентиментальной, наоборот, она считалась сдержанным человеком. Слово «доченька» я услышала от нее впервые.
— Но, мамочка..— почти шептала я.— Ты ведь такая красивая. Даже сейчас... Посмотри на себя в зеркало! Почему же отец?.. Как он смог?
— Наверное, это случилось не сейчас. То есть началось...
— Но зачем же он именно теперь... когда надо быть вместе?
— С тем, кого любишь! — вернувшись к прежней своей тональности, перебила меня она. И, произнеся трудную для себя фразу, вновь смягчилась: — Он не захотел лгать именно сейчас, когда везде лгут.
Это было очень похоже на то, что говорил о себе сам отец.
— Ты оправдываешь его?
— Я знаю его лучше других. Даже лучше, чем ты: мы дольше прожили вместе. Я не хочу менять мнение о человеке только из-за того, что он разлюбил меня. Почему нельзя меня разлюбить?
— И меня... Я согласна.
— К тебе это не относится. Я убеждена! Но продолжать ложь даже во имя любви к тебе он не захотел.
— И все равно, мамочка... Не могу понять. Не могу!
— Знаешь... я сделала для себя открытие: тридцать семь — роковая цифра. Она несет с собой нелогичность событий, трагедий. Гении уходили из жизни в тридцать семь лет. Не все, конечно... Но многие как раз в тридцать семь. Я додумалась до этого сегодня ночью. В тридцать седьмом, ровно сто лет назад, был убит Пушкин. И кем? Чужеземцем! Если б сегодня все это делали чужеземцы, я бы еще могла понять.
— Во дворе Надиного папу... называют «врагом». Я слышала. И других называют врагами...
— Как можно поверить, что лучшие — это худшие? Находясь в здравом рассудке и здравой памяти... как можно поверить? Не понимаю. Или, может быть, я рехнулась?
— Что ты, мамочка? — испугалась я.— Ты самая умная.
— Самым умным в нашем доме был твой отец.
— Но ты самая... справедливая. Честная!
— Самым честным тоже был он. Я не хочу из-за личных обид... искажать истину.
— Но ты ведь сказала, что он... лгал,— опять перешла я на полушепот.
— Есть ситуации, в которых умолчание равнозначно понятию «ложь». Но здесь другой случай. Совсем другой... Мы бы обвинили во лжи слишком многих достойных и даже замечательных людей прошлого, если бы ставили обманный знак равенства... в случаях, подобных отцовскому.
Я хотела спросить: «Мамочка, а ты по-прежнему любишь его? Не уважаешь, а именно любишь?» Но пощадила ее.
А мама решила изменить направление нашего разговора.
— Есть один план,— на глазах у меня обретая надежду, произнесла она.— Как все значительное, этот план лежал на поверхности... И, как многое там лежащее, не был мною замечен.— Помолчав, точно мобилизуя душевную энергию, мама сообщила: — Я решила написать письмо... То, которое послал отец, не дошло. Я уверена... И оно касалось лишь двух человек. Могли счесть это частными фактами, послать на проверку. А то, что я напишу, будет обобщением тысяч событий и фактов. Там не только о частных судьбах пойдет речь, но о судьбе нашего дела, всей нашей партии!
— Я боюсь, мама.
— Если его прочтет лично товарищ Сталин, все перестанут бояться. И не спать по ночам... И подсчитывать количество ступеней до своих квар-

тир. И прислушиваться, на каком этаже остановится лифт... Перестанут! Когда он лично прочтет...

— А если он не прочтет?

Несколько дней и ночей подряд я занималась психологическими исследованиями. На улице я внезапно присаживалась: ноги немели, точно не могли вынести тяжести моих раздумий. Припоминая факты, я отыскивала такие, что были косвенными доказательствами отцовской неверности. Слово «доказательство» стало тягостно популярным во всей стране. Телевидения еще не было, а траурно-черные, окаймленные пластмассовым кругом тарелки, висевшие на стене, оповещали о самом главном, чем жило общество. Получалось, что жило оно в основном поисками доказательств: прямых, косвенных и всяких иных. Доказательств обнаруживалось столько, что непонятно было, где отыщется соответствующее им количество столбов позора, к которым следовало бы пригвождать.

Беспощадней всего терзало меня непонимание: как же безумно должен был влюбиться отец, если не посчитался ни с мамой, ни со мной, ни со временем? «А может быть, любовная неверность теперь поощряется, ибо отвлекает от неверности более страшной?» — по-детски, разумеется, но почти так размышляла я.

Усиленные поиски чьей-то вины ведут нередко к ее мнимому обнаружению. Внешнее обличье факта зависит от того, какими глазами на него взирают. И обличье, увиденное искаженным взором, принимается часто за суть. Особенно если мы опасаемся этой сути. Говорят, у страха глаза велики... Не только велики, но и целенаправленны. «Кто ищет, тот всегда найдет!» — издевательски звучали в ту пору слова еще одной легкомысленной песенки.

Так я думаю ныне, отвлекаясь от цели своих тогдашних исследований. А в те давние дни поиски приводили к доказательствам, хоть и косвенным, но, убеждала я себя, безусловным.

«Может, отец, обкармливая меня удовольствиями, от меня откупался?»

Поиски вины рождают подозрения... Но главное мое подозрение не было надуманным: почему отец не ревновал маму?

— А раньше он тебя ревновал? — осведомилась я в ходе расследования.

— Как безумный! — ответила мама. И глаза ее заискрились воспоминанием.— Как безумный... Но после излечился с помощью, как выяснилось, сильнодействующего лекарства «Лариса».— Мама спохватилась: — Я не виню его. А просто так... отвечаю тебе на вопрос.

Ответ ее, однако, стал одним из самых весомых косвенных доказательств.

«Нормально ли было маму не ревновать? — нагнетала я.— Да еще к комкору, который полки и дивизии побеждал, города завоевывал... Что ему стоило победить и завоевать какое-нибудь слабое женское сердце?»

Мамино сердце я не считала слабым. Но отец-то, если любил, не должен был считать его сильным и стойким. Он должен был сомневаться, тревожиться... А он не тревожился и не сомневался.

Расследование дошло и до припадков маминой ревности. «Нет, они не были беспричинными! — наконец образумилась я.— Мама страдала отнюдь не напрасно. Она все предчувствовала! А я нет... Следила за нею, красавицей, во все глаза. А следить-то надо было, оказывается, за некрасивым отцом!»

Надя с пятого этажа считалась самой модной девочкой в нашем доме. Называть Надю самой очаровательной мне не позволяло самолюбие, а может, и зависть. Я бы, разумеется, возмутилась, восстала, если б кто-нибудь вслух обвинил меня в этом. Потому что самолюбие не что иное, как замаскированное более хитрым словом себялюбие.

Увы, гораздо легче похвалить одежду, которую можно купить, чем достоинства человека, приобрести которые за деньги нельзя. Надя была всего на год старше, но выглядела, как говорили, «маленькой женщиной». И это не вызывало ощущения противоестественности, конфликта с законом природы. Наоборот, это как бы подсказывало, что со дня рождения человек — не

просто ребенок, а маленький мужчина или маленькая женщина (и что это вовсе не одно и то же!)

Я продолжала быть маленькой в смысле буквальном. Но общая напасть высветила мелкость многих индивидуальных страданий — и я перестала завидовать Наде.

Надин отец, сын грузчика, окончивший до революции всего четыре класса, знал пять языков. Его называли странным словом, которое явилось словно бы из любимых мною книг Брема и относилось к какому-то всепожирающему чудовищу: «полиглот». Оно не обозначало его профессию: по профессии он был дипломатом. Мама рассказывала, что во времена голода, чуть не удушившего нашу страну, Надин отец «мотался по миру», чтобы с помощью сытых, но честных людей (мама называла их «прогрессивными») спасать людей голодающих.

— Его заслуги перед страной очень велики,— сказал, помню, мой отец.

— За что его и посадили в тюрьму,— добавила мама.— Отблагодарили... Те, которые хотят обескровить партию и погубить ее вождя!

Когда разговор касался вождя, отец уклончиво не поддерживал маму. «Может, причиной всех — и даже таких — его несогласий... была Лариса?» — стала подозревать я позднее.

— Однажды,—рассказывала мама,— Надины родители пригласили меня быть арбитром, то есть судьей в их споре. Мать считала, что Надя не имеет права выделяться одеждой среди подруг, а отец ее ошибочно, на мой взгляд, уверял, что по одежке только встречают, что можно и в отрепьях унизить людей, а в самой изысканной одежде не возвышаться над окружающими. Такова философия, но не такова реальность!..

Надина мама выбрала судьей мою маму не случайно: в чем-то они были похожи. И в Надиной семье мать воспитывала, а отец просто общался на равных.

В результате дискуссии Надя подчинилась точке зрения отца. Так ей было приятней... А то, что приятней, мы чаще всего и принимаем за справедливость. Я бы поступила подобным же образом! Стремясь доказать отцовскую правоту, Надя носила платья, пальто и туфли, которые привозил отец-полиглот, так, чтобы при этом не выделяться. Точнее сказать, она выделялась, но застенчивой сговорчивостью и неумением считать, что превосходство в одежде дает право на превосходство хоть в чем-то еще.

В Надю, немея или открыто и вслух, были влюблены и ее одноклассники (училась она уже в шестом), и семиклассники, и маленькие мужчины-дошкольники, предлагавшие ей свои трехколесные велосипеды у нас во дворе.

И вот поклонники отступились... Охладели, как по команде. По команде своих родителей. Надя не замечала их ранних любовных терзаний, но заметила их отступничество. Даже дошкольники предали свои чувства: они проезжали на трехколесных велосипедах мимо Нади, как мимо низкорослого заборчика, окружавшего тощий сад внутри обширного двора.

— Сколько же своих чувств они предадут в будущем? — сказала мне мама.— И скольких людей?..

Через неделю после ухода отца в нашу дверь позвонили еще до рассвета. Было часов пять.

Мы с мамой спали, прижавшись так цепко, точно хотели доказать друг другу: «Что бы ни произошло, это случится сразу с обеими. Только с обеими вместе!»

Однажды, заглянув под кровать, я заметила, что там лежит чемоданчик, с которым мама отправлялась в недальние командировки. Вытащила его... Чемоданчик был собран как бы в дорогу: мамино белье, два платья, даже порошок и зубная щетка. Я поняла, куда мама собралась. Конечно, «на всякий случай», но все-таки собралась...

— Предполагалась командировка,— объяснила мне мама.— Но отменили.

Она солгала до того откровенно, что вроде и не солгала. В тот же день чемоданчик из-под кровати исчез. И вот ночью раздался звонок...

— Отец вернулся? — с глупой надеждой предположила я.

— Это не его звонок,— проговорила мама.— Но и не их... Они звонят не так скромно и не так коротко. Я не успокаиваю тебя. Но, поверь, это не

о н и... Хотя нарушать человеческий сон — их любимейшее занятие. Они все время что-нибудь нарушают. И такое, чего до них нарушать не решались. Думаю, за всю историю человечества!

Мама тянула время, продолжая не отрываться от меня, даже прижимала еще крепче, порывистей. Выходит, она не была полностью уверена в своих словах. Я ощущала, что она обратилась в слух. Только в слух. Звонок повторился... Еще более слабый, растерянный.

— Это не о н и! — сказала мама.

И мы с ней, укрывшись одним одеялом и не отрываясь друг от друга, босиком пошли в коридор. В тот год дверь по ночам открывали без лишних вопросов. Мы и открыли.

На пороге, тоже завернутая в одеяло и тоже босая, стояла Надя с пятого этажа. Одеяло было пуховое, простроченное квадратиками. Я почему-то подумала, что эти квадратики, выглядевшие изысканно, все же напоминают решетку. Под пуховым одеялом Надя дрожала лихорадочно, неостановимо мелкой, будто автоматической дрожью. Мама втащила ее в коридор и так торопливо захлопнула дверь, точно за Надей гнались.

Все понимая, но не зная от потрясения с чего начать, мама спросила:

— Почему ты в рубашке?

— Они забрали все мои платья...

Дрожь, как телеграфный аппарат, четко отделяла букву от буквы.

— Почему забрали? — спросила мама, привлекая ее к себе и ко мне. Так, втроем, мы и стояли, словно боясь разъединиться.

— Потому что они заграничные.

— Платья?

— И туфли... Они все забрали.

— Зачем?!

— Сказали... как доказательства.

— Доказательства чего? Какие доказательства?!

— Ве-ще-ствен-ны-е...— дрожа все автоматичней, все чаще, проговорила Надя.

Она не плакала: плакать у нее не было сил.

— А тапочки... тоже забрали?

— Нет... я забыла надеть.

Наде не подошли мои платья и туфли: она была старше всего на полтора года, но в раннем возрасте это большая разница. И «статуэткой» она не была... Мама наскоро перешила для нее свои кофту и юбку.

— Они сказали, что отдадут меня в детский дом. Какой-то особый,— беспрестанно воспроизводя в памяти ту ночь, сказала Надя.— Мама кричала им: «Не делайте этого!.. Я имею право на последнюю просьбу. И я умоляю вас: отдайте дочь моим родственникам».

— А они что ответили? — спросила моя мама.

— «С вашими родственниками надо сперва разобраться!» Они и их... собираются, да?

— Ни в какой особый детский дом они не заточат тебя,— пообещала мама с такой уверенностью, что Надя впервые после той ночи заплакала.

— Спасибо, Мария Никитична... Я буду вас слушаться, как слушалась маму и папу. Не отдавайте меня...

— Не отдам.

— Ты бы скорей послала свое письмо,— неожиданно для себя самой напомнила я маме.

— Там надо продумать каждую строчку. А главное — придумать, обеспечить... чтобы он получил. Сам! Лично... Он ужаснется! И будут спасены миллионы людей. А чей-то карающий перст уже не сможет подчинять всех отсутствию логики.

«Нелогичность репрессий...» Ее мама считала источником всеобщего отступничества и страха. «И правда,— размышляла я,— если карают кого попало, значит, каждый чувствует себя беззащитным. И может стать жертвой... И каждый объят ужасом за себя, за семью. Именно каждый! Мама преподает историю партии, почти наизусть знает ее — и она все разгадала!»

— В этом и заключается иезуитский план врагов партии и товарища Сталина,— время от времени повторяла мама.

— Иезуитство он должен был распознать, поскольку сам учился в иезуитской семинарии,— один раз полушепотом ответил отец.

Свое письмо мама сочиняла непрерывно: и когда писала его, и когда разговаривала с нами (я определяла это по ее удалявшимся вдруг глазам), и когда пила чай, и когда прислушивалась к траурно-черной тарелке, висевшей на кухне.

По радио гневно взвинченные дикторские голоса постоянно кого-то разоблачали. Об уже обнаруженных и еще притаившихся, но уже обреченных врагах сообщали из республик, городов, сел...

— Если столько без вины виноватых, то сколько же и палачей, их карающих! — протестующе выдернув штепсель из радиорозетки, воскликнула, помню, мама.

Надю мы на улицу не выпускали: мы ее прятали. Я была поражена, что не только бывшие поклонники, но и учителя в школе не спрашивали про нее. Страх разъединял людей, но поступки их как бы «объединил». И поступки были нежданно-неправедными...

Чтобы Надю не могли вырвать из нашего дома, не могли у нас отобрать, мама пришла к решению, которое взбодрило ее и которое она считала гарантией Надиного спасения:

— Пока я сочиню свое письмо и передам его в верные руки, напиши письмо ты, Надюша. И я передам его в те же руки!

— Какие руки? — спросила я.

— Это тайна. Но я вам ее открою.— Мама вернула штепсель в розетку, чтобы постоянно гневавшийся голос радио перекрыл ее голос.— Оказалось, что отец одной из моих студенток преподаватель математики... в той самой школе, где учатся дети товарища Сталина. Их отец, несмотря на великую занятость, регулярно расписывается в дневниках. Такая вот характернейшая деталь! Я попрошу передать наши письма его детям... Сначала твое, Надюша, а после — мое. Кстати, покойную жену товарища Сталина, как и жену Владимира Ильича, звали Надей. Их жен звали одинаково. Не символично ли это? Так что... твое имя будет ему приятно.— Тогда мы еще не знали, что жена вождя не ушла из жизни, а вырвалась из нее.— И кроме того... Письмо ребенка из рук ребенка он примет с особым доверием!

— А что... я должна написать? — опять нервно, автоматично задрожавшим голосом спросила Надя.

— Начни так: «Лучшему другу детей — Иосифу Виссарионовичу...» Фамилии не надо. Так будет сердечнее...

Мама редко меняла решения, потому что сперва много раз молча высказывала их самой себе, педантично при этом корректируя, совершенствуя,— и лишь после этого делилась с другими.

Но были, оказывается, такие планы, которые она не могла обсуждать с собою наедине. И меняла которые тоже вслух.

Через несколько дней она сказала, что лучше оба письма передать по высочайшему назначению одновременно: о н тогда и получит их в один день. Письма как бы дополнят друг друга — и о н поймет, что кто-то коварно пытается лишить его опоры, лишить самых преданных и самых необходимых ему единомышленников. Ведь он-то знает, что эти истребляемые люди сутками не разгибались, безжалостно изнуряли свои умы и физические силы, чтобы воплотить в реальность е г о грандиозные замыслы и превратить нашу страну в державу.

Мама говорила нарочито официальным, газетным языком, хотя и такое, чего в газетах публиковать не могли. В ином стиле о н е м высказываться было не принято. Заметив усталость на моем лице, мама объяснила:

— В письме я выразила все другими словами. Такими, что он поверит каждому из них! Вам читать я не стану: пусть о н прочтет первым. Это — для его глаз, для его мудрости...

Я не обиделась: то, что предназначалось для е г о глаз, естественно, не могло предназначаться для наших ушей.

— Ну, а свое письмо, Надюша, ты нам с Таней уже доверила. И ты знаешь, что я подсказала тебе всего лишь пять слов: «Лучшему другу детей — Иосифу Виссарионовичу...» Все остальное — твой собственный голос. И о н услышит его. Теперь уж я совершенно уверена, что услышит!

С той минуты Надя переменилась. Чем безысходней положение человека, тем доверчивей цепляется он даже за призрак надежды. А тут не было призрачности: мужчина, которого дети Учителя называют учителем, взялся передать письма!..

К Наде вернулась способность думать о ком-то, кроме своих родителей, о чем-то, кроме их и ее несчастья.

— Твоя мама простила?

— Кого?

— Твоего отца.

— Почему ты... говоришь об этом?

— Фотографии его и там... и там... и повсюду.

Мама не тронула ни одной отцовской фотографии. Надеялась на его возвращение?.. Если б отец смог вернуться, он бы не смог уйти. Тезка моей куклы («Ах, эта чертова кукла!» — мысленно восклицала я по поводу ненавистной японской пришелицы с русским именем), безусловно, околдовала отца навсегда: иначе бы он к мукам, обрушенным на нас историей в смысле глобальном, не добавил бы муку, исходившую от истории «личной». Глобальное значительней личного, но сколько «личных историй» доконали, свели людей на тот свет!.. Примерно так, хотя другими, конечно, словами разъясняла я себе ситуацию.

Мама же, я чувствовала, стремилась от трагедии «частной» отвлечь себя общей трагедией. Но «частная» прорывалась иногда окаменелой отрешенностью, задумчивостью, лишенной дум, сосредоточенной лишь на непостижимости одного факта.

Для иных людей источником радости становятся чужие мучения. Источником, как говорится, неиссякаемым, потому что неиссякаемы беды людские. И во дворе у нас поползли слухи об «измене» отца.

Вспомнив чеховский рассказ и перефразировав одну его строчку, мама сказала:

— Пусть говорят, что изменил мне,— лишь бы не говорили, что он изменил Отечеству.

Но наступил день, когда мама примчалась домой раньше положенного срока и прямо с порога голосом, которого я не узнала, выкрикнула:

— Надя... где твое письмо?

Подумав, что ей угрожает «особый» детский дом, Надя спряталась за кухонный шкаф. И так прижалась к его обшарпанной стенке, точно хотела вдавить ее внутрь и самой проникнуть туда.

— Не бойся... не о тебе речь... Арестовали Володю! Володю арестовали... Арестовали Володю... Арестовали Володю!

— Не может быть,— машинально проговорила я... Хотя мысль об опасности, подкарауливавшей отца, не расставалась со мной. «Пусть бы он десять лет назад ушел от нас! Пусть бы ни разу не позвонил с тех пор. Пусть бы он забыл, как меня зовут! — схватившись за что-то попавшееся мне в коридоре, то ли за стул, то ли за стол, беззвучно бормотала я.— Пусть бы было все что угодно... пусть бы было...»

— Я виновата! — голосом, который я продолжала не узнавать, выкрикнула мама.— Не успела... Передать не успела! Дура... Идиотка... Предательница! Передать не успела... Где твое письмо, Надя? Где?

Надя слилась с обшарпанной стенкой шкафа. И, боясь обнаружить себя, не дышала.

— Вот... вот оно...

Я протянула маме письмо, которое Надя утром закончила: «Лучшему другу детей — Иосифу Виссарионовичу...»

Звонок раздался в два часа ночи. Это был их звонок: он пронзил собой всю квартиру — и, мне показалось, хозяйской самоуверенностью своей протаранил входную дверь. Мама нежно, еле заметно оторвалась от меня, будто все, что предстояло, могло не нарушить моего сна, обойти меня, остаться для меня не замеченным.

Чтобы звонок не повторился, она, еле касаясь пола, полетела открывать, даже не набросив халат, в напоминавшей балахон ночной рубашке.

Напрасно она торопилась — второй звонок не мог потревожить наш дом: перед ними двери отворялись по первому звонку, словно по приговору.

Я поняла, что жизнь моя, совсем недавно начавшись, уже кончилась.

Мне было около двенадцати лет, но меня в отличие от Надиного отца-полиглота называли «книгоглотательницей». Отыскав и прочитав почти все, что когда-либо было написано о рыцарских поединках, об ожесточенных баталиях более поздних времен, я сравнивала прочитанное с происходившим и, все острей ужасаясь, осознавала, что ни на какой войне не могли возникнуть такая беззащитность и такое отчаяние. Люди, привыкшие бросаться в атаки, не могли в них бросаться... Против кого? Против своих?! Я уткнулась в тупик безнадежности, в окаянность беды, которой невозможно противостоять, с которой нет средств бороться.

Дверь захлопнулась,— и сразу коридор не ожил, а омертвел от незнакомых голосов людей, ощущавших себя не просто хозяевами, а властелинами нашего дома.

— Не зажигайте там... свет,— шепотом попросила мама, будто все еще хотела, чтобы мой сон продолжался.— И там... не надо, пожалуйста.

Это уже относилось к другой комнате, в которой была Надя.

— Как это так? — с нагло-веселым недоумением возразил мужской голос.

— Там дети.

— Ну и что?..

Тут же в комнату вторгся ослепляющий, бесцеремонный свет. А вместе с ним — мужчина лет тридцати семи (именно эта цифра пришла мне на ум!). Он был в габардиновой гимнастерке, словно татуированной на рукаве пугающим хитросплетением, изображавшим щит и меч.

Обороняться щитом майору (спутники называли его именно так) было не от кого. А кого он пришел карать мечом? Маму, меня, Надюшу? Нас всех?.. Эти мысли приходят в голову мне лишь сейчас. А тогда я думала об одном: что уготовано маме? Я пыталась предугадать только это. И ждала раскрытия одной этой тайны, от которой зависело все. Совершенно все... До конца...

— Встань и оденься,— приказал мне майор, как тоже в чем-то виноватой.

Маме он надеть халат или платье не предложил и время от времени с дерзким любопытством поглядывал на мою красивую маму в длинной, почти до пола, ночной рубашке, похожей на балахон. При этом он превращал в смотровые щели свои и без того по-чингисхановски узкие, будто засекреченные глаза.

Я оделась.

— Все сконцентрируйтесь на кухне,— распорядился майор. И пригладил черные до блеска, будто нагуталиненные, волосы, рассеченные клинком пробора.

По квартире «рассредоточились», как он выразился, еще двое: штатские, но в галифе и надраенных сапогах. Они были помоложе и очень, как я сразу заметила, исполнительные: «Мы туда, товарищ майор... Мы сюда, товарищ майор...» Кивками нагуталиненной головы он все разрешал, потому что они знали, на что испрашивать разрешение. В коридоре были и двое «понятых»: наш дворник, хищно обнажавший выступавшие вперед зубы, и паспортистка из домоуправления, болезненно-худая и желтолицая женщина, которой стыдно было исполнять ту ночную роль, и она всячески подчеркивала, что попала в нашу квартиру случайно и что никогда ничего подобного ей делать не доводилось.

— А надолго мы тут? — спросила она майора.

— На сколько понадобится!

Из соседней комнаты вывели Надю.

— Упрятали, значить! — пояснил дворник.— Она с пятого этажа будет. Андриановы их фамилия. Отца с матерью взяли... А дочку они, значить, у себя скрыли.

Майор, как ни странно, не обратил на его донос никакого внимания.

— На кухне сконцентрируйтесь,— вновь приказал он маме. И опять всю ее оглядел.

Паспортистка ринулась в комнату, вытащила оттуда стул и, опередив нас, поставила его на кухне, возле окна.

— Садитесь, Мария Никитична,— предложила она.— Платье вам принести? Или халат?

Мама медленно, как на скамью подсудимых, опустилась на стул. Мы с Надей сели на табуретки.

— Сейчас обыск начнется,— с безразличием обреченности прошептала мне Надя. Один раз она уже все это пережила.

Я будто потеряла сознание. Но сквозь полузабытье уловила, что паспортистка принесла маме халат. И потом ко мне стал то и дело прорываться мамин голос:

— Не беспокойтесь, девочки мои... Все будет хорошо... Я верю. Не волнуйтесь, мои дорогие...

А на рассвете случилось невероятное... Майор вышел в коридор с телефонной трубкой и не ласково, а сладостно заворковал:

— Я разбудил тебя? Прости, милая. Работаю! Как всегда, работаю... Не волнуйтесь: утром я не приду. Буду поздно вечером или ночью. Ляленьке пожелай на экзамене получить «отлично». У нас ведь литература? Вот видишь, помню. Ну, прости...

У него, значит, была жена, которую он не хотел будить, и была дочь, которой желал успеха. Я поняла также, что он не собирается уходить от нас до следующей ночи. Что же он намерен так долго делать?

Хлопали двери и дверцы шкафов, легко или со скрипом выдвигались и задвигались ящики столов, трещала, как бы сопротивляясь, передвигаемая с места на место мебель. Привычно и с удовольствием ворошили пришельцы наши вещи, наш дом. Аресты, погромы, обыски... Я видела их только в кинокартинах про старые времена. И вот все это явилось в наш дом. «За что? — взывала душа моя.— За что?!»

Поздно вечером майор вошел на кухню победоносно. Сзади, будто для группового снимка, сгрудились два молодчика в сапогах и галифе, а с ними и дворник, не прятавший ни на миг своей хищной ухмылки. Паспортистка затерялась где-то в коридоре или в одной из комнат.

Впереди себя майор обеими руками держал мою неестественно огромную куклу японского происхождения, но с русским именем.

— Нашли,— сказал он. По-чингисхановски щелкообразные глаза его пропускали наружу лишь торжество.— Японская, да?..

— Из Японии,— подтвердила мама.

— Вижу: о т т у д а... А это вот что?

После моих операций на Ларисин живот в разных местах были белыми нитками наложены швы.

— Дочь играла... Операции делала. У вас ведь тоже есть дочка. И вы, наверное, знаете...

— Мою дочь не трогайте! — будто отбросил маму майор. И стало ясно, что меня нельзя сравнивать с его дочерью. И Надю нельзя... И даже игрушки не подлежат сравнению с игрушками его дочери. Она была по ту сторону чего-то непреодолимого, а мы трое — по эту.

— Не зря потрудились! — Майор обернулся и поощрительно взглянул на своих подручных.— Не зря!.. Теперь уж мы дознаемся, ч т о было переправлено о т т у д а к нам в этой кукле. Что искали, то и нашли... Тут уж не вещественное, как говорится, доказательство, а совершенно неопровержимое. Напали на такой след! Потому что сколько веревочке ни виться... Дальше сами знаете!

— Но это же безумие,— проговорила мама.— Это же сумасшествие...

— Приобщите! — не слыша ее, приказал майор своим помощникам. И протянул им мою «игрушку».

Они схватили ее четырьмя руками. Погрузили Ларису в металлический ящик, опустили на самое дно и заперли с таким щелком, словно заключили в какой-нибудь за̀мок Иф или, еще того хуже и окончательнее, в Бутырку или Лефортово. Из своей «одиночки» Лариса не подавала голоса. Хотя голос у нее был... Но умел он лишь откликаться: на прикосновение к ее спине, к животу.

— Нечистая сила...— прошептала я.

— Что? Нечистая сила? Разве я наследил? — виновато осведомился майор. И оглядел пол.

— Можно у вас освежить лицо и руки? — с неожиданной вежливостью, как бы в благодарность за «чертову куклу» спросил он.

— Вы здесь... хозяева,— прошептала мама.

Он отправился в ванную комнату. Там долго, то прерывая, то возобновляя свое течение, будто все было мирно и хорошо, текла, как прежде, вода.

Вслед за майором поспешно, вроде бы выполняя команду, освежились после завершенных трудов его старательные помощники. Дворник мыться не стал. Майор, удовлетворенно покряхтывая после мытья, отправился в нашу с мамой комнату, где был телефон. Неслышно набрал номер, но, чтобы мы все же были в курсе его благополучных домашних дел, снова, как на рассвете, вышел с трубкой в коридор:

— Прости, милая... Опять тебя беспокою. Но ты уж привыкла, моя боевая подруга. На вахте как на вахте! Что, Ляленька? Я и не сомневался... Поздравь нашу отличницу. Так держать! Я?.. Рассчитал, в общем, точно. Ты же меня знаешь... Работу закончили. Часа через полтора буду дома. Да, да... Все нормально!

Он вернулся на кухню и сказал маме:

— Ну, собирайтесь.

— Куда?

— Вот куда.— Он протянул маме какую-то бумажку. Но она не стала читать, а сразу заспешила в нашу комнату. И через несколько минут вернулась оттуда в платье. Чемоданчик, который раньше лежал у нас под кроватью, был у нее в руках.

— Готовы? — спросил майор так, точно маме с чемоданчиком предстояла приятная командировка.

— Готова.

— Можете попрощаться.

— Как... попрощаться? — спросила я.

Майор отвернулся к окну, за которым был наш двор. А во дворе было мое детство, которое он в тот поздний час отбирал окончательно. Казалось, что детства у меня и в прошлом-то не было, потому что прошлое нашего дома было зачеркнуто, опорочено...

Мама опустила чемоданчик, бросилась ко мне и обняла так, как обнимала в постели, когда я была совсем маленькой, и недавно, когда я стала совсем несчастной.

Потом притянула к себе и Надю... Но обращалась только ко мне:

— Запомни, Танюша, что я скажу тебе. Все выяснится — и правда восторжествует. Мы опять будем вместе. Всей нашей семьей. С отцом...

— Он-то вас бросил,— вполз вдруг на кухню паскудный дворницкий полушепоток.

— Не вмешивайтесь, понятой,— по-прежнему глядя во двор, где ничего уже нельзя было разглядеть, распорядился майор.

Внезапно в дверях возникла паспортистка с болезненным, желтым лицом:

— Он не вы́писался из нашего дома! Не вы́писался! — не глядя на дворника, ожесточенно возразила ему паспортистка.

— Вот об отце... Об отце я хотела сказать самое главное! — вроде бы вспомнила мама.— Я все узнала еще позавчера... Никакой Ларисы на свете нет. Не существует! Это он выдумал. Чести своей не пожалел. Чести! Ради нас... Да, он все выдумал, сочинил! И перед людьми опозорил, оклеветал самого себя. Зачем? Ты спросишь: зачем? И почему я не рассказала тебе? Не могла я раскрыть его план, не имела права! Святой план, святой... Зачем? Ты спросишь: зачем? Он не хотел, чтобы ты осталась сиротой, а я была женою врага народа... Но я жена врага!

Майор стремительно оторвался от окна:

— Любопытнейшее признание!

— Жена врага... Врага несправедливости. И врага наших врагов! Можете записать...

Майор разочарованно вновь уткнулся в окно.

— Да, да... Вы послушайте... И пусть все услышат: вот какого врага я жена! А ты — дочь...

Мама вела себя слишком необычно для разумения майора, который не раз проводил такие бессонные ночи и уже не наслаждался подобно нашему дворнику возможностью безнаказанно заглядывать в заповедные зоны человеческой жизни, измываться над жертвами. Мамино поведение сбило майора

с толку. Я чувствовала это по его шее, подчинившейся неожиданно нервному тику: она задергалась навстречу окну.

Майор отвернулся от окна:

— Прощание непозволительно затянулось.

Мама еще теснее прижалась к нам.

— «Танюшу пожалей»,— говорил отец. Но это он обращал не только ко мне, а и ко всей жизни. Она не услышала его... Но услышит! Твой отец, Надюша, тоже не хотел, чтобы ты была сиротой. Больше всего на свете они не хотели этого!

— Девочки еще не сироты,— поучительно произнес майор. На слове «еще» он сделал еле заметное ударение.— Не вбивайте им в головы... раньше времени. Тем более что в нашей стране сирот не бывает!

Мама не отрывалась от нас.

— Прощание закончено,— уже не ей, а своим помощникам сообщил майор.

Они подскочили и начали отрывать нас от мамы. Но она не дала им отличиться на глазах у начальника: сама поднялась — красивая и несчастнейшая на всей земле.

— Завтрак и обед на окне,— внезапно сказала она.

— Не беспокойтесь: о них позаботятся,— объяснил ей майор.

— Бедные вы мои! — вскрикнула мама.

Я в ответ ничего не произнесла. Не смогла. А когда очнулась, опомнилась, было уже поздно. И никогда я больше ей ничего не сказала...

— Напиши товарищу Сталину! — долетело до меня из-за чужих спин.— Напиши товарищу Сталину... И запомни: отец ни в чем не виноват... ни перед тобой, ни передо мной, ни перед Родиной!

Это было последнее, что донес до меня мамин голос.

ОТ АВТОРА

Все, о чем здесь рассказано, было...
Посвящаю Татьяне Сетунской
и памяти ее отца, погибшего в Магадане.

●

Владимир ЦЫБИН

Новые стихи

* * *

Когда витал над нами страх
и рапорты ломились в уши,
живых нас,
как несметный прах,
безмолвно покидали души.

Как будто смерчем их с земли
сметало —
горсточки пушинок.
Куда, куда они ушли?
Ни воскрешенья, ни поминок,

ни поминального креста —
а здесь средь горя и обмана
в сиротстве общем —
пустота
в груди болит
страшней, чем рана...

Терпи, пока не надоест,
живи, хоть умер: правда — после.
Звезда страны и белый крест
стареют рядом на погосте.

Под сердцем где-то, в пустоте
ты помнил — быть стране спасенной,
когда погибших в Воркуте
хранились письма за иконой,

когда суровый начат счет,
когда дрожит уже Иуда
и боль сочится и течет
оттуда, где жила остуда.

...Ты жил в аду, ты жил в грозу,
ты видел мир, как из колодца,
и душу, как свою слезу,
простишь, когда она вернется...

* * *

Я слышу свое сердце, как росу,
когда над нею сумерек завеса,
и тихо я прощения прошу
у памяти, у птичьих гнезд, у леса.

Ни им, ни самому себе помочь...
И как же над забытой русской нивой
перемолчать молчанье, перемочь,
не задохнуться долей несчастливой?

Как будто сам я наложил запрет
на сердце, чтоб не помнило уроны,
а красота? — в ней тоже счастья нет,
и день стоит, как дерево без кроны.

* * *

Всему родня я в этом дне,
где много снега и тиши
на той, обратной стороне
слонно отторгнутой души.

И на листе, где, отзвеня,
затих возле косого пня —
под тонкой кожицей огня
сгорает болью радость дня...

В росе зеленой лес отмок,
раскрошен инеи кое-где.
И спит калачиком дымок
в пустом кукушкином гнезде.

Еще, простор не населя,
все, что рождается н душе,
спешит нарисовать себя
на дальнем белом мираже...

* * *

Все с той же верой безответной
стою давно я у черты,
где белый дождь
и день всесветный
умиротворенны и чисты.

И я живу, того не зная,
какой мне жизнь готовит дар,
как сердце вздрогнет,
отражая
последний молнии удар...

* * *

Когда под гул толпы победной
Его на страшный суд вели,
над Ним за далью заповедной
вставал последний день Земли.

И век пришел необычайный,
восторг и страх, разбег и жуть,
во искупленье скорби тайной
сужден России крестный путь.

Еще не слышит мир жестокий,
что кто-то там в последнем дне
сплел времена данно и сроки
в ветхозаветной тишине.

Лишь слышно, как под непогодой
новорожденный день звенит
снегами, ветром и свободой
и мукой завтрашней обвит.

* * *

Уже с лесов листву смело —
легки последние мгновенья,
и ясень, выстудив тепло,
вмерзает в зимнее забвенье.

И все — то белый свет,
то мгла,
пульсируя в глубь вьюги чутко

даль, успокоясь, прилегла
и меркнет возле первопутка.

Как пух, кружится тишина.
И жизнь, и мир полны печали.
А мысль болит.
А мысль слышна,
идущая к тебе из дали.

Мертвые и живые

Живые спрашивают:
— Куда?
А мертвые тихо:
— Где?
У мертных — смерть, у живых — беда,
и все — на одной звезде.

И в каждой ране нашей,
ннутри
время будет болеть,
жить — это жить, а умереть —
это проснуться н смерть...

Портрет

Зайду я к начальству, зайду в кабинет:
сидит предо мною — с портрета портрет.
В холодных глазах плесневеет запой,
и время слепое, и маршал — слепой.

Я вверх погляжу, где от нин и от нодок
тяжелый спускается вниз подбородок.
И рот шепелявый, как отзвук разрухи,
в глазах шевелятся не мысли —
две мухи...

Висит подбородок, и вес — три кило.
За что нам, ровесник, такое «кино»?
Что помнить мы будем и в сердце беречь?
Не то ль,
как раскормлена цифрами
речь?

Не то ли, как сытый, багряный закон
веков позолоту срывает с икон?..
Ни ноной идеи, ни новой версты.
И люди редеют, и села пусты...

Когда же в казенных цнетах тот портрет
положен был на
орудийный лафет,
несли безразличье, свой стыд, мишуру,
несли в никуда по пустому ковру.

Молчали вожди. И рыдала родня.
И лица людей холодны, как броня.
Ушел он под землю, пропал на глазах.
И стрелки качнулись
на Спасских часах.

Страшный суд

Когда и сушь, и топь, и водь
людей былых, зверей и птиц
позвал на Страшный Суд
Господь —
со нсех сторон пришли без лиц,

юнцы и ветхие деньми
пришли, не помня, кто они.

Пришли со звезд,
из тьмы планет,
из черных дыр, где праха нет.

Пришли с крестом и без креста —
и все отворены уста...

Шел тлен, шел смрад,
шел прах, шел сор
из рвов и ям, из ртов и нор,
в ладонях в пепле и пыли
нагие души принесли...

И чей-то стыд, и чей-то страх
дрожа качался на несах...

И вот последними с Земли
скелеты душ на Суд пришли,
легли у трона, трепеща:
— Суди. Но прежде — палача,

суди сначала главаря
за ложь, за мор, за лагеря,
что выжгли души нам дотла:
где дух дышал — теперь зола.

И тут же, веясь в вечной мгле,
с небес три ангела-гонца
спустились — на пустой Земле
пересмотрели все сердца.
Как ни искали — не нашли
ни в снах, ни в камне той души.

И вдруг, все погасив окрест —
он там! — как факел, вспыхнул перст.
Там тень, истлевши за века,
висела в нитях паука.
Чтоб все она могла забыть,
ткалась из этой тени нить.
Шло эхо от звезды к звезде:
— Кто вы? — Мы — тьма.
— Где вы? — Нигде...

* * *

Как тесно, как пусто кругом,
а даль —
на другом берегу.
Я спрятался в сердце своем,
я вспомнить себя не могу.

У судной черты я стою,
сложив свои думы в тайник;
и жизнь доживает мою
меня заменивший двойник.

Оставил я нежность в глуши
безвестных, отверженных лет.
На сирой изнанке души —
ни боли, ни имени нет.

И, мир ни о чем не моля,
я слышу,
как в жерло огня
с орбиты сползает Земля,
где ты забываешь меня...

Вадим МАКШЕЕВ

И видеть сны...

ПОВЕСТЬ

Разбилось зеркало злого великана-тролля... Раскололось, разлетелось на тысячи острых осколков холодное стекло, и людям, которым эти осколки попали в глаза, мир стал казаться искаженным и уродливым, а у тех, кому проникли в сердце,— сердца превратились в лед. Они уже не могли видеть мир добрым и сами лишились счастья делать добро...

Прекрасная сказка о Снежной королеве, кривом зеркале злого тролля и всепобеждающей силе любви... А в жизни у каждого из нас было обыкновенное доброе зеркало, в которое когда-то мы смотрелись, будучи детьми, и где отражались лица наших близких. Чуть потускневшее от времени и сырости овальное зеркало в темной рамке, которое мать вешала на стену во всех квартирах, которые мы снимали. Окно в мир, где все точь-в-точь, как у нас, но что-то, наверное, все-таки по-другому. Если только суметь незаметно заглянуть за краешек рамки, если успеть увидеть... Вот я иду из глубины комнаты, и мальчишка в такой же, как у меня, клетчатой рубашонке, идет навстречу, быстро прижимаюсь носом к зеркалу, и он, пытаясь заглянуть в дальний угол нашей комнаты, тоже прижимает нос к замутневшему от дыхания стеклу. Хочу обмануть его, может, он не успеет повторить мое движение и я увижу, что он всего-навсего подражает мне. Мгновенно прищуриваюсь, но он щурится вместе со мной, протягиваю руку, и его рука также протянута мне. А так хочется, чтобы он жил где-то по-настоящему... Заглядываю за темную рамку — там оклеенная обоями стена, снова смотрю в зеркало — вижу окно и такую же, как наша, комнату, и так же пристально глядит на меня тот мальчишка...

Давно разбито овальное зеркало, вобравшее частицы всех комнат, мансард, деревенских изб, через которые прошло мое детство. Но что с тем мальчишкой, которого я видел за гладким стеклом? С ним было все то же, что со мной, или иначе? А может, он остался навсегда таким, каким был, может, с ним мать, отец и сестренка, такая маленькая, что еще не в состоянии дотянуться до зеркала и ей надо подставлять табуретку...

Нет окна, в которое я когда-то глядел. Нет того зеркала, но засел во мне его острый осколок. Порой от него больно, но он не дает остыть сердцу. Осколок разбитого зеркала не злого тролля, а зеркала детства, в котором мир всегда был добрым.

Язычок керосиновой лампы рвется из семилинейного стекла, и сквозь ресницы кажется, будто стекло колеблется в струящемся воздухе, а пламя горелки тянется ко мне острыми, дрожащими лучами. Лица женщин — одно морщинистое, второе молодое и красивое — тоже колеблются в тусклом желтом свете. От истопленной печки то одолевает истома, то вдруг становится зябко. Я пододвигаю табуретку ближе к теплым кирпичам, приваливаюсь к ним и вытягиваю ноги. Шляпки гвоздей на двери у порога похожи от инея на белые пуговицы, и я отчетливо представляю, какой мороз на улице в сегодняшнюю новогоднюю ночь.

Тепло от печки наплывает волнами, больно в горле, жжет спину, но

ноги не могут согреться. Скрючиваю пальцы в больших не по ногам ботинках, закрываю глаза и засыпаю беспокойным сном.

Снится, будто сижу с родителями за накрытым столом и все мы ждем двенадцати. За непритворенной дверью в кронатке спит сестренка, куда-то мимо меня смотрит из рамки курчавый Пушкин, громко тикает на комоде будильник, пахнет смолистой хвоей от елки в углу. Новогодняя ночь, но почему-то невесело.

— По-моему, будильник отстает, — гонорит мама отцу. — Посмотри, сколько на тноих.

Отец поднимается и идет в спальню. Когда он дома, его круглая шнейцарская «Омега» всегда висит на вбитом в книжную полку гноздике.

— Знаешь, они остановились, — смущенно гонорит он, возвращаясь с часами в руке.

Мать, немного суеверная, бледнеет:

— Забыл завести?

— Да нет, заводил. Еще недавно шли, а сейчас вот...

Черные стрелки показывают без двадцати двенадцать. Мать встряхивает часы и прикладывается к ним ухом:

— Надо же так, под Новый год!

— Захотели остаться в старом, — неловко пытается шутить отец. — Придется нести к часовщику. — Он проводит ладонью по маминым каштановым волосам. — Не стоит расстраиваться из-за пустяков.

Где-то далеко, оповещая о наступившей полночи, бухает пушка. Отец поднимает рюмку с красным нином, трижды звенит тонкое стекло.

— С Новым годом!

— С новым счастьем! Пусть все будет хорошо.

...Печка жжет спину, но мне кажется — жарко от елочных свечей. Смутно сознаю, что сплю, но цепляюсь, цепляюсь за этот сон, заново переживая то, что было когда-то наяву... Чудится, будто надеваю пальто, шапку и из жаркой комнаты выхожу в морозную ночь. Нигде нет огней, повсюду затемнены окна. Через улицу напротив тоже кто-то открыл дверь, в освещенном проеме показался женский силуэт, мелькнул вырванный из темноты кусочек чьей-то жизни, но закрылась дверь, исчез свет, и кто-то н ночи прошел мимо нашей калитки, скрипя снегом. Снова темень, лишь на севере, где Финский залив, бродят в небе бледные лучи прожектора. Рядом граница. Рядом война. Наступил тысяча девятьсот сороковой год. А стрелки на отцовских часах показывают без двадцати двенадцать.

Что-то мягкое упруго ударяется около меня. Я открываю глаза. Колышется занавеска у печки, откуда спрыгнул кот. Выгнув спину, он сладко потягивается, неслышно подходит по половице и трется о мою ногу.

Между ночью, которая привиделась, и сегодняшней — годы. Нет больше ни отца, ни матери, ни сестренки, а если старушка, что сидит у лампы, скажет: «Уходи», — я замерзну этой же ночью, потому что идти некуда. Между домом, где осталось детство, и этой освещенной керосиновой лампой комнатой — тысячи километров и война.

Наверное, у меня жар. Хочется лечь. Но я не смею постелить свой матрасик на полу у печки, пока не уйдет пришедшая к старушке соседка. И снова засыпаю сидя, вижу солнечный день, пестрый луг возле железнодорожной насыпи, по которому разбрелись женщины и дети из остановившегося у разъезда эшелона... Мы с сестренкой рвем хрупкие, пачкающие ладони одуванчики и бегом носим их маме. Она сидит в примятой возле насыпи траве, и платье на ней такое же, как пороспий цветами луг — крупные желтые лепестки по яркому полю... На соседнем пути — воинский эшелон, солдаты в выцветших гимнастерках грузят там на платформу танк. Они сбили скобами настил из бревен, и танк начинает осторожно взбираться по нему, подбирая под себя стальные гусеницы. Бревна разъезжаются, танк проседает между ними, высунувшийся по пояс из башни танкист ругается. Пахнет клевером, жужжат шмели, и вдруг в это жужжание вплетается другой звук. Злой, воющий гул самолета...

Я вздрагиваю.

— Дремлет твой квартирант, — говорит молодая женщина.

— Горе... — Старушка вздыхает. — Всю известку обтер.

В красном углу скорбный лик в потускневшем киоте. Кот улегся на моем месте у печки. Пахнет керосином и высохшей травой, пучки которой подвешены за чувалом.

— Погадала бы! — Молодая просяще смотрит на старуху. — Месяц, как письма нет.

— Добрые люди ране под старый новый год ворожили, — говорит старушка. — Ну, хошь, так спытаю.

Она надевает очки, обмотанные на переносье шерстяной ниткой, достает с угольника пухлую колоду и, перетасовав, раскладывает карты на клеенке:

— На сердце у тебя, девка, дорога и собственный интерес...

Молодая вздыхает.

— Для дома — известие и переживание через свою сердечность. Были у тебя печаль и большие хлопоты. Но печалишься напрасно. Успокоишься письмом и свиданием с червонным королем... Хорошо тебе, Тоня, выпало.

— Да хоть бы н самом деле.

— А че же? Гляди сама карту — одне красные.

— Изнелась я, теть Наташа. Сны нехорошие вижу.

— Думаешь, вот и снится.

— Как же не думать...

Желтый язычок пламени тянется вверх, коптит, и ламповое стекло начинает темнеть. Старуха укорачивает фитиль.

Зажмуриваюсь и снова вижу тот танк. Он горит, чадя черным дымом, и из дыма свесились на потемневшую броню руки танкиста. Вагоны тоже горят: треща, летят головешки, желтые одуванчики забросаны землей. Хочу кричать, но не могу и только громко всхлипываю во сне.

— Ай привиделось че? — спрашивает старушка.

От мороза потрескивает в углу бревно. Огонь в лампе раздвоился, стекло тускнеет.

— Своробжи и ему, теть Наташа, — просит Тоня, кивнув на меня.

Ложатся на стол засаленные карты. Для дома, для сердца, что было, что будет...

— Одни вини, — говорит Тоня.

Старуха качает головой и сгребает карты в кучу. И я чувствую, что мне выпало плохо, очень плохо, потому что она даже не хочет говорить. Наверное, никогда больше не увижу отца, наверное, умру сам, как умерли сестренка и мать... Съеживаюсь, вбираюсь в себя перед неизбежностью беды, бессильный противостоять непостижимому и страшному, что обрушилось на весь мир.

И вдруг чувствую, как моей стриженой головы касается чья-то рука.

— Не печалься, все будет хорошо, увидишь — все будет хорошо.

Это подошла и гладит меня Тоня. Гладит нежно, ласково успокаивая совсем чужого ей мальчишку. Мне становится легче, кажется, что это утешает меня моя мама. Я весь отдаюсь во власть этой руки, хочу сделать для Тони что-нибудь очень доброе, но у меня нет ничего, кроме слов. И я только говорю ей:

— У вас тоже... Тоже будет хорошо. Непременно...

...И Тоня, и я давно уехали из тех мест, уже много лет мы живем в одном городе, и я иногда вижу ее. Карты ошиблись тогда, и то, что я желал ей, — не сбылось. Не было у нее встречи с мужем — он не вернулся с войны. Она второй раз замужем, но со стороны не видно, счастлива ли. У нее много седых волос, и она сильно постарела. Впрочем, годы идут, сколько лет прошло после войны, а ей тогда уже, наверное, было больше двадцати...

Встречаясь, я здороваюсь с ней, и она тоже здоровается. Но она не знает, кто я. Иногда пытливо вглядывается, стараясь что-то припомнить, и не решается спросить, потому что не спросила первый раз, а сейчас уже неудобно.

Порой при встрече хочу сказать ей что-нибудь хорошее, но стесняюсь. Только улыбаюсь и говорю:

— Здравствуйте.

Она отвечает:

— Здравствуйте.
И тоже улыбается мне, проходя мимо.

Лишь память дает возможность воротиться по уже пройденному пути, перечитать страницы книги своей жизни. Но даже мысленно нельзя заново день за днем прожить эту жизнь, шаг за шагом снова пройти по дорогам детства и юности... Словно выхваченную лучом света из темноты, вижу глядящуюся в овальное зеркало свою еще совсем молодую маму, вижу застеленный белой салфеткой комод, грезовскую головку в полированной рамке на стене... вспоминаются трясущаяся по проселочной дороге телега, редкий сосняк по-за обочинами, широкая спина человека, который правит лошадью. Солнце уже село, но гряда облаков горит закатом, и кажется, мы едем в холодное пылающее зарево... Пытаюсь раздвинуть границы далекого видения и ощущаю бессилие — время погрузило все вокруг в тень, память прокручивает все ту же пленку, сухо жужжит старенький проектор, беззвучно идет один и тот же немой фильм. В пустом зале я один...

Но порой случайная фраза, чье-то имя, пустячная вещь, похожая на ту, что много раз видел в детстве, вдруг напомнят о прошлом, и всплывет в памяти вроде бы навсегда забытое. Напахнет запахом далекого лета засушенный между страницами ломкий полевой цветок, застучит трещинкой ногинская пластинка с круглой наклейкой, и зазвучит, зазвучит, тревожа, старый романс.

Все ли было так, как представляешь сейчас, вспоминая далекое? Одно забылось, другое видится иначе... Как много зависит, с какого расстояния, с какой вершины смотришь. В детстве я любил переводные картинки, которые назывались загадочными. Приложишь такую, намоченную теплой водой, к листку тетради, осторожно стянешь пальцем бумажку, и окажется под ней другой, совсем непохожий рисунок. Что истинней — детское восприятие окружающего или то, каким видится прошлое сегодня? Ведь было что-то одно, только одно истинное. Я не хочу вступать в спор с собой — ребенком. Тот мальчик не может мне возразить, он остался там, где осталось детство. Он, смотрящий на меня оттуда, — моя совесть.

Ребенком я долго и отчетливо помнил свои сны. Теперь, пробудившись поутру или середь ночи, часто не могу припомнить только что привидевшееся, лишь ощущаю вызванную улетучившимся сном тревогу или печаль, реже — радость. Забылось и многое из пережитого наяву, но сохранилось светлое или грустное ощущение времени, остались разрозненные картины, подчас какие-то детали, возникающие перед мысленным взором, когда пытаешься вернуться памятью во все отодвигающееся прошлое. Почему запомнилась именно та лесная, а не какая-то другая дорога, почему помнится то окно, тот покорный детский взгляд, отчего ярко озарено одно и скрыто тенью другое? Невозможно пробиться памятью ко всему сквозь годы, наверное, сознание воспроизводит уже не первоначальное, когда-то виденное, а вспоминаешь свои воспоминания...

Мысленно возвращаюсь в то время, когда мы жили в Тарту, вижу винтовую с гладкими перилами лестницу, по крутым ступенькам которой в полумраке подымаюсь на чердачный этаж, где прело пахнет пылящейся за перегородкой рухлядью, мимо которой надо пройти к двери, за которой мы жили. Забыл, как выглядел дом снаружи, но помню дорогу к нему, вижу мансарду, дверь, обитую посекшейся клеенкой, из-под которой местами вылезла свалявшаяся вата, вижу круглую, из граненого стекла дверную ручку, скошенный потолок, по которому барабанил дождь...

Память о раннем детстве — это память о бесконечных переездах, когда отец работал на постройке железной дороги, и о том времени, когда он оказался без работы и мы скитались по квартирам уже в Тарту...

Помню переезды, но сами квартиры и меблированные комнаты, в которые мы вселялись и с которых съезжали, забылись. Иногда в памяти возникают похожие на причудливые цветы потеки на потолке, белый кувшин с трещиной в нише выложенной изразцами печки, громоздкий платяной шкаф, отгораживающий проход через комнату. Но было все это в какой-то одной квартире или в разных? Изо всех, где мы ютились, отчетливо сохранилась в памяти лишь та, на мансарде. Может, оттого, что жили в ней дольше, или потому, что была эта квартира последней в Тарту, откуда мы переехали уже на Кивиыльский рудник.

Мансарда вдовы профессора, бюст которого, пугая меня гипсовой головой, стоял на высокой тумбочке в ее комнате... Мы помещались в соседней, тесной и узкой, как пенал, заставленной хозяйкиными вещами, где так же, как все здесь, пахло чердаком и ветошью. В свое время профессор занимал бо̀льшую часть дома, но после его смерти внизу кого-то поселили, а вдове оставили мансарду. Обычно с утра отец отправлялся на поиски работы, и, если мы с мамой оставались дома, профессорша заглядывала к нам. Детей у нее не было, родственники — одни поумирали, другие жили за кордоном, в России, — ей надо было выговориться, и в зависимости от самочувствия она то начинала поучать маму, то рассказывать про своего покойного мужа. Сидела до тех пор, пока не наступало время идти в пансион, где профессорша столовалась, и представляю, как маме с ее собственными печалями и заботами надоедало слушать. Наверное, жили мы не из милости, но Евгения Романовна была хозяйкой... Вообще же была она, вероятно, даже доброй — разрешала мне рассматривать переложенные папиросной бумагой, пахнущие прелью книжные гравюры, иногда угощала жестким печеньем «Альбер» или накладывала в маленькое блюдце несколько ложечек засахаренного варенья. Вытянутое, с долгим подбородком лицо, седые, связанные пучком на макушке волосы, сухая и прямая, как стянутый шнурком старомодный зонтик, без которого она не выходила на улицу...

Однажды вечером в ее комнате что-то глухо рухнуло, и профессорша в длинной ночной рубашке распахнула нашу дверь:

— Юрочка разбился!

— Христос с вами, Евгения Романовна! — испугалась мама, решив, что хозяйка тронулась...

Оказалось — упал с тумбочки бюст. Как-то неловко она его зацепила, когда стала тушить лампу. Через несколько дней расколовшуюся голову склеили, и усатый профессор с пустыми белыми глазами снова встал на свое место у книжного шкафа.

А отец уже вторую неделю лежал в клинике. Простуженный в окопах, переболевший сыпняком в гражданскую, он опять тяжело заболел.

Мы с мамой приходили к нему в палату, садились на краешек кровати, и он, осунувшийся, в сползавшей с плеч застиранной больничной рубашке, наверное, чувствовал себя виноватым, что оставил нас без помощи, что надо платить за больницу, а денег нет... Мама, склонившись, шепотом рассказывала ему, что теперь ходит на дом к какой-то модистке, учит ее дочь французскому, и еще в какой-то семье обещали со следующего месяца брать уроки. Лицо у отца было с нездоровым желтоватым оттенком, худые руки лежали на шершавом одеяле, он гладил мамину ладонь, потом слабо сжимал мою и пытался улыбнуться...

На соседней кровати, задыхаясь, кашлял в смятую подушку тощий старик, за окном бурела кирпичами выходившая в больничный двор слепая стена, виднелись далекое острие кирхи с крошечным петухом наверху и пологий скат крыши соседнего дома. Осветляя кровельные черепицы, с пасмурного неба опускались снежинки, и в палате тоже было светло от похожих на церковные сводчатых окон, высоких потолков, крашенных масляной краской широких подоконников.

Уходя, я в последний раз оборачивался, видел тоскливо глядевшего, отделенного рядом железных кроватей отца, и хотелось бежать обратно к нему.

Дома от меня пахло больницей. Если мама куда-то уходила, а я оставался один в нашей комнате со скошенным потолком, — начинал думать об отце и о том, куда девают из палаты мертвых. Вспоминал слепую кирпичную стену в больничном дворе и боялся.

Иногда к отцу в клинику приходила его сестра, жившая тоже в Тарту и, хотя одно время судьба у нее складывалась нелегко, нужды не испытывавшая. Первый ее муж пропал без вести в начале мировой войны, и взял тетю Любу с тремя детьми человек, ухаживавший за ней, когда она была еще курсисткой. Был он намного старше ее, преподавал в университете... А во время революции вдруг объявился ее первый муж. Не

знаю, как все у них произошло, но, забрав обоих сыновей, он уехал в Петроград, а тетя Люба осталась со вторым мужем и дочкой Татой в Тарту. Так и жили они, разделенные судьбой и кордоном, тетя Люба тосковала по сыновьям, в конце тридцатых годов, выхлопотав визу, съездила к ним в Ленинград, а во время Отечественной войны оба ее сына погибли на фронте. Говорят, она не верила, ждала их до самой своей смерти. Была тогда уже совсем одинокой — дочь она тоже пережила: Тата умерла еще молодой. Но все это случилось позже, гораздо позже того времени, о котором я сейчас рассказываю.

А в ту пору тете Любе было лишь около сорока, еще не утратившая изящной красоты и обаяния, она жила со вторым мужем и дочерью на Мельничной улице, и мы иногда ходили к ним обедать. Статная, круглолицая, с копной вьющихся волос, она встречала нас в прихожей, где стоял смешанный запах духов, пудры и еще чего-то присущего передним больших, хорошо обставленных квартир. Расцеловавшись с мамой, вела нас в гостиную, и, пока взрослые разговаривали, я, взобравшись на диван, рассматривал наклеенные на картон фотографии в тяжелых альбомах.

К двум часам из своей комнаты выходил полненький лысый дядя Миша. Сняв пенсне и близоруко щурясь, произносил по-французски, наверное, что-то остроумное, потому что взрослые, показывая, что им стало весело, коротко улыбались, после чего он, водрузив стеклышки обратно на маленький носик, садился к столу и, заправив за накрахмаленный воротничок конец закрывавшей жилетку салфетки, давал понять, что можно приступать к обеду. За столом дядя рассуждал об экономическом кризисе, политике и предсказывал скорую войну. Началась она через девять лет, когда его уже не было на свете, он умер от апоплексического удара за несколько месяцев до того, как фашисты напали на Польшу. Мама поддерживала беседу, но чувствовала себя принужденно и была с родственниками на «вы». Занятый своими мыслями, отец односложно отвечал на вопросы либо молчал. Изредка он оживлялся и принимался подшучивать над Татой, но моя хорошенькая кузина появлялась за столом редко, она кончала гимназию, собиралась поступать на медицинский факультет, и сколько помню ее — то сдавала экзамены, то к ним готовилась. И если тете удавалось отвлечь дядю от разговора о политике, все принимались обсуждать перипетии Татиных экзаменов.

После чая дядя протирал платочком стеклышки пенсне, без которого глаза его становились маленькими и припухшими, затем, надев обратно, снова делался похожим на себя, произносил на прощание остроумную фразу и уходил к себе в комнату. Посидев немного, родители тоже начинали собираться, и тетя Люба, прощаясь с мамой, опять целовалась с ней в передней. Она хотела облегчить нашу жизнь, но отец стыдился поддержки — получалось, что это помощь дяди Миши... И мама тоже страшно краснела и отказывалась, когда тетя Люба пыталась незаметно сунуть ей крону. Обедать же мы приходили вроде в гости...

Кончился декабрь. Окончательно легла запоздавшая в том году зима, заледенели лужи, сильнее запахло на улицах печным дымом из труб, и теперь в холодные дни мама бывала у отца в клинике одна. Зимнее пальтишко, из которого я вырос, на меня не налазило, в осеннем она боялась меня простудить, на улицу я выходил редко. И на мансарде, хотя вставили вторые оконные рамы, оклеив щели полосками бумаги, было холодно. Извозчичьи лошади под окном уже не клацали так звонко подковами по заснеженной мостовой, снег застлал палую листву по склонам Домберга, налип на ветки каштанов, лег шапками на каменные тумбы и облюбованные городскими голубями головы памятников. В лавках, где продавали марципановых Дедов Морозов, пряничных лошадок и похожие на свечи елочные конфеты, стоял томительный запах приближающегося Рождества.

Однажды ветреным днем мы с мамой вышли из дому, я думал — идем к отцу, но она привела меня в рябой от осыпающейся штукатурки дом за Ангельским мостом, где помещалось какое-то благотворительное общество. В сумеречной комнате из-под тернового венца мученически смотрели глаза Христа, под распятием вышитое колючими буквами на полоске холста висело изречение из Евангелия. Все было давним, запущенным — мрачная мебель, куча тряпья в углу, и на обоях нельзя было отличить рисунок от пятен сырости. Возле узкого, словно запрятанного в толстую стену окна коротко остриженная дама что-то кроила ножницами, другая, помоложе, с постным лицом, разговаривала по-немецки с горбатой старушкой. Старуха что-то рассказывала, и голова ее в плисовом капоре тряслась от старости и обиды. Ей подали сверток, сунув его в кошелку, она пошаркала к выходу, а мама, дождавшись своей очереди, стала, краснея, объяснять что-то по-немецки. Подымая строгие брови, дама долго расспрашивала, затем сказала что-то остриженной, и та, благостно поджав увядшие губы, подала нам детское пальто.

Поношенное, но еще целое, оно было мне велико: когда мама на меня его надела, мои пальцы еле-еле высовывались из свисших рукавов.

— Поблагодари баронессу, — шепнула мама. Она волновалась и никак не могла застегнуть крючок на моем воротнике.

— Спасибо, — сказал я, ощущая непривычную тяжесть пальто.

— Надо говорить: данке, — произнесла баронесса на ломаном русском языке и холодными пальцами подняла мой подбородок. — Муттер должен тебя учить. Кароший мальчик должен делать нога о нога. Ферштейн?

Она еще что-то жестко выговорила маме, и я видел, как у той дрогнули губы.

— Не хочу больше в эту лавку, — сказал я, когда мы вышли на обледеневший тротуар.

После сумеречной комнаты на улице дышалось легко, все было ярким, по-зимнему светлым.

— Это не лавка, это... такой дом, где помогают людям. — Мама еще не могла успокоиться, она всегда мучительно страдала от унижения.

— А почему ты говорила не по-русски? — спросил я. Длинные полы мешали мне идти, и от пальто противно пахло той комнатой. — Мы же русские.

— Конечно, русские.

— И я в России родился, да?

Мне сейчас очень хотелось, чтобы она сказала об этом, хотя я хорошо знал, где родился.

Она крепче стиснула мою руку, будто благодарно пожала за что-то, а может, просто, чтобы я не поскользнулся.

— Ты же знаешь, где родился, — в Ленинграде, — сказала она. — Мы там жили у дедушки, а потом я привезла тебя к папе. Завернула в полотенце и привезла.

— Зачем в полотенце?

— Боже мой... Одеяльца не было. Крестная дала полотенце, и я тебя завернула, ты был совсем крохотный... Боялась, что на границе с тобой не пропустят, а пограничник оказался славный, еще тебя на руках подержал... Тепло тебе?

— Тепло... — Я поскользнулся и крепче ухватился за мамину руку. — А почему ты боялась?

— Я тебе уже рассказывала — когда уезжала к дедушке, то еще только ждала, что ты родишься... Потом ты появился на свет и понадобились метрики. А папа твой тут оставался. Ну, мы пошли с дядей Володей, папиным братом, он сказал, будто он твой отец... Потом поехали сюда, в Эстонию, и я все думала, что на границе станут спрашивать, зачем я тебя увожу от отца. А папа-то твой тут оставался. За границей. Понял?

— Почему же папа к дедушке не поехал?

— Я тебе объясняла, — досадливо сказала мама. — Потому что там большевики.

— А дедушка их не боится?

— Нет...

— Большевики — не русские?

— Ну, что ты пристал ко мне! — воскликнула она.

По заснеженной дорожке перед памятником Барклаю озабоченно сновали озябшие голуби. Где-то размеренно ударял колокол, и печальный звон плыл в морозном воздухе. Мама вздохнула:

— Большевики — тоже русские...

— А пограничник был русский? — допытывался я.

— Советский... Господи, перестань меня мучить сегодня!

Скрипел снег под мамиными ботиками. Сизый голубь нехотя взлетел из-под ног и опустился у пьедестала, с которого чугунный фельдмаршал печально и строго смотрел на эстонскую зиму.

— Перестань меня мучить,— повторила мама устало.— Вырастешь, все поймешь.

Стеклянно-звонкое, с запахом хвои и оплывающих свечей, с глянцевыми ангелочками, блестящими нитями золотого дождя и хлопьями ваты в витринах лавок пришло Рождество. Наверное, оно напоминало маме о России, детстве, обо всем, что ушло из ее жизни. Оставалась последняя соломинка, за которую надо было изо всех сил держаться,— семья. В ней были и любовь, и вера, и спасение. Мир вокруг был жестоким, и бывшее прежде, казалось, происходило в чьей-то другой, а не в ее жизни. И сегодня, когда я уже старше мамы, все, что было тогда со мной, порой мнится не моим, а чьим-то чужим детством. Что остается во взрослом от ребенка, что остается от него в постаревшем, много пережившем, по-иному понимающем и ценящем мир? Но вдруг прошлое отзовется в тебе то умилением, то болью, ты плачешь порой во сне и, пробудившись, не помнишь, о чем были твои слезы...

Есть в жизни моменты, казалось бы, давно забытые, но всплывающие в памяти, когда начинаешь осмысливать былое. Снова Тарту, далекий день Первого мая... Отец еще не оправился от болезни, у него больной вид, он все еще безработный — с нансеновским паспортом сейчас нигде не устроишься, у мамы советское подданство, с которым не принимают на работу тоже. Я знаю об этом из разговоров родителей, все чаще слышу пугающее слово «кризис». Я маленький, но многое понимаю... Втроем мы идем по улице, на которой почти нет прохожих; с краю, где лежит прохладная тень, лишь редкие стайки воробьев, мостовая тревожно пустынна, но все явственней глухой шум приближающейся толпы. Громче чьи-то голоса, шорох поступи, и вот уже дорогу на перекрестке преграждает колонна идущих куда-то людей. Впервые в жизни вижу особенно яркий на фоне серо-желтых домов плывущий над толпою красный флаг.

Рядом с нами жмется к стене старушка с корзинкой, сбоку несколько каменных ступенек, и оттуда, снизу, из приоткрытых дверей, тянет запахом колониальной лавки. Почему-то запомнилась эта полуподвальная лавочка, возле которой мы тогда стояли и где были с мамой после всего раз,— кофейная мельница на прилавке, жестяные коробочки с чаем, связки каких-то стручков, запах корицы, кофе...

Жмется к стене старушка, а люди все идут, идут, и в движущейся толпе что-то торжественное и суровое, как тот проплывший мимо красный флаг.

— Пойдем,— негромко говорит мама отцу.— Пойдем с ними, Коля...

Она тянет его за руку, на его еще более побледневшем лице — смятение. Помню, как, поправив на голове поношенную фуражку, он шагнул с тротуара...

Потом мы шли в колонне, я чувствовал сжимавшую мою руку отцовскую ладонь, с другой стороны по мостовой неловко шагала в стоптанных туфлях мама. Хотелось увидеть флаг, но его закрывали спины идущих впереди...

На следующий день какая-то женщина, наверное, хозяйка квартиры, где мы тогда жили, кричала на маму:

— Вы большевичка, вам я не удивляюсь, но ваш муж, мадам,— бывший офицер, как ему не стыдно!

В книге, которую пишу, нет последовательности — то всплывет в памяти далекое, то случившееся недавно, и опять вижу оставшееся где-то в начале пути...

В то страшное утро мне снилась война, но не грядущая, которая была потом, ее я не мог себе представить, а та, которую видел в кино, куда мы накануне ходили с отцом. Снилось — суворовские чудо-богатыри тянут тяжелые пушки, скользят по обледенелым склонам затянутых облаками перевалов, лавиной скатываются на опешивших французов. Ранцы, треуголки, кивера, разинутые в крике рты... Пальба, грохот, и впереди на белом коне Суворов с разлетевшимися на ветру седыми волосами...

А с улицы уже стучали. Стучали громко и требовательно. Били кулаком, может быть, прикладом винтовки.

— Кто там? — услышал я сквозь сон голос вышедшего в кухню отца.— Да,— сказал он кому-то.— Сейчас я оденусь.

Сон улетучился, была явь.

В дверь опять стали бить.

— Люба приехала? — спросила с постели мама.

— Нет...

За последние месяцы в поселке арестовали многих. Взяли Сашкиного и Мишкиного отца, взяли Серпухова, Бойкова, еще нескольких эмигрантов. Говорили — при заводоуправлении создан комитет, комитетчики заседают ночами, составляют списки.

А в природе было извечное — длиннее становились дни, зеленела еще не поблекшая от сланцевого дыма листва, в палисадниках цвела сирень, и запах ее бледно-фиолетовых кистей был сильнее запаха близкого завода.

Вчера мы с моим другом Женькой были возле станции.

— Глянь — в товарных вагонах окошечки с решетками,— кивнул я Женьке.— Для свиней, наверное.

Мимо поселка теперь часто проходили товарняки со скотом. Одни говорили — скот увозят в Россию, другие — в Германию, ведь с немцами был заключен договор. Порожняк со странными вагонами стоял на станции вторые сутки.

— Может, для буржуев...

Женька засмеялся. Я тоже — мы-то не буржуи.

В воздухе пахло войной, но мы не боялись войны. Не было у меня предчувствия страшного, было интересно жить, и мир казался ясным. Так бывает перед грозой — клубящаяся черная туча уже затмит полнеба, а еще не закрытое ею солнце словно торопится светить сильней, и от его прощальных лучей по-особенному тепло и ярко...

— За мной пришли,— сказал отец глухо.

Я всегда пугаюсь ранних, предутренних стуков и, если кто-то приехавший ночным поездом вдруг застучит в дверь, просыпаюсь с колотящимся сердцем. Но я только недавно понял — это с того далекого страшного утра.

— Господи... Коля...

Помню оборвавшийся мамин голос, помню — пробудившись, в кроватке села, подогнув под одеяльцем ноги, моя четырехлетняя сестренка Светлана...

Застучали сапоги на кухне, и чей-то голос резко спросил:

— Оружие есть?

— Нет,— ответил отец.

— Листовки? Золото?

— Нет.

У косяка двери в комнату, стукнув о пол прикладом винтовки, встал красноармеец. Перетянутый портупеей лейтенант в фуражке с синим околышем кивнул выглядывавшему из-за его спины низенькому штатскому:

— Производите обыск!

Тот, бочком протиснувшись в комнату, выдернул верхний ящик комода и суетливо принялся вынимать из него сложенные простыни, полотенце, белье...

Ухватившись за отца, мама плакала.

Лейтенант коротко глянул на моих родителей:

— Органами НКВД вы переселяетесь в отдаленный район СССР.

Значит, они пришли не арестовывать, папу не за что арестовывать... Они пришли нас переселять. Просто переселять. Мы столько раз уже переезжали... Это не страшно, переселяться не страшно... Только почему пришли военные?

— Вещей имеете право взять сто килограммов... На сборы — час,—

сказал лейтенант, глянув на будильник, и перевел взгляд на мою сестренку.

— Дети могут остаться.

— Нет, нет! — испуганно произнесла мама. — Мы поедем все... Все вместе.

Она торопливо принялась одевать Светлану.

Штатский выкидывал тряпки из второго ящика комода. Лейтенант отвернулся к книжной полке, полистав одну из книг, бросил ее на пол, снял с полки другую...

— Его белье складывайте отдельно, — кивнул он в сторону отца, не глядя на него.

— Зачем? — дрогнувшим голосом спросила мама.

— Потребуется в баню... Чтобы не искать...

Будильник на комоде показывал двадцать минут седьмого. Было утро 13 июня 1941 года.

Сейчас я представил, как этот оставшийся на комоде будильник тикал в опустевшей комнате под шум пошедшего к вечеру дождя, словно еще стучало в пустой квартире чье-то сердце, и, когда зыбкая июньская ночь скрала груду книг на полу, распахнутый платяной шкап, голубую детскую кроватку, под которой остались разбросанные кубики, остановились стрелки и умолкли часы.

Тринадцатого июня сорок первого года...

Помню — спросил часового, можно ли пройти на кухню, взять висевший на стуле пионерский галстук, и часовой, молча посторонившись, пропустил меня. Помню двух напуганных соседок, не знаю — привели их понятыми или они пришли сами. Прощаясь, обе заплакали, и мама, растерянная, постаревшая за один час, протянула одной из них жестяную коробку с пуговицами. И потом, уже в ссылке, вспомнив однажды об этих пуговицах, застыдилась, что отдала на память всего-навсего эту жестяную коробку...

Не помню, как выносили на улицу вещи, увезли их на грузовике или на лошади. Помню, у калитки я обернулся на окрашенное охрой крылечко, к которому никто из нас никогда не вернется. Я не сознавал трагичности происходившего, только обернулся и посмотрел.

Начинался пасмурный день, привычно пахло сланцевым дымом, шпалами и слабо — сиренью. Нас вели по Железнодорожной улице, на станции все так же стояли те бурые вагоны с зарешеченными окошечками, и мне показалось, что за ночь состав стал длинней. Лейтенант шел сбоку и чуть впереди нас, мама вела Светлану, та не поспевала, и отец понес ее на руках. Я слышал шаги идущего следом конвоира с винтовкой, но не было страшно, наоборот, было во мне какое-то удальство: я иду под конвоем, и люди смотрят на нас. Смотрели — кто с любопытством, кто с сочувствием. Попавшаяся навстречу пожилая эстонка бросилась к маме, обняла ее, поклонилась отцу... Совсем незнакомая, простившаяся с нами эстонка...

Нас вели вдоль уходящей к Нарве железной дороги, мимо дощатого забора, через который столько раз, обдирая локти и коленки, я перелезал с мальчишками на поросшее истоптанной у футбольных ворот травою поле, вели вдоль палисадников, за которыми жались низкие кусты акаций и невесомо висели бледно-фиолетовые кисти сирени. Вели мимо, мимо...

И я не понимал, что эта утренняя улица, спрятавшиеся за зеленью испуганные окна пожелтевших от заводского дыма одноэтажных домиков, маячивший за поселком террикон, поднявшись на вершину которого, можно увидеть сливающуюся с небом полоску Балтийского моря, — все, как и то окрашенное охрой крылечко, захлопнувшаяся за нами калитка, — все это последние видения моего остающегося здесь детства. Я это понял потом, и лучше, что потом.

...Словно составленный из больших серых коробок двухэтажный Народный дом, из окон которого видно оцепивших его солдат в фуражках с такими же, как у приведшего нас сюда лейтенанта, синими околышками. На полу сумрачного фойе — чемоданы, тюки, баулы, бельевые корзины... Сюда привели русских эмигрантов, здесь и разбуженные в это июньское утро стуком в дверь эстонцы — бывшие владельцы мелочных лавок, бывшие кайтселийтчики *, здесь крестьянские семьи с окрестных хуторов, тут семьи ранее арестованных, ожидающие теперь со всеми своей участи. А конвоиры все приводят кем-то внесенных в список людей, и все прибывает народу в Народном доме. Сашка и Мишка, у которых полгода назад забрали отца, Колька и Наташка, две Верки, Галька, Лембит, Святослав... И Женька, с которым мы вчера проходили мимо товарняка, здесь, и его младшая сестренка... Мальчишки и девчонки с отцами и без отцов, ребята, с которыми я вечерами играл в лапту, вместе учился и для которых тоже пригнали на станцию тот товарняк. Мы не ведаем, что нас ждет, я еще не понимаю, что в моей жизни что-то кончилось и вот-вот кончится еще. Мне интересно. А в глазах родителей — печаль. Такая печаль...

Прошло почти полвека, но кажется — я вижу их, вижу в последний раз их вместе. Прижавшись друг к другу, они сидят на тюке, перепоясанном дорожными ремнями, — мама, отец, Светлана на его коленях. Папина кепка, синее в полоску мамино пальто, белый бант на волнистых волосах моей сестренки. Их лица, глаза... Только себя я не вижу, меня нет. Но я тоже там... Я же был тогда рядом!

Недавно прочел у Бунина: «...Стоит мне лишь немного подумать, как время начинает таять... Не раз случалось: вот я возвратился в те поля, где был некогда ребенком... И вдруг, взглянув кругом, чувствую, что долгих и многих лет, прожитых мной с тех пор, точно не было. Это совсем, совсем не воспоминание... Просто я опять прежний, совершенно прежний...» Нет у меня такой счастливой способности возвращения в прошлое, оно отторгло меня, я смотрю в него сквозь призму времени и ощущаю себя таким, каким меня сделали годы, — состарившимся, уставшим... Лишь во сне, редко, редко во сне вижу себя в том времени. Но редко радужны эти сны.

В памяти не оставляют следов иные годы, не остаются порой зарубки от мгновений. Чей-то грустный взгляд, чьи-то последние слова...

— Береги маму и сестренку, — сказал отец.

Еще мама была с ним рядом, еще притихшая Светлана сидела на его коленях, но он уже все понял.

Плотный низкорослый капитан крикнул: первых поведут на станцию мужчин, женщины и дети поедут в других вагонах.

В наступившей тишине зазвучали фамилии, и те, кого вызывали, один за другим становились в шеренгу.

Выкликнули отца. Он надолго прижался щекой к Светлане, передал ее маме. Поцеловал ее, меня... Мама торопливо перекрестила его... И мы остались втроем.

Отгороженный солдатами строй у выхода рос, вытягивался.

Первый раз я видел отца в строю.

— Хлеб... Отнеси папе. Когда их еще покормят...

Я схватил из маминых рук половину ржаной буханки, побежал к построившимся, уже пересчитанным.

Будто этот кусок хлеба мог еще что-то сохранить. Будто мог уберечь, спасти...

— Папа! Возьми!

Он услышал, махнул рукой: не надо.

— На-а пра-аво! — жестко скомандовал капитан. — Ша-агом...

— Папа!

В проеме двери он обернулся и в последний раз посмотрел на меня. Бледный, мучительно, через силу попытался улыбнуться.

Больше я его никогда не видел.

Шорох шагов. Конвой.

Что же было потом? Что было потом?

Запах паровозного дыма и людских тел, грохот встречных поездов, нары в два яруса, занавешенный одеялом дощатый лоток в углу вагона... Долгие стоянки, плач грудного ребенка, ожидание, предчувствие, надежда, страх...

Но была еще одна, последняя ночь дома. На нарах, за закрытой на засов дверью вагона, но еще там, там... Кого-то еще не привели, кого-то

* Кайтселийт — союз обороны, военизированная организация в буржуазной Эстонии.

искали, что-то ждали. Еще не стучат колеса, еще где-то тикает забытый будильник и лежат под детской кроваткой раскиданные пестрые кубики, но возврата туда нет. Рядом тихие голоса, чье-то сонное дыхание, а за стеной дождь. В зыбкой ночной темноте крупными каплями скатывается он с вздрагивающих листьев, льется из водосточных труб, робко стучит по вагонной крыше. Шелестящий, о чем-то плачущий июньский дождик.

Настанет серое утро, дернутся вагоны, без прощального крика паровоза стронется с места эшелон. И я, перебравшись на верхние нары к прижавшимся к зарешеченному окошку людям, буду пытаться увидеть проплывающие мимо дома, мокрую зелень, потемневшие палисадники... Оборвалась тусклая от дождя улица, скрылись дома, убегают столбы с мокрыми провисшими проводами, и все в туманной хмари оплакивающего ночь дождя...

Через восемь дней взорвется рассветная тишина и жизнь разделится на довоенную и военную. Но для тысяч семей из Прибалтики, Бессарабии, Буковины колеса идущих на восток товарняков уже отстукивали разлуку, разлуку, разлуку...

И уже не снились мне суворовские чудо-богатыри, снилось что-то детское из оставшейся на короткой улочке прежней жизни. Вечер, освещенный лампой склонившийся над книгой отец... Он отрывается от чтения, смотрит на меня, мучительно пытается улыбнуться. Будто просит прощения за то, что увозят куда-то маму, сестренку, меня, словно виноват в том, что так случилось... Но уже я, я всю жизнь буду винить себя в том, что не смог спасти их, не уберег...

Тогда, в том идущем на восток товарняке еще теплилась надежда: вот привезут нас на конечную станцию — и опять будем вместе. Разве может быть иначе? Разве может? Но томительно, с долгими остановками, бесконечно долго шел эшелон, не было последней станции, и уже знали, что вагоны с мужчинами прицепили к другому паровозу и тот паровоз повез их по другому пути... Потом, уже потом, однажды ноябрьской ночью я проснусь на полу в холодной крестьянской избе и услышу, как судорожно плачет мама. «Я сейчас видела во сне, — скажет она мне. — Ему плохо... Очень плохо... Наверное, он...» И сердце мое будет биться сильно, сильно, и лицо будет мокрым от слез: мне тоже только что приснился отец — он прощался со мной... Через много лет я узнаю, что он умер в ноябре сорок первого. Быть может, в ту самую ночь.

...По скольким дорогам проехал и прошел я с той поры, давно перестал сниться ночами тот долгий путь, но вчера опять привиделось: сумеречный вагон, нары, что-то выговаривающие одно и то же, все одно и то же колеса. Увидел взбирающийся на платформу по слегам танк, закиданную комьями земли цветочную поляну у насыпи, мертвые, бессильно повисшие руки... Было это когда-то наяву или только снится, столько раз снилось прежде? Перестук колес, паровозный дым, плач больного ребенка...

На какой-то станции с неизменной кирпичной водокачкой увидели с верхних нар толпу возле вокзала, портреты Сталина, Молотова, Кагановича, растянутый транспарант: «Ответим на удар врага сокрушительным тройным ударом!» Так вошла в нашу жизнь война, соединившаяся с той дорогой. Если б не война, может, все было бы иначе. Может быть, иначе. Если б не война. Может быть...

Еще дольше стояли теперь на запасных путях, пропуская встречные поезда, не останавливаясь, шли мимо платформы с пушками, танками, везли коней, везли что-то закрытое брезентом; опершись на поперечные брусья в таких же, как наш, только открытых вагонах стояли красноармейцы, мелькали пилотки, гимнастерки, лица... Иногда с грохотом эшелона врывалась и уносилась дальше солдатская песня. Скрывалась тормозная площадка последнего вагона, но еще витал запах махорки, лошадей...

Шли эшелоны к уже порушенной границе, шли туда, где висел смрадный дым пожарищ, горели танки, вздыбливалась земля...

— Наверное, папу теперь возьмут на войну. Да, мам?

— Не знаю, я ничего не знаю.

— Он же артиллерист, он воевал с немцами. Может быть, их уже повезли туда?

— Не знаю... Может быть, туда. Только почему нам ничего не говорят? Почему не говорят?

Жестко потряхивает вагон, переговариваются колеса над ребрами шпал, а за дощатой стенкой поля, леса, Россия... Нары вверху возле окошечка заняты, я достаю из кармана подаренный отцом перочинный ножичек с рябой зеленой ручкой, потихоньку выковыриваю у изголовья щель меж рассохшихся стеновых досок, и вот, вдыхая запах сосновой щепы, в просвет вижу поляны, будку путевого обходчика, отражающее небо озерко, лодку на воде... Возникла и осталась у переезда понурая лошаденка, промелькнула провожающая взглядом поезд молодая женщина, ухватившаяся за ее подол русоголовая девчушка... И снова поля, перелески, крытые соломой избяные крыши...

На полустанке низенький солдат с металлическими зубами из сопровождающего нас конвоя, обходя состав, заметил проделанную мной щель. Звякнуло железо, и, впуская солнечный свет, тяжело откатилась вагонная дверь:

— Старосту вагона сюда!

Староста — Игорь Латынин. Ему двадцать третий год, но его не выкликнули, когда уводили мужчин из Народного дома, забрали его отца, и теперь Игорь едет вместе со своей матерью в нашем вагоне.

— Кто цэ проколупал? — Конвоир ткнул стволом винтовки в стенку вагона. — С якой целью? Тикать чи вредить?

Я не хотел отдавать складничек, но испуганный Игорь отнял его, разжав мои побелевшие пальцы. Господи, зачем я вспомнил сейчас об этом, когда было столько других потерь?..

...Снова привиделось прошлое. С оттягивающим руку эмалированным ведром перешагиваю через рельсы, согнувшись, пробираюсь под платформами стоящих на путях эшелонов, затем долго иду вдоль состава к нашему четвертому от конца вагону. Орут, заглушая голос из репродуктора, обитающие возле станционных строений галки, вверху летнее небо, далекая туча в пыльных полосах где-то повисшего дождя, а тут рельсы, пахнущие креозотом шпалы и, словно бурые стены бесконечного коридора, — вагоны. Рядом бредут с ведрами Женька и Колька, в Женькином ведре пшенная каша, в Колькином — вода, в моем — кипяток. Взрослых на станциях не выпускают, питье и еду носим в свой вагон мы. Ползет под подошвами мелкая щебенка, привольно кричат птицы, мы отдыхаем и снова тащим тяжелые ведра к своему вагону, а следом не спеша идет конвоир с винтовкой. Будто мы можем сбежать, будто я могу оставить маму, сестренку...

...Третьи сутки наш эшелон стоит в Свердловске. Пути заняты скопившимися поездами, неподалеку такой же, как наш, товарняк с молдаванами, рядом — единственная незанятая железнодорожная колея, по которой с интервалом в тридцать минут безостановочно проходят на запад воинские составы. Все неимоверно тяжелое, что принесла война, еще предстоит узнать, первое впечатление — эшелоны. Грохот колес, полчаса тишины, снова состав — танкетки, зенитки, кони, мелькающие между вагонами просветы, бегущая рядом с поездом тень... Полчаса, опять крик паровоза, груженые платформы, вагоны и лица, лица, лица...

День, ночь, день, ночь, день...

Что же было еще в той дороге? Все то же — железнодорожные разъезды и полустанки, встречные поезда, слабеющий плач ребенка... Бесконечная колея, однообразная барабинская степь, показавшийся огромным новосибирский вокзал. И опять несколько суток стоял товарняк, опять те, кто распоряжался нашей судьбой, чего-то ждали, а может быть, все спутала и смешала война... И наконец кто-то сказал: «Вот она, конечная станция».

Но будет еще переполненная людьми баржа, которую, натягивая трос, тяжело потянет по Оби словно сгорбившийся от работы речной катер, и надсадный звук его двигателя станет сопровождать нас много-много дней. По еще не вошедшей в берега угрюмой сибирской реке поплывет баржа, спрямляя путь по разлившимся протокам, минуя старицы и поросшие лесом острова, с которых будут прилетать на пропахшую смолой палубу крупные желтоглазые пауты...

Томительные дни, тихие утра, сулящие багровым закатом ветер дол-

гие вечера... И по тому, в какой стороне будет опускаться, а где вставать солнце, мы поймем, что везут уже не на восток. И чем дальше на север, тем беспредельней Обь, тем меньше редких деревень на ярах, все голодней, безнадежней...

И однажды утром, поднявшись из душного трюма на еще не нагревшуюся палубу, я увижу, что речная вода за бортом уже не желто-зеленая, а темно-коричневая. Останутся позади тянущиеся к Ледовитому океану обские просторы и острова, будут теперь медленно проплывать мимо низкие поемные берега с унылыми тальниками, редкие крутояры, на одном из которых деревенька, куда приведет меня после четырех тяжких зим судьба уже послевоенной весной.

Роятся над палубой налетевшие с затопленных низин комары, гулко стучит по воде горбатый катерок, и я еще не знаю всей боли предстоящих разлук, не знаю, что скоро потеряю и что через долгое время обрету, не ведаю, что уже навсегда вошла в мою жизнь эта темная река Васюган.

На шестые сутки начали выгружать народ в побережные поселки, но нас все еще везли встречь медленному течению; скрывался за поворотом плес, наплывал другой, отражавший сползшие с увала сосны, щетину тальников, мертвые, затопленные коряжины... За очередной излучиной та же отражавшая безучастное небо васюганская вода, те же печальные берега.

Но пришел в составленных кем-то списках назначенный и нам черед. Приткнулся к песчаному яру катер, сбросили с баржи чалку, глухо стукнул о землю щелястый трап. Выкликнули маму, меня, сестренку... Выкликнули еще с полсотни человек. Комендант в надвинутой до бровей зеленой фуражке пересчитал нас на берегу...

Струилась, мыла обрушившийся до опрометчиво близко построенного к реке бревенчатого амбара яр упругая быстрина, лениво щипал траву на поляне возле амбара пестрый теленок, мотала головой, дергая привернутый к оглобле повод, запряженная в телегу гнедая лошадь. Мужики, повязанные платочками женщины, босоногие ребятишки молча глядели на привезенных. И с тревожной надеждой, чего-то ожидая, смотрели на них сошедшие с баржи.

И была ночь в деревенском клубе, куда поначалу поместили скопом всех привезенных. Первая ночь, когда уже не слышно надоевшего стука катера, не плещется рядом вода. Ночь, тишина, только гудят налетевшие с улицы комары, только одинокий голос зашедшей сюда здешней женщины:

— ...Поначалу, как раскулачили, в Кулай за болота свезли... В марте, по снегу еще. Долгущий обоз шел... Так оттель, из Кулая, народ по своим деревням разбежался. Дом-то наш уже отнятый был, на задах в бане ютились, только на другой год все одно... Обратно весной собрали и сюда... Как привезли, поднялся народ на яр, тошно — тайга заломи головушку, чаща, пролезти нельзя... А комар страшенный, никакого скресу. Гибельно место, только в небо дыра. Землянок понарыли, берестяны балаганы стали делать, мужики — барки рубить... Хоть к зиме под крышу. Народу без малого тыщу человек... По первости примерли многие — старики, робятишки... Ох-хо-хо... Горе... Руки у вас, однако, нежны, пальцы тонюсеньки. Как в колхозе робить будете?

Комары гудят, сидят где-то в темноте по стенам уже нажравшиеся, отяжелевшие.

— Сторона-то ваша шибко далеко отсель?

— Далеко, милая.

— По русски-то слободно говорите...

— Мы же русские.

— Все одно не наши... Теперь-то вам, однако, легче, место обжитое. А мы сызнова начинали, все сызнова.

— Вас-то хоть с мужьями привезли...

— Всяко.. У которых баб в бегах мужики были, а так, знамо, семьями. Да теперь их на войну заберут — мужиков-то. С верховских колхозов подчистую взяли. Поди сколь народу уже прибито. Ох, горе, горе...

За серыми прямоугольниками окон короткая северная ночь, вповалку лежат на полу люди, душно, а женский голос все рассказывает, как раскулачивали, ссылали, как корчевали тайгу, копали суглинок...

Белеют в темноте лица — сестренки, мамы. Мама, мама...

Пройдет немногим больше года, и она умрет в районной больнице в Новом Васюгане. Умрет в один день со Светланой, только Светлана скончается на несколько часов раньше... Я похороню их в одной могиле — легких, вытянувшихся, наголо остриженных. Копать буду со стариком, у которого мама выменивала картошку на наши последние оставшиеся вещи, и, когда мама умрет, я попрошу старика помочь так... Рыть будем на окраине кладбища в редком сосняке. Копать нетрудно — в Новом Васюгане земля песчаная.

Отца уже не будет в живых. Он мог бы уйти на войну, ему было сорок пять лет. Он мог бы воевать в Красной Армии, он бы честно воевал за Родину. И, наверное, погиб бы, как погибли почти все, кто вступил в бой в сорок первом. Но отец умер в лагере на Урале. А через семнадцать лет я получу извещение о посмертной реабилитации: за отсутствием в его действиях состава преступления.

Мертвые сраму не имут.

«Сон — забытье чувств», — сказано в одном старом словаре. Но разве это забытье — если во сне мы чего-то боимся?

Страшный сорок второй год... Я смотрел на классную доску, с которой во время перемены никто не стер квадратное уравнение, и думал о пайке хлеба.

Держась за крышку соседней парты, тараторила Маруся Федорова:

В Путивле плачет Ярославна,
Одна на городской стене, причитая:
«О, Днепр...»

— Господи! — вздохнула Ганна Алексеевна. — Садись, Федорова. Разве можно так?

На уроках Ганна Алексеевна бывала собранной и неизменной, как неизменной была ее зеленая ленинградская кофточка. Однако сейчас голос ее дрогнул:

— Прочти ты, Тарновская, — сказала она обиженно. — Надо же чувствовать.

В Путивле плачет Ярославна,—

начала Тарновская с первой парты.

Я опять стал думать о хлебе. Паек я съел на два дня вперед, и теперь идти в магазин за своими двумястами граммами можно было только завтра вечером. На день мне полагалось четыреста: половину я брал утром, другую — вечером, так вроде получалось больше. Маленький кусочек — двести граммов — продавщица обычно отрезала от непочатой буханки: горбушка всегда больше ломтя из середки... Попытаться попросить двухсотку в счет послезавтра? Но тогда я заберу паек вперед уже на два с половиной дня. Да продавщица и не согласится. Ладно, если хозяйкин Колька, который учится во вторую смену, оставил на дне чугунка похлебки. Только ведь не оставит... А сегодня вечером продавщица хлеба наверняка не даст...

С улицы донеслась строевая песня. Четко, под шаг отрубая слова, выкрикивал запевала:

Если есть запас патро-онов,
Все това-арищу отдай,
А винто-овку трехлине-ейку
Нико-ому не отда-авай!

Строй вразнобой подхватил:

Эй, вы, поля,
Эй, вы, поля...

Обучали новобранцев двадцать пятого года рождения.

Сидевшие на крайнем ряду потянулись к окнам. Завтра новобранцев увезут, навигация кончалась. На перемене говорили, что ночью с низовья пришел последний пароход.

— Шире шаг! Ать-два, ать-два, ать-два, — командовал отделенный. — Задние — подтянись!

В долгополом пиджаке и фуражке со сломанным козырьком, он словно весь свой век командовал строем. Может, особенно старался, проходя мимо школы. Наверное, тоже тут недавно учился.

Вошла директорша и, махнув рукой, чтобы мы не поднимались из-за парт, объявила, что вместо следующего урока будет медосмотр. Девчонки останутся в нашем восьмом классе, мальчишки пойдут в шестой. Ребята оживились — после перемены должна быть химия, которую никто не любил. А я решил, что не пойду к врачу, — застыдился своего тощего, расцарапанного ногтями тела. Да и рубашки на мне не было, лишь старый отцовский комбинезон.

Рубаху я променял на ведро картошки месяц назад. Тогда же загнал и пальто, чтобы было на что выкупать паек. Поначалу хотел продать мамино зимнее, но мое было новей, за него дали больше. Теперь у меня, кроме женского пальто и отцовского комбинезона, который я не снимал, даже ложась спать, ничего из одежды не оставалось. За два сестренкиных платьишка какая-то тетка дала еще крепкие солдатские ботинки. Пальто и рубашку мне не было жалко, но, когда отдавал платьица, — заплакал: последняя память о сестренке... Но нечего было обуть, а надвигалась зима.

Запевалу уже не было слышно, только припев:

Эй, вы, поля,
Эй, вы, поля...

Дождавшись перемены, я забрал из парты учебники и пошел на квартиру к школьной уборщице Степанихе, высокой женщине с грустными черными глазами, которая в ту пору меня приютила. Взяла из жалости и ради дров — договорились, что зимой я с ее одиннадцатилетним Колькой буду возить на салазках сушняк из леса.

До того я жил у бабки Потешихи, и это она присоветовала Степанихе:

— Прими, Аннушка, сироту. Парнишка смиренный. Места у тебя много, а у меня и так полна изба фатерантов...

Дознавшись, почему я пришел из школы до конца занятий, Степаниха вздохнула и достала из сундука белую в сиреневую полоску рубаху мужа. Сам он умер перед войной, и все-то осталось от него ситцевая рубаха да еще изба, в которой жили они теперь с сыном. Муж ее надсадился с этой избой, подымая тяжелые бревна. Память о себе оставил, а самому жить не довелось. Теперь он все равно был бы на фронте и, может, даже убитый, но тогда Степаниха считалась бы красноармейкой и получала пенсию на Кольку, а так пособия ей не платили, и когда кто-нибудь из приезжих спрашивал о муже, она начинала длинно рассказывать, как он надорвался. Будто оправдывалась, что нескладно получилось с мужниной смертью.

Рубаха была велика, рукава свисали с плеч, и хозяйка сказала, что я — как мышь в пологу. Она велела показаться врачу, и я подался обратно в школу.

Хрупкая докторша с коротко остриженными седыми волосами, взглянув на мои ребра, назвала меня дистрофиком и на клочке бумаги написала записку, чтобы меня положили в больницу. Туда же направила еще одного мальчишку — Вовку Захарова, привезенного откуда-то из Молдавии. Он был тоже истощен, хотя жил с матерью, — одни глаза да длинный нос.

Я отвык от простыней, наволочек, покачивающейся сетки кровати и, очутившись в чистом белье на постели под пахнущими хлоркой простынями, сразу совсем ослаб. Еще недавно в этой больнице умерли мама и сестренка. В тот день я пришел к ним в больницу, и медсестра на улице мне сказала... Сказала и пошла куда-то. Я не мог заплакать, стоял оглушенный, потом бросился вдогонку: может, я не понял, может, умерли не обе? Может, не обе... Теперь я сам оказался здесь. Жить хотелось, но и о смерти думал уже как-то безразлично. Обрушилось страшное, и ничего, ничего нельзя было сделать... Я съел обед, который принесли, и мне стало совсем плохо. Врач отругал санитарку, вечером дали только чай. Когда Вовка ужинал, я отвернулся к стене и слушал, как скребет его ложка.

Несколько раз Вовку навещала мать, такая же, как он, большеглазая, худенькая. Если бы даже я увидел ее где-нибудь в другом месте, то сразу бы догадался, что это Вовкина мама. Только он был посмелей, а она — робкой: будто стеснялась больничных сестер и была виновата, что сын в больнице. Вовка выходил к ней на свидание в пропахший дезинфекцией коридор, и они подолгу вполголоса разговаривали. Как-то он попытался отдать матери припасенный для нее ломтик сэкономленного хлеба, она не брала и отводила его руку. Они очень любили друг друга, и не знаю, кто о ком больше заботился.

Через открытую дверь я смотрел на них из палаты и думал, что если б вдруг пришла моя мама, я бы отдал ей весь хлеб. И ей, и сестренке... Как же я не уберег их! Господи, как же не смог уберечь...

Кончался октябрь, на улице еще похолодало. По вечерам больные собирались в коридоре перед топящимися печами, кто-нибудь читал вслух газетку, а потом заходил разговор о войне. Говорили, что зимой немцев погонят, сейчас на фронте много сибиряков... А пока где-то в Сталинграде шли очень тяжелые бои.

Как все мальчишки, в детстве я запоем читал о путешествиях, приключениях и фантастику. Но фантастических повестей и рассказов было не столь уж много, и в тех, которые мне тогда попадались, было больше мистики. Кажется, я учился в шестом классе, когда прочел о заключенном одиночной камеры, который, уходя от мучительной боли во время пыток, переносился в когда-то прожитые им прежде жизни. Мистический сюжет о переселении души произвел на меня большое впечатление, стало казаться, что я тоже давным-давно был кем-то другим, и хотелось, чтобы, когда меня уже не будет на свете, душа моя продолжала в ком-то жить.

Переход из одной жизни в другую через боль... Смерть есть боль, рождение тоже, и грани, делящие человеческую жизнь на периоды, подчас настолько разительно отличающиеся один от другого, что их можно назвать разными жизнями, также часто связаны с болью. Люди моего поколения, вспоминая, говорят: то было до войны, это — после. Война — грань, но и в эту грань вместилась целая жизнь, вошла великая боль. У поколения, к которому принадлежали мои родители, жизнь поделили революция и гражданская война. После у того поколения были еще свои рубежи, одни и те же для многих людей и у каждого человека свои, но революция и гражданская война были для них общими рубежами памяти — до и после.

Как и у многих эмигрировавших тогда за границу русских, для родителей эта грань оказалась особенно глубокой. По ту сторону осталась Родина, которую отец с матерью любили и по которой тосковали. Может, любовь и тоска эти были еще сильней и больней оттого, что Россия в их памяти олицетворялась с уходившей все дальше молодостью. Они так и не привыкли к стране, которая приняла их, но осталась для них чужой и для которой они тоже были чужими. Тем крепче держались за то, что напоминало Родину. Старые фотографии, пасхальные открытки, кузнецовская чашка с золотым узором, русские книги были частицей их России, их детства и молодости.

Толстые фолианты с тиснением на обложках, потрепанные томики дешевых дореволюционных изданий, полные и разрозненные собрания сочинений, комплекты «Нивы», «Задушевного слова», других старых журналов можно было взять в библиотеке, приобрести у антикваров и букинистов, купить в развалах на булыжной мостовой городских рынков. Все это осталось в Эстонии с тех пор, когда Тарту был еще Юрьевом, Таллинн — Ревелем, Петсери — Печорами, а Нарва Иесу — Усть-Наровой, куда когда-то приезжали на лето к желтым пляжам петербургские дачники. В Эстонии, особенно в ее северо-восточной части, оставалось многое от России — церкви и русские деревни, обвалившиеся окопы в песчаной земле под Нарвой, кресты и безымянные могилы на православных кладбищах... Сохранились книги, не сгоревшие, не истлевшие, не развеянные по листочку сырыми ветрами Балтики.

Помню прибитую к стене книжную полку у нас дома. Большая голубая книга с краю — собрание сочинений Пушкина, рядом поменьше в такой же обложке — Лермонтов, по соседству — три тома истории России, дальше — рассказы об Отечественной войне 1812 года, рядом прижатые

бурыми брошюрами по политической экономии потрепанные книжки — «Великие мира», «Петр и Полтава»... На верхней полке — книги по философии: Кант, Марк Аврелий, Спиноза, несколько томов на французском и английском языках, разнокалиберные словари, изданная в эмиграции на скверной бумаге «Белая гвардия» Булгакова. Рядом с полкой маленькие портреты Пушкина и Ломоносова, пониже в самодельной рамочке переснятая из журнала фотография Николая Федорова. Одно время отец увлекся его философскими тетрадями. Федоров мечтал о воскрешении мертвых...

Вечерами, когда все уже дома спали, отец, оставшись на кухне, допоздна читал, делал на полях книг пометки, что-то выписывал в тетради, может, хотел, чтобы эти выписки когда-нибудь пригодились мне. Недоучившись в технологическом институте, в восемнадцать лет он ушел добровольцем на мировую войну, потом была война гражданская, скитания в эмиграции и, наконец, крохотный светлый островок в отчужденном мире — семья... Как-то раз, пробудившись середь ночи, я долго ждал, когда отец потушит на кухне лампу, тихонечко зайдет в комнату, наклонится надо мной, над разметавшейся во сне сестренкой... Но свет все горел, было слышно, как изредка шелестят страницы, как громко тикает будильник на комоде. Не дождавшись, я поднялся с раскладушки и, поджимая пальцы босых ног на холодном полу, прошел на кухню к отцу.

Он оторвался от книги и удивленно посмотрел на меня:

— Ты чего?

— А ты? — спросил я, щурясь от лампы. — Тебе же завтра рано на завод. Уже поздно.

Он притянул меня к себе, сквозь ночную рубашку я ощутил его тепло и крепче прижался к нему.

— Да, да, уже поздно, — повторил он за мной, наверное, думая о чем-то своем. — Поздно.

Отец... Я тоже порой не могу понять многого в этом мире, ищу ответа на свои вопросы... Часто думаю, о чем бы мы говорили, если бы встретились сегодня, когда я уже старше тебя. Ведь мы прожили врозь разное время, и столько много прошло с того утра, когда расстались... Я рассказал бы о том, чего тебе не довелось увидеть, — ты был свидетелем поражения России, я видел ее Победу. Ты воевал за Россию с Германией, потом воевал на гражданской за то, чему верил. Теперь все легче разложить по полочкам, ты поступал так, как тебя учили, как воспитали. «За отсутствием состава преступления», — сказано в бумаге о твоей реабилитации, которая лежит у меня вместе с единственным сохранившимся листком из твоих тетрадей. За отсутствием преступления. За что же буду судить тебя я, твой сын? Ты трудно жил, но ты сделал для меня все, что мог. Я в долгу перед тобой. В долгу за то, что не уберег мать и сестренку. В долгу перед тобой и перед ними. Время судит нас. Время и наша память. Мои дети уже не знают тебя, ты со своей изломанной жизнью, со своими мучительными вопросами так от них далек. Для них все проще — там черное, там белое...

Мысли опять увели меня в сторону. Но так легче рассказывать, легче исповедоваться перед самим собой. И остави нам долги наши...

Возвращение в прошлое через боль... Родители часто переезжали, ютились на квартирах у разных хозяев, пока отцу не нашлась постоянная работа на сланцевом руднике. Книги, о которых я рассказывал, были уже в последней квартире, где мы прожили до лета сорок первого. Комната и кухня в оштукатуренном снаружи желтоватой известью доме под крытой толем крышей. Лучше этой квартиры на моей памяти у родителей не было. Сорок лет спустя, холодным и ветреным днем, я приехал туда, где оборвалось детство. Собираясь проведать эти места, думал — узнаю судьбу оставшихся книг. Но там уже не помнили улицы, на которой мы жили... И все-таки надеюсь, что кто-то сохранил книги, так хочется, чтобы хоть часть их уцелела. После войны, после всего, что было... Они были со мной в детстве, с ним ушли... И все-таки я хотел бы увидеть их. Только посмотрел бы, прикоснулся к ним, может, попросил бы одну или две из самых когда-то любимых...

Может, «Конька-Горбунка», которого знал наизусть, может, голубую с позолоченным обрезом книгу про Суворова, а может, тоненькую книжку — сказки Оскара Уайльда: когда мама читала вслух про Счастливого принца, на глазах ее выступали слезы... Или нет — «Дон Кихот»... Да, конечно же, ту вечную книгу о Рыцаре печального образа и его верном оруженосце.

Когда отец купил ее, еще не было на свете сестренки, мы жили в рабочем поселке и однажды в воскресный день поехали на поезде в Нарву. В старом городе сходили в кино, побывали в музее, оттуда... Впрочем, нет — в музее я был следующим летом только с отцом, еще помню — заблудились в бесконечных, увешанных картинами комнатах и не знали, как выйти, а в тот раз после кино отец повел нас на Рыцарскую улицу в домик Петра Великого, за толстыми розовыми стенами которого пылились бюргерские кресла и свисавшие с древков знамена шведских полков, а в застекленном шкафу лежала треугольная шляпа царя. И уже оттуда мы пошли в букинистическую лавку братьев Давыдовых, где похожие друг на друга, мордатые, с одинаково зачесанными на пробор набриолиненными волосами хозяева лавки — два брата — стояли за прилавком, наметанным глазом следя за редкими покупателями. Помню запах старых книг, помню, как мама взяла одну с прилавка и, чему-то обрадовавшись, принялась листать.

— У меня в детстве был такой, — шепнула она отцу. — С этими же рисунками.

— Совсем мало подержанный Сервантес, — наклонился один из братьев. — Можем уступить за две кроны.

Мама посмотрела на отца и, перелистнув еще несколько страниц, положила роман обратно на прилавок.

— Просите супруга... Крайняя цена — крона восемьдесят центов. Только для вас.

Но у отца не было и таких денег. Смутившись, он приценился к какому-то словарю, и, ничего не купив, мы вышли на улицу. Мне было стыдно. Струйками стекая из водосточных труб, накрапывал дождь, лоснилась мостовая, проехал извозчик, и, удаляясь, звонко и сочно клацали по булыжнику конские копыта.

А через полмесяца, в воскресенье, накануне маминого дня рождения, отец ранним утром поехал на велосипеде в Нарву. То лето было дождливым, и книгу, которую он привез, вернувшись ночью, промочило — на последних страницах остались следы потеков. В зеленом переплете с тисненым корешком, она потом стояла на этажерке с несколькими другими, не вместившимися на книжную полку томами — «Дон Кихот Ламанчский» с иллюстрациями Гюстава Доре. Сегодня у меня дома на стеллаже такая же книга, и, глядя на нее, я вспоминаю ту.

Время идет, а Рыцарь печального образа на костлявом Росинанте все странствует по дорогам, сражаясь и страдая за других. Защитник униженных и слабых, безумный идальго Дон Кихот. И чудится мне удаляющийся цокот конских копыт на Рыцарской улице моего детства.

Уводят в сторону воспоминания, мысленно переношусь в разные периоды своей жизни, клубок памяти не разматывается в одну сторону. Пытаюсь связать нить, но опять и опять она обрывается...

В сорок втором из больницы меня выписали вскоре после Октябрьской. Когда я пришел на квартиру, где жил, Степаниха латала Колькины штаны. Я нарочито бодро поздоровался и прислонился погреться к только что истопленной печке. После просторной больничной палаты комната выглядела ниже и тесней.

— Явился? — спросила Степаниха.

— Ага, — сказал я. — Болезни же у меня никакой нет, зачем меня там долго держать?

Она оглядела меня, и по ее взгляду я понял: следовало бы побыть там еще. Будто я виноват в том, что меня выписали.

На плите стоял чугунок. Перед выпиской нас с Вовкой покормили, но все-таки я не удержался и глянул на этот чугунок. Степаниха перехватила мой взгляд и вздохнула.

— Чего стоишь? Садись.

— Погреюсь, — ответил я, ощущая лопатками горячие кирпичи. — Замерз, пока шел.

— Ох, горе наше...— Она откусила нитку и отложила Колькины штаны на обитый полосками жести сундук.— Думала, там справнее станешь.

Я опять почувствовал себя виноватым:

— В больнице хорошо кормят. Хлеб три раза в день...

Она отвернулась и стала смотреть в окно. Уже неделю лежал снег, и от него на улице было по-зимнему светло. Ничто не нарушало тишину. В райцентре не было ни одной автомашины, и даже на лошадях по нашей окраинной улице никто не ездил. Только по вечерам бывало слышно, как женщины возле своих домишек пилят на козлах дрова.

Стукнула дверь в сенях. Кутаясь в платок, вошла учительница Ганна Алексеевна, недавно поселившаяся по соседству.

Степаниха засуетилась и подвинула табуретку.

— Господи!— сказала Ганна Алексеевна, присаживаясь.— Неужели и у нас в Ленинграде сейчас так же холодно?

Никто не ответил. Кто знал, как там сейчас в Ленинграде?

— Ну, а твои дела как?— спросила она, помолчав.

— Ничего... Выписался вот...

Она заговорила со Степанихой о Кольке, который опять не выполнил домашнего задания, но мне показалось, что она пришла из-за меня. Наверное, видела в окно, когда я шел из больницы. Насчет Кольки она могла сказать ей и в школе.

— И что ты дальше думаешь делать?— обратилась она ко мне, когда разговор о Кольке иссяк.

— В детдом ему надо добиваться,— вмешалась Степаниха.— Совсем ведь безродный... Сирота.

Ганна Алексеевна вздохнула.

— Не примут его туда, Анна Семеновна. Был бы на год младше... Надо было ему сразу идти, когда... так получилось.

— Завтра в школу пойду,— сказал я, потупившись.— Мы в больнице с Вовкой учили по всем предметам...

Ганна Алексеевна печально посмотрела на меня:

— Школу тебе, Дима, придется оставить.

В классе она называла меня по фамилии, а сейчас впервые назвала по имени.

— Учиться сможешь и после войны, когда жизнь наладится. Сейчас надо идти работать... Денег ведь у тебя нет?

Голос у нее был мягкий, совсем не такой, как в классе.

— Пятьдесят четыре рубля осталось,— ответил я, не подымая глаз.— У тети Нюры в ящике.

— Ну, вот видишь. Сколько же ты протянешь?

Когда мама была еще жива, комендант заставил ее подписать бумагу, что мы высланы на двадцать лет. Но я не представлял, как буду жить дальше, даже если бы меня отпустили,— никто нигде не ждал меня...

Наверное, Степаниха рано закрыла вьюшку — в комнате пахло угаром. Я вспомнил высокие больничные печи и как мы с Вовкой по вечерам выходили в коридор посидеть на корточках перед открытыми печными дверцами, за которыми подергивались пеплом багровые угли.

— Может, дрова в больницу попроситься пилить?— сказал я, ни к кому в отдельности не обращаясь.

— Молчи уж,— скривилась Степаниха.— Какой с тебя пильщик? Ни силы, ни обувки. Кто с тобой пилить согласится? К начальству ступай, пущай решают что-нибудь.

За печкой заверещал сверчок. Там все просматривалось, и непонятно было, где он живет. Колька пытался его найти и убить, но Степаниха сказала, что сверчок — к достатку, хотя достатка никакого не предвиделось.

— Вот что, Дима,— нарушила затянувшееся молчание Ганна Алексеевна.— Поговорю-ка я с директором рыбозавода — не возьмут ли тебя учеником в бухгалтерию? У меня завтра занятия во вторую смену, как раз будет время... А ты после двух приходи прямо к нему. Знаешь, где контора?

Я кивнул.

— Хоть бы приняли. Обскажите все как есть,— оживилась Степаниха.

— Отец хотел, чтобы я стал моряком,— понуро сказал я.

Ганна Алексеевна промолчала, и я вспомнил, что в классе говорили, будто ее муж тоже был флотским.

— На булгахтера выучишься, работа чистая, завсегда в тепле,— сказала Степаниха, вдевая в иглу нитку.

Но я не надеялся — таких, как я, спецпереселенцев «нового контингента» на чистую работу тогда не принимали.

Два барака, где солили и вялили рыбу, бондарка и приземистая бревенчатая контора — все это, спешно построенное во время войны, громко именовалось рыбозаводом. Рыбаки гослова и ближних артелей сдавали сюда свой улов: отсюда рыбу отправляли в Томск и дальше — на фронт. Работали здесь в основном эвакуированные из Ленинграда, Крыма, из Одессы...

На следующий день я предстал перед поджарым, с ершиком усов директором рыбозавода. Критически окинув взглядом мою жалкую фигуру в женском пальто, он спросил, болезненно морщась:

— Семилетку-то хоть кончил?

— В восьмом учусь,— сказал я, не решаясь подойти ближе к столу.

— Та-ак...— Он расстегнул давивший шею воротник выцветшего кителя и покрутил подбородком.— Очень за тебя учительница просила. Родня она тебе?

— Нет,— сказал я и тут же испугался: может, надо было сказать, что родня?

Директор застегнул воротник.

— Не нужны, брат, нам ученики в контору. Рыбаки нужны. А тебе и пешню не удержать. Так?

Я не представлял, что такое пешня, и промолчал.

— Что же делать?— сказал он, почему-то подобрев.— Ступай в кабинет напротив, напиши заявление, чтобы приняли учеником в контору... Только чтоб старался. Иначе, брат, в два счета... Понял?

На серой оберточной бумаге военного времени я написал первое в жизни заявление. Директор наложил наискосок резолюцию, и меня зачислили учеником в бухгалтерию. Морская служба осталась светлой мечтой детства.

На другой день возле дома я встретил Ганну Алексеевну с тетрадками под мышкой.

— С работы, Дима?— спросила она.

— С работы. Сегодня карточки линовал.

— Зарплата какая?

— Не спросил. Хлеба — шестьсот.

— Ну, вот, уже не иждивенческий паек. Поработаешь, телогрейку выпишут, на ноги что-нибудь. А то как жить?

— Я понимаю,— сказал я.— Спасибо, Ганна Алексеевна. Если бы не вы, мне плохо было бы...

— Чего там!— Ганна Алексеевна грустно улыбнулась.— Ты учебники не забрасывай.

Она уехала в Ленинград весной сорок четвертого. В год, когда прорвали блокаду, с Васюганом рассталось много ленинградцев.

За два дня перед тем, как к нам пришел первый по весне пароход, меня послали увезти в подсобное хозяйство соль. Нас, конторских, частенько назначали разгружать баржи и выполнять разную другую работу — людей тогда всюду не хватало, а я к тому времени малость окреп, да и лет мне стало побольше. Вместе со мной на лодке отправили еще парнишку из конторы и пожилого бондаря с забавной фамилией Мныш. В подсобном Мныш заболел, и из-за него мы на день задержались. Без нас вечером с низовья пришел пароход и, простояв ночь на пристани, наутро должен был отправляться обратно. За два плеса не доезжая до дома, мы услышали первый отходный гудок...

Только река связывала Васюган с внешним миром: по реке отсюда уезжали, по ней возвращались, по ней [illegible] глубокой осени везли почту... И когда весной, спеша по вздувшейся реке навстречу плывущим льдинкам, приходил с низовья первый пароход, встречать его и провожать собирались от мала до велика.

Мы увидели его, когда лодка вышла из-за последнего поворота. Еще

два долгих гудка, замирая, покатились вдаль по реке. Я знал, что Ганна Алексеевна уезжает, и, кажется, никогда не греб так сильно.

Приткнув лодку между причаленными неводниками, мы выскочили на берег, когда матросы уже тянули в пролет трап. Вплотную надвинулась к воде толпа провожающих, а наверху, на палубе, сбились к борту те, кто уезжал. Их было много — война еще не кончилась, одни возвращались домой из эвакуации, другие ехали на фронт...

Ганна Алексеевна стояла рядом с дочкой у поручней, и лицо ее было невеселым. Может, это только мне показалось — я был далеко и не мог протиснуться ближе, но, наверное, в самом деле ей было немножко грустно. Все эвакуированные оставляли здесь, в Васюгане, частицу своей жизни...

— Ганна Алексеевна! — крикнул я.

Она не видела меня. Пароход кренился, капитан что-то кричал в рупор, и матросы принялись спроваживать пассажиров на противоположный борт. Заплескали лопасти колес, зашипел, вырываясь над водой, клубящийся пар, и в шуме ничего нельзя было разобрать.

— Ганна Алексеевна, до свидания! — еще раз крикнул я.

Медленно, через силу, отваливал перегруженный пароход от подмытого водой истоптанного берега.

Сорвав с головы платок, рыдала возле меня простоволосая женщина; опершись подмышкой о костыль и сложив ладони у рта, тщетно пытался что-то наказать отъезжающим одноногий инвалид. Голосили солдатки, кричала толпа, и каждый тянулся к кому-то своему... Протяжно загудел пароход, скрываясь за излучину, в последний раз мелькнули чьи-то руки, платки, знакомая зеленая кофточка. Стало пусто на реке, и только дым, тяжелея, опускался на противоположный берег, цепляясь за тальники.

Память мечется, как птица в клетке, и, подвластный ей, я стремлюсь передать возникающее перед мысленным взором. А может, наоборот — память подвластна мне, и я заставляю ее снова и снова высвечивать то, что хочу увидеть... Где же в моей жизни главное? Самое, самое главное?

Мне шел одиннадцатый год, когда я впервые увидел Россию. В то дождливое прибалтийское лето мы с мамой и сестренкой жили на побережье Финского залива в поселке близ Нарвы, где отец снял для нас комнату в запущенной и очень сырой даче. Он тогда работал на сланцеперегонном заводе в Кивиыли, здоровье его было подорвано, но ему хотелось, чтобы мы могли пожить месяц у моря. Сам он обещал приехать попозже, однако август был уже на исходе, срок, за который уплатили хозяйке дачи, подходил к концу, а мы все жили одни, и мама, близоруко щурясь, писала вечерами отцу при желтом свете керосиновой лампы длинные трогательные письма. Но однажды, когда до возвращения в прокопченный сланцевым дымом Кивиыли оставалось всего несколько дней, я проснулся утром от приглушенных голосов, открыл глаза и увидел склонившегося надо мной отца. Мама стояла рядом, и глаза ее, вчера еще печальные, были счастливыми. Накануне лил дождь, сегодня солнце золотило отставшие от стен обои, призывно шумело близкое море, и предстоящий день казался таким светлым... После я узнал, что отец приехал под утро, ему дали отпуск на неделю, и он всю ночь ехал на велосипеде, чтобы побыть с нами эти последние дни у моря.

На следующее утро мы с ним собрались к границе, он хотел мне показать Россию. Помню, как мы стояли под моросящим дождем возле заброшенного кладбища, где между старыми березами мокли черные кресты, за низкой кладбищенской стеной разросся густой ельник, ближе лежали замшелые валуны, и мимо них, разделенные узкой полоской земли, уходили вдаль два ряда опутанных колючей проволокой столбов. По ту сторону кордона тоже теснились отступившие от пограничной полосы ели, в сырой мгле белели березки и мокро блестели вросшие в землю камни. Все одинаково, только по эту сторону границы — Эстония, а в нескольких шагах — Россия. Далеко у ельника по ту сторону столбов маячила пирамидка сторожевой вышки, к которой вела мокрая тропинка, и я все смотрел на эту вышку, надеясь увидеть пограничника. Неподалеку от нас прохаживался с винтовкой солдат, но это был эстонский пограничник, а так хотелось увидеть русского, советского... Однако за кордоном было безлюдно,

все сильнее шелестел по камням расходящийся дождь, и на шипах тернистой проволоки набухали крупные капли. Жалко улыбнувшись, отец снял кепку...

Раз в жизни я видел, как он плакал. Это было, когда из Ленинграда пришло письмо о смерти его матери, она жила там вместе с его братом, который спустя несколько лет погиб во время блокады, и, наверное, даже легче, что бабушка скончалась до войны. Война и все то страшное было еще впереди, до сорок первого оставалось несколько лет... А в ту пору мы жили в Пюсси, в десяти километрах от Кивиыли, квартиры там не было, ее отец получил после, а тогда родители снимали комнату у какого-то железнодорожника в этом Пюсси, и на завод и обратно отец ездил вдоль железной дороги на велосипеде. В тот день я пошел его встречать, накануне получили то письмо из Ленинграда, и дома было грустно. Я встретил отца на полпути у карьера, он, как всегда, тихонько обнял меня, усадил на велосипедную раму и повез обратно домой. Возвращаясь со смены, он обычно что-нибудь рассказывал, а тут, задевая меня пропахшей бензином одеждой, молча крутил педали, я только слышал его дыхание и чувствовал, как он думает. Вероятно, о том, как мать любила его, как много лет ждала. Наверное, винил себя... Сейчас, переживший боль утрат, я, который сегодня уже старше отца, понимаю, как все это было, но тогда мое сердце не восприняло чужой боли — умер кто-то, кого я не знал... Мы отъехали недалеко от карьера, отец остановил велосипед, лег лицом в траву, и я увидел, что он плачет. Сейчас мне невыносимо жаль его, но тогда я ничего не сказал ему, не попытался утешить. Протяжно прокричал паровоз, с тяжким грохотом прошел мимо длинный железнодорожный состав, а отец все лежал на откосе железнодорожной насыпи лицом вниз. Теперь на границе мне тоже показалось, что в его глазах слезы, впрочем, может, только показалось — лицо его было мокрым от дождя.

Россия была по ту сторону, мы — по эту. Я знал, почему так получилось. Но я хотел быть там, по ту сторону пограничных столбов, мы — русские, отец всегда говорил, что наша родина — Россия.

Много лет спустя я приехал в тот дачный поселок, где когда-то прошел месяц моего детства, откуда ездил с отцом на границу. Здесь мальчишкой бегал я по кромке отмели, и теплые волны стирали следы босых ног, теперь я медленно брел по той же далеко уходящей в залив отмели, и снова морская вода смывала позади мои заплывающие текучим песком следы. Пронзительно кричали чайки. Ни радости, ни печали, на душе пусто, как пустынно бесконечно моющее пляж серое волнистое море... Ветер раздувал развешенную на сушалах рыбацкую сеть, упруго качал ветви сосен. Лишь когда на короткое время показывалось солнце, все теплело, загорались желтым песчаные дюны, вспыхивали сосновые кроны, меняла цвет морская вода. Но гонимые ветром облака заволакивали голубые просветы, яркие краски уходили, как вода в песок, снова море тускнело и гасло.

Что-то маленькое, продолговатое катал по песчаной косе расплескивающийся волной прибой — волны выбрасывали и стягивали обратно ружейную гильзу. Быть может, последний патрон какого-нибудь балтийского матроса, отстреливавшегося от наседавших немцев, может, и сам морячок упал здесь, на приплеске, и гряды прибоя, набегая из серой дали, долго омывали его бескровное лицо, а ветер заносил сыпучим песком слетевшую с головы бескозырку... Сколько же стреляных гильз, сколько свинца, ржавого железа и костей покоится, Эстония, в твоих прибрежных песках, в каменистой земле!

Я попытался представить себе, как было тут в войну, но в памяти возникло далекое довоенное лето, когда мы жили втроем у моря, вспомнился тот далекий август, когда засыпал и пробуждался под мерный шум прибоя, когда каждое утро ждал чего-то радостного и каждый день был таким долгим, каким может быть только в детстве...

Почему на склоне лет неодолимо влечет к местам, где прошли детские годы? Чтобы утешиться или проститься уже навсегда? Как мал отпущенный нам срок детства, но сколь многим обязаны мы ему! Начинаю вспоминать далекое, снова приходят на память казавшиеся тогда большими маленькие города, исчезнувшие деревни, опять вижу железные со сбе-

гающимися вдали рельсами дороги, песчаную колею меж солнечных сосен, мощенное булыжником шоссе с указателями на полосатых столбах — сколько пройдено, сколько еще осталось пройти... Дороги, зовущие в мои города. Если б я был музыкантом, для каждого из них написал бы свою музыку, в которой звучала одна тема, один лейтмотив — звонкий и в то же время печальный. Но о Нарве я написал бы светлую мелодию, мне не хотелось бы создавать грустную, и даже если вдруг навернутся слезы — чтобы они не были горькими. В музыке о Нарве была бы тема весны.

О Тарту я написал бы иначе, этот город чаще вспоминается осенним. Слышу стучащий о подоконник дождь, вижу опустевший сад за окном пансиона, в котором жил в тридцать девятом...

И через много лет приехал сюда тоже в дождь. Ночью беспокойно спал в покачивающемся вагоне, часто просыпался, видел скользящую за вагонным окном мглу, расплывающиеся огни и снова дремал, сквозь сон слышал, как врывается откуда-то в купе грохот встречных поездов, слышал однообразный перестук колес, вдруг меняющийся на гулких железнодорожных мостах... Долго стояли на какой-то станции, прошел проводник по вагону и сказал: «Псков, следующая — Печоры». Проснулся уже в Эстонии, увидел сырое, бесцветное утро, мелькающие вдоль железнодорожного полотна сосны, и вдруг кольнуло: а ведь эту дорогу строил отец... Но до боли отчетливо вспомнил не его, а сохранившуюся фотографию — просека, свежая насыпь, перевернутая тачка, возле которой несколько рабочих, щурясь от солнца, смотрят в объектив. В центре, опершись руками о колено, в надвинутой на глаза фуражке сидит он. Сколько же ему было тогда? Сколько было этим соснам, сколько мне? Вспомнилась Тучина гора — деревня где-то возле Печор, где тогда долго жили; с хозяйскими ребятишками я забирался на теплые кирпичи русской печи, и старшая из нас, светловолосая Катька, по складам читала сказки из потрепанной книжки с картинками. Было это или сон?

Мелькают столбы с отяжелевшими от дождя проводами, кончился лес, потянулись мокнущие поля, где-то вдали возник и исчез в сыром тумане шпиль кирхи. Постукивают колеса, ползут по оконному стеклу косые ручейки, словно заплаканные стекла.

В Тарту поезд пришел в семь утра. Деревянный вокзал, кажется, все тот же, что стоял до войны, течет из водосточных труб брызгающая на тротуар вода, в чьем-то магнитофоне раскручивается пленка. Сливающийся с шорохом дождя, прощающийся издалека голос Анны Герман:

Мы эхо, мы эхо,
Мы вечное эхо друг друга...

Мокрые скамейки, запах вокзала, вздрагивающая под дождевыми каплями листва.

Потом уже, в предвечерних сумерках, на обсаженной каштанами улочке услышал колокол. Тягучие удары доносились со стороны лютеранской церкви, терялись в мороси и снова возникали где-то наверху, напоминая о прошлом. Давным-давно, впервые приехав из России, мама ждала здесь моего отца... Они знали друг друга, когда она еще заплетала длинную косу и ходила в гимназическом платье, а он был затянутым в форменную курточку, остриженым наголо кадетиком. В первый раз она увидела его у себя на именинах, весь вечер кадетик молча просидел в углу и показался ей таким угрюмым... Через несколько лет, когда провожала его, уходившего добровольцем на фронт, они уже любили друг друга. Шла мировая война, потом была революция, затем война гражданская... Расстилая черный дым, белая эскадра увозила по морю остатки разбитой врангелевской армии, и среди ста пятидесяти тысяч покидавших Родину был и он... На каменистом острове Галлиполи метался в тифозном жару, скитался по Константинополю, искал заработка во Франции... Давно за дымкой горизонта скрылась Россия, чужой календарь отсчитывал годы; когда-то двадцатилетний поручик слал невесте в Петроград письма с германского фронта, двадцативосьмилетний эмигрант, он писал в Ленинград уже из Ниццы. Он не звал ее во Францию, просил, чтобы она приехала в Эстонию, там его сестра, и это так близко от России...

Она приехала в Тарту на день раньше, чем смог добраться он. Была унылая прибалтийская осень, холодная комната, неизвестность впереди, и

всю ночь во мгле размеренно и печально звонил по ком-то колокол. А назавтра из Ниццы приехал отец, и они обвенчались в Успенской церкви. Теплились огоньки свечек, отражаясь в позолоченных окладах, скорбно глядели с икон лики святых, и одинокий голос священника гулко раздавался под сводами безлюдного собора. Было это в ноябре 1924-го. Шестьдесят или тысячу лет назад?

Бьет колокол, угасает печальный звук. Хочу покоя, мучительно хочу тишины... Но тяжело падает удар, и опять плывет, уносясь вдаль, похоронный звон. Люди, кто-то умер, люди, помните... Замирает чугунный стон, и снова удар. Люди, помните...

Сколько раз слышал я этот тягостный звон — в кирхе неподалеку от пансиона, в котором жил когда-то, вечерами так же уныло звонил колокол, и сейчас его размеренные, однотонные удары были голосом минувшего.

...Тарту, долгая осень тридцать девятого. В кинотеатре за придавившим реку массивным, напоминающим триумфальную арку каменным мостом — фильм «На Западном фронте без перемен» по Ремарку. Луч пыльного света протянулся к экрану — там мимо штабелей заготовленных впрок пустых гробов идет колонна новобранцев. Каски, шинели, увязающие в раскисшей глине солдатские сапоги, тени людей, шагающих мимо жутких штабелей к своей участи... Почему-то помню лишь этот эпизод, еще помню, как в переполненном зале рядом со мной плакала женщина.

Иногда кажется — я смотрел этот фильм раньше, даже наверняка раньше, однако он ассоциируется у меня с осенью, когда началась вторая мировая война. Была поначалу она далекой, не казалась страшной, мое представление о войне основывалось на иных фильмах и книгах: лихие кавалерийские атаки, а не смерть в глинистых траншеях и на проволочных заграждениях... Мне уже было тринадцать лет, я приехал учиться в Тарту, но в чемодане вместе с аккуратно сложенным мамой бельем и книжками привез полтора десятка оловянных солдатиков.

Той осенью нужно было поступать в гимназию, однако родители решили, чтобы я сдавал экзамены в эстонское реальное училище, по окончании которого мог бы получить какую-нибудь специальность в техникуме. Экзамены я выдержал, но знаний эстонского языка, почерпнутых у соседских мальчишек и на уроках в русской начальной школе, недоставало для учебного заведения, где преподавание велось на эстонском. Учиться было трудно, но куда тяжелее доставалось родителям — вносить плату за мое обучение, ежемесячно отдавать по двадцать пять крон за пансион, куда меня определили... А зарабатывал отец всего шестьдесят крон в месяц. В эстонскую школу отдали меня скрепя сердце, особенно страдала мама — как-то в почтовой открытке домой я сделал две орфографические ошибки, и она тут же прислала отчаянное письмо, решив, что я начал забывать родной русский. Синие чернила внизу расплылись, наверное, мама плакала.

Вспоминая пансион, я снова ощущаю запах его кухни, чуланчиков, туалета с засиженной мухами лампочкой, вижу блеклые обои, полоски холста с изречениями из Библии, коробочки и шкатулки на комоде в комнате хозяйки пансиона фрейлен фон Рамм, которой каждый месяц тридцатого числа приходил отдавать причитающуюся с меня плату; вижу сухие кактусы на подоконниках, альбомы с гравюрами о франко-прусской войне, громоздкий буфет в столовой, откуда, когда настает моя очередь накрывать на стол, достаю тарелки, стаканы с подстаканниками, подставки под ножи и вилки...

Во всем раз и навсегда заведенный порядок — у каждого за столом определенное хозяйкой место, свой столовый прибор, своя вложенная в кольцо салфетка. По утрам постояльцы, которым надо идти в гимназию или в университет, завтракают первыми, кому спешить некуда — могут приходить к столу позже. Обедаем все вместе — в два часа по удару гонга обитатели пансиона сходятся в столовую, фрейлен, сложив пухлые ладошки, произносит предобеденную молитву и начинает разливать по тарелкам суп, затем горничная с постным лицом приносит мясное. Ужинаем в восемь, опоздавший, если это кто-нибудь из молодых, получает от хозяйки выговор, а в случае повторения может быть вообще не допущен к столу. Впрочем, в таких случаях удается поесть на кухне, добродушная кухарка-эстонка задерживается там допоздна.

Я живу в одной комнате с Хейнсом, поступившим в первый класс

здешней немецкой гимназии. Поскольку знаю лишь с десяток немецких слов, а Хейнс не умеет по-русски, разговариваем по-эстонски. Общаемся мало, по вечерам он пиликает на губной гармошке или пропадает на собраниях гитлерюгенда. Иногда к нему приходят его сверстники из немецкой гимназии, с ними он охотно болтает, и, прощаясь, все вскидывают вытянутые вперед руки: «Хайль Гитлер!» Комната наша проходная, двери отгорожены двумя шкафами, за которыми проходят к себе старшие сестры Хейнса — хорошенькая смуглянка Рита и сухопарая блондинка Гизела. Слева снимает комнату курчавый, со сросшимися на переносье черными бровями и удивительно белой, прямо-таки какой-то матовой кожей студент-медик итальянец Тредичи. Еще в пансионе обитают три старые прибалтийские немки, к двум часам они выползают из своих комнат пообедать с такими же, живущими где-то, но столующимися здесь, фрау фон такой-то, герром фон таким-то, тоже увядающими, одинокими, старающимися сохранить старческую пристойность, — больше уже нечего сохранять. Все они доживают свой век, как доживают здесь стенные часы, долго хрипящие перед тем, как отбивать время, картины, так полинявшие, что на них не отличить небо от моря, как широкие, словно кринолины, старые абажуры, так же как доживает весь этот дом, с дребезжащим колокольчиком у входа, с отполированными бесчисленными прикосновениями рук перилами лестницы, запущенным садом за покосившейся верандой.

Ходит столоваться к фрейлен Рамм и относительно молодая рыжая англичанка мисс Вебб. Она ярко красит губы, носит платье с глубоким вырезом, но видно, что жизнь изрядно помяла ее и она несчастлива. С собой она приводит сына, ненормального мальчика лет семи в бархатной курточке и коротеньких гольфах. Иногда во время обеда мальчик начинает строить рожи, и непонятно, кривляется он или худенькое лицо сводит нервный тик. Мисс Вебб краснеет, обедающие не глядят на них, а мальчик, подергавшись, нехотя начинает елозить по тарелке ложкой. За столом все степенны, едят неторопливо, кто-нибудь один говорит, остальные, не перебивая, слушают. Разговаривают по-немецки, главным образом о политике. Фашисты только что вторглись в Польшу, Англия и Франция объявили Германии войну, пока это еще странная война, однако к мисс Вебб относятся уже иначе. Прежде за столом она участвовала в разговоре, теперь с ней не говорят, она тоже молчит, но однажды, вспыхнув, возразила вещавшему о чем-то старичку, тот резко повысил голос, она не выдержала и заплакала. Лишь в черных глазах Тредичи я увидел сочувствие к ней. Назавтра два места за столом пустовали, но затем рыжая мисс Вебб появилась опять.

В тот день после обеда ее больной сын заглянул в нашу комнату, Хейнс стал по-немецки орать, чтобы тот убирался вон, но мальчишка, тупо улыбаясь, стоял, и тогда Хейнс толкнул его в грудь, а потом ударил по худенькой спине. Я вступился и чуть с Хейнсом не подрался. С тех пор как началась война, мы относимся друг к другу враждебно: он выдрал из атласа карту Польши, прикрепил кнопками над своей кроватью и химическим карандашом старательно рисует свастики на занятых немцами польских городах, а мне обидно, что поляки не могут противостоять кичливым фашистам, их крикливому Гитлеру, про которого отец говорит, что это клоун, но очень страшный и, если его не остановят, он непременно нападет на Россию.

Здешние немцы собираются у детекторного радиоприемника слушать орущего фюрера, и порой кажется, что благообразные старички и старушки вот-вот вскочат и вслед за молодыми начнут выкрикивать «хайль!». С каждым разом Гитлер орет истошнее, на карте Польши все больше паучков, в газетах — фотографии пленных поляков и немецких солдат, танцующих с польками в варшавских кафе... Хейнс держится так, будто это он выиграл войну.

В школу я хожу напрямик через два обнесенных заборами опустелых сада, миную зоологический музей и выхожу к дому, где находятся мужская гимназия, прогимназия, техникум и мое реальное училище. У входа возле застекленной двери дежурит швейцар в парадном костюме, но я, как и большинство учеников, предпочитаю черный вход со двора. Внутри школы все величественно: увешанные картинами просторные коридоры, покрытые дорожкой ступени к двери, статуи античных богов в классе для рисования, актовый зал... После маленькой школы, где я учился, в этом холодном казенном доме чувствую себя подавленным.

В классе я один — русский, во втором ряду сидит молчаливый финн Парданен, остальные сорок семь — эстонцы. Все из разных школ, многие приехали с хуторов, класс не спаянный, но когда долговязый Ребане на последней парте начинает задорную эстонскую песню, все дружно подхватывают и бьют в такт ладонями по полированным крышкам парт. Обычно это бывает перед уроками английского языка, который преподает наш классный наставник, сухонький, похожий на пастора старичок с покрытой седым пушком головой. Его любят, но часто выводят из себя, и на уроках английского так шумно, что посмотреть, на месте ли учитель, в класс иногда заходит инспектор. Бритоголовый, плотный, с хриплым голосом, инспектор преподает алгебру. он строг и любит повторять, что прилежные ученики ведут себя хорошо, потому что их силы уходят на ученье, в то время как у тех, кто учиться не хочет, нерастраченная энергия находит выход в баловстве. Самый трудный для меня предмет — эстонский язык, его преподает немолодая, очень вежливая учительница, но я никак не могу справиться с двенадцатью падежами и двойными буквами эстонской грамматики, и учительница с видимым сожалением ставит мне двойки. В очках, всегда растрепанный, длинный и нервный учитель черчения Хаамер терпеть не может русских, а значит, и меня. Но больше всего я не люблю учительницу истории. Большеголовая, перетянутая, как оса, в талии, она уже немолода, но все еще прейли, то есть барышня, и, наверное, это болезненно сказывается на ее характере — прейли Вильмре зла, раздражительна, и тонкие губы ее кривятся в улыбке, когда она ставит единицы в маленькую синюю книжку, которую носит с собой в кармашке. Иногда с еще более язвительной улыбкой она обводит единицу кружком — это уже приговор на весь семестр.

Трудно отвечать на уроках по-эстонски, трудно писать диктанты, пересказывать прочитанное... Угнетают школа, нудный пансион, угнетает фрейлен Рамм, которая упорно обращается ко мне только по-немецки... По воскресеньям я хожу к тете Любе, Тата уже учится в университете, ей, как всегда, некогда, дяди Миши нет в живых, перед смертью он завещал, чтобы его похоронили ближе к России, и могила его в Нарве, на Ивангородском кладбище. Тетя угощает меня яблочным пирогом, интересуется, как я учусь, она уже не носит траур, но грустна, постарела и, когда разговариваю с ней, часто не слушает, а думает о чем-то своем. О дяде Мише, а может, о сыновьях, которые где-то в России... Тоскливо в этом городе, я перечитываю привезенную из дома книгу о том, как водолазы ЭПРОНа разыскивают и поднимают с морского дна затонувшие суда для Советской России, вечерами зачеркиваю на календарике каждый прожитый день, но до каникул, когда поеду домой, этих дней еще так много...

Как-то вечером у входа в пансион раздается настойчивый звонок. Обычно гостей встречает горничная, но фрейлен Рамм уже отпустила ее и, поскольку наша комната ближе других к входу, дверь иду открывать я.

— Гутен абенд...

Подтянутый молодой немец хочет видеть хозяйку пансиона. Что-то коротко объяснив ей в прихожей, он решительно направляется в столовую, откуда еще не разошлись отужинавшие старушки и старички. Немного растерянная фрейлен велит мне передать Хейнсу, чтобы он с сестрами шел в столовую.

— И Тредичи позвать? — спрашиваю я.

Нет, итальянца звать не надо, и сам я тоже могу заниматься своими делами.

Хейнс приводит сестер, дверь из прихожей в столовую открыта, и мне видно, как пришедший немец, стоя у плетеного кресла, начинает размеренно, даже торжественно что-то читать собравшимся. Лица присутствующих становятся все более серьезными, некоторые бледнеют, нудный старичок с булавкой достает из кармана портсигар, тут же трясущейся рукой пытается его сунуть обратно, и портсигар с металлическим стуком падает на пол.

Может, французы прорвали линию Зигфрида?

Молодого человека обступают, взволнованно расспрашивают, фрейлен Рамм сама хочет посмотреть бумагу... Но гость ничего больше добавить не

может, все сказано ясно. Он откашливается и, забрав оставленную в прихожей фетровую шляпу, поспешно уходит.

Возбужденный Хейнс заявляется в нашу комнату долгое время спустя, поначалу молчит, но новость прямо-таки распирает его, и он сообщает мне, что фюрер зовет прибалтийских немцев в Познань, заселять отнятые у поляков земли.

В ближайшие дни за столом разговор только об этом, а затем немцы начинают уезжать. Уезжают молодые, никогда не видевшие Германию, уезжают уже стоящие одной ногой в гробу старички и старушки — все на новые земли, все в Познань. Фюрер зовет, фюрер обещает, фюрер объединяет нацию... Лишь фрейлен Рамм остается в числе немногих, кто не хочет покидать насиженное место. Остается ее сестра, остается их почти глухой брат. А отъезжающие тащат в дом к фрейлен пожитки, которые некому сбыть, но жалко бросить. Может, фрау сумеет кому-нибудь продать и деньги выслать в Познань, хотя фюрер обещает, что все там будет, деньги не помешают... Веранда завалена посудой, игрушками, книгами... Повсюду запах старья.

Покинули пансион старушки, исчез нудный старичок, приехала со своей мызы мать Хейнса, дородная, еще крепкая на вид немка, забрала детей и тоже уехала с ними в Познань. Последние дни Хейнс не занимался, а, сидя на кровати, беспрестанно наигрывал на губной гармошке один и тот же печальный мотив... Не знаю его судьбы, но сегодня, когда на фотографиях времен войны вижу немецкие военные кладбища — березовые кресты с надетыми стальными касками, — невольно вспоминается этот немецкий мальчишка Хейнс.

После его отъезда в комнате со мной поселился белобрысый полуэстонец, полунемец Эдгар. Читая по вечерам, он упирает в переносье линейку, которая не дает склоняться ниже положенного над книгой, отчего на его угреватом лбу постоянно фиолетовое пятнышко. Он на четыре года старше меня, временами сильно заикается, впрочем, нам особенно не о чем разговаривать. В комнате, где жили сестры Хейнса, поселилась гимназисточка эстонка, остался Тредичи, но мисс Вебб со своим ненормальным сыном больше не столуется. Некоторое время обедать к фрейлен Рамм еще ходит одна из прежних посетительниц — старушонка с почти облысевшей головой, но и та вскоре уезжает в Познань...

Так же, как и прежде, в два часа звонит медный гонг, так же, склоняя голову, фрейлен Рамм произносит предобеденную молитву, но жизнь пансиона бесповоротно сломана, обедают почти в полном молчании. Долгая осень переходит в зиму, по утрам морозный туман смешивается с выползающим из печных труб дымом; морозы доходят до тридцати, холодно в пансионе, холодно в высоких коридорах училища, и перед началом уроков в классе все дружно считают приходящих: если наберется меньше половины учеников, занятия не состоятся...

На Западе война тоже вроде застыла от холодов, но рядом с Эстонией полыхнула другая — советско-финляндская. В эстонских газетах пишут: Красная Армия не в состоянии прорвать линию Маннергейма, обмороженных русских больше, чем раненых и убитых... В витрине лавки неподалеку от пансиона — карта театра военных действий на Карельском перешейке, возле нее — военное снаряжение для желающих ехать воевать на стороне Финляндии. В актовом зале по понедельникам молятся за победу финского оружия — после проповеди пастор громко читает строки из псалма, ученики поют, снова звучит псалом и тоскливо поет хор... Учитель Хаамер рассказывает на уроке оскорбительный анекдот про советских солдат. Я краснею и подымаю руку. Сердце мое колотится.

— Ты что-то хочешь сказать? — спрашивает он.

— То, что вы рассказали, — неправда.

Хаамер удивленно и в то же время насмешливо смотрит на меня.

— Если не нравится, можешь выйти из класса.

Во время большой перемены мальчишки натравливают на меня Парданена. Сжав кулаки, мы стоим друг против друга, и столпившиеся вокруг ребята вопят:

— Дай ему! Дай!

Они хотят увидеть драку.

Я ничего не имею против Парданена, как, наверное, и он против меня, но его подталкивают все ближе:

— Дай! Дай русскому!

Я чужой, один против всех. Если он замахнется, буду драться. Отчаянно... За русских, за Красную Армию.

Набычившийся Парданен не хочет начинать. Разжав кулаки, мы расходимся. Но мальчишки продолжают натравливать:

— Дай же ему! Почему ты не дал русскому?

Через два года за тысячи километров от Эстонии худой, обовшивевший, я буду идти по заснеженной улице райцентра, а следом, крича обидное и злое, неотступно меня будет преследовать ватага русских мальчишек. Втягивая познобленные пальцы в обтрепанные рукава маминого пальто, я остановлюсь, повернувшись лицом к ним, и они начнут натравливать на меня старшего — тщедушного парнишку в долгополой стеганой фуфайке, у которого немцы убили под Москвой отца. Бессильный, я попытаюсь пойти своей дорогой, но, обступив меня, они еще пуще будут его подзадоривать:

— Врежь ему, Венька! Врежь, давай!

Я чужой... Как объяснить им, что я такой же, как они, хоть и рос не в России? Я — русский, меня учили любить Россию...

Но это все потом.

Первый советский фильм, который я увидел, назывался «Лунный камень». Было, наверное, мне тогда лет десять, сюжет давно позабыл, но сохранил в памяти название и впечатление чуда — в кино заговорили по-русски. Потом все в том же, похожем на барак, с сырыми цементными стенами кинематографе «Калев» переживал на «Чапаеве». Стиснутый мальчишками на ближней к экрану скамейке, смотрел, как идет в психическую атаку офицерский полк, и казалось, что я тоже там, в уральской степи, где залегла редкая цепочка красноармейцев. Под нервный треск барабана, презирая противника, белые идут в полный рост, полощется знамя с черепом и скрещенными костями, все ближе густые шеренги наступающих... Надо бы переживать за них, но я почему-то болею за красных — за Чапаева, за Петьку, за Анку-пулеметчицу. Мучаюсь — отец воевал в белой армии, почему же я хочу, чтобы в белых стреляли? Жестко, жестоко бьет барабан... Надо бы за белых, но здесь пусть победят красные, пусть красные, пусть они...

«Та-та-та-та», — срывается долгой очередью «Максим». Смыкая редеющие шеренги, белогвардейцы еще наступают, но полк дрогнул, белые падают, побежали назад... На передних скамейках хлопают в ладоши, на задних свистят и топают ногами...

И, когда Чапаев под хищными пулями переплывал бурную реку, я страстно хотел, чтобы он спасся, чтобы выплыл. Мальчишки говорили — из фильма вырезаны куски, нарочно подделано, что Чапаев утонул... Спросить бы отца... Но он не любил вспоминать войну, он никогда про ту войну не рассказывал.

Потом, уже в сороковом году, мы с ним вместе смотрели «Александра Невского». Там все просто — русские и крестоносцы, свои и чужие. Не было мучительного раздвоения, поисков правды, поисков примирения в себе. Кто с мечом на Русь пойдет, от меча и погибнет...

Второй месяц Эстония была советской, грохоча по рельсам мимо поселка шли с востока тяжелые товарняки, и на бурых вагонах вместо привычной эмблемы — трех львов — белели серп, молот и короткая надпись — «СССР»; на заводской конторе алел еще непривычный красный флаг, возле плаца в киоске я покупал «Пионерскую правду», на последней странице которой печаталась захватывающая повесть «Тимур и его команда». Теперь мы были по одну сторону границы, вместе с Россией. Как-то вернувшись с лекции из Народного дома, отец сказал, что большевики, действительно, очень многого у себя добились, маму до слез растрогали приезжавшие с концертом ленинградские артисты. А я теперь учился в Нарве. Когда приехал в Тарту на летние каникулы с двойками по эстонскому языку и истории, дома решили, что осенью я буду заниматься в русской гимназии, и мне показалось, что родители сняли с души камень. Переэкзаменовки в Нарве я сдал запросто — по-русски рассказывать о Пелопонесской войне куда легче, чем отвечать прейли Вильмре по-эстонски. Отец обе-

щал — после гимназии я поступлю в военно-морское училище. Будущее казалось ясным, и только на западе все сильнее густели тучи. Из Кивиыли уехали последние оставашиеся тут немцы. Ожидая на перроне поезд, прикуривали от советских кредиток, орали фашистские песни и, отъезжая, кричали, что скоро вернутся...

Россия... У моих сверстников, чье детство прошло в России, она всегда была с ними. Коль они русские и родились на своей земле, как же еще могло быть иначе? Не было у них вопросов, как у тех ребят, чьи родители покинули Родину, кто рос в эмиграции.

Моя Россия была сказочной и противоречивой, в каждой сказке есть правда и ложь, в каждой сказке есть грезы. Невский, Летний сад с ажурными решетками и белым мрамором статуй, Мариинский театр, куда ходила гимназисткой мама, кадетский корпус, где учился отец, — та Россия, о которой вспоминали дома. Полтава и Бородино, сказки Пушкина, картины Васнецова и Верещагина, репродукции которых вместе с видами петербургских улиц под неправдоподобно голубым небом были на открытках в моем альбоме, — все это была тоже Россия. И билибинские витязи в высоких шеломах на богатырских конях, и бемовские открытки с христосующимися крестьянскими ребятишками, и старая серебряная ложка с монограммой... А еще была Советская Россия, где остались дедушка и бабушка, дядя Володя, тетя Оля с тетей Верой, которых я никогда не видел. В той России голод и разруха, там большевики, туда нельзя. Об этом я тоже слышал дома и одно время думал, что есть две России — та, которую вспоминали, и другая — Советская.

Но, может, парадоксально — обостренное ощущение Родины у меня во многом и потому, что в детстве я был от нее оторван. И дома, и в начальной школе, где учился, постоянно напоминали: мы — русские. Не всегда это приводило к добру — под одной крышей, но раздельно учились русские и эстонцы, и нередко на переменах мы учиняли между собой драки.

Для большинства эмигрантских детей, тем более тех русских, чьи родители жили в Эстонии еще до революции и гражданской войны, за советской границей была не чужая сторона. Туда стремились, некоторые туда уходили. О них не говорили: «Они перешли границу», говорили: «Бежали в Россию». Иногда: «Бежали к большевикам».

Могу сейчас лишь предположить, как постепенно примиряли в себе мои родители две России — ту, бывшую, и Советскую, как с годами менялось их восприятие того, что происходило на Родине, которую они покинули. Не кривя душой, скажу — отец с матерью радовались добрым вестям, которые приходили из-за кордона и начинали верить в новую Россию. Однако в тридцатых годах вести оттуда были не только отрадными... Тяжко было на чужбине, но и возвращение страшило. Свою горькую чашу родители испили до дна — скитаний, лишений, унижений досталось на их долю сполна.

В конце тридцатых годов живших в Эстонии русских власти усиленно уговаривали изменить фамилии на эстонские. Отец считал это изменой России. Когда начался повальный отъезд прибалтийских немцев в фашистскую Германию, многие из них звали с собой русских эмигрантов. В Европе шла война, сгущались тучи на советской границе, было очень тревожно. Какая-то небольшая часть эмигрантов уехала в Третий рейх. Я учился тогда в Тарту, приехал домой на каникулы. Помню эти разговоры, помню, как отец сказал: «Будем вместе с Россией, что бы ни случилось».

Иногда задумываюсь: время выносит приговор людям или люди — времени? Наверное, люди, но в зависимости от времени. Значит, все-таки судья — время...

Знаю, как тяжко было родителям, но были у них и счастливые дни; они любили и нашли друг друга после разметавшей стольких людей бури, были еще относительно молоды, еще цеплялись за жизнь, надеялись... На одной из немногих сохранившихся фотографий тех далеких лет — отец, заложив руки за спину, в подпоясанном кушаком осеннем пальто стоит рядом с мамой, она в зимнем пальто и высоких ботинках, перчатка с левой руки снята, на пальце видно обручальное кольцо. На обороте карточки — выцветшая надпись: «10 февраля 1931 года. Домберг. Юрьев». Снег, редкие деревья, круглая беседка с заснеженной крышей... Слева на светлом снежном фоне маленький желтоватый силуэт — когда-то мама вырезала с другой фотографии мою фигурку и приклеила рядом с собой. Впоследствии фигурка отклеилась и потерялась. Остались на карточке двое — прижавшиеся плечом к плечу, чуть улыбающиеся. Молодые, кажется, такие счастливые. И рядом с ними нечеткий контур мальчишки...

Давным-давно в доживающем свой век пансионе седая кухарка эстонка загадала мне загадку:

— Что все на свете делают одновременно?

И довольная тем, что я не смог ответить, сказала:

— Пока ты думал, я чуть-чуть постарела, и то, что вокруг нас, все-все постарело. И ты, мальчик, тоже стал на столько же старше...

Спустя сорок лет я пришел на то место, где был пансион, и не нашел его, не было ни сада, ни соседнего дома, и та старушка эстонка, наверное, давно покоится под крестом где-нибудь на лютеранском кладбище. Молча стоял я на каменном тротуаре, пахло оседавшим с утренней моросью городским дымом, лоснилась недвижная листва каштанов, и ничего, кроме этих, много лет назад посаженных кем-то деревьев и кирпичного остова стены рядом с построенным на месте бывшего здесь пансиона домом не напоминало о прошлом. И пока я, задумавшись, постоял у незнакомой калитки, а затем пошел обратно по пустынной в этот час улице, — те деревья, отсыревшая кирпичная стена и построенный после войны дом стали чуточку старее, как и я сам...

Сколько же это — сорок лет? Полжизни? Жизнь? А для того, кого не стало в двадцать лет? А если прожил всего шесть, если, как у моей сестренки, вся, вся жизнь уложилась в шесть годков? Может, и мне надо было погибнуть, может, живу уже чьи-то чужие годы? Страшно много — сорок лет, если четыре года из них — война...

Но, чем старше становишься, тем ощутимей стремительность времени: какими долгими были когда-то дни, а теперь они мелькают, сливаясь, словно спицы несущегося под гору колеса, пролетают весны, осени, зимы, вереницей проносятся годы. Было утро, и вот уже вечер... Однако не только грани возраста делят жизнь, у каждого еще и свои вехи, свои даты, от которых начинается отсчет времени, иного, непохожего на то, что было до того. Кто-то на рассвете громко и тревожно застучит в дверь, и это утро будет концом детства — для тебя мир стал другим, захлопнулась дверь, за порог которой уже не суждено переступить, и тяжело загрохотали по рельсам военные эшелоны...

Сны... Что они — воспоминания, страхи, надежды? А может, это сказки, которые мы рассказываем сами себе? Солнечным днем сижу на теплой ступеньке крыльца. Аромат зацветающих трав мешается с запахом шлака и нагревшихся шпал, у протоптанной вдоль насыпи тропинки невзрачно желтеют мелкие глазки куриной слепоты, лопушится репей, трещат кузнечики, с ближнего хутора доносится надсадно-голосистый крик петуха... Все ясно и безмятежно, мирно в небе с дымчатыми облачками, в прошлом — еще ничего, о чем бы грустил и сожалел. Это счастье осознаешь лишь много-много лет спустя, когда детство исчезнет, как умчавшийся в зеленую даль поезд, — скрылся ставший крохотным хвостовой вагон, растаял летучий дым, чуть слышен убегающий гул... А может, это стучит разволновавшееся сердце?

Говорят, память обо всем, что связано с детскими годами, зависит от того, каким было детство. Но и само оно проливает теплый свет на то, что рядом. Маленький светлый круг из-под абажура... Для ребенка и хлеб вкуснее, и полевые цветы ярче, и лето такое бесконечное... Помню запах сирени на последней улице моего детства, хотя на ней пахло заводским дымом, а сирень цвела всего месяц. Вспоминая Васюган, вижу белую кипень черемухи по берегам, а ведь сколько слез унесла та река...

Родом Степаниха была из-под Тары, но юные годы ее прошли в Майске — последней деревне в верховье Васюгана, дальше уже терявшегося в непроходимых Васюганских болотах. Переехала она с семьей в райцентр незадолго до войны, потому частенько вспоминала свою деревню, и, по ее

словам, в Майске жилось лучше. Наверное, так ей казалось потому, что жила она там в довоенное время, в войну же везде было одинаково трудно.

Но Майск навсегда остался для нее родной деревней, и когда брали оттуда в армию, без малого все тамошние деревенские, прибывшие по повесткам в райвоенкомат, останавливались на квартире у нее. Война длилась долго, первый раз взяли мужиков, потом брали подраставших ребят, и все молодые тоже квартировали у Степанихи.

Летом новобранцы с верховья приезжали на барже, которую несколько суток тянул по извилистому мелеющему Васюгану старенький буксир, зимой приходили своим ходом. С котомками шли по зимнику от деревни до деревни, и везде к ним присоединялось пополнение. На шестой — для самых дальних — день добирались до райцентра, тут колонна начинала редеть и распадаться: призывники расходились по квартирам в разное время перебравшихся на жительство в район земляков.

В иной призыв у Степанихи собиралось до десятка человек. Уставшие, познобившиеся за дорогу, все ночевали вповалку на полу, и в небольшой комнатенке стоял густой запах сохнущих у печи портянок. Деревенские парнишки, оторванные от дома, днем они говорили не о том, что их ждет, а о своей деревне, лошадях, об оставшихся девчонках...

Зимою обычно в армию не брали. Погоняв ребят строем, обучив разбирать и собирать винтовки и автоматы, их отпускали по домам до следующего призыва. Призванные летом домой уже не возвращались — их отправляли в армию.

Степаниха ребят жалела, но и ворчала тоже. Ей и обстирывать их приходилось, и убирать чаще в избе, где без того тесно. И дров, и керосина из-за них тоже уходило лишнего. Но она стерпелась с этим, ворчала не со злом, а для облегчения души.

Провожала всех на фронт со слезами. И для многих осталась последней землячкой, которую довелось видеть. Возвратились с орденами в основном те, кого взяли на фронт последними, — ребята двадцать шестого года рождения. Из тех, кто был постарше, не вернулся почти никто.

Своих детей у Степанихи было двое: одиннадцатилетний Колька и старшая Пана — по полному имени Прасковья. Колька жил при матери, а Пана перед самой войной уехала в Прокопьевск, сколько-то проучилась там в ФЗО и стала работать стрелочницей на железнодорожной станции.

Степаниха вспоминала дочь часто и тосковала по ней. Но писем писать не могла, потому что не умела грамоте, Колька же ленился, и, если нужно было послать весточку в Прокопьевск, Степаниха заставляла меня. Первый раз, когда она попросила написать, я привычно вывел на тетрадном листке первую фразу и вопросительно глянул на свою хозяйку: что, мол, дальше?

— Че ты написал? — спросила она.

— Написал: «Дорогая Пана».

Дома у нас всегда письма начинали со слов «дорогая» или «дорогой».

Степаниха снисходительно улыбнулась.

— Пошто дорогая-то? Нешто человек дешевый? Не можешь ты еще письма писать. Я буду говорить, а ты пиши по-моему... «Здравствуй, милая доченька Пана... С приветом к тебе известная тебе мамаша и брат Николай...». Написал? «Во первых строках письма сообщаем, что живем по-прежнему... Я работаю там же, в школе. Колька учится плохо, меня не слухает... Без отца вовсе отбился от рук...».

Колька из-за спины матери показывал мне, что этого писать не надо, но я делал вид, что не замечаю его жестов.

Исписав листок с двух сторон, я перечитал письмо вслух. Степаниха задумалась и сказала, пригорюнившись:

— Еще напиши: «Были бы у меня, доченька, крылья, слетала бы к тебе поглядеть хоть одним глазком, как ты живешь...»

И заплакала.

Сложив из тетрадной обложки конверт, я написал адрес.

— Пошлем доплатным, — сказала она. — Быстрей дойдет.

Пана писала матери регулярно, и на каждое письмо Степаниха заставляла меня отвечать. Письма получались похожими и, на мой взгляд, неинтересными. Однако вскоре пришлось писать еще и другие. И уже не в Прокопьевск, а на полевую почту.

В крайнем домишке на нашей окраинной улице, почему-то называвшейся Кооперативной, жила уборщица промкомбинатовской конторы. Фамилия ее была Таенко, звали Ефросинья Яковлевна, но по имени-отчеству никто ее не величал, а в глаза и за глаза звали просто — Таенчиха. С лицом таким сплюснутым, что казалось, лепили его из глины, да, не просушив, уронили или придавили чем-то, была она грузной и, как выражалась Степаниха, «шибко неаккуратной». Руки у Таенчихи были большие, рабочие, отекшие ноги болели, отчего носила она вязаные носки с чулками и во время ходьбы загребала правой ступней.

Грамоты, как и Степаниха, она не знала, но если моя хозяйка порой оказывалась речистей иной грамотейки, то Таенчиха была на слова скупа. Скорее всего вообще запас их был у нее невелик, и, прежде чем сказать слово, ей нужно было его вспомнить. Ходила она к нам частенько — сядет на лавку, положит ладони на колени и промолчит весь вечер. Степаниха однажды в сердцах сказала, что Таенчиха вечерует у нас, потому что экономит свой керосин. Но, вероятно, дело было не в керосине.

С тех пор как в сороковом взяли на действительную единственного Таенчихиного сына, осталась она кругом одна, и было ей одиноко и тоскливо. Каждые сутки в войну казались томительно долгими, на людях время проходило быстрей...

Как-то раз Таенчиха пришла к нам, когда Степаниха диктовала письмо дочери. Подперев щеку рукой, хозяйка моя потихонечку, нараспев наговаривала, а Таенчиха, сидя у порога, глядела, как я записывал.

— Ты, это... написал бы моему Сергею... заоднова, — неожиданно попросила она, когда я прочел вслух написанное. И, теребя на коленях старенький фартук, пояснила. — Третьего дня письмо принесли... отписать некому... Я вот... это... и бумаги припасла.

Без особой охоты я взял протянутый ею листок.

— Что писать?

— От матери... Поклон... — Она безнадежно замолчала. — Сам знаешь как.

Мне не нравились эти Степанихины: «Добрый день, веселый час, пишу письмо и жду от вас», «С приветом известная тебе» и все такое. Обмакнув перо в разведенные из химического карандаша фиолетовые чернила, я написал так, как начинал письма у нас дома: «Дорогой Сергей!». Уж полгода, как я работал в конторе, а почерк у меня все еще был ученический. Старался писать с наклоном, но буквы словно шли против ветра. Поставив восклицательный знак, я посмотрел на Таенчиху. Она ободряюще кивнула:

— Грамотный ты... А я чо? Чурка.

В каждом письме Степаниха сообщала дочери, почем здесь картошка, и та, в свою очередь, неизменно упоминала про цены на продукты. Я подумал, что Сергею такое неинтересно, и написал, что весна у нас нынче ранняя, теплая и уже расцвела черемуха. С низовья два раза приходил пароход, но из фронтовиков вернулся только один Иван Черемисов с нашей улицы. Имеет три медали и ходит на костылях. Поведав еще кое о каких немудреных новостях, я задумался, покусывая кончик ученической ручки. Таенчиха глядела на меня с ожиданием.

«Бей фашистов, гони их быстрее с нашей земли и возвращайся домой с победой», — написал я в конце и, послюнив перепачканный чернилами палец, обтер его о край постеленной на стол газеты.

— Все.

Перечитывая письмо вслух, я заметил, что Степаниха явно не одобряет мой стиль. Но Таенчиха была со всем согласна.

— Ну и вот... Складно. — И опять повторила: — А я чо? Чурка... Чо я тебе скажу? — Она протянула мятый конверт. — Адрест вот... Спиши.

Я свернул исписанный лист треугольником так, чтобы лицевая сторона конверта осталась чистой, старательно вывел номер полевой почты и фамилию.

— Ты это... рубаху мне сменную дай... Постираю, — бережно взяв письмо, сказала Таенчиха, собираясь уходить.

— Мне тетя Нюра стирает, — смутился я.

— Ну и чо с этого? Давай... Все одно людям стираю... Спасибо те.

С тех пор я стал писать для нее часто. Она не просила меня, но, ког-

да приходила к нам, в глазах ее я видел немую просьбу. Уже не спрашивал ни о чем, брал листок бумаги, ручку, и она знала, что я сейчас буду писать ее сыну. Потом, когда читал вслух письмо, ее темное сплюснутое лицо будто светлело.

Новостей у нас было немного. Все жили ожиданием — ждали конца войны, вестей с фронта, ждали родных те, кому еще было кого ждать. В каждом письме я писал от имени Таенчихи, что денно и нощно думаю о сыне и молю, чтобы он вернулся живым... Теперь она словно разговаривала с ним через меня, ее тоска находила выход в строчках писем, которые писал чужой парнишка, и было легче ждать.

Уже во втором письме она попросила меня написать привет от себя, и я гордился, что у меня теперь есть знакомый солдат, который в своих письмах передает приветы и мне.

Близилось к концу жаркое лето. Как-то в середине августа меня и еще нескольких конторских послали в подсобное хозяйство помочь убрать сено для рыбозаводских лошадей. Сена в рядах насохло много, и, пока мы управились с покосом, прошло больше недели.

Все это время стояла солнечная погода, только в тот день, когда мы возвращались в лодке, с запада нагнало кучевые облака. Они шли перевалами, то заволакивая небо и сея сеногнойным дождем, то открывая жаркое солнце, и тогда берега и намокшая одежда начинали парить и со дна лодки сильней пахло мокрым сеном и рыбьей чешуей. Но размытые струи дождя, словно сваливающиеся тучи, висели неподалеку; горы облаков, грудясь, снова закрывали солнце, и вода в реке закипала от дождевых капель.

Когда я, усталый и мокрый, пришел с берега, дома никого не было. Нашарив за бровкой ключ с привязанной тряпицей, отомкнув висячий замок, разулся и тяжело опустился на табуретку. На подсобном ночевали в крытых сеном шаромах, нас донимали комары и мошка, от которой не спасали ни деготь, ни дымокур, и вся прошедшая неделя была трудной и бессонной.

Навалившись на стол, я задремал и не слышал, как вошла Таенчиха. Когда открыл глаза, она, ссутулившись, сидела на своем привычном месте у порога, но я сразу понял, что с ней неладно. В потухшем взгляде, криво повязанном платке, из-под которого свесилась на лоб прядка седых волос, было что-то невыносимо скорбное.

Не шевелясь, я глядел на эту прядь, на безвольно лежащие на коленях, опухшие от стирки руки, и было страшно.

Заметив, что я не сплю, Таенчиха хотела что-то сказать, но сведенные судорогой губы только беззвучно скривились. Позже я узнал, что на следующий день после моего отъезда пришло письмо от сына, а еще через день — похоронная. Все эти дни Таенчиха ждала меня...

Силясь что-то сказать, она перевела взгляд на этажерку, где стояла непроливашка с чернилами. И я, словно мог еще что-то исправить, схватил эту чернилку и торопливо вырвал из Колькиной тетради два листка в клетку.

Таенчиха поняла, и по лицу ее потекли слезы. Может, она еще надеялась на что-то, а может, хотела услышать обращенные к сыну слова, передать последний материнский поклон уже неживому... Я не спросил ее, зачем она приходила, ни тогда, ни потом, но в глазах ее была мольба.

Царапая от волнения пером, я написал, что теперь войне скоро конец, по радио передают салюты и ждать уже недолго. И тогда не надо будет слать писем на полевую почту — те, кто встретятся после разлуки, сами расспросят обо всем друг друга и сами друг другу все расскажут... И потом долго-долго не будет войны, а может, и не будет никогда, потому что люди исстрадались...

Месяц назад Таенчиха говорила, что видела во сне Сергея совсем махоньким. Будто белила в избе, а он прибежал с улицы, уткнулся в ее колени, и она, еще молодая, подхватив сынишку забрызганными известкой руками, подняла высоко-высоко над собой... Я вспомнил, как сам прибегал к маме за лаской, и написал об этом сне. Мне хотелось сказать за Таенчиху все, чего она не могла высказать, и я подумал — как бы написала мне на фронт мама, будь она жива. Пришли на память ее трогательные и ласковые слова. «Ты моя любовь, ты моя надежда и утешение», — написал я. И еще в конце написал про крылья, которых нет у матерей, чтобы полететь к своим детям...

Я читал вслух Таенчихе письмо, и слезы ее падали на вылинявший фартук.

— Не надо... Нет больше Сергея Ивановича, — с трудом вымолвила она, когда я прочел до конца. — Убило его... Ох, дитятко мое...

Утерев концом платка глаза, тяжело поднялась и ушла, притворив за собой дверь. Незапечатанное письмо осталось на столе.

Через некоторое время она вернулась, держа в руке что-то темное. Это была кепка.

— Носи... Поминок Сергеев... Еще вот... Карточка его. Тебе прислал... С живым свидеться не довелось.

Она протянула суконную кепку и небольшую фотографию: бравый парень в танкистском шлеме, чуть прищурившись, глядит перед собой. Будто хочет что-то сказать или спросить.

...Через год Таенчиха померла, но я к тому времени уже уехал и работал счетоводом в колхозе. Родных у Таенчихи не было, домишко ее снесли, и на том месте кто-то построил большой крестовый дом. Теперь уже и он потемнел от времени.

А кепка была хорошая, почти новая, я ее носил еще три лета после войны. Карточка долго хранилась с разными другими фотографиями, но потом куда-то задевалась. И не осталось у меня поминка ни о Таенчихе, ни о ее сыне Сергее, сгоревшем в танке в сорок четвертом.

Недавно один человек, прочитав мои рассказы о военной поре, сказал:

— Все у вас правдиво. Но почему вы рассказываете только о добрых людях и о добре? Ведь было и зло...

Да, было и зло. Война — великое испытание, в котором каждый проявляет то, что в нем есть: смелость или трусость, жестокость или милосердие, добро или зло. Не все были добрыми тогда, и не все были смелыми. Но память сохраняет добро, даже небольшое. Люди недобрые не оставили по себе памяти в сердце, добрые живут в нем.

И та приютившая меня старушка, и до времени поседевшая докторша из Крыма, и учительница Ганна Алексеевна, и тетя Нюра, и многие другие женщины, прошедшие через мою детскую жизнь в те страшно тяжелые военные годы, — все они живы в моей памяти.

Сколько их было, обиженных судьбой, исстрадавшихся женщин той военной поры, которые жалели таких безродных ребят, как я, спасали нас от беды!

И мы, уже вырастившие собственных детей, до конца дней своих будем благодарны им. В каждой из них жила тогда м а т ь.

Не было начала и не будет конца реке времени. Коротким светом озарило в ночи недвижную гряду туч, пустынное поле, уходящую вдаль дорогу... Зарница — и снова тьма. Вечность до нас, вечность после нас. Все суета сует, все минет, все канет в Лету. Но этот яркий миг — вся твоя жизнь... И, наверное, оттого, что она так коротка, нет в нас равнодушия вечности, наверное, потому мы так сильно любим, порой так безумно счастливы и так безысходно страдаем. И если б в вечной тьме, откуда пришли и куда уйдем, могли мы помнить, как благодарны были бы за миг, когда видели солнечный свет, зелень леса, нежность полевых цветов, за этот миг — жизнь, когда могли слышать пение птиц, плеск реки, шелест ветра... Как благодарны были бы за то, что любили и были любимы...

А может, природа оберегает нас и наша память умирает вместе с нами, чтобы не было потом безысходной, непроходящей тоски?

В Нарве я учился в последнем предвоенном году. Впрочем, сорок первый — это уже страшный военный год, но началась война июньской ночью, тень от которой скорбным вдовьим платком легла на весь сорок первый, и все же сто семьдесят два дня того года были мирными. Предвоенными, предгрозовыми, но еще не опаленными яростным огнем, не смятыми танками, не вписанными в похоронные извещения.

Любимый город может спать спокойно,
И видеть сны, и зеленеть среди весны,—

пели мы на школьных спевках в мае сорок первого...

Теплым кружевом лежат на подоконниках тени загустевших за окнами тополей, неулыбчивая Мила из восьмого класса задумчиво, будто для себя, запевает:

Когда ж домой товарищ мой вернется,
За ним родные ветры прилетят...

Неясной грустью щемит сердце, будто знаю, что много лет спустя однажды услышу эту песню и буду вспоминать сероглазую Милу с проступающими на лице веснушками, до боли отчетливо припомню звуки и запахи той весны, давно исчезнувшие лица, вспомню столь много вобравшую в себя Нарву, чем-то чуточку похожую на город, в котором сейчас живу...

Любимый город другу улыбнется,
Знакомый дом...

Темный сад, серые кисти сирени, еще не выгоревший ярко-красный флаг на замке Германа, волнующая во всем новизна. Советские кинофильмы, советские песни на улицах: «Широка страна моя родная», «В далекий край товарищ улетает», «Каховка»... И еще — «Если завтра война». Хмельная, тревожиая весна...

Май сорок первого, весна Советской Эстонии. Нарвская русская гимназия — теперь вторая средняя школа, мальчишки еще носят форсисто стянутые набекрень гимназические фуражки с окантованными околышками, девчонки — форменные темно-синие беретки, учебники — советские, учителя — прежние, и, когда в классе становится шумно, седенькая классная наставница по привычке взывает: «Тише, господа!». На уроке эстонского языка не стали писать диктант — зачем нам теперь эстонский? Прохаживаясь между рядами парт, молоденькая учительница упрямо диктовала, а класс не раскрывал тетрадей. До половины урока она крепилась, затем разрыдалась и выбежала в коридор.

Любимый город может спать спокойно...

Директор не пришел на занятия, неизвестно, где он, а где-то совсем близко война. Лешка Покровский принес в школу выдранный из немецкого журнала портрет Гитлера и на перемене прикрепил кнопками вместо мишени к черной, исписанной химическими формулами классиой доске. Наперебой кидали в портрет тряпкой, затем изорвали и, кучно навалившись на согретый солнцем подоконник, смотрели, как разлетаясь, опускаются на школьный двор мелкие обрывки.

С Лешкой мы живем у учительницы Дарьи Александровны. Ее покойный муж был директором гимназии, фотография его стоит на массивном письменном столе рядом с чернильницей, фарфоровой пастушкой и стопками школьных тетрадей, которые она приносит проверять домой. В ее большой квартире, где много мрачных шкафов с книгами и посудой, зимами живут квартиранты. Угловую комнату с осени снимает коренастый полнеющий командир Красной Армии с двумя шпалами на малиновых петлицах. Жена его с ребенком еще где-то в России, днем он дома не бывает, и, когда появляется вечерами, Дарья Александровна настойчиво угощает его чаем с вареньем, которого множество больших и маленьких банок в темной шафейке. На кухне обитает Ральф, старый рыжий сеттер, которому горничная каждое утро готовит геркулесовую кашу, сама горничная живет в примыкающей к кухне комнатенке, и по вечерам Дарья Александровна ходит к ней играть в мушку. Обе они — хозяйка и прислуга — одинаково пожилые, давно привыкшие друг к другу, но за картами то и дело ссорятся. Горничная глуха, потому Дарья Александровна кричит, и горничная тоже кричит на хозяйку, когда ей кажется, что та плутует...

А у нас вражда с Игорем. Он на четыре года старше меня и Лешки, тоже квартирует у Дарьи Александровны и учится уже в выпускном классе. Белобрысый, с холодными серыми глазами, еще год назад он был кайтселийтчиком, и это из его журнала Лешка выдрал портрет Гитлера.

Иллюстрированных немецких изданий у Игоря кипа — на глянцевых, лаково пахнущих страницах самолеты с крестами, вываливающие из люков бомбы на лоскутную землю, пылящие по чужим дорогам танки, марширующие солдаты — молодые, самоуверенные, похожие друг на друга... И Игорь тоже становится похожим на них, когда надевает сохранившийся кайтселийтский мундир и застегивает ремень с портупеей. Развалившись в кресле, он листает свои журналы, подолгу задерживаясь взглядом на некоторых снимках: вот фюрер с упавшей на лоб косой челкой оперся согнутыми руками на трибуну, вот он же картинно поднял ладонь, вот по-наполеоновски скрестил руки... И опять танки, солдаты, изломанные кресты свастики, вскинутые в приветствии руки...

А с улицы врывается песня — там по зажатой каменными домами мостовой идут с учения красноармейцы. Потные лица, за плечами трехлинейки с примкнутыми штыками, несколько бойцов несут разобранный пулемет. Тень от домов достает до половины улицы, и шагающий рядом с колонной молоденький лейтенант с полевой сумкой на боку весь ярко освещен солнцем.

— Вы-выходи-ила, песню заводи-ила, — звонко выкрикивает запевала.

— Про степно-ого си-изого орла, — подхватывает растянувшаяся колонна. Лейтенант посматривает на прихрамывающего, сбившегося с ноги красноармейца. Пилотки, гимнастерки, выцветшие обмотки...

— Войско, — язвит Игорь и похлопывает ладонью по раскрытому журналу. — Вот — армия... Куда уж тут Ивану!

— Пусть сунутся! — обижается Лешка. — Посмотрим, кто кого.

— Да уж посмотрю.

— Увидишь, как с твоих немцев собьют спесь, — поддерживаю я Лешку.

— Эти-то? «Выходила на берег Катюша»? — ухмыляется Игорь. — Куда вы только тогда, братишки, свои красные галстуки девать будете?

Он не может терпеть нас за то, что мы недавно стали пионервожатыми и ходим на сборы к ребятам из начальной школы.

— Ты свой фашистский хлам куда-нибудь день, — хмуро говорит Лешка. — Разложился тут, понимаешь.

Игорь все с той же улыбкой стаскивает с себя кайтселийтский ремень и вдруг резко заворачивает Лешке за спину руку.

— А ну, пой: «Дойчланд, дойчланд юбер аллес!» — приказывает он, замахиваясь ремнем.

Я кидаюсь Лешке на выручку, но Игорь поддает мне коленкой и, бросив на пол звякнувший пряжкой ремень, так же сноровисто выкручивает мою руку.

— И ты пой! — приказывает он, сгибая меня рядом с Лешкой. — А ну, хором: «Дойчланд, дойчланд...»

Лешка сопит, Игорь все больней заламывает мне руку.

— Пойте, пойте, вожатые...

Издалека еще доносится красноармейская песня. В квартире никого, кроме нас и глухой горничной... Лешка дергается, на какое-то время хватка ослабевает, вывернувшись, я успеваю захватить в замок потную шею Игоря и отчаянно давлю его книзу. Он отпускает Лешку, чтобы освободиться, сцепившись, мы все падаем, но я по-прежнему держу Игоря и изо всех сил прижимаю его к полу.

— Пой «Интернационал»! — велит ему навалившийся сверху Лешка.

— Не умею... бросьте.

— Научим...

Тяжело дыша, ворочаемся на полу. Гремит дверца книжного шкафа, падает стул, рассыпаются журналы с глянцевыми обложками... Игорь впивается в мою руку зубами. Это уже не игра.

Заливисто звенит звонок в прихожей, взвизгивает и скулит у двери Ральф — пришла Дарья Александровна.

Запыхавшиеся, мы отпускаем друг друга.

— Ну обождите! — грозит Игорь, подбирая журналы.

Сквозь рукав моей рубашки медленно проступает кровь.

На следующий день мы сдавали первый в том году письменный экзамен по алгебре. В открытые окна класса лились будоражащие запахи

уже теряющей свою кроткость, переходящей в лето весны, и, словно предупреждая о чем-то, за городом ухали глухие взрывы — там рвали обращенные амбразурами на восток доты вдоль старой границы.

Еще утром я сговорился с Лешкой пойти после экзаменов на реку. Быстро решив примеры и задачу на уравнение, мы сдали инспектрисе тетрадные листки и, дождавшись Гошку Хабарова, покладистого, неразговорчивого второгодника с последней парты, подались на причал.

Течение понесло взятую напрокат у хромого лодочника крутобокую лодку, чуть покачивая ее на мелких волнах, которые гнал навстречу пахнущий морем ветер. Проплыли в тени поросшего травой земляного вала с отвесной каменной кладкой наверху, мимо светлеющей над обрывом круглой беседки, куда любили ходить гимназисты и гимназистки, опустили в воду плеснувшие весла и скользнули на блескучую солнечную рябь. Сильнее застучали по бортам торопливые волны, пуще дохнуло близким морем. Медленно стали отдаляться приземистые башни Ивангородской крепости, каменная грудь надвинувшегося к реке шведского замка, связывающий берега мост с гербами на решетке перил... Казалось, лодка стоит на месте, а крепостные стены, равелины, дома с причудливыми порталами и затейливыми флюгерами на черепичных кровлях, весь словно ставший теснее от весенней зелени старый город с Темным садом на обрыве медленно и неотвратимо уплывал в залитую светом даль. И отраженные в воде шпили, башни и купола, дробясь и колыхаясь в воде, тоже тонули в глубине опрокинутого неба, скрываясь, словно сказочный град Китеж.

Потом мы долго лежали на берегу и молчали. Вечно что-нибудь выдумывавшему Лешке, наверное, как и мне, просто не хотелось ничего говорить. Гошка, вытянув длинные ноги, тоже молчал, и из его задравшихся выше щиколоток брючин торчали узкие ступни босых ног. Второгодники бывали хулиганистыми, Гошка же всегда казался вялым и флегматичным, ему не давалась математика, но он и не пытался ее одолеть или хотя бы списывать у других. На экзамене кое-как решил половину примеров и сейчас, прикрыв вылинявшей фуражкой лицо, не то дремал, не то слушал, как плещется Нарова и кричат неподалеку прилетевшие с моря чайки.

— Ребята, — сонно произнес он. — А ведь адски спец...

На гимназическом жаргоне «адски специально» означало: «очень здорово», «прекрасно»; гимназисты-старожилы, фасонясь, говорили: «адски спец».

Взрывы уже не гремели, было спокойно и хорошо. Со стороны Финского залива плыли редкие облака, сквозь дремоту я слышал близость реки, резкие птичьи голоса. Потом одна из чаек вдруг закричала Лешкиным голосом:

— Лодку проспали!

Я открыл глаза и тут же зажмурился от ослепительного сверкания реки. Забредший по колено в воду Лешка орал, а лодка, покачиваясь на мелкой ряби, уплывала. Вероятно, мы ее путем не вытянули на берег, она сползла, и теперь ее уносило по течению.

Спотыкаясь о замытые камни, побежали по берегу, а наша посудина уплывала все дальше и дальше... Наконец какой-то катавшийся на байдарке парень подогнал ее к берегу, мы вытащили лодку далеко на песок, и вдруг стало смешно, как мы перепугались, как орали и бежали, оставив где-то ботинки и носки... Первым стал смеяться Лешка, глядя на него, засмеялся я, и Гошка тоже широко и простодушно заулыбался.

Потом, по очереди гребя, плыли обратно. Вода у берега полнилась тенью, солнечный шар тонул в предвещавших ветер облаках, небо на западе багровело, словно подымавшееся зарево огромного пожара. А до войны оставалось двадцать восемь дней. Таких длинных и таких коротких.

Не знаю, что стало во время войны с Лешкой, а с Гошкой я встретился летом сорок третьего. Уже не было в живых ни моего отца, ни матери, ни сестренки, и сам я хватил лиха, наголодался, намерзся, поскитался по людям... Но в сорок третьем малость одыбал, работал в рыбозаводской конторе, получал шестьсот граммов хлеба на день и не помню уж теперь, сколько положенных по продуктовым карточкам крупы, сахара и жиров. Правда, крупу иногда заменяли подмоченным горохом, сахар — конфетами, а жиров в иной месяц совсем не давали, но жить было можно.

И война уже была иной — явственней маячила Победа. О Гошке слышал, что его в сорок первом тоже привезли сюда, в Васюганский район, что живет он не то в Березовом, не то в Катальге, но ни разу не довелось его видеть. И вот однажды после Октябрьской, когда проторили от деревни до деревни через болота и застывшие речушки зимник, открывается дверь нашей бухгалтерии и входит Гошка. Худой, вытянувшийся, в стеганой фуфайке и завязанной под подбородком тесемочками ушанке. Я его сразу признал, а он меня — нет, то ли я больше изменился, а может, просто не думал он меня здесь увидеть. Меньше трех лет минуло с той поры, как мы учились в Нарве, но, казалось, прошла жизнь...

Поднявшись из-за стола, я подошел к нему, он узнал меня, что-то знакомое блеснуло в его глазах и тут же погасло. Достал из-за пазухи пакет, который с ним прислали из Катальги, отдал нашему всегда усталому и сердитому главбуху, и мы вышли в коридор.

— Куришь? — спросил он, протягивая кисет с махоркой.

Свернув самокрутку, закурил и, пока мы разговаривали, оставался грустно-серьезным. Мать его умерла год назад, от отца не было известий, сам он работал в бандарке на рыбпункте, пришел в Новый Васюган с обозом и сегодня с тем же обозом собирался обратно в Катальгу. Я пытался завести разговор о прошлом, но он вроде не хотел о нем говорить.

— Помнишь, как мы катались на лодке? — спрашивал я его. — Ну, тогда... в последний раз?

Он кивал, а сам будто вслушивался в какую-то свою боль.

— Потом она уплыла, а мы бежали по берегу...

Заветренные скулы его выдались, над губой пробивались редкие усики, запавшие глаза глядели печально.

— Помнишь?

Он опять кивал, но отрешенно, словно ему неинтересно, будто есть что-то другое, главное, а все, что было, — пустяки, суета. Он часто покашливал, и кашель у него был нехороший, грудной.

— Кончится война, вернемся в Нарву, — сказал я, пытаясь его ободрить. — Будет хорошо... Будет адски спец.

Он первый раз улыбнулся, но все равно невесело.

Прощаясь, жесткой ладонью сжал мою:

— До свидания, Димка. Мужики, наверное, запрягают уже, хотели сегодня до Дальнего Яра...

Надел обшитые шинельным сукном рукавицы и ушел, впустив через порог стелющийся морозный пар. В бухгалтерии стучали счеты. Было тоскливо.

В июле, когда на западе уже шли бои за освобождение Прибалтики и в бумажной тарелке репродуктора над конторской дверью все чаще ухали перемежавшиеся шорохами и грозовыми разрядами далекие победные салюты, я нелепо услышал о Гошкиной смерти. В тот день Николай Андреевич в своей неизменной перепоясанной пояском толстовке, как всегда, стучал замусоленными костяшками счетов, а я делал разноску по карточкам, невольно поглядывая на видневшуюся из окна сельповскую пекарню, из открытых дверей которой возчик и повязанная белым платочком женщина, такая худая, что не верилось, что она работает в пекарне, беремями, словно охапки дров, носили в хлебовозку ржаные буханки. Гнедой мерин съеденными зубами жевал опостылевшие удила и крупной головой отгонял льнувших к стертому плечу мух. В форточку тянуло томительным запахом горячего хлеба, время приближалось к полудню, и день впереди был нестерпимо долгим...

Рядом с Николаем Андреевичем в выменянной у кого-то из эвакуированных кофточке с кружевным воротничком, опершись оголенными локтями на столешницу, сидела Клава, приехавшая утром из Катальги грудастая бабенка, мастер тамошнего рыбпункта, и ждала, когда Николай Андреевич проверит ее отчет.

— Объем выполненных работ, Клавдия Афанасьевна, надо проставлять, сплошная повременка в ваших нарядах, — говорил Николай Андреевич, стеснявшийся молодых женщин и потому пытавшийся при разговоре с ними напустить строгость, не вязавшуюся со смущенным выражением его какого-то бабьего лица. — И тут непонятно — зарплату по ведомости

выдали полностью, а на сто семьдесят три рубля списываете меньше... Невнимательность с вашей стороны.

— Так вот же человек не получил.— Клава обиженно ткнула пальцем в ведомость.— Вот.

— Как не получил, если расписался?

— Да нет же... Тут вместо росписи я пометку сделала: «Умер»... Уме-ер,— повторила она нараспев.

Николай Андреевич заморгал короткими ресницами:

— Писать, по сути дела, надо ясней. И не химическим карандашом, а чернилами.

Подшивавший в дальнем углу документы счетовод расчетной группы мой годок Паша хмыкнул. Клава пригладила стянутые узлом на затылке волосы.

— И так ясно. Придираются и придираются...

— А?— не расслышал Николай Андреевич и, пуще покраснев, склонил набок голову.— Жене бы его выдали, или кто там еще из родни остался.

— Да нет у него никого. С этих он, с приезжих... Оттуда... с Латвии.

У меня застучало в висках.

— Фамилия его как?— глухо спросил я.

— Хабаров фамилия.

Стиснуло горло спазмой. Гошка, Гошка, как же это ты, Гошка?

— Из Эстонии он,— сказал я, силясь не заплакать.— Был...

— Может, с Эстонии. Смиренный такой. Простыл, а к весне вовсе кашель забивать стал. Все на реку ходил, ледоход ждал. С вешней водой и ушел...— Клава вздохнула.— Хороший бондарь был.

Николай Андреевич деловито застучал косточками счетов, тени за окном сделались совсем короткими, так же дразняще пахло горячим хлебом...

Смерти в войну были обыденными, каждый день приходили по почте похоронные с фронта, умирали люди и в тылу, но к этому нельзя было привыкнуть. И чем ближе был конец войны, тем горше и нелепее смерть...

Через много-много лет я вернулся в видевшийся в светлых и тревожных снах город детства...

Я ходил по широким нарвским улицам мимо построенных после войны домов, вдоль длинных витрин магазинов, я был в похожем на другие чистеньком незнакомом городе, и лишь изредка черепичная кровля или узкий фасад сохранившегося старого дома напоминали о прежней Нарве. Из каждых ста зданий во время войны здесь уцелело только два... Я задерживал шаг возле напоминавших о чем-то довоенных садовых скамеек в скверах, останавливался у новых памятников и снова то медленно, то зачем-то торопясь, шел и все вглядывался в лица встречных, все надеялся увидеть кого-то из далекого сорок первого. На нагретом июньским солнцем асфальте невесомо лежала тень молодых каштанов, цветы на их ширколистных ветвях вздымались, как белые свечи в канделябрах, порой облака затмевали солнце, и тогда, качая листву, с близкой реки налетал порыв ветра.

Через площадь мимо восстановленной строителями ратуши и серых кирпичных домов вышел к Темному саду. Знакомый фонтан с карабкающимися мальчишками из почерневшей бронзы стоял на прежнем месте у входа, так же, как много лет назад, было сухо в маленьком бассейне, трепетали на земле блики солнечного света, только прозрачнее стало на аллеях и дорожки были посыпаны крупным, кирпичного цвета песком. Не было беседки на краю обрыва, уходящую вниз каменную кладку бастиона выщербили снаряды, и старые, с редкими сучьями узловатые деревья зияли кривыми дуплами, словно сердцевины их были выжжены.

Облокотившись о чугунную решетку, я смотрел с обрыва, как, омывая поросшие травой крепостные валы Ивангорода, крутя воронки, неслась под пролетами моста река. Этот похожий на прежний мост построили после войны на месте взорванного, остатки каменных подножий которого сейчас торчали, словно надолбы, и река, заглушая шум катившихся по мосту машин, бурлила и пенилась возле них, как на порогах.

В августе сорок первого, когда наши войска оставили горящий город,

мост через Нарову еще продолжали защищать пятеро моряков и безвестный нарвский мальчик. Я прочел об этом три строчки в купленном на вокзале путеводителе и сейчас попытался представить, как, израненные, оглушенные взрывами, отбивались тут пятеро балтийских моряков, как, прячась за камнями, мальчишка подавал им автоматные диски и воду, а когда был убит первый из морячков, поднял его автомат и стал стрелять... Стрелял, что-то крича, боясь, что не успеет расстрелять патроны, стрелял, сжимая горячий автомат, покуда, уронив голову на нагретый солнцем гранит, не затих рядом с остальными... Может, он учился со мной в одной школе, может, мы вместе ходили в городскую библиотеку, вместе выпрашивали на дымной станции у проезжавших в эшелонах красноармейцев звездочки с пилоток... Мой сверстник, оставшийся там, в сорок первом...

Широко разлившись, успокаивалась за каменными быками река, и светлыми столбами уходили в глубину отражения разрушенных крепостных башен. Сколько же прошло с того дня, сколько с еще более давнего, когда смотрел я, как медленно уплывает в светлую даль город с высокими крышами, седыми башнями и сверкающими под солнцем куполами — старая Нарва, мой град Китеж... Сколько воды вынесла в море Нарова за эти годы, сколько смешалось ее с соленой балтийской волной, превратилось в облака, и, может быть, какое-то из них пролилось дождем над вошедшей в мою жизнь другой далекой сибирской рекой...

Устало шел я по закрывшему землю асфальту, ища знакомое, и вдруг за коробками домов увидел собор — кирпичную церковь, мимо которой столько раз проходил с вокзала по еще пустынным и гулким улицам, когда утренним поездом приезжал после воскресенья на занятия из Кивиыли. И уже оттуда-то, из совсем далекого, казалось, далеко позабытого всплыло: гроза, трепетный свет молний, с двумя мальчишками стою в притворе этого собора, а ливневый дождь сплошно и глухо шумит по мостовой, куполу, по покатым плечам церкви... Ну, да, тогда я еще учился в кивиыльской начальной школе, помню — приехал с ребятами на какой-то сбор, по городу ходили вместе, потом втроем отбились от класса и заблудились неподалеку от вокзала. Парило, временами ворчал гром, наползала грозовая туча, и эта церковь рядом с нами ярко горела в солнечных лучах. Дыхнул, погнав тополиный пух, ветер, туча, опускаясь рваным краем, закрыла солнце, и на иссиня-темном фоне ее испуганно неслись тогда похожие на клочья тумана, меняющие форму облачка. Совсем близко повисла изломанная молния, и не успел угаснуть ее фиолетовый свет, как, расколов тишину, ударил гром и, словно отскакивая от булыжника, с треском раскатился по камням. Крупные дождевые капли испятнали мостовую, снова озарились багровые стены, и вместе с громовым раскатом хлынул обвальный дождь. Намокшие, мы тогда взбежали по ступенькам под навес притвора, створчатые двери церкви были приоткрыты, внутри тускло блестели оклады образов, подсвечники, перед большой иконой божьей матери теплилась лампада... Что-то трепыхнулось вверху — на узком кирпичном выступе жался залетевший под крышу голубь. Дождь барабанил по паперти, усиливаясь, дробно стучал наверху по жести, затем стихал, шлепал по наполнявшимся лужам, и было слышно, как совсем рядом, журча, выплескивался из водосточных труб на сумрачно блестевшие при вспышках молний камни. В последний раз уже где-то далеко прогромыхало, запахло свежестью и мокрой листвой, а из церковного полумрака наносило запахом ладана, восковых свечей и еще чем-то молитвенно-пряным...

Давным-давно отшумела та короткая летняя гроза, отгремела и во сто крат более страшная, задернилась опаленная рядом с собором земля, и повязанные темными платками две древние старушки, макая кисти в перепачканное краской ведро, сейчас тихонечко красили оградку.

Помнилось, дорога проходила рядом с церковью, теперь она оказалась в стороне, впрочем, может, и запамятовал — ведь минуло больше сорока лет... Я спросил у одной из старушек: где тут до войны была улица, кажется, вон там, где дома?

Продолжая красить, старуха строго глянула на меня:

— Я, мил человек, уже после сюда приехала.— Опустив кисть, кивнула на вторую старушонку.— И она вон не здешняя... Ходила сюда жен-

щина с Кренгольмской стороны, та бы вам объяснила, так померла зимой, царствие ей небесное.

— А купол был раньше синий,— сказал я, как будто это имело сейчас какое-то значение.

Старуха снова взялась красить.

Отойдя, я оглянулся, церковь уже скрыли дома, возле выходящей во двор двери гастронома кудлатый грузчик кидал в кузов грузовика пустые ящики, молодая женщина с полиэтиленовой сумкой вышла из подъезда, и высунувшийся из кабины шофер, лениво покуривая, глядел на ее загорелые ноги, пока она не скрылась за углом.

«А купол был синий»,— мысленно повторил я. Было одиноко, как может быть одиноко в разрушенном войной городе, где уже никто не помнит того, что помнишь ты.

Вечером я пошел в кино. Рядом со мной место пустовало, на следующем, положив на колени лакированную сумочку, сидела миловидная, совсем молоденькая девушка. В белой блузке, с чуть проступающими на скулах крохотными веснушками, серьезными, даже грустными глазами, она вдруг напомнила мне ту давнюю неулыбчивую девчонку, о которой я вспоминал, бродя по городу. Может, только показалось, а может, эта девушка с трогательными веснушками в самом деле походила на ту. Сеанс не начался, я старался не смотреть на соседку, но было ощущение, будто рядом девочка из моего детства. Пришла в голову нелепая мысль — будем выходить из зала, скажу: «Милая, вы напомнили мне девчонку, с которой я учился здесь перед войной. Сегодня, через много лет я приехал сюда. В первый и, наверное, в последний раз. Но это уже другой город, в нем нет никого из тех, кого я знал... Пройдемтесь по улице, пройдемте совсем немного, я должен кому-то рассказать о тех, кто здесь жил, у кого впереди было все страшное... Я чудак, мне надо поговорить, надо увидеть в чьих-то глазах сочувствие...»

Знал, что не подойду и ничего не скажу, но было легче оттого, что мысленно разговаривал с этой девчонкой.

Кончилось кино — пустая зарубежная комедия, по экрану еще ползли вверх титры, звучали последние аккорды, а зрители, теснясь в проходах, пошли к выходу; мелькнула впереди и затерялась за спинами покидающих зал белая блузка... Я вышел последним, в распахнутые двери тянуло свежестью, по мокро чернеющему асфальту шумел спорый дождь, лилась вода с крыш, где-то впереди громко разговаривали и смеялись. Ежась от стекавших за ворот струек, я торопливо пошел в сторону гостиницы, стихший было ливень снова припустил, пуще зарябили лужи, полнясь водой, понесся вдоль тротуаров дождевой поток. Шедшие передо мной парень с девушкой, держась за руки, побежали через площадь под навес магазина, я поспешил за ними и прислонился к каменной стене. Дождь то стихал, то усиливался, пахло сырой землей, роняя капли, вздрагивали листья каштанов, и дождевые брызги долетали до белых босоножек прижавшейся к парню девушки с мокрыми волосами.

В гостиничном номере с еще не выветрившимся после ремонта запахом масляной краски показалось сырей и холодней, чем на улице. Я распахнул окно; небо уже прояснилось, последние лучи солнца отражались в верхних стеклах соседнего дома, блестела омытая листва, и, освещенные холодным закатом, розовели изглоданные войной башни на том берегу. Но бойницы, незаделанные провалы в стенах, дымящаяся после дождя река под крепостным валом уже мрачнели и полнились тенью. И опять вспомнился мальчишка, защищавший с моряками взорванный мост...

Когда заснул, приснилось, что это я, укрывшись за разрушенными стенами бастиона, держу последнюю оборону. Крошится камень, летят осколки, взвизгивают, взбивая пыль, пули, а я, прижимаясь к стене, стреляю по бегущим к мосту автоматчикам, стреляю по их серым мундирам, каскам, по орудию, которое выкатывают в Темном саду для прямой наводки... Рядом погибшие матросы, я глотаю сухой, горячий воздух, что-то кричу, но не слышу себя, я тоже убит, но продолжаю кричать.

Я пробуждался, засыпал и опять сражался и умирал у старого Нарвского моста на рубеже России. Только было непонятно, откуда я знаю, что стало потом, ведь я убит, с кем же было все то, что случилось со мной после...

На днях нечаянно нашел свою много лет пылившуюся со старыми бумагами тетрадку и на пожелтевшей по краям первой страничке прочел крупно выведенное: «Всем хорошим во мне я обязан книгам». Совсем непохожий на мой теперешний почерк, буквы с завитушками, бурые, выцветшие чернила...

Книг в деревне, где я переписал тогда с листка календаря эти горьковские слова, почти не было. Школу у нас закрыли весной сорок первого, когда молоденькая учительница вышла замуж и уехала в другое село, взамен никого не прислали, и всю войну ребятишки ходили учиться за три километра в соседнюю Маломуромку. Не было и избы-читальни, и лишь в колхозной конторе среди папок с ведомостями начисления трудодней лежали три книжки: «Кавказский пленник», «Происхождение Земли» и «Борьба за огонь». Впоследствии, когда нашу Красноярку объединили с двумя соседними деревнями, прислали библиотеку из сельсовета — полнехонький книжный шкаф, но в сорок пятом были только те три книжки, несколько потрепанных брошюр, да еще привез я тогда с собой из Нового Васюгана сборник задач и учебник литературы за восьмой класс — надеялся, что когда-нибудь снова смогу учиться, и эти потрепанные довоенные учебники были словно ниточка, за которую долго держался.

А слова Горького переписал в тетрадку, когда начал вести дневник. Сохранилось от него с десяток страничек да несколько вставленных в прорези для уголков, с годами бледнеющих фотокарточек. Некоторые тоже потеряны, и на их месте обрамленные строчками светлые пятна. Жаль, что дневник я вел недолго да и записывал несущественное. А сколько интересного рассказывали наши деревенские, собиравшиеся зимними вечерами на огонек керосиновой лампы в контору! Сколько пережитого, сколько жизненных дорог, судеб... Теперь уже почти никого из тех людей не осталось, ушло в небытие и то, что с ними было.

Не думал я, что спустя много лет буду часто возвращаться памятью к деревне, куда привела меня когда-то судьба. Моя деревня... Я говорю «мой Ленинград», потому что в нем родился, называю своим шахтерский город Кивиыли в Прибалтике, где прошла большая часть моего довоенного детства; Нарва и Тарту — тоже мои города, там я учился, зову своим городом Томск — здесь живу уже двадцать с лишним лет... И та притулившаяся на обрывистом берегу Васюгана деревушка Красноярка, которой сегодня уже нет,— тоже моя.

Родная, приютившая меня деревня. Оглядываясь на прожитые там годы, теперь понимаю, что то была для меня светлая пора. Хотя еще не досыта ели, ходили в обносках, тяжело работали за скудные трудодни — самое страшное уже миновало, рядом жили хорошие люди, и жизнь была впереди и надежда.

Когда старенький речной катер, тянувший по течению из Нового Васюгана груженную бакенами лодку, попутно привез меня в Красноярку, все прошлое осталось за пустынными плесами, за крутыми и пологими излучинами, по которым медленно несет к Оби свою непроглядную воду таежный Васюган. Пройдет пятнадцать лет, и я уеду по этой извилистой, распахнувшейся к устью реке, последний раз увижу источенный стрижами крутояр, бревенчатые склады на берегу, размытый дождями взвоз... И долго буду глядеть с кормы, покуда не скроется за поворотом последняя березка со скворечником, последняя поседевшая на дождях избяная крыша...

Но это через пятнадцать лет... А в том далеком июне сорок пятого все было впереди — и жизнь, и надежда. И та печаль по деревне тоже. Я стоял на берегу, стучал уходящий катер, певучий женский голос понукал где-то за околицей коня, и пахло черемухой. Первый послевоенный месяц, первый мирный июнь после страшного июня сорок первого.

Сухопарый мужичок в выпущенной на галифе незачамбаренной рубахе, сидя на ступеньке колхозной конторы, сворачивал самокрутку.

— Вон он, наш председатель,— показала на него шедшая по воду тонконогая девчонка, когда я, тяжело дыша, поднялся по крутому взвозу.

Стянув с головы кепку, я протянул ему привезенную с собой бумажку из райзо.

Он положил незажженную цигарку на металлическую коробочку, в ко-

торой носил табак, взял пожелтевшими от самосада пальцами мое направление и стал читать, шевеля губами:

— Направляется в колхоз «Заря»... на работу счетоводом...

Поглядел на размашистую подпись, потом на мое обтрепанное пальто, кепку...

— Не просил я у них счетовода.

— Меня прислали,— сказал я дрогнувшим голосом.

Он еще раз перечитал бумажку.

— Тебя как звать?

— Дима.

— А тут перед фамилией буква «ве» стоит... Пошто так?

— Это по полному — Вадим.

— Не просил счетовода,— повторил он, достал из кармана бумажный пакетик с серянками и, сощурившись, прикурил, закрывая ладонями трепыхнувшийся огонек.— А ты чего?— прикрикнул на глазевшую девчонку с коромыслом.— Будете, язви вас, стоять...

Славный мой Арсентий Васильевич! После в нашем колхозе сменилось еще три председателя, но почему-то он для меня остался самым близким и дорогим. Иногда я навещаю его в городишке, куда он давно переехал на жительство к сынам, и всякий раз с болью вижу, что стал он еще более сухоньким и тщедушным. Грущу и радуюсь каждой встрече с ним, и он тоже радуется, волнуется и, прощаясь, плачет...

Стук катера все еще был слышен, временами казалось, что он приближается, и тогда, наносимый ветром, сильней становился аромат черемухи с противоположного берега.

— Свои-то кто-нибудь есть у тебя?— нарушил затянувшееся молчание председатель.

Кружилась голова от черемухового запаха, громко разговаривали в огороде женщины, сажавшие неподалеку картошку в только что вспаханную черную землю.

— Умерли все,— сказал я.

Он опять надолго замолчал, затем, не подымаясь со ступеньки, крикнул кому-то на огород, чтобы послали сюда Тоньку.

Прибежала девчонка в бусеньком платьишке — посыльная и уборщица конторы и, стрельнув в мою сторону черными глазами, остановилась возле крыльца.

— Че, дядя Арсентий?

— Ниче... Не докличешься вас. Счетовода вон прислали... Ключ от шкапа ему отдай.— Он сплюнул на окурок и, бросив, для верности раздавил каблуком.— Вечером обратно возьмешь.

Может, подумал, что я этот ключ потеряю, а может, не украл бы чего.

Потом велел позвать какую-то Еночку и кивнул мне:

— Айда.

Поднявшись по широким некрашеным ступенькам, я вошел за ним в контору, стянул с плеч веревочные лямки мешка и сел на лавку у побеленной белой глиной печи.

— Курсы кончал али как?— поинтересовался он.

Я мотнул головой.

— Нет... В школе учился, потом в больницу положили. А после на работу в бухгалтерию рыбозавода взяли. Сначала учеником...

— Коня запрячь можешь?— перебил он.

— Зачем?— удивился я.

— В деревне первое дело — коня запрячь. Завсе за столом сидеть не будешь.

Он повернулся к окну и стал барабанить пальцами по столешнице. Уж больно я был неухожен, да и не походил на деревенского. Покойный счетовод Василий Иванович, которого месяц назад схоронили на заросшем осинником кладбище за деревней, был ему помощник и первый советчик в колхозных делах, а я не внушал доверия.

Воротилась востроглазая Тонька вместе с сухонькой опрятной женщиной, по-монашески повязанной платком, отчего ее узкое, с мелкими чертами личико выглядело словно у богоматери в ризнице на иконе. Лет ей, наверное, было столько, сколько моей маме, будь та жива,— немногим более сорока, и взгляд у нее был такой же, как у мамы,— близорукий, временами беспомощный. Звали ее Евгения Анисимовна, но никто в деревне по имени-отчеству ее не величал, а за дробность и какую-то бабью беззащитность снисходительно-ласково звали Еночкой.

Прислонившись к дверному косяку, она терпеливо ждала, что ей скажет председатель. Тонька присела рядом на лавку и, одернув платьишко, коротко поглядывала то на меня, то на свои босые ноги.

— Управилась с огородом?— спросил Арсентий Васильевич.

Еночка вздохнула:

— Гряды еще не копаны... Седня Аганюшке пособляю. Вчера мне картошку садили, седня — ей. Иначе как...

— Ты вот че...— Арсентий Васильевич не дослушал.— Парня этого на фатеру пусти.— Он кивнул в мою сторону.— Вишь, на место Василия Ивановича прислали... Человека.

Еночка посмотрела на меня и тихонечко кашлянула:

— Пущай живет, места не жалко. В огороде досадим, зайду за ним.

Подумав, достала из кармана фартука ржаной калачик и протянула мне:

— Возьми... Давеча Аганюшка угостила. А ты, поди-ко, еще и не ел седня.— Улыбнулась, просветлев лицом, и снова легонько вздохнула.

— Крупы на него получи полтора килограмма,— сказал председатель.— Скажи Тихонычу — я велел. Пусть запишет в ведомость. Поглядим, че получится... А то Тоньку учиться на счетовода пошлем.

Тонька потупилась и качнула босыми ногами. Еночка взялась за скобу:

— Поди-ко, Аганюшка уже ругат меня.

Еночка, тетя Ена... Мужа ее в сорок втором взяли в трудармию, но, отбыв два года на востоке, он затем уехал в какую-то деревню на Иртыше, и говорили, будто завел там другую семью. Был у них ребенок, но умер махоньким, больше детей бог не дал, осталась Еночка одинокой и была мне за мать. В ее придавленной дерновыми пластами избенке прожил я пять лет, была та избенка низкой и тесной, но словно светилась изнутри от чистоты и уюта. Занавесочка-задергушка над большой, в половину избы, печью, половичок в полоску под порогом, крест-накрест обитый полосками жести сундук у выходящего на огород окошка — все это сейчас, много лет спустя, снова вижу перед собой. И тусклое зеркало на стене, и застекленную рамку с фотокарточками, и вбитый в потолочную матку крюк для зыбки, в которой когда-то качали ребеночка... И словно ощущаю терпкий запах герани в разбитом чугунке на подоконнике, слышу надтреснутый голос, легкое Еночкино покашливание... Когда весной пятидесятого я женился и ушел от нее, снова стало ей одиноко и горько. Но ведь и от матерей уходят сыновья...

Чем моложе мы, тем больше впереди встреч, чем старше — тем меньше их остается. И уже можно все в своей жизни разложить по полочкам, поклониться всем, кто был когда-то ко мне добр. Низко, низко поклониться, до самой земли.

— Ну, вот, как тебя... Димка,— сказал председатель.— На фатеру тебя определили. Пойду к пахарям, а ты садись за стол, разбирайся в делах. Да мотри, язви те, у Василия Ивановича завсе порядок был.

Он вышел на улицу, не притворив за собой дверь, Еночка с Тонькой ушли раньше, а я, торопясь, принялся за калачик. Сквозь промытые оконные стекла веченнее солнце расстилало по полу половички теплого света, Сталин в военном кителе, чуть прищурившись, смотрел из рамки поверх меня куда-то за печку...

Еще полмесяца назад я и не ведал, что есть такая Красноярка, где будет суждено жить. Готовился в дорогу более дальнюю. В двадцатых числах мая мне и Женьке Горскому вручили повестки из военкомата. Объявили: придет первый пароход — и отправят в Томск, а оттуда дальше, на запад или на восток.

Женьку Горского, своего годка, которого сегодня уже нет на свете, я часто вспоминаю, когда думаю о той последней военной весне в Новом Васюгане. Отца у него не было, мать жила в деревне, сам он работал на лесопилке и квартировал, как и я, у Степанихи. Помню, как он скреб за едой ложкой, остался в памяти хриплый Женькин басок, так не вязавший-

ся с его тщедушностью, вспоминаю, как ходили с ним той последней весной в райкомхозовскую баню. Цепко держатся в памяти немногие радости, которые тогда были,— в бане мы отдыхали, там быстрее проходило время, вроде забывался голод. Зимой тоже манило погреться, но пока добежишь после бани до нашей Кооперативной улицы, ноги заколеют и душа замрет от холода, а в марте, когда дни стали уже дольше и на дворе терпимее, выхлебаем с Женькой после работы по тарелке пустого супа, выйдем из столовки, постоим на крыльце, и я уже жду, что он скажет, как бы после раздумья:

— Айда, Димка, мыться.

Спать рано, есть хочется, а до утра еще так далеко...

— Ну, что ж, айда...

Покуда выжаривается одежонка, долго греемся в парной, потом по очереди мылим головы скользким обмылком, окатываемся из тяжелых шаек и, отдохнув в предбаннике, снова обратно, в пахнущее распаренными плахами и вениками банное тепло. Наполняем шайки водой, моемся, окатываемся — и опять в предбанник. За запотевшими окнами по-мартовски ветрено, стынут в сумерках намерзшие сосульки, а тут тепло, из парной доносятся голоса, от плеска воды клонит в сон. Лобастая Женькина голова опущена, глаза закрыты, на сгорбившейся спине выдались позвонки... И только в двенадцатом часу, когда косоглазая банщица Богданиха принималась вытирать шваброй пол и хлопать дверцами шкафов, проверяя, не оставил ли кто бельишко или обмылок, мы одевались и, пряча в карманах озябшие руки, торопливо шагали мимо заснувших домишек, жавшейся к сосновой роще приземистой больницы, мимо смутно белеющих огородов, на которых днями уже оседали подтаявшие сугробы. Скользили по зачарымевшему снегу две ломкие тени, плыла в стылой ночи луна, и до утра было уже не так далеко...

Той весной у Степанихи квартировал еще постоялец — Василий Краснов. Всего на полгода старше меня, он уже побывал на фронте и теперь, одноногий, возвращался домой. До Нового Васюгана его довезли на перекладных последним санным путем, дальше предстояло ехать еще больше сотни километров, но у Огнева Яра зимник рухнул, дорога лошадей уже не держала, и пришлось ждать, покуда вскроется река. Родни в Новом Васюгане у него не было, а хозяйка наша пускала на квартиру охотно. Из-за дров, которые квартиранты возили зимами из лесу на салазках, из-за тридцатки, которую брала с постояльца в месяц, а кого просто из жалости. Василия пустила из уважения — дров он готовить не мог, денег у него не было, да и не просила она их с него.

...В то утро нас всех разбудил Степанихин крик. С осени она уже не убирала в школе — ночами сторожила райпотребсоюзовские склады и на свету первой услыхала, что немцы подписали акт о капитуляции.

— Война кончилась! — истошно кричала она с порога...— По радиво передали — война кончилась! Подымайтесь, мужики!

Мы спали вповалку на полу, лишь Степанихин Колька, свернувшись под лоскутным одеялом, нежился на кровати.

Первым вскочил Женька и босиком дико заплясал у остывшей за ночь печки. Тоже что-то крича, я тянул на себя малестиновые брючишки и никак не мог попасть ногой в штанину. Василий, сбросив укрывавшую его шинель, в нательном белье полз к лежавшим под лавкой костылям...

— Кончилась война! — кричала Степаниха.— Кончилась! Все подымайтесь!

В одиннадцатом часу у дощатой арки перед бревенчатым клубом, откуда столько раз напутствовали уходивших на фронт, собрался народ на митинг. Ясное с утра небо заволокло тучами, похолодало, полетевшие хлопья снега густо пятнали прибитый к арке транспарант, на котором под белыми, только что выведенными словами о Победе проступали очертания написанного еще к Октябрьской лозунга. Временами в разрывах туч показывалось солнце, тогда четче проступало прежнее: «Разгромим врага в... логове!», ярче загорался флаг на тесовой крыше клуба. Гремела из репродуктора музыка, теснилась толпа вокруг выступавшего на приступке арки райкомовского секретаря, и последний снег, исчезая, таял на головных платках и редких ушанках.

С митинга я зашел в рыбозаводскую контору, но болезненная, с постоянно опухшим лицом уборщица тетя Стеша остановила меня в коридоре:

— Не топчи пол, дирехтор всех домой отпустил.

— С праздником, Стеша,— поздоровался я, стряхивая у порога шапку.

— Тебя тоже,— ответила она, подобрев.— Слава-те господи, дождался народ.

Помню, однажды зимним вечером, когда конторские разошлись по домам, а я, оставшись в холодной бухгалтерии, читал разрозненный довоенный журнал, на вырванных страницах которого мы писали за неимением бумаги, Стеша тихонько прибирала в кабинете. Принесла ведро с водой, придвинула к столам стулья, шеборча бумагой, собрала сор из корзин. Скупо освещая раскрытый журнал, вполнакала горела свисавшая лампочка, разгораясь, потрескивали дрова в затопленной в коридоре печке, стукнули переставленные Стешей костяшки конторских счетов на столе главного бухгалтера... «Миленький, ну скоро ли война кончится?» — шепотом спросила кого-то Стеша. Я поднял голову. Склонившись над стоявшим возле чернильного прибора гипсовым бюстом Сталина, Стеша вытирала его тряпицей и тихонечко с ним разговаривала. «Скоро ли?» Шевеля сухими губами, все гладила и гладила гипс, и столько мольбы было в ее голосе, столько веры...

— Теперь всем легче станет,— сказал я ей сейчас.

— Чего уж там, слава-те господи,— повторила она.— Воротятся домой кто не убитый... А може, еще и Иван мой живой?

Сколько лет прошло, но нет-нет и возникнет в памяти опухшее Стешино лицо, ее печальные глаза. Когда гладила она потускневший гипсовый бюст, я как-то не воспринял ее скорби, а сегодня все видится в ином свете. Время ли другое, сам ли становишься с возрастом чувствительней к своей и чужой боли?

Дома Степаниха, Женька и Василий сидели за столом. Мне налили в зеленоватый, из бутылочного стекла граненый стакан немного спирта.

— С Победой!

Обжегшись, я торопливо запил водой из ковша. Степаниха подвинула эмалированную миску — на дне оставалось несколько ложек похлебки.

— Весь мир седня гуляет...— Поправила воткнутую в волосы костяную гребенку и запела надрывно: — Окрасился ме-есяц багря-янцем...

Женька подхватил сиплым баском:

— И волны бушу-уют у ска-ал...

Она взяла чересчур высоко, Женька умолк, Степаниха, не чувствуя поддержки, оборвала песню и, раскрасневшись, глянула на себя в стоявшее на угольнике зеркальце.

От отрыгивающегося керосином спирта волной нахлынуло тепло. Я перебивал начавшего что-то говорить Женьку, Василий хотел, чтобы слушали его...

— Гуляйте, мужики! — кричала Степаниха.

— На позицию девушка,— затянул Женька.

— Слышь, мамку во сне видал,— теребил меня за рукав Василий.— А то ночами в глазах все палата, палата...

Его худая, с выдавшимся кадыком шея казалась еще тоньше из-за не по росту широкого воротника линялой гимнастерки, на скулах выступили горячечные пятна.

— ...На фронте двенадцать дней, по госпиталям полгода...

— И пока за тума-анами-и,— тянул Женька.

— И я на фронт просился,— доказывал я.— Мой отец во время той мировой с немцами воевал, в брусиловском прорыве участвовал...

— Гуляйте, мужики! — кричала Степаниха, одергивая расползавшуюся на груди кофточку.— Живым теперь жить!

В избе было жарко — с радости натопили печку по-зимнему. Василий потянулся к прислоненным к дверям костылям, распахнул дверь в сенки. Я помог ему спуститься с крыльца; вдавливая в суглинок угловато подымавшие плечи костыли, он запрыгал к сколоченной из горбылей постройке на огороде, но, неловко поскользнувшись, тяжело упал на грязную тропинку. Упираясь ладонями и коленом в землю, попытался встать и не мог. Подбежав, я обнял его, подал полированные костыли; немощный, он ухва-

тился не за них, а за меня. Выглянувшая из дверей Степаниха увидала неладное, шлепая надетыми на босу ногу чунями, подошла, и вместе мы помогли Василию подняться. В глазах его было страдание. Степаниха утерла платочком его лицо и поцеловала в лоб.

— Че же вы, мужики? — ласково и жалостливо сказала она и вдруг заплакала: — Парнишки вы, парнишки...

Он уехал в свою деревню с первым почтовым катером, увезшим в верховье трех возвращавшихся из госпиталей фронтовиков, мешки с писанными еще с фронта письмами и похоронками, которые получили где-то уже после Победы.

В те по-весеннему теплые, то вдруг еще начинавшие дышать уходящим холодом, прибывающие светом дни я просыпался по утрам со счастливым ощущением, что нет войны, и, засыпая вечерами на полу возле обтертой печки, думал о том же. Когда нам с Женькой вручили повестки, огород уже вскопали и засадили картошкой — засыпали землей по два картофельных обрезка в каждой лунке, и в каждую Степаниха влила по полковша разведенной водой жижи из уборной. Удобряла она огород с тех пор, как поселилась тут перед войной, но все равно картошка родилась мелкой и помалу.

Теперь, с утра выкупив по все уменьшавшимся к концу месяца хлебным карточкам дневной паек, мы с Женькой шли на перекличку к стоявшему особняком на берегу зданию, возле которого к девяти часам собиралось десятка три таких же, как мы, ожидавших отправки в Томск. На работе меня рассчитали, выдали в окончательный расчет двести сорок рублей, на которые я мог купить два ведра картошки, и еще оставались деньги на хлеб. Однако пароход, который должен был нас увезти, задерживался в низовье, и, свободные до следующего дня, мы с Женькой уходили в конец поселка к натаборенным штабелям леса, садились на сосновое бревно и смотрели, как искрится Васюган, покачивают загустевшими ветвями ближние березы, сливается с небом уходящий в дымку за рекой лес. Вода доносила голоса, звон ударов по наковальне из распахнутой кузницы, пахло весенним дымом, опилками, горячей смолой, которой живший на краю поселка старик заваривал латаный обласок. Впереди был день, и была впереди жизнь, если и не такая, как до войны, то все равно другая, чем все эти годы.

Никогда я так не воспринимал и не ощущал весну, и ни одна весна не сохранялась в памяти так отчетливо, как та. Сегодняшние мои видения других далеких лет как-то не связаны с временами года, память поделила жизнь на свои отрезки. Цвела и отцветала сирень на последней улочке довоенного детства, весна незаметно переходила в лето, лето сменялось осенью... Но все это была одна весна — такая долгая и такая короткая. И четыре лютые военные зимы, сменявшиеся голодными веснами, четыре горьких лета, переходивших в безжалостные осени, были тоже одним периодом, одним отрезком времени, вместившим в себя всю боль разлук и смертей.

Но, смертью смерть поправ, пришла весна сорок пятого.

И мы с Женькой ждали пароход.

Кособокая, кренящаяся на правый борт «Тара», построенный еще до революции «Смелый», обшарпанный, с выгоревшим флагом на корме «Тоболяк» — каждую весну, пыхтя горячим паром, шлепал с грузом и людьми по извилистому Васюгану один из этих колесных пароходишек. Шесть дней от Нового Васюгана до Каргаска на Оби, неделю обратно против течения, и в каждой побережной деревне встречать и провожать его сбегались стар и млад. Сокращая путь во время весеннего половодья, дерзко шел пароходик по прямицам с плеса на плес, и затопленные кусты, роняя на палубу сбитые листья, с шорохом гладили поцарапанные борта; жарким летом, когда, обнажая косы, мелеющая река хваталась за тяжелое днище, так же упрямо пробивался он через песчаные перекаты; последним рейсом по уже пустынному, холодному Васюгану уходил в затон, долгими гудками прощаясь с каждой деревней до будущей весны...

С мешками, узлами и фанерными чемоданами по неделе плыли пассажиры — кто на двухъярусных топчанах в трюме, кто на палубе или на наваленных грудой березовых поленьях, которые, помогая пароходской

команде, сами грузили по пути на плотбищах. Пахло машиной, дымом, кипятком, провожая пароходы, вились в нагретом воздухе желтоглазые пауты, и, подмывая обрывистые яры, расстилаясь по приплескам, бежала за кормой попутная волна.

Причалы с крутыми взвозами, накренившиеся стояки, к которым деревенские ребятишки бегом тащили кинутую на берег чалку, бревенчатые амбары и избы прибрежных деревень... На одной из пристаней уже где-то неподалеку от Каргаска рябая молодуха заводила по трапу слепого гармониста, ему освобождали место, он клал возле себя армейскую фуражку с залоснившейся подкладкой, костыль и, то клонясь к мехам гармони, то замашисто вскидывая голову, осипшим голосом пел «Синий платочек», «Огонек», затем долгую жалостную песню об отказавшейся от безногого жене, о том, как написала та в госпиталь, что не нужен ей калека...

Но пониже стояли рогульки,
Это почерк совсем был другой,
Это почерк был милой дочурки,
Она папочку звала домой... —

жмуря незрячие глаза, плачущим голосом выкрикивал инвалид, рывками растягивая гармонь.

Заглушала песню хватающая воздух трехрядка, утирали слезы женщины, бросали в фуражку монеты и мятые рублевки...

Вращая колеса, мерно дышал двигатель, проплывали ощерившиеся корнями сосен слоистые крутояры, низкие поемные берега, таял, оседая над разбегающимися за кормой волнами потревоженной реки, дым березовых дров.

Вскоре слепой напивался, хватаясь за костыли, дико бранил поводыриху и, уронив на гармонь голову, засыпал тяжким пьяным сном. Черным пятном лежала фуражка, в которой уже не было подаяния, и напустившая на лоб платок молодуха, вытянув ноги в грубых чулках, скорбно сидела рядом, оберегая чужой сон.

Пароход-трудяга, пароход-разлучник... Редкие встречи, горькие проводы, бабий плач. Сколько мужиков с котомками взошло по крутым ребристым трапам, чтобы уже не вернуться в родные деревни... Заслышу сегодня ненароком далекий, похожий на гудок трубный звук, и словно откуда-то из прошлого донесется зовущий крик — встречайте те, кому есть кого встречать, готовьтесь те, кому в дорогу...

И тогда, собравшись с Женькой в путь, мы все ждали, что вот-вот с далекого поворота донесется протяжный гудок. Казалось, что теперь, когда кончилась война, придет не кренящаяся набок «Тара», не старичок «Тоболяк», не закопченный «Смелый» — приплывет большой, какой мы однажды видели на Оби, двухэтажный, сияющий лебединой белизной пароход, и в неумолчном плеске воды, в шелесте ветра чудилось его дыхание. Но пустынной оставалась уходящая за излучину река, невнятным ее шум, и высокий стонущий звук, возникавший временами рядом, был уносящимся по речной глади заунывным свистком лесопилки.

Он пришел на пятые сутки к вечеру. Не белый красавец, а все тот же потемневший от дыма и лет «Смелый». Простоял ночь у пристани и поутру, по-старчески шлепая плицами, разволновав ненадолго реку, подался обратно. Мы с Женькой остались в Новом Васюгане. Из призывников не взяли никого — теперь мы были нужней здесь.

В десять утра кучерявый лейтенант, простуженным голосом сделав перекличку, повел строем всех ожидавших отправки в райисполком, и там за крытым зеленой скатертью длинным столом, сутулясь над списком, председатель исполкома быстро решил судьбу каждого из нас. Несколько человек вернули на прежнее место работы, десятка полтора, в том числе и Женьку, направили на лесосплав. И меня было тоже назначили сплавлять лес, но находившийся в кабинете чернявый начальник райзо заметил, что, поскольку этот парень может вести учет, лучше-де послать его в Красноярку — там уже два месяца нет счетовода. Предрика кивнул и велел написать направление в колхоз.

На следующий день, когда я пришел на пристань к отправляющемуся вниз по реке буксирному катеру, шкипер которого посулился довезти

меня до Красноярки, на берег прибежала с наказом запыхавшаяся Стеша: Степан Степаныч, наш директор, срочно велел идти к нему. Забрав тощий мешок с пожитками, я без охоты спустился по сходням.

— Так ты куда? — спросил директор, когда я зашел в его заставленный вдоль стен стульями кабинет.

Я объяснил.

— Будешь у нас работать. По-прежнему. — Он дернул подбородком, словно ему был тесен застегнутый на два крючка глухой воротник кителя. — Понял? Я скажу Михайлову, что мы тебя оставили.

— Не надо, — попросил я, не опуская на пол мешок.

Очень не хотелось оставаться в Новом Васюгане. Должно же что-то измениться в моей жизни...

Он посмотрел на меня долгим взглядом.

— Не надо, — повторил я.

— А ведь тебя рыбозавод выучил...

Я промолчал.

— Собрался в колхоз, так уж в Майск бы просился, там все ж таки покрепче живут, — сказал он уже другим тоном.

— У меня в Красноярку направление.

— Хотелось тебя оставить... Тебе ж лучше. — Он опять дернул подбородком, наверное, это было у него нервное. — Ну, будь здоров, Макшеев.

А прежде мне казалось, что он даже моей фамилии не знает.

Теперь я сидел в колхозной конторе, и в окно виднелся затопленный половодьем лес на противоположном берегу. За спиной стоял шкаф, на шкафу — запылившийся патефон, в светлом кителе с двумя звездочками на груди, прищурившись, смотрел из рамки за печку Сталин. Пахло мытым полом, застарелым самосадным дымом, с жестким скрипом тикали когда-то крашенные голубым ходики.

Чья-то тень заслонила ближнее ко мне окно: прижавшись с улицы ладонями к стеклу, на завалинке стоял мальчуган лет пяти. Видно, его недавно остригли ножницами — большая голова была пестрой, словно поцарапана пятерней. Он внимательно, даже печально смотрел, как я листаю бухгалтерские книги, но, встретившись со мной взглядом, шустро спрыгнул с завалинки и, мелькая заплатками на выгоревших штанишках, убежал по огороду. Отвернувшись от окна, я снова попытался вникнуть в исписанные угловатым почерком разлинованные страницы и, казалось, все еще ощущал пристальный детский взгляд. Но за окном никого не было, в падавших на некрашеный пол косых потоках теплого света лишь плясали редкие пылинки. Кто-то отворил дверь: держа за руку только что подглядывавшего мальчишку, вошла бледная женщина, поздоровавшись, присела на краешек лавки и долго сидела так, положив на колени ладони. Парнишка, насупившись, держался за ее подол. Я ждал, что они что-нибудь скажут или спросят, но оба молчали, и я опять углубился в книги с выведенными словно трясущейся рукой строками. Женщина неслышно заплакала. Стесняясь спросить, я продолжал листать шелестящие страницы, а она, последний раз тихонько всхлипнув, утерла концом платка глаза и, так ничего и не сказав, ушла, уведя за руку сынишку.

После я узнал, что это вдова бывшего счетовода. Зашла посмотреть на того, кто сидел теперь на месте ее мужа, и стало ей горько. Сколько слез пролито в те роковые сороковые солдатскими матерями, сестрами, вдовами, а ей, Пелагее, вроде поначалу повезло — мужика ее не взяли на фронт по болезни, бабы деревенские ей завидовали: живет своей семьей. Да уравняла судьба, и вроде уже не ей, а им больше повезло — у них красноармейские семьи, им — пособие, а она — просто вдова, и отец ее детей не убитый, а умерший.

Красноярка, Красноярка... Сколько лет прожил я бок о бок с твоими деревенскими! Вместе работали за трудодни, вместе переживали и печалились. Кажется, за давностью позабылось многое, а начнешь вспоминать, и разматывается, разматывается суровой нитью клубок памяти, высветляется в памяти милое сердцу, ощущаю запахи ушедшей весны, снова слышу смолкшие голоса...

Когда тесовая крыша стоявшего на берегу амбара скрыла опускавшееся солнце и стерлись в углу конторы скосившиеся половички света, воротился с поля Арсентий Васильевич. Кликнул с крыльца обретавшуюся где-то неподалеку Тоньку, мягко ступая перепачканными землей черками, прошел к столу.

— Разобрался, че к чему?

— Почти, — сказал я. — Учет двойной, как в рыбозаводе, только счетный план другой.

— У Василия Иваныча порядок был.

Я достал с нижней полки завязанную тесемками папку:

— Тут вот я облигации обнаружил.

Арсентий Васильевич подозрительно посмотрел на меня:

— Ну?

— Раздать надо.

— Да которым бабам отдано... Где-то список должон быть, кто сколь подписывал займу, эттось мы с Тонькой уже искали.

— Здесь ведомость, — сказал я, достав другую папку. — Надо Дудиковой Анне отдать, Григорьевой Марии, Кузнецовой Прасковье, Горностаевой Варваре. Всего восемьсот пятьдесят рублей. Облигаций как раз столько.

— Гляди-ко ты! — Арсентий Васильевич подивился, как это я, еще никого не зная, смог выяснить. — Выходит, ты, парень, — свеча. А я хотел уже у финагента справляться, кабы какая путаница не вышла. Слышь, можешь Таньке ключ не отдавать, пущай теперь завсе у тебя будет.

Так я стал счетоводом колхоза. И получил в распоряжение ключи от шкафа с документами и бухгалтерскими книгами. И еще были там на нижней полке те три неведомо как попавшие туда книги...

Разлучила война кого надолго, а кого навек. Но после долгой, долгой зимы сошел грязный зернистый снег, проклюнулись из земли подснежники, по еще не просохшим, не крещенным войной дорогам потянулись люди. И свела послевоенная весна чьи-то поломанные судьбы.

Вспенив мутную воду, катер отвалил от берега и, оставляя разбегающийся след, пошел дальше по реке; в волнах, сверкая, дробилось весеннее солнце.

Двое мальчишек остались на песчаном приплеске. Один — в долгополом пальто, рыжий, с пегим от крупных веснушек, широким лицом, второй — в матерчатой детдомовской ушанке и ватнике, сам такой же серый и невидный, как его одежда. Оба настороженно и выжидательно смотрели на председателя нашего колхоза.

— Ну, что же, айда за мной. — Арсентий Васильевич тяжело пошагал наверх, к колхозной конторе.

Взвалив на плечи полосатые матрасовки с пожитками, детдомовцы поплелись за ним. Катер скрылся за поворотом, но бубнящий стук мотора еще гулко разносился по воде.

В конторе было светло от больших окон и побеленных к маю бревенчатых стен. Срубили дом перед самой войной и говорили, что, когда в ту пору здесь собирались колхозники, негде было упасть яблоку. Теперь, год спустя после войны, даже на общих собраниях бывало просторно и пусто в углах. Привычно сняв на пороге выцветшую фуражку, Арсентий Васильевич присел к единственному столу, на котором я только что разложил бухгалтерские книги. Быстро оглядевшись, детдомовцы примостились на лавке за печкой.

— Да вы поближе сядьте! — Арсентий Васильевич поморщился, словно от зубной боли.

Мальчишки не шелохнулись.

За окном прогромыхала телега с семенами и, съехав с проложенной у склада стлани, мягко покатилась по земле. Наперебой чирикали воробьи, подбирая просыпавшееся зерно.

— Будем молчать? Ну, архаровцы... Архаровцы, — нараспев убежденно повторил Арсентий Васильевич, свернул самокрутку и посмотрел на меня: — Че будем делать?

Дел было невпроворот. Уж два дня как пахари выехали в поле, сегодня за крутым логом начали сеять горох, надо было перегонять коров на заимку, где оставалась прошлогодняя солома, а тут, как снег на голову, эти детдомовцы. Не очень-то намного лет было мне больше, чем им, но

я работал в конторе, и подчас председатель уже со мной советовался. Сейчас мой совет для него ничего не значил, но, очевидно, ему захотелось услышать человеческий голос.

— На квартиру их надо определить,— сказал я.

— Ага, перво-наперво на квартиру. К старухе какой-нибудь.— Он подумал.— Сбегай-ка кликни Кондратьиху, она завсе дома.

Кондратьиха жила неподалеку, сразу за мостиком. Когда я вернулся, детдомовцы по-прежнему сидели, как нахохлившиеся воробьи, а председатель завертывал вторую самокрутку.

— Сейчас придет,— доложил я.

— Еще Дарью позови.— Он прикурил и забарабанил по столу пальцами, что означало некоторую степень раздражения.— Поди, лучше будет их отдельно поселить, а?

Дарья встретила меня неприветливо.

— Телушку напою и приду,— сказала она и, сердито загремев ведром, пошла за печь. Там жадно захлюпал теленок.

Уходя, она повесила на дверь замок. Кроме нее, никто в деревне дверей не замыкал — просто приставляли метлу или лопату.

Пока я ходил за Дарьей, Кондратьиха уже увела рыжего, и в уголочке, свесив меж колен руки, сидел оставшийся хилый мальчишка.

Всем видом своим показывая, что ей некогда ходить по конторам, Дарья бочком опустилась на краешек скамейки возле двери.

— Спешишь, Дарья Семеновна? — спросил Арсентий Васильевич.

Дарья поерзала, ожидая подвоха.

— А то че же? Управиться не дали.

— Успеется... Ты посиди, отдохни маленько. Бывает же тебе иногда охота с кем-нибудь поговорить? Все одна и одна...

— Ну-ну,— сказала Дарья.— Уж не мужика ли мне нашел?

— Эх, Семеновна,— председатель помрачнел.— Где их взять, мужиков-то? Мальчонку вот хочу тебе определить. Ребят из детдома на трудоустройство нам привезли. Одного Кондратьиха приняла, а ты этого на квартиру пусти.

Дарья подняла узенькие брови:

— Скажешь тоже, Арсентий. Я думала, насчет налога в контору вызвали. Так еще намедни Ульяне сотню снесла... Мальчишка на что мне? И без него картошки до новой не хватит.

— А тебе его не придется кормить. На хлеб им в сельпо лимит даден, продуктов колхозных выпишем.

— Да не нужон мне квартирант.

— Он тебе дровишек зимой пособит напилить...

Поджав губы, Дарья молчала — дескать, пустой разговор.

— И мы же еще тебе платить будем.— Арсентий Васильевич пошел с последнего козыря.— По пять трудодней в месяц. Шестьдесят в год — как раз половина минимума... Ну, пошто ты, в самом деле, без понятия — убытка никакого, а еще плата за беспокойство.

— Блудить кабы не стал...

В голосе Дарьи уже не было твердости.

— Ну, если заметишь, мы его за тем же разом в тайгу на комары... Звать как тебя? — обратился председатель к мальчику.

Тот поежился.

— Тебя спрашиваю. Немой ты, че ли?

— Леша я.— Голос у паришки был простуженный.

— Фамилие какое?

— Пышкин.

— Ишь ты! — удивился председатель.— Так что, мотри, Пышкин. Понятно? Веди его, Семеновна... Своих забот хватает, а тут чужие навязали, язви их в душу.— Он повернулся ко мне: — Ты тоже ступай — запряги Воронка и свези пять мешков к сеялке на Пономареву полосу. В конторе сейчас делать нечего.

Дела у меня как раз были, но я сложил книги в шкаф и пошел на кондвор.

Когда под вечер вернулся, детдомовцы кружились на исполинке. Стоял около конторы такой столб с тремя веревками, держась за которые, можно было крутиться вокруг него вроде как на карусели.

Арсентий Васильевич курил на конторском крылечке, я подсел рядом, и он протянул мне жестяную коробку из-под чая, в которой носил самосад. С крыльца была видна река. Вода за день прибыла, черемуховые кусты на противоположном берегу затопило, и мимо медленно проплывали глубоко осевшие плоты из рыжего соснового леса.

С поля пришла Ольга Филиппова, грудастая сероглазая девка, колхозный бригадир, и, одернув холщовую юбку, тоже села на ступеньку.

— Работничков прислали, видишь? — кивнул на детдомовцев Арсентий Васильевич.

— Слыхала... Поди уж головушки закружились.

— У тебя скорее закружится... Ты вот что, девка, посылай-ка их завтра на работу. Надо их к чему-то приучать.

— А куда?

Арсентий Васильевич не ответил.

— Пусть вместе с бабами попеременке на быках боронят,— предложил я.— Пока наши отдыхают, детдомовцы быков поводят, потом опять бабы... А то сегодня два раза мимо проезжал, так за поскотиной и бабы, и быки на пашне лежали.

— Кабы быки ходили, и бабы ноги таскали,— обиделась Ольга.— Лошадям хоть пополам с мякиной овес, а быки на одном сене, и того внатруску.

— Бабы дюжие,— сказал председатель и задумался.— Придется, однако, коров к работе приучать, шибко сушит землю...

— Не дело это.— Ольга вздохнула.— Одна маета.— И, помолчав, спросила: — Так куда новеньких посылать?

— Вот еще грех на нашу голову, язви тебя! — Арсентий Васильевич сплюнул на цигарку и посмотрел на закат за рекой.— А солнышко в тучу садится. Хотел с завтрашнего дня посевную на три пряжки перестраивать, так, однако, еще погода переменится... Нечего загадывать, утро вечера мудренее. С утра и определимся. Заодно с детдомовцами решим.

Солнце не зря закатывалось в тучу — ночью пошел снег. Наутро хлопья летели густо, как зимой, и все вокруг стало белым: крыши, городьба, улица... Противоположный берег утонул в мутной мгле, только реку снег был не в состоянии забелить, и она, вздувшаяся, набирающая где-то в верховье силу перед половодьем, несла мимо деревни темную воду, по которой плыли к Оби запорошенные плоты.

Когда я пришел в контору, Арсентий Васильевич сидел спиной к окну на своем обычном месте с краю у стола. Тут же были Ольга и конюх Антоныч — коренастый, широкоплечий мужик. Техники в нашей артели тогда еще не имелось, и, где было не под силу людям, в ответе были лошади. Мужиком Антоныч слыл хозяйственным, справедливым и только оттого, что не знал грамоты, не попал в свое время в председатели.

— Долго вытягиваешься в постели,— недовольно сказал мне Арсентий Васильевич, когда я отряхнул снег с шапки.

— Погода...

— При чем тут погода? В контору сейчас надо пораньше приходить.

Он был не в духе и, очевидно, еще долго бы меня отчитывал, если б в дверях вслед за угрюмым Пышкиным, державшим в руках матрасовку, не появилась разгневанная Дарья. Не поздоровавшись, она подтолкнула мальчика в спину:

— Забирайте своего Епишку, не нужны ваши трудодни. Мало мне своего теленка обихаживать, на што мне такое...

— Обожди ты, не собирай че попало,— перебил председатель.— Объясни толком.

— Прудится он, вот и весь толк.

— Как же это, парень? — подивился Арсентий Васильевич.

— А в детдоме много таких,— сказала Ольга и покраснела, потому что была сильно конфузливая.— В детстве они пужаные, или еще от чего... Их там ребятишки «моряками» дразнят. Они и спят в отдельном корпусе.

— Из морского корпуса, значит, этот... Ну, дела, язви тебя...

Арсентий Васильевич забарабанил по столу.

— Моряк с печки бряк,— хмыкнул я.

— Не скалься, тут дело сурьезное,— строго произнес Антоныч.

— Пошла я, хлеб у меня в печи. — Дарья взялась за скобу. — Не знаю, кто такого на фатере держать станет.

Дверь хлопнула. Под раскисшими ботинками Пышкина таял мокрый снег.

— Куда теперь с ним? — спросил Арсентий Васильевич.

Ольга отвела глаза, Антоныч придавил о подоконник недокуренную цигарку и решительно хлопнул себя по колену:

— Раз такое дело, возьму парня к себе. Не на улице же ему погибать.

— Настасья-то у тебя обиходная, — с сомненьем произнес Арсентий Васильевич. — Не примет.

— Ниче... Лечить надо парнишку. Весну и лето мы с ним по культстанам жить будем, а к зиме, може, наладится. — Прищуренные глаза с заветренного лица глядели по-доброму. — Ниче, — повторил он. — Отговоримся от Настасьи.

— Еще вот-не-вот Кондратьиха придет с отказом, — может, и другой такого же сословия, — сказал Арсентий Васильевич, повеселев.

— Заходила я давеча к ней, ничего она не говорила, — заметила Ольга.

— Надо, однако, мальца на постой вести. — Антоныч взял лежавшую на лавке шапку. — Да коней сгонять напоить. Вся работа седни стала... Дарья тебя хоть покормила? — обратился он к Пышкину.

Тот промолчал.

— Скупа, ох скупа, холера... Ну, пошли.

Следом ушли остальные, а я принялся записывать трудодни в лицевые счета колхозников. На дворе заголубело, и солнце погнало с крыш превратившийся в воду недолговечный снег.

Спустя некоторое время в окно увидел детдомовцев. Пословнявшись по берегу, вскоре они куда-то исчезли.

Я было собрался идти обедать, когда в контору зашел мой погодок Серега Плотников, здешний продавец. Большую часть дня он обретался дома или в колхозной конторе — в лавке торговать было нечем: соль, мыло, спички в бумажных пачках — вот почти и весь ассортимент. Имелась и мука, но до вольного хлеба ждать было еще больше года, а колхозникам муку не продавали.

— Наделало слякоти, елки-палки! — Серега старательно вытер ноги о затоптанный мешок под порогом. — А то думали, уже лето вам...

С улицы донеслась замысловатая ругань — матерился кладовщик Тихоныч. Забористые присловья он присовокуплял к каждой второй фразе, но сейчас, судя по тону, не ради красного словца, а от большого расстройства.

— Не вздышит... С чего бы? — лениво сказал Серега.

Мы вышли на крыльцо. Размахивая руками и безутишно ругаясь, с берега к конторе шел Тихоныч. Скуластое небритое лицо его выражало крайнее возмущение. Старик он был заполошный, с ним постоянно что-нибудь приключалось.

— Лодку угнали детдомовцы окаянные! — сообщил он, переводя дух. — Я еще давеча заметил, как они возле нее шараборились, да невдомек, что сбегать удумали. А сейчас хватился — лодки нет, растуды их... Они это, след никуда не денешь. Чтоб у них глаза повылазили, чтоб им!..

— Почему же ты греби не прибрал? — спросил Серега.

— В амбаре греби... Так скотине безрогой на что они? Отпихнулись от берега, и плыви по течению.

— Считаешь, обратно в детдом?

— Знамо, туда. Здесь же робить надо, а там за так кормят.

Лодка для колхоза представляла большую ценность. На ней ездили на покос, перевозили за реку телят и овец, на ней возили зерно на мельницу... Без лодки было никак невозможно.

— Далеко не уплыли, — сказал Серега. — У меня обласок у омута спрятан, сейчас мы с Димкой напрямки рванем, а им плесами дотуда часа два добираться. Как раз должны их там перестренуть. Айда, Дим...

— Ружьишко возьмите попугать варнаков! — вдогонку крикнул Тихоныч.

Полями до омута было километра полтора. Запыхавшись от бега,

мы стащили в лог утлый Серегин облас и, цепляясь за полузатопленный тальник, подтянулись к холодной, неприветливой реке.

— Вот они, субчики, — шепнул Серега, раздвигая ветки. — Так и знал — вовремя поспеем.

Там, где стрежь пригибала дрожащие от напора воды талы, по течению плыла наша лодка. Пышкин, подобрав в корме ноги, подгребал палкой, а рыжий парнишка сидел к нам спиной и, жестикулируя, что-то рассказывал.

— А ну, давай к берегу! — гаркнул Серега. — Ишь, паразиты!

Вздрогнув, рыжий обернулся, увидел нас и заплакал, размазывая рукавом слезы. Пышкин перестал грести. Лицо его еще больше посерело, и сам он весь как-то съежился.

— К берегу заворачивайте, кому сказано, елки-палки!

Пышкин неумело принялся загребать, но лодку уже проносило мимо.

— Черт непутевый! — выругался Серега. — Самим придется.

— Вывалят они нас, — хрипло шепнул я, направляя верткий обласок наперерез.

— Запросто, — сквозь зубы ответил Серега и, откашлявшись, скомандовал: — Руки вверх! Выше!

Мальчишки подняли мокрые ладони. Опущенная Пышкиным кривая палка закачалась на волнах. Ухватившись за борт, Серега перевалился в лодку. Обласок зачерпнул воды, и я перебрался вслед за Серегой, мокрый по пояс.

— Можете опустить лапы, — разрешил Серега. — Да не реви ты, конопатый...

Лодку изрядно пронесло, и, гребя одним веслом, мы с трудом подбились к талам. Забрав перепачканные матрасовки со скарбом, сникшие детдомовцы вылезли на берег.

— Бить будем? — спросил Серега.

Я оттащил обласок подальше от воды, а лодку крепко привязал к накренившейся талине.

— Да ну их...

Детдомовцы уныло шагали перед нами, вытаскивая ботинки из вязкой глины. Я не видел их лиц, только понурые спины и торчащие из воротников худые шеи.

— Какие-то они... Вроде как старички, — тихонько сказал Серега, глядя на худые фигурки.

Мне стало их жаль. У меня тоже пять лет уже не было ни отца, ни матери...

— Обождите, — окликнул я. — Давайте сюда мешки.

Мальчишки остановились и опустили на землю матрасовки.

— Мы с Гринькой чужого не брали... Здесь моя чашка, одеяло... Вот...

Пышкин хотел развязать мешок.

— Да не показывай ты свое барахло. Помочь хочу.

Я забрал его матрасовку. Серега взял мешок у рыжего:

— Ну, ты... Кавказский пленник.

— Читали такую книжку? — спросил я.

Пышкин хмуро кивнул.

— То-то...Топайте, Жилин и Костылин.

Детдомовцы чуть приободрились и зашагали веселей.

Если осенью от ложки воды на земле ведро грязи, то весной наберется лишь ложка грязи после ведра воды. Весеннее солнышко сушит быстро, и весь день пашня за деревней струила дрожащее марево. Через день работать в поле стали с утра до одиннадцати вечера, с двумя перерывами для отдыха тяглу и людям. Но все же дело подавалось не так споро, как хотелось Арсентию Васильевичу. Чтобы скорее отсеяться, попробовали было боронить на коровах, однако к ярму приучили только одну комолую Пестрянку. Остальные коровы кидались с боронами из стороны в сторону или ложились на землю и жалобно мычали. Бабы жалели их и выпрягали.

Пахари с бороноволоками перебрались жить на культстан, около которого в закопченном котле повариха варила всем пшеничную кашу

и похлебку. На всех же были и одни застланные соломой нары, где сладко спалось после долгой ходьбы за плугом и боронами. В пригоне возле стана держали лошадей и быков. Для них с зимы сберегли и загодя сметали зарод мелкого сена, так что на кондвор в деревню гонять тягло было незачем, и Антоныч круглосуточно находился здесь. Вместе со всеми на стане жил Пышкин. Ночами Антоныч будил его, и мальчишка, спросонок пошатываясь, выходил с ним на улицу в светлую весеннюю ночь. Антоныч говорил, что приучит его вставать самого, но прежде парнишку нужно сводить к бабке Варваре, которая знала травы от всяких недугов. Заняться этим Антоныч обещал после посевной. Сейчас было недосуг.

Рыжий детдомовец уехал. В день неудавшегося побега к нашему берегу причалил сплавной катер, и ехавший на нем смуглый, похожий на цыгана начальник сплавучастка передал Арсентию Васильевичу предписание сельсовета немедленно направить из колхоза двух человек на сплав леса. Сезонников на лесосплав брали каждую весну, и находились они в отходничестве до тех пор, пока по реке не начинало густо плыть ледяное крошево. Между тем в деревне недоставало рабочих рук, и колхозников Арсентий Васильевич отпускал скрепя сердце.

И на этот раз, получив бумагу, он начал сетовать, что некому будет косить сено, убирать хлеб и вообще отправлять на лесосплав окончательно некого. Во время этого разговора в контору заявились конвоируемые мною и Серегой детдомовцы, и Арсентий Васильевич с ходу предложил начальнику сплавучастка взять на сплав рыжего. Он был бы рад избавиться и от Пышкина, но тот был уж слишком слабосилен на вид.

Начальнику, по-видимому, рыжий понравился. Он похлопал мальчишку по плечу, назвал «рябчиком» и согласился взять помощником матроса на катер.

Рыжий так и просиял сквозь веснушки.

Кроме него, все же пришлось отправить Тайку Горбунову. Но она все равно в колхозе почти не жила, зимой выполняла колхозный план на лесозаготовках, а каждое лето вместе с кадровыми сплавляла плоты, так что ее только по спискам и числили колхозницей. Арсентий Васильевич был рад, что все легко обошлось, и даже не стал ругать Пышкина за лодку.

Рыжий к нам больше не вернулся. Говорили, что после он еще две навигации ходил матросом на большом пароходе по Оби, а потом совсем куда-то уехал. Пышкин же остался и стал теперь вроде своего, деревенского. Всю весну он работал на старом Игреньке, безответно таскавшем по пашне две зацепленные за валек зигзаговые бороны. Поначалу мальчишка не мог зануздать нежелавшего разжимать зубы коня, путался в сбруе, долго не соображал, как завязать незатягивающимся калмыцким узлом вожжи, но вскоре освоил всю нехитрую премудрость и исправно трудился вместе с остальными бороноволоками.

К началу июня в колхозе отсеялись и управились в огородах; пахари уехали на дальнюю корчевку поднимать пары, а женщины, которые не работали на конях, ходили мять вылежавшийся на стлище прошлогодний лен. Из распахнутых дверей кузницы с утра разносился звон наковальни — это хромой кузнец Ванюшка налаживал к покосу старенькие сенокосилки и самоковочные вилы. Тихоныч уже отбил литовки и у солнечной стороны склада выставил просмоленные грабли. Близился сенокос, но вода с лугов уходила медленно, трава еще не поднялась, и вся страдная пора была впереди.

В последнюю субботу перед началом сенокоса Антоныч созвал деревенских мужиков обновить свою новую баню. Собственных бань в Красноярке в ту пору никто не имел, и по субботам всей деревней ходили в общую колхозную. Воды и пара в ней хватало всем, и Антоныч не стал бы канителиться с постройкой, не приключись с ним прошедшей зимой конфуз.

Случилось так, что он допоздна задержался на кондворе, и, когда, управившись, пришел в баню, наши немногочисленные мужики уже перемылись и разошлись по домам. Отворив предбанник, в колеблющемся свете чадящей коптилки Антоныч увидел голых простоволосых баб — одни уже напарились и теперь, разомлев, отдыхали на низкой широкой лавке, другие расчесывали мокрые волосы либо одевали малых ребят, третьи

только собирались в парную. При виде мужика женщины, покрывая телеса, подняли крик, и Антоныч, выругавшись, затворил дверь снаружи. Однако идти домой не было резона, и он просяще сказал в притвор, откуда шло парное банное тепло:

— Дозвольте, бабы, раз такое дело, с вами попариться, — все одно там потемки... Да и неужто я нагих не видал?

Женщины посовещались и дозволили. В деревне все вроде свои, не так велик стыд. К тому же они были и виноваты — заполонили баню раньше, чем настал их черед. Раздевшись и отворачиваясь от женщин, Антоныч налил в шайку воды, плеснул ковш кипятка в каменку и полез на полок, куда почти не достигал тусклый свет коптилки. Парился он всегда в старенькой шапке и рукавицах до тех пор, пока не начинал как-то шипяще свистеть, после долго остывал на улице и только затем приступал к мытью. Однако среди маячащих белых женских тел и разноголосого бабьего гомона Антоныч чувствовал себя неловко. Наскоро похлеставшись и окатившись холодной водой, он вышел в предбанник и, прикрываясь распаренным березовым веником, стал искать подштанники. Но ни тех, в которых пришел, ни вторых, взятых на смену, не оказалось. Рубаха и портки лежали на месте, а исподние исчезли. Как ни бедно жили тогда в деревне, но никто у нас не воровал, не было греха. А тут приключился... Срамя бессовестных баб, Антоныч посовался по мокрым лавкам, напуганные женщины перерыли свое немудрое бельишко, и все же пришлось Антонычу бежать домой налегке. Не нашлась пропажа и назавтра. Потом поговаривали, что это дело рук Дарьи, имевшей на Антоныча за что-то зуб, а может, просто кто-нибудь прихватил его бельишко по ошибке, а признаться постыдился.

Но как бы там ни было, после случившегося Настасья заставила мужа рубить собственную баню. Лес рос под боком, кони были в руках у Антоныча, и между дел банька на задах в огороде была срублена. Теперь, помывшись, можно было идти домой в одном нательном белье.

От свежевыструганных плах в новой бане стоял терпкий сосновый дух, пахло распаренными березовыми листьями и раскалившейся каменкой, мгновенно превращавшей брошенную на кирпичи воду в горячий, сухой пар. Хотя еще не стемнело, Антоныч щедро зажег лампу на подоконнике, и к банному окошку с улицы нальнула роившаяся в вечернем воздухе мелкая мошкара.

Мы с Петькой Вагановым вымылись первыми и обсыхали в предбаннике, к которому Антоныч еще не навесил дверь, когда появился запоздавший Серега. По-быстрому скинув рубаху и галифе, он с веником под мышкой зашел мыться, а мы, малость отдохнув, подались домой. В предбаннике остался один надевавший линялую одежонку Пышкин.

В ту весну я купил себе первую бритву, и хоть особой надобности в ней еще не имелось, только было собрался опробовать ее перед зеркалом, как заявился Серега.

— С легким паром, присаживайся вон на табуретку, — пригласил я. — Бриться будешь?

Я как-то сразу не заметил, что он сильно расстроен.

— Спасибо, побрили меня уже. — Он прислонился к притолоке. — Триста рублей в бане из кармана вынули.

Я чуть не порезался.

— Не может быть!

— Да правда же... С чего бы я врать стал?

— Зачем же ты с такими деньгами в баню?

— Зачем, зачем?.. Разве подумаешь? Ведомость на зарплату из сельпо сегодня прислали. Я сто трешниц отсчитал — и домой, а тетка Настасья навстречу: «Ступай в баню, первый пар захватишь». Захватил, елки-палки... Думал, как раз матери на налог...

Губы его дрогнули.

— Может, обронил? — предположил я.

— Да нет же. Я еще когда раздевался, в кармане пошарил — были. А одеваться вышел — чисто.

— Не могли наши взять, Серега.

— И я думаю — не могли. Я на этого мальчишку грешу, на детдомовского. Пойдем в контору, мужики уже там. И он тоже.

В конторе были все, кто только что вместе мылся. Арсентий Васильевич постукивал пальцами по столу, Антоныч, ссутулившись, курил, Тихоныч с хромым кузнецом Ванюшкой вполголоса, как на поминках, о чем-то переговаривались, два Шурки и Пронька подавленно молчали. В сторонке сидел испуганный Пышкин со страдальческими глазами. Чем-то он напомнил мне нескладного человечка, каких иногда рисуют дети,— ни старичок, ни мальчик...

— Ну, кажись, все в сборе,— когда мы вошли с Сергеем, сказал Арсентий Васильевич и обвел собравшихся взглядом.— Скверный случай у нас вышел... Язви тебя, какой твой, Антоныч, табак дерзкий!— Он закашлялся.— Говорить даже неохота... Так вот, у Сергея только что триста рублей украли. Чужих в бане не было, выходит, кто-то из нас. Давайте по совести разберемся между собой— кто мог это сделать?

— Этакого сраму сроду не бывало.— Антоныч бросил окурок к печке.— Сроду.

Я вспомнил про его пропажу, но промолчал. Антоныч не любил, когда ему напоминали о ней, да и случай сейчас был куда серьезней.

— Когда Серега в предбанник вышел, я еще окатывался,— нарушил затянувшееся молчание Ванюшка.— И зашел раньше него. Все видели.

— Ага,— подтвердил Петька Вагапов.— А мы с Димкой вместе одевались.

— Про других, как говорится, не знаю, а я Серегиных денег не брал,— сказал Пронька.

— Я тоже.

— И я,— повторили по очереди все и вольно или невольно посмотрели на Пышкина.

— Я тоже не брал,— глухо сказал он, сделавшись совсем бледным.

— Пограничную собаку бы сюда,— сказал Петька Вагапов.— Как в кино про Джульбарса казали. Она бы моментом по следу...

— Обыск нужно сделать,— предложил Ванюшка, который всегда был сторонником крутых мер.— Никакого Джульбарса не надо.— Он в упор посмотрел на Пышкина.

— Кто деньги взял, тот сюда не принес.— Пальцы Арсентия Васильевича опять стали выбивать беспорядочную дробь.— Слушай, Пышкин, а может быть, это ты как-нибудь нечаянно? Может, с пола поднял? Вспомни.

Пышкин, потупившись, молчал.

— Сколь волка ни корми, он, туды его, все в лес норовит,— начал закипать Тихоныч.— Лодку тогда тоже не ты угонял? Это же вредительство!

— Нечего нам тут голову морочить, отдай без греха.— Ванюшка поднялся и, качнувшись на косолапой ноге, сделал шаг в сторону Пышкина.

— Не видел я ваших денег!— отчаянно крикнул Пышкин, сжавшись, как затравленный зверек.

Он был один против всех. Никто не верил ему, никто на всем свете.

— Не трожь, Иван,— вмешался Антоныч.— Нельзя так... Раз такое дело, видно, мне отвечать за Серегину пропажу. В моей бане случилось.

Ванюшка поднял густые сросшиеся брови, потоптался и сел.

— Э-э, нет... Нашто себя наказывать?— возразил Арсентий Васильевич.— Неправда, допытаемся, кто вор... Не может быть, чтобы не допытались.

— Бросьте все это,— не выдержал Сергей.— Хрен с ними, с деньгами.

— Кого бросить?— вскинулся Ванюша.— Леший, что ли, по баням ходит? Триста рублей... Мне, знаешь, за такие деньги сколь трудиться надо? Или ты сильно богатый?

Арсентий Васильевич молча взялся зажигать лампу. Электричества тогда у нас не было, и по вечерам в конторе горела пожиравшая массу керосина висячая лампа-«молния» с жестяной крышкой вместо рефлектора. Ведал лампой председатель сам, не доверяя столь ответственного дела ни мне, ни нашей посыльной Тоньке. Самолично подстригал фитиль ножницами, сам вывертывал его на нужную длину и сам же зажигал серянкой. И сейчас, поколдовав над «молнией», он зажег ее, и сразу за окнами сгустилась темнота.

— Так че ты нам скажешь, Пышкин?

В гнетущей тишине потрескивал фитиль, видимо, керосин был с водой. Вокруг лампового стекла вились слетавшиеся на свет комары.

— Че же ты нам скажешь?

Пышкин, Пышкин! Наверное, ты на всю жизнь запомнил, как в этот драматический момент скрипнула дверь и появился твой ангел-спаситель— Антонычева соседка Татьяна Майданова.

Прищурившись, Татьяна прикрыла ладонью лицо не то от едкого самосадного дыма, не то от света.

— Батюшки, полну контору накурили. И как им не опостылеет этот табачище!

— Ты, Васильевна, по делу али как?— строго спросил Арсентий Васильевич.— Совещание тут по одному вопросу.

— Так и у меня этот самый вопрос. Не приведи господи!— Она горестно всплеснула руками.— Варнак-то мой, Сенька, че наделал— жмень денег домой принес: «На, мамка, чаю фруктового купишь...». Ноженьки мои подкосились: «Сыночек, где же ты их взял?»

— Так я же видал, как он через городьбу лез,— вспомнил Тихоныч.— Ах он, туды его...

— А все этот табак проклятущий,— в сердцах сказала Татьяна.— Вы же, мужики, и приучили мово Сеньку курить. Он в суседской бане в чей-то карман за куревом полез, а натакался на другое... Ведь сама какую нужду терпела, чужой крошки не трогала... Мало мне сгово горя... Я было за ремень, да одумалась... Побегла к Настасье, она и говорит— деньги-то Сергеевы. Мужики, мол, в контору дознаваться собрались. Тошно мне... Так я тем же следом сюда. Вот...— Татьяна вынула из кармана фартука пачку кредиток.— Вот они, Сереженька, деньги. Прости, Христа ради, мово Сеньку. Без отца ведь растет.

Днями Татьяна бывала на работе, подчас ночевала где-нибудь на дальнем культстане или покосе, и ее семилетний Сенька частенько оставался голодным. Не раз его захватывали на чужих грядах, но никто не предположил, что это он позарился на деньги.

— Скажи на милость! Че с него станет, когда вырастет?— подивился кто-то.

Серега при всех пересчитал зеленые трешницы.

— Все целы... Спасибо, Татьяна Васильевна. А то мы тут...

— Не грешите ни на кого.

Татьяна, поклонившись, ушла, и все заговорили возбужденно, враз. Довольны были, что нашлась пропажа, и каждый в душе радовался за себя— ведь как ни говори, если бы вор не обнаружился, пятно осталось на всех.

— Вот и догадайся, кто взял...

— Уши бы нарвать варнаку.

— Да чего там... Безотцовщина.

В углу раздалось всхлипывание. Плакал Пышкин. Занятые разговором, все как-то забыли о нем, а у него, крепившегося до сих пор, вдруг прорвались долго сдерживаемые рыдания. Я вспомнил, что он не заплакал даже тогда, когда мы с Серегой настигли его во время побега, а сейчас, по-детски всхлипывая и утирая кулаком слезы, он рыдал от обиды и напраслины. Маленькая тень на стене, вздрагивая, плакала вместе с ним.

Стало неловко и стыдно.

— Успокойся, парень, случается, язви ее, в жизни промашка,— попытался утешить его Арсентий Васильевич.

Серега достал из пачки трешку:

— Возьми.

Пышкин отвернулся, и его худенькие плечи затряслись пуще.

— Обидчивый,— сказал Ванюшка.— Никто же его пальцем не тронул.

Один по одному мужики стали расходиться. Пышкин перестал плакать и понуро сидел в углу.

— Айда, Пышкин,— сказал, подымаясь, Антоныч.— Нам с тобой

еще коней попроведовать надо. Ну, не тужи, я на тебя не думал худого...— Антоныч беспалой рукой погладил мальчика по голове.— Все из-за Сереги получилось. На нашу голову мы его зазвали... Айда, сынок.

Пышкин жалко шмыгнул носом и, утерев рукавом лицо, ушел с Антонычем.

Я вышел из конторы. В темноте удалялись две фигуры — большая и маленькая. Ночь была тихая, безоблачная, небо на закатной стороне за рекой было чуть посветлее, и казалось, оттуда слышно, как растет трава.

А через месяц, словно островерхие грибы, уже стояли стожки на высветленных косарями лугах и только буреющая осока клочками темнела в топких низинах вокруг озер, на которых за лето стали на крыло утиные выводки. Но еще не слежалось на остожьях сено и не развеяло ветрами медвяный запах вянущего разнотравья, как нас захлестнула уборочная страда.

Не вытянулась на покосах отава, а в хлебах уже застрекотали лобогрейки, припадая к земле, побежали за ними женщины, оставляя позади кинутые на жнивье перепоясанные вязками снопы остистой ржи. Доспел хлеб в суслонах, и повезли возами снопы на ток, где под соломенной крышей стояла довоенная молотяга-полусложка. Затарахтел, набирая разгон, присланный летом из района движок, завертели шкивы ременные передачи, и посыпалось, потекло на разметенную земляную ладонь первое вымолоченное зерно.

Лишь в коротком сне забывались колхозники, чтобы до света вновь взяться за страдную крестьянскую работу. Ухала в ночи, глотая снопы, старая молотяга, хлопала, нагоняя ветер, веялка, и в рассеивающемся свете керосиновых фонарей качались изломанные людские тени. Из сыпучего вороха зерно на быках везли в сушилку, оттуда — еще хранящее жар печи — в склад «Заготзерно». За войну наголодались, второй год ждали вольного хлебушка, но где-то нуждались больше нашего и кто-то все еще не имел даже своего крова над головой. Там, где огнем и железом перепахала землю война, было трудней и голодней.

В страду Пышкин тоже работал на Игреньке, привычно оттаскивавшем от молотяги солому, которую Антоныч и недавно вернувшийся из армии Петр Жуков пласт к пласту укладывали в похожие на золотистые караваи зароды. Ощущая за спиной горячее конское дыхание, Пышкин торопливо водил Игреньку в поводу, помогая спячивать волокушу к грохочущему соломотрясу, откуда безостановочно валилась рассыпавшаяся солома, охрипшим голосом понукал, когда надо было стронуть копну с места.

Мальчишка привязался к коню, разнуздывал его во время коротких перекуров, давая возможность чего-нибудь пожевать, сам водил поить в ложбину за гумном, а после водопоя украдкой пытался сыпнуть лишнюю плицу овса. За лето Пышкин подрос, окреп, лицо его стало нежней и мягче, словно мальчуган помолодел за это время. После того памятного случая с деньгами в деревне стали как-то иначе к нему относиться. Будто были виноваты в том, что несправедливо обидели, а может, острее почувствовали жалость к нему, сироту, очутившемуся среди чужих людей.

В каждом доме было свое горе, и рядом с великой бедой, которую принесла всем война, судьба мальчишки могла остаться и незамеченной, но, видно, много любви в сердцах русских женщин, что хватило жалости и на безродного сироту. За обедом на культстане солдатка, у которой у самой осталось на руках двое, протягивала парнишке калачик. бабка, не дождавшаяся с войны единственного сына, брала с собой на работу лишнюю шаньгу для Пышкина. Не больно красноречивы были наши деревенские, но находились у них для мальчишки ласковые слова, которые говорят только матери и которые тоже нужны, как хлеб. Может, видели женщины в мальчишке что-то от не вернувшихся сыновей; может, надо было им на кого-то потратить свою неизрасходованную любовь... И Пышкин, вырванный войною из детства, ранее замкнувшийся в себе, сам становился общительней и ласковей к людям.

Помню, как-то под вечер, когда я что-то писал, Пышкин зашел ко мне в контору. Сюда он заглядывал редко, а если и появлялся, то, молча посидев за печкой, так же незаметно и тихо уходил. Но на сей раз он прошел к столу и, сев у окна, все поглядывал на меня, словно хотел о чем-то спросить.

— Тебе что-нибудь надо?

— Бумаги... Чистый лист.— Он откашлялся.— Если можно. И еще карандаш.

— Написать письмо?

— Нет... Рисовать.

Я удивленно посмотрел на него.

— У дяди Пети завтра день рождения. Хочу ему картинку.

— Антонычу, что ли?

— Ну да. А что я ему еще подарю?

— Вот оно что.— Я вырвал два листа из середины неначатой кладовой книги.— На... Только они разлинованы.

— Ничего,— сказал Пышкин.— Пусть хоть какие.

— Карандаш возьми химический. А это простой. Еще красный есть. Вот...

Пышкин взял карандаши.

— К бабке Варваре водил тебя Антоныч?

Он кивнул.

— Вылечила?

— Ага.— Пышкин помялся.— Можно, я тут порисую?

— Почему же нельзя? Можно.

Я отодвинул разложенные бумаги. Он сел удобнее, послюнил карандаш и нарисовал коня. Лебединая шея, хвост трубой, две ноги вперед, две — назад. Иноходец. Раскрасил красным. Получился конь-огонь.

— Молодец,— одобрил я.— Антонычу понравится.

— Тебе тоже могу нарисовать,— сказал Пышкин серьезно.— Хочешь?

— Давай.— Я вырвал еще два листа.— Войну нарисуй. Танки, самолеты...

— Лучше тебе тоже коня.

— Ну, как хочешь.

Склонив голову набок, прикусив от старания кончик языка, он нарисовал мне коня. Волнистая грива, широкая грудь, копыто роет землю. Совсем как наш Байкал, на котором ездил Арсеитий Васильевич.

— Вот, возьми.— Он подвинул мне рисунок.

— Спасибо.

Я подарил ему всю книгу:

— На, рисуй, когда захочешь.

После в каждой избе я видел приклеенные крахмалом листы бумаги с красными конями. Это всем рисовал Пышкин. Даже Дарье. Только конь, которого он подарил Антонычу, был самым лучшим.

Все вокруг в деревне менялось, словно оттаивало после долгой лютой зимы. Однако нельзя сразу уйти от горя, невозможно после великих утрат круто изменить нарушенную жизнь.

Молчаливым напоминанием о довоенном времени стоял у крутого, разделявшего деревню надвое, лога срубленный в конце тридцатых годов тогдашними ребятами клуб. Словно улей гудел он вечерами в ту пору, а сейчас его звонкие, уже потемневшие бревна лишь напоминали, как кружились здесь пары в круговерти-метелице, как с выходкой отплясывали «цыганочку» парни и, сбивая подборы о половицы, рассыпали дробь разрумянившиеся девки, после чего разгоряченные пляской бежали поостыть в холодные сени. Помнили наши деревенские, как рябило в глазах от хороводов, как не хватало воздуха гармони и от стукотка и песен допоздна дребезжали стекла в окнах, к которым с высоких уличных завальниц тянулись любопытные ребятишки.

Но во время войны без ушедших в армию ребят их ровне — девкам в клубе стало делать нечего, люди больше не собирались здесь — кому до вечерок было в те годы! А потому, когда потребовался кирпич на трубу в телятник, разобрали находившуюся за военные зимы клубную печь, затем для какой-то ремонтной надобности сломали галерку и увезли доски. Делали от нужды — откуда было взять колхозу кирпич, когда сарай за деревней, где месили глину и обжигали кирпич, давно зарос бурьяном;

откуда взяться плахам, если некому стало распилить на доски сутунок маховой пилой?

В заброшенном клубе весной яровизировали картошку, сюда свозили зерновые отходы с гумна, и женщины трепали здесь походившую на их седые пряди волос льняную кудель. Словно запавшие глаза, смотрели на улицу темные окна, и когда студеными зимними вечерами в уцелевших стеклах отражался огонек стоявшей через дорогу избы одинокой Дудичихи, казалось, что в пустом, занесенном снегом здании теплится свет. Сжимаясь от стужи, потрескивали промерзшие углы, было боязно, и девчонки, проходя мимо, ускоряли шаги: говорили, будто слышали, как кто-то ночью, поскрипывая половицами, ходит в клубе, тщетно ищет в потемках потерянное или забытое... Но хоть острой болью бередила сердце память об отнятом, хотя недоставало многого, все равно жизнь шла к лучшему, и людям нужно было какое-то веселье. Ребят, построивших клуб, не стало, не было половины тех, кто собирался здесь до войны, и теперь мы — рано повзрослевшие, но еще не ставшие взрослыми парнишки и девчонки — были в ответе за веселье.

Однажды летним вечером мы выгребли из клуба скопившийся сор, смели метлами пыльную паутину, а на следующий день побелили белой глиной стены и вымыли пол. Тихоныч, на удивление даже не ругнувшись, достал из амбара сбереженные внутренние рамы, и мы вставили их взамен наружных, у которых были побиты стекла.

Но в посветлевшем помещении, где гулко раздавались голоса, все равно не пахло жилым. Не чувствовали мы себя уютно, а может быть, просто не привыкли к клубу. Да и не только мы. Арсентий Васильевич с Антонычем по привычке шли после ужина подымить самосадом в колхозную контору. И женщин тоже не манило в клуб — они, как и прежде, коротали вечера дома.

У нас не было ни гармони, ни гармониста, только старенький, еще до войны полученный колхозом в премию патефон, да у Петьки Вагапова имелась трехструнная балалайка, на которой он мог тренькать «Коробочку» и «Подгорную». Такой музыкой народ было не собрать, и тогда кто-то из нас предложил поставить пьесу. Хотя днями мы сильно уставали, все же, таясь, провели несколько репетиций, и через неделю на обороте плаката с агротехсоветами я крупными печатными буквами написал афишу.

Назначили спектакль на субботу, когда по случаю бани колхозники с работы возвращались раньше обычного. К вечеру у тех, кто жил по соседству, собрали табуретки, из конторы притащили скамейки, а девчонки принесли из дому шторки на окна и горшки с геранью. Не было только занавеса — его раскроили на рубахи ушедшим в армию ребятам последнего призыва.

Пока сходился народ, мы с Серегой крутили на пустой сцене патефон. Серега менял пластинки, а я точил на бруске короткие стертые иглы. Держать их было неловко, я быстро нажег оселком кончики пальцев, но Серега за иголки не брался. Он для форса отрастил на указательном пальце длинный ноготь и оберегал его, соврав мне, что ноготь не разрешает остричь мать, так как, мол, он, Серега, ловко облупляет им вареную картошку.

Пластинок было всего ничего: «Танец маленьких лебедей», румба, танго, два романса в исполнении Козловского. Но больше всего нам почему-то нравился марш из «Аиды». И сейчас, услыхав то знакомое, я вспоминаю наш клуб с еще не выветрившимся запахом льняной костры и прели, будто опять вижу повязанных платочками колхозниц и слышу ликующую музыку Верди с постукивающей на трещинке ногинской пластинки.

Последней, хотя ей было ближе всех, пришла в клуб одинокая Дудичиха.

— Гляди-ко, а ведь нас еще артель народу, — молвила она, оглядев собравшихся, и, раскинув руки, пошла мелко перебирать ногами:

И-их, и-их, и-их... Сыпала, посыпала
Погода сыроватая...

Опустилась на ближнюю лавку, перевела дух:

— Позабыла уже, когда в последний раз плясала... С непривычки-

то чижало. Хоть посидеть, поглядеть на молодых. Вон они, как гудочки, повытянулись... Вроде бы не с чего и расти.

— Как есть вся деревня сошлась, — сказал Серега, складывая пластинки, — ровно на какой праздник, елки-палки.

Впоследствии мы даже ставили своими силами «Без вины виноватые» и «Разлом», а в тот первый вечер сыграли маленькую пьесу, название которой теперь уже позабылось. Я представлял эсэсовского офицера, непрошеным гостем заявлялся в крестьянский дом и спесиво требовал, чтобы меня вкусно накормили. Черноглазенькая Санька Беспрозванная, игравшая хозяйку, начинала «варить» для меня в чугунке последнюю курицу и тайком посылала сынишку за партизанами.

Я строжился, коверкая язык, требовал, чтобы «курошку» приготовили побыстрей, хозяйка оттягивала время, а зрители переживали. Особенно близко принимали к сердцу сидевшие на передней скамейке босоногие ребятишки, некоторые умудрились даже залезть к нам на сцену. Я топал одолженными мне на вечер чужими тесными сапогами, стучал деревянным револьвером, но вот наконец ворвались «партизаны» — Серега, два Шурки — и я полез под стол.

В зале торжествовали и смеялись.

В тот вечер мы играли впервые в жизни, почти не слыша суфлировавшего за сценой Ванюшку, отчего говорили больше по наитию, сами стараясь выдумать реплики посмешнее. Зато вкладывали в игру всю душу — так хотелось, чтобы не было сегодня грустных лиц, чтобы всем было хорошо и весело, потому что все страшное уже прошло.

— Гитлер капут! — кричал я из-под стола. — Гитлер капут!

Заразительно, совсем как молодая, смеялась Дудичиха, улыбалась, посветлев морщинистым лицом, потерявшая обоих сыновей Корючиха, и Пышкин, сидевший на передней лавке с ребятишками и оттого казавшийся больше ростом, тоже морщился от смеха. Жизнь становилась лучше, надо было снова учиться смеяться всем, кого разучила это делать война.

После я уже часто видел улыбку на лице Пышкина, отчего оно всегда становилось милым и трогательным. Порой на работе он что-то с лукавой смешинкой приговаривал Игреньке, и конь, обнажив полусъеденные зубы, казалось, тоже беззвучно смеялся вместе с ним.

К середине октября уже отмолотились. Смолк остывший движок, не слышно стало стрекотания жаток, окриков коногонов, скрипа груженых снопами телег. Под опустевшими крышами токов солодело пахло преющей мякиной, и мел утоптанную землю ветер. В перекопанных огородах, где еще недавно фиолетово-белыми цветами пестрела картошка, теперь сохли обожженные заморозками плети ботвы и бродили куры. С тихим осенним шелестом отошел листопад, и под оголившимися березами на краю деревни отовсюду стали видны темные кресты сельского кладбища.

Тянулись на юг косяки гусей, и в разрывах туч бледное небо казалось далеким и холодным. Утрами уже нельзя было пахать зябь: застывала земля, и на безлюдных полях за околицей гулко ухали выстрелы, — это Арсентий Васильевич стрелял вылетавших на жнивье косачей.

Накануне Октябрьской исподволь пошел снег. Пушистые снежинки сначала полетели редко, потом все гуще, сплошным роем возникая из белесой мглы над самыми избяными крышами. Белой скатертью укрыло поля, огороды, колеи проселочных дорог — все стало по-зимнему светлым и чистым.

Зима легла поздно, но сразу, без зазимка, и с наступлением холодов жизнь в деревне пошла спокойнее и размереннее. В пропахшем навозом дворе мерно пережевывали сено коровы, скрипели по первопутку дровни; засевая снег желтыми смолистыми опилками, ширкали по вечерам на улице пилы. Нехотя выползал в морозный воздух стынущий фиолетовый дым из труб, а в избах возле печей было хорошо и уютно.

Жаркие дрова докрасна раскаливали плиту в колхозной конторе. От печного тепла всю зиму не замерзали здесь окна, и только в лютые холода мороз оседал в притворе пушистым инеем. Посыльная при конторе Тонька в чирочках и портяных чулках вместе со стелющимся по полу студеным воздухом забегала в дверь и, постучав нога об ногу, чтобы согреться, неизменно бралась за эмалированный чайник с водой.

— Язви тебя, соленого че ли наелась? — интересовался Арсентий Васильевич.

Сам он, зайдя с улицы, проходил к печке, а если было особенно холодно, прислонялся к теплым кирпичам и неизменно говорил:

— А ведь морозчик, язви его в душу. Че будем делать?

Как-то в ноябре я с утра отпросился съездить за дровами и когда, свалив возле дома воз, пришел на работу, Арсентий Васильевич беседовал в конторе с приехавшим из соседней деревни председателем сельпо Михаилом Горобчуковым.

Какой у них состоялся до меня разговор, не знаю, но дело было уже обговорено.

— Садись, выписывай от Михаила Ивановича приходный ордер на сотню, — приказал мне Арсентий Васильевич.

— За что? — полюбопытствовал я.

— Патефон ему продал. Парень жениться собрался... Обзаводится к семейной жизни.

Я возмутился:

— Ну и пусть женится! Патефон нам самим нужен. Это культурно-бытовое имущество.

— Колхозу патефон ни к чему, — возразил Арсентий Васильевич.

— Я не согласен. Колхозники тоже хотят музыку слушать.

— Не встревай не в свое дело! — Арсентий Васильевич забарабанил пальцами по столу. — Тонька уже ушла за кассиром, а твое дело оформить, чтобы все было по закону...

Кассиром по совместительству был хромой Ванюшка. Когда он в расстроенных чувствах пришел, держа в руке металлический ящик со звоном, где хранил деньги и документы, я уже скрепя сердце выписал ордер.

— Вот, получите с меня, — Михаил выложил на стол три тридцатки и червонец. — Хорошую цену даю, патефон-то старый.

— Ну и нечего его покупать! У нас, можно сказать, одно развлечение, — обиделся Ванюшка. — Никак в толк не возьму — для чего потребовалось продавать?

— Да вы не серчайте, ребята, — примирительно сказал Михаил. — Хотите, я вам сахару выпишу?

— Непривычны мы к сладкому! — окрысился Ванюшка. — Пусть председатель чай с сахаром пьет.

— Ну, ну, — строго произнес Арсентий Васильевич. — Хватит антимонии разводить. Получи в кассу деньги и ступай. Покуда я еще хозяин колхозу.

Встав на табуретку, он достал со шкафа патефон с пластинками и протянул Горобчукову.

— Бери, Михаил Иванович. Заводи на здоровье.

Михаил виновато поглядел на нас и с патефоном под мышкой бочком вышел из конторы. За ним хлопнул дверью Арсентий Васильевич.

— Вот это танец лебедей, — вымолвил Ванюшка, когда они ушли. — Балет «Лебединое озеро»... Патефон всему колхозу в премию дали, а он один им распорядился.

— Надо что-то придумать, — сказал я. — Антонида, сбегай за ребятами.

Тонька поправила на голове платок:

— Парнишки еще с сеном не приехали. Только Серега дома.

— Зови хоть Серегу. Да быстрей.

Серега заявился через пять минут.

— Уехал Горобчуков? — спросил я.

— Пошел запрягать. — Серега вытер потное лицо. — Зачем вы ему патефон отдали?

— Да разве мы? Это все Арсентий Васильевич...

— Ну и что теперь?

— Отобрать надо как-то...

— Так он и отдал!

— Мы ему деньги вернем.

— Где наберем столько? — спросил Ванюшка.

— В кассе возьмем. Эту самую сотню обратно и отдадим.

— Чтобы меня за растрату судили? Я же за нее расписался.

— Сделаем оправдательный документ. Авансовую ведомость. Сколько нас, ребят? Ты, я, Петька, два Шурки, Пронька... Серегу вон запишем, у него тоже трудодни есть. Ребята придут, распишутся. Сто рублей разделить на семь... — Я прикинул на счетах. — По четырнадцать рублей с копейками... Дороговато, конечно, получается.

— Меня запиши, — сказала Тонька. — Панка тоже не откажется, еще Нюрку можно... Да что там, пиши подряд всех девчонок.

— Я тоже хочу записаться, — подал голос Пышкин.

Мы даже не обратили внимания, когда он зашел в контору.

— Да ладно, Пышкин, обойдемся без твоих денег, — возразил я. — Какой твой заработок...

— Ну и что... Все равно я хочу с вами со всеми.

— Запиши ты его, — сказал Серега.

Я быстро составил ведомость.

— Сейчас пойду и отдам Горобчукову его сотню, пусть возвращает патефон. — Ванюшка поднялся с места. — Скажу: общее собрание не разрешило продавать.

Он забрал кассу и, хромая, ушел.

— А Арсентия Васильевича нужно в стенгазете продернуть, — предложила Тонька. — Пусть не ячится... Могу сама заметку подписать, если боитесь. — Она состроила рожицу: — Морозчик, язви тебя...

— Продерну, — пообещал я. — Непременно продерну. Пусть не транжирит колхозное имущество.

Ванюшку ждали долго. Когда уже было совсем отчаялись, он заявился сияющий и, проковыляв к столу, вытащил из мешка наш милый патефон.

— Пришлось на коне догонять, — сообщил он, отдышавшись. — Спасибо Антонычу — Байкала дал... Уже на муромских полях догнал... Говорю Горобчукову про собрание — не верит. Потом отступился... Переживет... А нам без патефона нельзя.

— Прячьте, Арсентий Васильевич идет! — замахала руками, глядя в окно, Тонька.

— Зачем прятать? Патефон теперь не колхозный.

Я быстро поставил пластинку. Когда Арсентий Васильевич открыл дверь, его встретил торжественный марш из «Аиды».

— Ну, архаровцы. — Он прямо-таки опешил на пороге. — Как есть арха-ровцы... Как это вы сумели, язви вас? Да я на это самовольство такой акт составлю...

После он отошел:

— Надо бы каждого из вас на пяток трудодней оштрафовать за подрыв моего авторитета, да ладно... Я сам уже покаялся, что продал, да неудобно взадпятки после того, как срядились... А ну, давай, Димка, заводи еще танец лебедей.

В стенгазете мы его все-таки продернули.

Зима в том году была морозная. После снегопада надолго установились ясные, ветреные дни, когда режет глаза слепящим снегом и сиверок, обжигая лицо, сводит губы так, что в розвальнях даже не можешь вымолвить «тпр-ру», чтобы выскочить на дорогу и, согревая озябшие ноги, пробежаться за трусящим рысцою заиндевелым конем. Лохматым куржаком, обещая к весне добрые озими, одело лес, сухой поземкой переметало дороги, санные полозья шли тяжело, со скрипом, как по песку.

Более половины колхозников становились на зимнюю пору возчиками: сено, солому, дрова, почту — все нужно было возить гужевым транспортом.

От самого Каргаска, где вливает в Обь торфянистую воду извилистый Васюган, до нового Игола, что стоит на краю большого непроходимого болота, откуда берет начало наша река, за много сот километров туда и обратно шла в те годы на перекладных васюганская почта. От поселка до поселка с колокольцами под дугой рысили понукаемые колхозными ямщиками мохноногие лошаденки и дремали, завернувшись в тулупы, утомленные бесконечной дорогой сопровождавшие почту связисты. Заслышав звон колокольчев, сворачивал с дороги в снег любой обоз, а почта, не останавливаясь, шла своим путем, и только пока перепрягали лоша-

дей, успевали сопровождающие погреть где-нибудь в конюховке окочеиевшие ноги и пропустить кружку горячего чая.

Всю войну Игренька возил почту, и сейчас, на вторую послевоенную зиму, Антоныч в последний раз определил его для этой же работы. Резвости в мерине осталось маловато, но сено возить было тяжелей, а лес и подавно. Поскольку Пышкин летом работал на Игреньке, то и зимой парнишку решили оставить при нем же. Нашли ему тулупишко, пимы, и стал Пышкин ездить с почтой. Закрепили ему еще и второго коня, потому что почту возили на паре: в передней кошеве ямщик, во второй — сопровождающие, которые всегда ездили по двое.

Работать на почтовых лошадях было не тяжело. За полтора часа Пышкин доезжал до Тевриза, где находилось почтовое отделение, а уже дальше почту везли лошади из соседнего колхоза, правил которыми другой ямщик. Пышкин же своих коней распрягал и сутки ждал встречную почту. С нею ехал затем обратно, попутно забрав письма и газеты для своих деревенских.

Заслышав звон колокольцев, в контору собирались колхозники: такой уж заведен был порядок, что пакет с почтой распечатывали в конторе.

Радио у нас тогда не было — первый батарейный приемник для колхозной конторы купили лишь в сорок восьмом, и только почта регулярно, хотя и с опозданием, приносила издалека новости в наш таежный край. Еще недавно приходили сюда известия с фронта и короткие письма от тех, кого проводили в грозную годину. И бывало, что сровняло уже снегом холмик над солдатской могилой, а последний привет солдата все еще в пути, все еще везут его с военной почтой на перекладных вместе с тысячами таких же солдатских писем от живых и убитых... И, вчитываясь в торопливо написанные карандашом бегущие строчки, облегченно вздохнет жена, воспрянет мать-старушка и пойдет по родне и соседям передавать поклоны. Станут дома крепче надеяться и опять ждать, ждать... Но потянутся однообразные дни... Будут, удаляясь, скрипеть ночами полозья за застывшими окнами, будут звенеть в морозном воздухе почтовые колокольцы, но все меньше в том звоне будет надежды, все больше печали и грусти...

Однако и сейчас еще всякий раз, когда вскрывали в конторе пакет с очередной почтой, словно ненароком зашедшие сюда солдатские матери и вдовы тянулись к тоненькой пачке писем. Ведь было же, что два года во время войны не имела Горбунова весточки от сына, а в сорок пятом объявился сам Михаил из плена. Ведь вернулся же в Новом Васюгане домой солдат после двух похоронных... ведь было же так, было... Почему же не могло случиться еще?

Немного писем приходило в нашу деревню. И Пышкин, который сам привозил почту, тоже не получал их. Хотя иногда мне казалось, что, глядя на чужие конверты, он тоже чего-то ждет. Видно, так устроен человек, что ждет и тогда, когда ждать уже нечего. Наверное, так легче жить. Зазвенят переливчатые колокольчики под дугой, и отзовется в сердце серебряный звон надеждой...

— Слышь, Николаич, а тогда вместе с детдомовцами ихние метрики присылали в колхоз? — спросил меня однажды Антоныч.

— Были какие-то документы. — Я порылся в шкафу и достал с нижней полки скоросшиватель. — Есть школьное свидетельство, характеристика... А вот свидетельство о рождении: Пышкин Алексей Васильевич, родился в таком-то году в Ленинградской области. Район указан, село... А что?

— Може, у него там из родни кто живой остался... Отец его в первые дни на фронте погиб, а он с матерью и братишкой в своей деревне жил... В той самой, какую ты сейчас назвал. Голодовали, сказывает, шибко. Как-то его мать за продуктами в соседнюю деревню пошла и не вернулась. Померла с голоду либо еще че. Бои рядом шли, немцы близко... Парнишек обоих, раз такое, значит, дело, тетка к себе взяла. Немец стал обстрел вести, убило и тетку... — Антоныч закурил. — И братишку бомбой разорвало. На огороде, говорит, только голову да левую ручку нашли... Пятый годик парнишечке шел. Ну, а старшего в детдом вакуировали...

— Да, хлебнул парень. — Я закрыл скоросшиватель. — Он мне тоже про себя как-то рассказывал, только не все...

— А знаешь че? Попытай, напиши-ка в сельский Совет. Адрес тебе известен. Пропиши, живет, мол, у нас в колхозе присланный детдомовский парнишка, родом с вашего села. Нет ли у него кого в живых из родни? Може, кто и объявится. Веселее жить парню будет. Все-таки своя кровь. Только ему сказывать не надо. А то отпишут худо, одно расстройство.

В тот день мне было недосуг, на следующий день тоже, но на третий я все же собрался и написал. Арсентий Васильевич прочел, подписал и для верности даже придавил круглую печать. Прошел месяц, второй... Ответа не было.

...Это случилось в конце марта, когда уже по-весеннему долгими днями на открытых солнцу полянах оседал снег, затвердевавший по ночам хрустящим настом. В оврагах между полями понатропили зайцы, потемневший от вытаявших шевяков и сена зимник уже проступал под конскими копытами, неокованные полозья обрезали дорогу, и сани заносило в раскаты. Зимник рушился, и скоро нашей связи с большим миром предстояло прерваться, пока по освободившемуся ото льда Васюгану не придет снизу первый почтовый катер, а вслед за ним, дымя и оглашая гудками многочисленные излучины, пришлепает старенький колесный пароход с пассажирами.

Но до половодья было ждать еще больше месяца, а в тот мартовский день Пышкин привез в контору последнюю зимнюю почту. Развернув шуршащую оберточную бумагу, я достал пачку газет и писем. Первым лежал конверт, на котором валившимися друг на друга буквами было выведено: «Пышкину Алексею Васильевичу»... Письмо было из Ленинградской области, фамилия отправителя неразборчива.

— Пышкин, — позвал я. — Тебе письмо.

Он взял конверт, долго недоуменно разглядывал его и, неумело надорвав, вынул два исписанных тетрадных листка. Прочел первые строчки, и губы его задрожали.

— Откель? — спросил кто-то.

Весь напрягшись, он торопливо прочел до конца и стал перечитывать снова.

— Не иначе родия объявилась. — Ольга Филиппова подсела рядом и положила ему руку на плечо. — Или кто из детдомовских вспомнил?

— Мама, — сказал Пышкин. Голос его осекся. — Мама меня нашла...

Что-то совсем новое было в его лице. Радостное и в то же время беспомощное.

— Что пишет-то?

— К себе зовет.

...Пышкин не дождался парохода. Он уехал на буксирном катере, спускавшемся вслед за льдом к Оби и причалившем с баржей на ночлег под яр у нашей деревни. За неделю до этого Настасья, собирая парнишку в дорогу, перекроила ему Антонычеву саржевую рубаху, связала портяные носки и сшила из чего-то перелицованные брюки. Старая Корючиха подарила почти новенькую суконную кепку. Бородиниха принесла пиджак сына. Только с обувкой у мальчишки было худо — детдомовские ботинки износились, а новых достать было негде. Накануне отъезда выручила Ольга Филиппова — отдала чирки не вернувшегося с фронта брата... Всем миром снарядили Пышкина так, чтобы не совестно было ему ехать с добрыми людьми.

Катер пришел поздно вечером, а на рассвете, лишь чуть проступили в клубящемся тумане берега, моторист начал заводить мотор. В деревне еще спали, провожать Пышкина пришел только Антоныч. По крутому узкому трапу парнишка взошел на баржу и повернулся лицом к деревне.

— Эй, на берегу, сына провожаешь? — простуженным голосом спросила с палубы невыспавшаяся девка-шкипер в чунях на босу ногу.

— Сына, — сказал Антоныч.

— Эх-ма, вся жизнь в дорогах и проводах... — Девка потянулась до хруста в костях и зевнула. — Чалку отдай.

Антоныч сбросил с вкопанного у воды столба срощенный в петлю конец веревки. Катер застучал громче, отчалив от берега, натянул выскочивший из воды трос, и баржа медленно скользнула по сонной поверхности

реки. Пышкин сорвал с головы кепку и все махал и махал ею, пока не скрылись с глаз в тумане серые избяные крыши нашей деревни.

Много было коренных деревенских, покинувших Красноярку в разные годы и постепенно забывавшихся, а Пышкин прожил с нами всего год. Пока был на глазах, его жалели, а вскоре о нем перестали вспоминать. Только Антоныч порой вдруг задумывался и, ненароком вздохнув, всыпал Игреньке лишнюю пригоршню овса да при взгляде на нарисованных коней иногда теплели усталые глаза женщин.

Как один день, отошла очередная посевная, окинулись зеленью поля, хлеба после снежной зимы пошли сильней и гуще, опять медленно уходила с лугов вешняя вода... Накануне покоса зашел ко мне в контору Антоныч. Размотав вытканную опояску, которой подпоясывал зимой ватную фуфайку, а летом спасавший от гнуса пиджак, достал кисет.

— Киношников проводил,— сказал он, закуривая.— Посулились через неделю опять приехать.

— Поглянулась вчера картина?— спросил я.

Антоныч кивнул:

— Чувствительная. Такое кино я уважаю. А то другой раз не поймешь, че к чему.— Он замолк и посмотрел на меня.— Все хочу спросить, как это так срисовано, что будто и взаправду люди ходят, разговаривают?

— Это не срисовано,— сказал я.— Это артисты представляют.

— Не должно быть,— возразил Антоныч.— Че-то ты неладно говоришь. Срисовано все там.

— Да правда же— артисты. Вот вчера Крючков играл, а его до этого еще в одной картине показывали. Помнишь, такой бравый, с баяном?

Антоныч надолго задумался, потом вдруг хитро прищурился:

— А петух?

— Что петух?— не понял я.

— Петуха вчера казали. Горластого такого. Тоже, по-твоему, артист?

— Так ведь снимают же. На пленку снимут, а потом через аппарат прокручивают. Крючкова сняли, петуха сняли, тебя могут сфотографировать, и ты сам на себя будешь в кино смотреть.

— Значит, хвотография. Так бы и пояснил сразу, а то артисты, артисты!— Антоныч вроде даже обиделся.— А ведь я по делу зашел,— сказал он, помолчав.— Карюха третьего дня ожеребилась, так запиши жеребеночка. Масти буланой, жеребчик.

Я достал из шкафа узенький бланк акта на оприходование молодняка и тетрадку, в которую недавно выписал по алфавиту из учебников по древней истории понравившиеся мне имена. У Антоныча не было изобретательности, он все сводил к масти, поэтому лошади у нас в основном были Воронки, Серки, Карюхи, Рыжухи... То ли дело— Аполлон, Афродита...

— Назовем его Буцефалом,— предложил я, обмакивая перо в непроливашку.— Ага?

— Это че за кличка? — не понял Антоныч.

— Был такой великий полководец Александр Македонский, а у него был конь Буцефал...

— Не,— возразил Антоныч.— Я другое имя хочу дать. Жеребеночек славный, ласковый. Я его Пышкиным назвал.

— Ты что?— изумился я.— Нельзя человеческую фамилию коню давать.

— А как же тогда— Горбуниха?— спросил Антоныч.

— Ты же знаешь: у нее другая кличка,— сказал я.— А кобылу стали так звать после того, как Варенька Горбунова, которая на ней воду возила, уехала. Горбуниха— вроде прозвища, а настоящая кличка— Гнедуха, ты же сам знаешь!

Антоныч почесал за ухом:

— Ну, раз такое дело, пиши как можно. Только я его буду Пышкиным звать... Ты приходи поглядеть— любопытный жеребенок.

Я записал в акте: «Кличка— Буцефал».

Жеребеночек был буланый, с белой пролысиной во лбу. И задняя левая нога тоже была светлой, как будто в чулке. Но выглядел он некрасивым, большеголовым, и шерсть под нижней губой росла пучком, как редкая бороденка. Все-таки он был позднышком. Зато действительно оказался ручным и ласковым. Колхозные ребятишки, днями обитавшие на кондворе, сразу полюбили его и, взобравшись на городьбу пригона, в котором малыш ходил с матерью, звали:

— Пышкин, Пышкин...

Жеребенок доверчиво тянулся к ним, и ребята давали ему краюшку. Хлеб стал уже вольным, и его хватало всем.

На третьем году жеребчика подложили и начали запрягать. Стал он конем не могутным, но тягущим,— всегда тянул в упор и не лукавил.

Артель наша к тому времени объединилась с двумя соседними, и контору перевели на центральную усадьбу укрупненного колхоза. Укрупненным он только назывался— хозяйства, с которыми объединились, были тоже маломощными, народу прибавилось, но силы для размаха не хватало.

Деревни стали свозить в одну, и, коль уж пришлось стронуться с места, часть наших деревенских уехала совсем. Уехал куда-то на Иртыш к дочерям Антоныч и вскоре там помер. Еще раньше переехал в город Арсентий Васильевич, не стало Тихоныча, взяли в армию подросших ребят...

А на Васюгане пошли перемены, вконец изменившие всю нашу жизнь. Понаехали издалека экспедиции с тракторами, полевыми вагончиками, буровыми станками. Искрестили поля и дороги следы стальных гусениц, пролегли в несколько накатов гати через казавшиеся непроходимыми болота, запахло соляркой там, где пахло лишь пихтой и багульником. Мы всегда брали то, что родила земля, то, что само тянулось из нее на свет к солнцу, но оказалось, что самые богатства упрятаны далеко внутри.

Денно и нощно гудели теперь машины, допоздна светились огнями окна нового клуба, где на всю мощь гремела радиола. Тесно стало в поселке от бородатых геологов, нефтеразведчиков, строителей, одна за другой выходили замуж за приезжих колхозные девки, и новый председатель Григорий Федорович, вздыхая, выписывал деньги на свадьбы.

Между тем начались новые объединения и укрупнения— соединился с соседним наш район, и новое районное начальство решило укрепить ближние хозяйства за счет дальних. Наша артель была дальней, и ее влили в расположенную рядом с райцентром. Поздней осенью увезли на барже машины, которые мы завели, коров, лошадей... Всю постройку бросили, дешевле строить заново, чем ломать и везти в такую даль...

Как-то, уже работая в городе, я приехал осенью по командировке в то самое село, куда в свое время свезли наше колхозное достояние. Колхоз здесь реорганизовался в совхоз, село строилось, росло, всюду были машины, и ничто уже не напоминало о том, что здесь есть частица труда всех наших деревенских.

Мне надо было попасть на ферму, и, сойдя с автобуса, я отправился к белевшим на краю села длинным фермовским строениям. В страдную пору улица была безлюдной, только, деловито рокоча и трясясь на ухабах, меня обогнал новенький колесник с замызганной прицепной тележкой да два самосвала провезли куда-то кирпич. По всей улице из конца в конец тянулся бугор желтой глины— в селе прокладывали водопровод.

Держась ближе к городьбе, я свернул в ведущий к ферме проулок. В нескольких шагах от меня, возле бревенчатого сарая, лохматый парень стегал запряженную в водовозку клячу. Однако колесо по ступицу утонуло в заплывшей грязью колее, и лошадь тщетно тянула из хомута худую шею, пытаясь выдернуть увязшую бочку. Что-то мне вдруг напомнило нашу деревню.

— Эй, ты!— окликнул я парня.— Обожди, не стегай!

Он опустил вожжи и оглянулся на меня.

— Сейчас помогу,— сказал я.— Тут стяжок нужен.

Все-таки я вырос в колхозе, где работали на лошадях, а этот парень был уже из другого поколения.

Подняв валявшуюся на обочине сломанную жердь, я подсунул ее под ось и с трудом приподнял:

— Трогай!

Парень дернул вожжи, и конь, натужась, вытащил водовозку из колеи.

Я опустил пониже чересседельник, ослабил хомут, давивший подрагивавшую узловатыми жилами шею тяжело дышащего мерина, из-за которого мои туфли захлебнулись грязью, и снова что-то знакомое почудилось мне в этом нескладном костистом одре.

— Слушай, что это за конь? — спросил я.

— Обыкновенный, совхозный. — Парень циркнул слюной сквозь зубы и стал соскребать об обод колеса нальнувшую на сапоги глину. — Давно на колбасу пора...

Мерин стоял, понуро опустив голову, ребристые бока его, покрытые клочковатой шерстью, стали вздыматься тише, ровнее, и сам он уже словно дремал. Сведенные старостью и работой ноги его оплыли. Левая задняя была белой. Я видел это, несмотря на насохшую грязь.

— А все-таки откуда он у вас?

Я уже узнал коня, хотелось лишь удостовериться.

Парень неопределенно махнул рукой:

— Оттуда откуда-то, с Васюгана.

Он даже не знал, как называлась наша деревня. Он ничего не знал.

— Кличка его какая?

— Кличка — язык сломаешь. — Парень ухмыльнулся. — Черт знает, какая кличка, — Буцефал.

— Нет, не Буцефал он вовсе, — сказал я и погладил мерина по пролысине меж усталых, слезящихся глаз. — Не Буцефал он, а Пышкин.

Конь вздрогнул и насторожил уши.

— Пышкин, Пышкин, — повторил я.

Обнажив полусъеденные желтые зубы, мерин легонько как-то по-жеребячьи заржал и мягкими влажными губами ткнулся мне в руку.

Отслужив уже после войны в армии на Чукотке, Серега рассказывал, что полярными ночами во время ураганных ветров солдаты там ходят от казармы к казарме, держась за протянутые между зданиями канаты. Память — тоже канат, по которому возвращаешься в прошлое, и чем ты старше, тем крепче за него держишься. Но когда-нибудь, оторвавшись, навсегда исчезнешь в студеной мгле. Исчезнет моя память, уйдет в небытие мое прошлое. А ведь оно было, было, было...

«Всем хорошим во мне я обязан книгам» — эту горьковскую фразу я переписал когда-то с листка отрывного календаря в свой дневник. Переписал потому, что мне тоже многое в жизни дали книги. Но гораздо большим я обязан людям. Многим людям. Эта книга в какой-то мере возврат им моего долга. Неоплатного долга, ибо нельзя оплатить то, чему нет цены.

Закинув за спину охотничье ружье, шел по уже совсем маленьким, заросшим осинником полям, искал исчезнувшие дорожки, обвалившиеся мостики через ложки, и, казалось, кто-то, тоскуя со мной, тоже ходит по пустошам, тщетно ищет потерянное. По сгнившим бревнам гати вышел к полевому стану и серым столбам, когда-то державшим соломенную крышу гумна, примяв высокую крапиву, заглянул в затянутый паутиной дверной проем осевшей избы, и из темноты напахнуло землей и тленом. Присел на вкопанный у двери культстана почерневший чурбак. Почудился запах свежеобмолоченной ржи, соломы, почудились голоса, понуканье охрипшего коногона. Шевелил траву ветер, шуршал сухим под еще ядреными стойками со свисавшей с перекладины ржавой отвалкой, в которую били, сзывая на обед страдовавших колхозников. Склонившись, поднял с земли самоковочный боронной зуб, ударил по ржавому железу... Дрогнув, отвалка коротко звякнула, и глухой звук тут же угас.

Снова пошел по когда-то раскорчеванным на солнечных елбанах полоскам, казалось, временами слышу стук телеги по накатнику, окрики пахарей, скрип колесухи. Шел на звуки и голоса, а они удалялись, таяли, умолкали. И все звучали во мне слова, обрывок когда-то слышанной песни... Шел, путаясь ногами в цеплявшейся, пытавшейся удержать траве, а песня все сопровождала, и не мог от нее отделаться:

Позарастали стежки-дорожки...

Вспомнил босую девчонку в ситцевом платьишке на возу со снопами, коня, прытко разбежавшегося под гору... Вспомнил тех, кто радовался и печалился, смеялся и плакал, всех, чье дыханье здесь развеялось, растворилось в небе, в траве, трепетных листьях деревьев.

Позарастали мохом-травою,
Где мы гуляли, милый, с тобою...

Непонятный, усиливающийся гул шел откуда-то, и, словно причитание, словно плач по прошедшей молодости, щемящей любви, звучала песня. Гул становился громче, явственней, я не хотел его, но он был рядом, врывался в комнату. Я открыл глаза, ветер шевелил занавеску на окне, кто-то внизу на улице завел машину, перекликались ребятишки, город пробудился, шумел. Начинался день.

Сон улетучился, но я еще пытался его удержать, все шептал и шептал слова...

Светлые корпуса Академгородка, старинные купеческие дома с шатровыми башенками, массивные колонны первого сибирского университета, игла телевизионной башни над голубыми луковками куполов старообрядческой церквушки, новые микрорайоны, теснящие прилепившиеся на склонах насыпушки первых послевоенных лет... Стекло и бетон современных зданий, виньетки и арабески на фронтонах бревенчатых домов — дыхание нашего стремительного века, невнятные голоса прошлого...

Мой Томск — город, в котором живу вот уже больше двадцати лет. Временами он чем-то напоминает мне далекий город моего детства Нарву. Проступающими ли из-под асфальта камнями мостовой на Кузнечном взвозе, крутым ли обрывом тенистого Лагерного сада или еще чем-то другим, неуловимым, как улетучившееся воспоминание, как забытый сон.

Любуюсь распахнувшимся за рекой Томском, когда по Шегарскому тракту выезжаю из соснового бора на пойменный простор к соединившему берега Томи мосту, любуюсь звездной россыпью мигающих городских огней, возвращаясь поздним вечером домой из села, радуюсь городу, но всякий раз, когда приезжаю в деревню, радуюсь ее полям, траве, лесу, радуюсь запаху свежей борозды, теплу истопленной березовыми поленьями русской печи.

Когда-то учился в чистеньких городках, где кудрявый занавес плюща скрывал следы чугунных ядер и щербины времени на каменной кладке старых стен, затем всю войну и еще долго после жил в бревенчатой сибирской деревушке с ее памятью. Вновь увидел город лишь спустя шестнадцать лет. Приехал тогда в Томск за вкладышами для косилок и еще какими-то запасными частями к нашим немудреным колхозным машинам, за прошедшие годы отвык от городской суеты и шума, терялся на улицах, у каждого киоска пил теплую газированную воду с сиропом, жевал измятые пирожки с ливером, последним взбирался на подножки звенящих колокольчиком тряских трамваев, боялся заблудиться, и все мои дороги начинались и кончались у речного вокзала. К вечеру четвертого дня сдал на товарную пристань ящик с полученными в «Дормаше» железяками и взмокший прибежал к причалу, откуда отправлялся пароход до Каргаска. Посадку еще не объявили, и толстая дежурная в обтягивающей голову черной беретке, загородив выход к дебаркадеру, не пропускала на сходни столпившихся пассажиров. За билетом я отстоял очередь с утра, ехать предстояло трое суток, да еще в Каргаске на пристани неизвестно сколько ждать попутную посудину по Васюгану, чтобы добраться уже до своей деревни. Билет у меня был третьего класса, хотелось сейчас примоститься ближе к машинному отделению, по пути в Томск две холодные ночи я провел на палубе — внизу места тогда не досталось. Стоявший у причала «Козьма Минин» басовито прогудел, и, хотя посадку все-таки не объявили, толстуха-дежурная пропустила на дебаркадер несколько человек — знакомых либо кого-то из начальства. Притиснутый к воротцам, я попытался было тоже пройти, но она цепко ухватила меня за плечо.

— Куда лезешь, колхозник!

Помню, больше всего меня тогда поразило: как она узнала, что я из деревни? Были на мне суконные галифе, вельветовая надевашка, новая

светлая кепка... Правда, обут в кирзовые сапоги, но кирзу тогда носили и в городе. Потом уже сообразил — это она из-за мешка. Свой фанерный чемодан я не стал брать из дома в город, громоздкий он, с мешком ловчей, да и под голову можно положить вместо подушки. Приладил лямки, сложил харч на дорогу, а обратно покупки: полушалок жене (тогда уже был женатым), дочкам гостинца, буханку положил, пачку столового маргарина, сколько-то комкового сахара. Еще книжка там лежала, купил за десятку возле базара — «Легенду о Тиле Уленшпигеле». Куль был самотканый, в нашем колхозе еще и после войны сами ткали на кроснах холст, а в военные годы обносившиеся бабы носили и окрашенную своедельной бурой краской холщовую одежину.

В многолюдье городской толпы среди нарядных молодых людей нетнет да и вспомнятся мне сегодня портяные кофты, холщевина, черки из сыромятины... Приходит на память давнее — великое и тяжелое, когда бываю в Лагерном саду. Отсюда, с кручи, далеко видна томская земля — сливающийся с горизонтом лес за излучиной реки, поля, дороги... Торжественная и печальная плывет в неоглядный простор музыка. Тут, меж расступившихся деревьев, на привезенном издалека граните, — монумент воинской и трудовой славы: Мать благословляет на ратный подвиг сына. Памятник солдатам Томска и томских деревень, памятник женщинам, которые делали оружие, одевали, обували, кормили в войну хлебом...

Здесь, у трепещущего на ветру Вечного огня, каждый думает о своем. Я думаю о мужиках и парнях из дальней васюганской деревеньки, зарытых под Ржевом, Великими Луками, Ленинградом... Об их матерях, женах, сестрах, босиком пахавших и сплавлявших лес, сгибавшихся под кулями и вязанками пихты, исколотыми осотом ладонями связывавших все снопы на колхозных полях... Всех русских женщинах, ходивших в холщовом, недоедавших, недосыпавших, недолюбивших... Склоняю голову перед их великим подвигом, великими муками и великим трудом...

Смоляно-черная ночь сухо шуршит по голяшкам сапог жесткой крапивой.

— Осторожно, тут кирпичи, — не оборачиваясь, говорю жене.

Мы идем к пустому, холодному дому. Где-то здесь на пути стояла сложенная из бревешек топившаяся по-черному баня. Хозяйка ее умерла четыре года назад. Четыре долгих зимы и лета еще глядела нахолодавшая баня подслеповатым окошком из-за разросшихся лопухов на пустой огород, и всякий раз, когда я проходил мимо, из непритворенной двери жалостливо пахло невыветрившимся банным духом.

Прошлой весной кто-то разломал баню, скидал кровельные тесины, увез закопченные с одного бока бревешки. Осталась осиротевшая каменка из покрытых сажей половинок кирпича, остались нижние трухлявые бревна, обгоревшая заслонка, покосившаяся стойка полка. Замыло дождями и талым снегом золу, поржавело железо, затянуло крапивой холодную печь... Но чудится мне, будто из темноты все еще печально пахнет горьковатым банным дымом.

За нами редкие огоньки спящего поселка. Оборачиваюсь взглянуть на них, и мрак впереди становится плотней и глуше. С детства помню рассказ: меж скалистых берегов плывут двое на лодке — ночное небо, затемненная скалами вода, позади долгий путь по угрюмой сибирской реке... И вдруг за поворотом — огонек. Кажется, мерцающий свет недалеко, еще несколько взмахов весел — и конец пути. Но надвигаются и уходят обратно в мглу обрывистые берега, а огонек все на том же расстоянии, так же близко и так же далеко. И устало налегают на весла путники, все плывут и плывут на колеблющийся, манящий свет.

Была в моей жизни пустынная река, были далекие манящие огни. И сейчас порой мнятся обрывающиеся в смоляную воду берега, мерные всплески тяжелых гребей, их тоскливый скрип. Пологие излучины, медленные долгие плесы... Устало гребешь против течения, ждешь не дождешься последнего поворота. И вот долгожданные огоньки на крутояре, жестче, чаще скрипят уключины, глубже в воду зарываются греби... Под приткнувшейся к приплеску лодкой шуршит песок, глухо стукают о днище брошенные весла, и ты устало подымаешься по взвозу. Городьба, неясно белеющие крыши, выступающие из темноты окна бревенчатых изб... Первое окошко, освещенное керосиновой лампой, — окно нашего дома... Чем дальше уходишь от него по жизни, тем ярче в памяти его свет.

Шелестит, цепляясь за ноги, привольно разросшаяся крапива. Далеко осталась та подмывающая глинистый яр река, далеко дом, где родились наши дети, росстани, где они ушли от нас... Ночь спеленала мглой, прильнула к лицу прохладой; коротко залаяла в поселке собака, и снова тишина. Все в прошлом — развилка дорог, где когда-то сошлись наши пути, счастье, которое мы не понимали, годы, которые не берегли...

Невнятно прошумел листьями ветер. Как ласково и радостно шепчется листва весной, как печален ее шорох осенью!

— Не оступись, дай руку...

Прошло время, когда казалось, что впереди всегда будут огни.

Сухой шорох листьев, запах сырой земли, слепые окна темного дома. И вдруг чудится в окошке свет, кто-то зажег его, кто-то ждет... Свет скользнул и исчез. Впереди пустой дом. На холодном стекле только отблеск оставшихся позади огней.

Но знаю: где-то далеко несет по плесам черную, как смола, воду ночная река моей трудной молодости, все так же плавно течет вдоль осыпанных палым листом отлогих приплесков, моет стрежью сползшие тальники под обрывистыми крутоярами... И кто-то, усталый, все плывет и плывет на манящий обманчивой близостью свет.

«Ты так и остался деревенским», — сказала недавно мне жена. А я ведь родился в городе, жил в детстве по городам. И тосковал по ним, живя потом в деревне. Сижу, бывало, летним вечером на ступеньке крыльца нашей колхозной конторы, кругом такая томительная кроткая тишина... Тяжелея, тонет в кромке леса солнце за медленной, кажущейся с крутояра смоляной рекой, где-то за бесконечной тайгой шумная жизнь, и так далеко, страшно далеко от нее... Теперь вот оглянусь на годы, что прожил уже в городе, — все пролетели, как один день, задумываешься о жизни, и приходит на память деревня. Кажется, настоящая, главная моя жизнь — там.

Уезжаю в село, где живет моя уже начавшая редеть деревенская родня, там рубленый домишко на берегу мелеющей речки, туда уезжаю с мыслью писать, но, приехав, берусь за лопату, грабли, вилы... Дышу деревенским воздухом, радуюсь по утрам капелькам росы на траве, слушаю пение обитающей в прибрежном тальнике птицы, внимаю деревенским звукам, голосам.

На днях по лесной тропинке с проступившими, словно старческие вены, корнями чащобных елей вышел на окраину поля, и с открывшейся частины пахнуло теплым запахом стерни. Только что, сжав последний клинышек ржи, здесь прошли комбайны, и копешки еще не слежавшейся соломы казались разбредшимся по жнивью матово-золотистым стадом. От леса уже тянулась долгая тень, но нагретое жнивье светилось прощальным светом уходящего дня, за ржанищем рдел костер рано начавших пламенеть осинок, и над ними нежно синел вечерний воздух. С обочины поля, где у курившегося дымка, сгрудившись, стояло несколько комбайнов и бортовых машин, доносились негромкие голоса ужинавших комбайнеров.

Пройдя к ближней копешке, прилег в рыхлую солому, резче стал запах половы, зароилась перед глазами поднявшаяся к вечеру белесая мошкара, касались шеи соломинки, ржаные остья... Безмятежно было на этом отдыхающем поле, хорошо, умиротворенно на душе. Сколько довелось в жизни ходить по земле, но все, кажется, некогда было вот так полежать под закатным небом, никуда не торопиться, прикрыв глаза, ощутить, как прощается земля с уходящим днем.

Припомнились далекие осени, тучный запах хмеляной ладони гумна. В пыльном свете керосиновых фонарей, вращая чугунное колесо привода, ходят по кругу лошади, умаянные, бог знает во что одетые бабенки натужно крутят веялку, отгребают мякину, подкидывают к молотилке снопы, и низко по брови повязанная платком Паика Калинина, разрезая вязки, сноровисто подвигает разваленные снопы сгорбившемуся Антонычу. Под уходящей в ночной мрак соломенной крышей ухает молотяга, сыплется зерно, безутишно мечутся, качаются на ометах людские и конские тени. Кажется, на исходе силы, нет больше моченьки, но все гудит и гудит молотяга, поет и поет бесконечную песню...

Но вот, разогнувшись, маханул коногону беспалой, еще в германскую покалеченной рукой Антоныч и, устало опустившись на чурбак, достал кисет с самосадом. Остановились потные лошади, провисли постромки, попадали бабы — кто в ворох, кто в снопы... И я, воткнув в землю вилы, валюсь в солому и мгновенно забываюсь во вдруг наступившей тишине. Но вроде и не успел сомкнуть глаза, как, снова разгоняя лошадей, кричит осипший коногон, опять в рассеивающемся свете фонарей качаются тени, хлопает веялка. Хочется спать, так невыразимо хочется спать, но гудит постылая молотяга, рядом со мной из темноты показывается морда лошади и держащийся за повод парнишка-копновоз. Тяжело поднявшись, опять кидаю наверх навильник за навильником рассыпающуюся солому вершащей омет девчонке, чей светлый платочек маячит на фоне ночного неба. За краем земли уже начинается новый день, раздвигается бледная полоска зари, отволгла от росы солома, сильнее пахнет земляная ладонь гумна... В рассветных сумерках проступают поддерживающие крышу серые столбы, крытый дерновыми пластами культстан, кусты по-за обочиной поля. А платочек наверху уже совсем беленький, и с завершенного омета светло и ласково улыбается мне девчонка.

Как трудно было, но как хорошо!

Шуршит копна, пахнет ржаной стерней, далеко, будто на одном месте, где-то урчит трактор...

Кажется мне — мягко постукивают колеса телеги, потряхивается широкая дуга над конской гривой, помаленьку трусит, екает селезенкой гнедой конишко. Пономарева полоса, Филенкина, сверток на заимку, Муромское поле... Сколько поездил, походил по этим полям, сколько изъездил уже потом на редакционном газике других дорог и полей — кожевниковских, зырянских, бакчарских... Где-нибудь у трактора или комбайна разговаривал с механизаторами, в пропахших силосом дворах — с доярками, в прокуренных конторах — с колхозными председателями, директорами совхозов, сельскими экономистами... За семнадцать лет работы в газете сколько торопливо исписанных блокнотов, сколько статей, очерков... И все о деревне, о ее вечных проблемах, вечных крестьянских заботах.

Вспомнилось многое, и остро ощутил, как дороги мне и скудные поля моей молодости, и те, что узнал потом, как близко сердцу это раскинувшееся рядом ржанище с неблестким золотом жнивья, трогательны, понятны те наработавшиеся в поле, сидящие неподалеку люди. И вдруг подумал: ведь я мог не знать всего этого — своей земли, своей Родины. Не знал бы ее нив, нелегких дорог, ее тягот и забот, не ведал, как работают, печалятся и веселятся на русской земле, не страдал бы вместе с ней в тяжкую годину, не узнал бы столько ставших мне родными людей... Дети и внуки мои не слышали бы рядом русской речи, и Россия была бы для них чужой. И я бы сердцем уходил все дальше и дальше от нее и, может быть, лишь нечаянно услышав с пластинки русскую песню, вдруг загрустил бы, и была эта песня, словно давний сон моих родителей. И защемило бы сердце от чего-то несбывшегося, несостоявшегося...

По неширокому, в две плашки, тротуару иду к колодцу, и пустые ведра на покатом коромысле, покачиваясь в лад шагам, поскрипывают железными дужками. Словно вторя им, удаляясь, звякает ботало — это в пронизанном солнечными лучами облачке пыли возвращается с пастбища разномастное стадо: лениво отмахиваясь от мельтешащей мошкары, бредут грузные коровы, толкаются телята, дробят ножками кучно держащиеся овечки... Безветренный июльский вечер еще полон тепла и прощального света, над провисшими проводами носятся стрижи, пахнет стадом, свежескошенной травой, мелеющей на задах деревни речкой.

Навстречу куда-то торопится девчушка, босоногая, лет пяти, с ломтем хлеба в руке. Опускающееся солнце слепит глаза, я вижу ее в просвеченном белом платьишке на фоне заката, и растрепавшиеся на голове белокурые волосенки кажутся светящимся венчиком. И вдруг эта возникшая в солнечном сиянии девочка напомнила мне моих дочерей: когда-то, давным-давно, в другой, далекой отсюда деревне возвращался я с работы, и они спешили навстречу в выцветших платьицах, по-взрослому повязанные платочками, и солнце, опускаясь за рекой, высвечивало их маленькие трогательные фигурки... Всплыло в памяти хорошее, сжалось сердце.

И было еще более давнее, невозвратное, кажущееся теперь совсем из другой, но тоже из моей жизни, — угасающий день и сестренка, протягивающая мне худенькие руки... Если б мог я вернуть тот миг, если б мог прожить заново...

От бревенчатых домов, заплотов и поленниц протянулись тени, слышу, как в пригоне за ближним домом певучий женский голос уговаривает стоять корову, как первые струи молока с тугим звоном ударяют о дно подойника. Убежала босоногая девчушка, поскрипывают дужки ведер на крючках коромысла, все глуше жестяное звяканье ботала...

Далеко в начале пути осталось детство, давно смешалась с соленой океанской волной вода с речных плесов моей молодости, неодолимо течет время, и где-то за недалекой излучиной последний причал... Где же, на каком плесе была моя главная жизнь? В бедном ли, но светлом детстве, в тяжелом ли военном отрочестве или в дальней сибирской деревеньке, где делил с колхозниками трудный хлеб, жил их заботами, был счастлив в минуты их радости?.. Не потому ли так часто вспоминаются крытые дерновыми пластами избенки, поля, окаймленные лесом, тележные колеи дорог?.. Опять снилась сегодня отражающая закатное небо знакомая река, видел — устало гребу в лодке, уплывают за кормой оставленные тяжелыми гребями маленькие водовороты, тянутся песчаные отмели, остаются позади сползшие с крутояра, зябко подрагивающие на стрежне обреченные березки. И рвутся, уносятся к густеющему небу поющие женские голоса. Сколько раз возвращался я так по реке с покосниками, сколько слышал под скрип уключин протяжных песен... В скольких разных, далеких друг от друга местах расставался с чем-то дорогим и близким, терял и обретал родных и всюду оставлял часть моей жизни. Так где же была ее вершина?

Покачиваются ведра, узкие плашки тротуара прогибаются под ногами, утопает в золотой гряде облаков солнце. Возле колодезного сруба плахи заплесканы, сыро пахнет мокрым деревом. Подымаю сбитую из тяжелых досок крышку колодца, и совсем близко в студено-пахнущей роднике воде отражается мое лицо. Гремит железом цепь, с плеском упавшее ведро, зачерпнувшись за край, тонет, раскручивая барабан и ручку ворота. Склонившись, смотрю на разволновавшуюся поверхность: говорят, глядя в колодец, иногда удается увидеть свое будущее. Мне уже ни к чему загадывать, я хочу разглядеть свое прошлое. Кого увижу я — мальчика с коротко остриженной челкой на берегу моря, изможденного парнишку в женском пальто, тянущего салазки с дровами по зимней дороге, или покажется темная река под крутояром, глубоко осевшая лодка с возвращающимися покосниками? А может, увижу журналиста в светлом плаще, с надеждой глядящего вдаль, — где-то есть у меня такая фотография... Успокаивается, угасает рябь, и в зеркале воды вижу только отраженный кусочек неба, вижу пристально вглядывающиеся в меня глаза немолодого усталого человека...

г. Томск.

Игорь ВОЛГИН

Родиться в России

ДОСТОЕВСКИЙ И СОВРЕМЕННИКИ: ЖИЗНЬ В ДОКУМЕНТАХ

Глава 3. Михайловский замок

Пушкин, сочиняя, любил набрасывать пером профили и женские ножки. Достоевский рисовал в рукописях готические соборы.

Оба его младших брата, Андрей и Николай, сделались профессиональными архитекторами: старший брат, Михаил, как и он сам,— военным инженером. Ни один из братьев не стяжал на избранном поприще особых лавров. Младшие — хуже или лучше — прошли его до конца; старшие — отважились «переменить судьбу».

Пристрастие к архитектуре останется у Достоевского навсегда.

Классические пропорции Мариинской больницы приуготовили глаз к восприятию стройных ансамблей Северной Пальмиры. Но среди этих разнообразнейших строений выделялось одно, не совсем обычное для Петербурга.

Русский зодчий Баженов и итальянец Бренна, очевидно, в равной мере старались угодить эстетическим вкусам августейшего заказчика, который, как сказывают, сам исправлял эскизы. Рвы и подъемные мосты, потайные лестницы и узкие переходы — от всего веяло славным духом средневековья. Царь-рыцарь, император-романтик спешил. Днем и ночью пылали громадные камины, затопленные для просушки стен: влажный пар клубился под тяжелыми сводами.

Как водится, не обошлось без масонов. Баженов принадлежал к одной из лож; император тоже благоволил подобным затеям. Масонская символика запечатлелась в архитектуре.

Павел I исполнил волю архангела Михаила, явившегося во сне одному из его солдат: свою новую резиденцию он воздвиг в немыслимые для позднейших времен сроки. Однако сам основатель провел в Михайловском замке всего сорок суток.

«Дому Твоему подобаетъ святыня Господня въ долготу дней»,— этой надписи, некогда красовавшейся на фронтоне (число знаков — 47,— как выяснилось впоследствии, в точности соответствовало количеству лет, прожитых Павлом), Достоевский уже не застал: ввиду краткости пребывания в замке первого жильца указанный текст мог выглядеть двусмысленно и неприлично.

Для Достоевского «долгота дней» окажется равной четырем годам. Если же считать учебу в верхних офицерских классах и хождение на службу (она помещалась здесь же), то — семи. Можно сказать, что молодость он провел в замке.

После кончины Павла осиротевшее жилище поступило в гофинтендантское ведомство. Жандармский полуэскадрон, конюшенная контора, канцелярия министра духовных дел мирно сосуществовали или сменяли друг друга в бывших царских апартаментах, давно утративших первоначальную роскошь. «Забвенью брошенный дворец» был вспомянут сыном — великим князем Николаем Павловичем. Назначенный после своего бракосочетания генерал-инспектором по инженерной части, он в 1819 году разместил в замке вновь учрежденное Главное инженерное училище. Рвы и подъемные мосты исчезли; предания, которыми славилось место, остались. Замок стал именоваться Инженерным.

Продолжение. Начало см. «Октябрь» № 3 с. г.

Так наряду с мужающей павловской темой начинает робко пробиваться еще одна. У нее, правда, имеется шанс обрести державную мощь и даже сделаться лейтмотивом.

«Мы, инженеры...» — любил говаривать государь император Николай Павлович.

С нежного возраста преданный военно-инженерным забавам, великий князь не без сожаления вынужден был оставить излюбленную стезю. Взойдя на трон предков (что явилось некоторой неожиданностью для него самого), он призван был отныне заботиться не только об усовершенствовании отдельных крепостных сооружений, но — о неприступности крепости как таковой. Он вступит во владение 14 декабря 1825 года — под гром верных ему орудий. «Находился при защите дворца»,— пометит он в своем служебном формуляре: эта техническая задача будет исполнена им самым удовлетворительным образом.

Инженерная часть перейдет в заведование младшего брата, великого князя Михаила Павловича: может быть, в знак забвения тех детских обид, когда при осаде игрушечных крепостей брат Миша доводил до слез будущего венценосного коменданта...

Если верить авторам августейших жизнеописаний, государь неизменно пекся о питомцах близкого его сердцу инженерного ведомства. В 1849 году, назначая каторгу одному из них, он, надо думать, делал это не без сердечного сокрушения.

Достоевский-отец знал, куда определить сыновей: потребная государству специальность обеспечивала верный кусок хлеба.

Они прибыли в Петербург в мае 1837-го. Экзамены, увы, начинались осенью. Поместив недорослей в подготовительный пансион капитана К. Ф. Костомарова, папенька со стесненным сердцем отбыл в первопрестольную.

Он тревожился не напрасно. Училищные лекари признают здоровье старшего сына недостаточным: расставшись с братом Федором, Михаил Михайлович определится инженерным юнкером в Ревель. Что же касается самого брата Федора, то его хотя и примут, но отнюдь не на обещанную ранее казенную вакансию: только 950 рублей, внесенные попечительными московскими родственниками, обеспечат его карьеру.

Он поступает сразу в III класс, минуя Сибирь: так на училищном жаргоне зовется младший, IV. Однако чему бывать, того, как говорится, не миновать...

Как некогда отец, он остается один — в незнакомом городе, без связей и знакомств, скованный жесткими требованиями воинской дисциплины. Его душевная жизнь, его духовные вожделения не имеют ничего общего с интересами нелюбимой и поглотившей лучшие его годы профессии. Однако ни разу не пожалуется он на судьбу и не оспорит родительский выбор: кесарю отдается кесарево.

Но и богу отдается богово. В письмах к единственному своему поверенному — «брату и другу» Мишеньке, в этих юношески чистых и порой экзальтированных посланиях поддерживается совсем иной градус, нежели в почтительной и чуть-чуть принужденной переписке с папенькой. Нет, брат Михаил вовсе не отстраняется от посвящения в житейские, особенно денежные, заботы своего корреспондента. Сообщаемые ему на этот счет подробности лишь подтверждают справедливость жалоб, адресованных отцу: тут нет двойной игры. Но с братом обсуждаются такие материи, обращение к которым показалось бы папеньке (и без того уже недовольному «стихокропанием» старшего из сыновей) пустым и ненужным умствованием.

«Мне кажется, что мир наш — чистилище духов небесных, отуманенных грешною мыслию»,— эту нехитрую сентенцию могли бы, пожалуй, изречь и иные из их меланхолических сверстников. Однако в следующей фразе — «мне кажется, мир принял значенье отрицательное и из высокой, изящной духовности вы-

шла сатира»,— рождается звук: он-то и заставляет пристальнее вглядеться в 16-летнего автора.

Вглядимся же: «довольно кругленький, полненький светлый блондин с лицом округленным и слегка вздернутым носом...» — этот ранний «благополучный» портрет, набросанный доктором Ризенкампфом, мало согласуется с более поздними изображениями. Очевидно, с годами юношеская припухлость исчезнет, как исчезнет и многое другое. По словам Трутовского (ему, профессионалу, автору первого и единственного в сороковые годы портрета Достоевского, приходится особенно верить), герой был весьма худощав, цвет лица имел бледный, глаза впалые, «но взгляд проницательный и глубокий».

Изображение снова двоится.

Он был неуклюж и не преуспел во фрунтовой науке. Он не добивался лидерства, не ласкался к начальству и не искал себе преимуществ. Внешне сдержанный и не обладавший столь ценимыми меж подростков достоинствами, как физическая ловкость, неутомимость в забавах или, скажем, наличие нескудеющего притока родительских ассигнований, он тем не менее сумел отстоять свое особое место в этом распаленном сдавленными страстями сонмище — заводил и тихонь, насмешников и сквернословов, циников и идеалистов.

Впрочем, он предпочитает идеалистов.

В повести «Инженеры-бессребреники» Н. С. Лесков рассказал подлинную историю — о том, как в двадцатые годы среди воспитанников Училища составился кружок юных аскетов — рыцарей «святости и чести». Факт любопытный хотя бы потому, что свидетельствует о духовных напряжениях, возникающих в России порою в самых непредсказуемых местах. Один из членов кружка, Дмитрий Брянчанинов, способнейший молодой человек и пансионер государя, неожиданно подает в отставку и поступает в монастырь. Его примеру следует его друг, инженер-поручик Михаил Чихачев.

Поступок двух выпускников поразил училищную молодежь, мечтавшую о совсем иной карьере. Их порыв не был скоропреходящей юношеской блажью: оба приятеля закончили свои дни во иночестве (Брянчанинов, принявший имя Игнатий,— в сане епископа).

Стремление к «святости и чести» заключает, как кажется, мысль не только о личном спасении: тут можно усмотреть потребность деятельного добра.

Достоевскому было ведомо печальное продолжение этой истории.

Один из офицеров-воспитателей, Николай Фермор, оказался ревностным последователем «брянчаниновской секты». Инженерствуя в Царстве Польском, он так и не захотел вписаться в «систему самовознаграждения» (служебный эвфемизм, обозначающий присвоение казенных денег), чем, естественно, вызвал сомнения относительно собственного здоровья. В Училище он также прослыл чудаком. Встретив однажды императора, он уведомил его, что потерял веру в людей: государь прислал лейб-медика Мандта. Водворенный на пароход «Александр», дабы быть отправленным (опять-таки за счет государя) для излечения в заморские страны, Фермор без объяснения причин бросился за борт.

В 1856 году Некрасов сообщает Тургеневу — из Ораниенбаума (в виду залива): «У меня припадки такой хандры бывают, что боюсь — брошусь в море... Этакая штука была с моим одним приятелем... Его звали Фермором».

«На скользком море жизни бурной...» — так начинались стихи, вписанные Некрасовым году в 1838-м или 1839-м в альбом сестры Фермора: автор еще не подозревает о близкой участи ее брата.

...Бедный Фермор! Однажды вошел он в рекреационную залу с пачкой «тоненьких брошюр в бледно-розовых обертках» и призвал воспитанников приобрести эти скромные издания, дабы помочь нуждающемуся молодому поэту...

«Стихи неизвестного писателя,— говорит Григорович,— сколько помнится, не произвели на меня и Достоевского особенного впечатления». Отсюда по крайней мере можно заключить, что «брошюра» была куплена и прочитана.

Название книги — «Мечты и звуки» (автор был обозначен на обложке инициалами Н. Н.) — войдет в литературный обиход как синоним дебютного провала. Через несколько лет незадачливый стихотворец встретит Достоевского на изломе его судьбы, вмешается в его жизнь, останется в ней навсегда...

Вяло листая «Мечты и звуки», 18-летний кондуктор не подозревает о том, что он материально поддержал своего будущего антрепренера: лет за шесть, как тот поддержит его.

Судьба вновь подает намекающие знаки: различает ли их наш задумчивый герой?

Его прозовут «монахом Фотием»: что, собственно, имелось в виду? Только ли удивлявший товарищей интерес к вопросам религиозной веры? Или еще — неучастие в специфических «юнкерских» разговорах, которые неизбежны в мужских компаниях и общежитиях? (Вспомним, что Алеша Карамазов тоже избегал толков «про это».)

Пушкин в Лицее пишет поэму «Монах»: она шаловлива и в меру пикантна. У юного Достоевского нет этой «французской» игривости; он ориентируется скорее на возвышенные германские образцы...

Его личные, интимные симпатии сугубо избирательны. Воспитанный в строгих домашних правилах, он не может не чувствовать тайного превосходства над большинством своих легкомысленных сверстников («о товарищах ничего не могу сказать хорошего»). Его отъединенность «от коллектива» не есть следствие высокомерия и гордыни или — как можно было бы предположить — романтической позы. Он слишком погружен в себя, в свою внутреннюю жизнь, чтобы оспаривать доставшуюся ему репутацию «чудака». Насмешки, которым он порой подвергается, мемуарист именует «добродушными»: надо полагать, такой оттенок они приобрели не сразу.

Бывал ли он бит в качестве «рябца», или, иными словами, подвергался ли испытанию тогдашней «дедовщины»? Современник (офицер-воспитатель А. И. Савельев) осторожно высказывается в пользу подобного допущения. В свою очередь, Чувствительный Биограф, которому мы привыкли верить как самому себе, рисует душераздирающие сцены. Беззащитный Федя предстает жертвой радостных коллективных издевательств. Очевидно, подразумевается, что будущий певец униженных и оскорбленных никогда не стал бы таковым при отсутствии личного негативного опыта. Смущает, правда, мысль, что Достоевский, как мы уже знаем, поступил прямо в III класс (минуя младший, IV, в котором, собственно, и учились «рябцы»), что ему было уже 16 и что он ни разу не пожаловался на такого рода обиды. Более того, Михаил Михайлович сообщает родителю: «Кондукторы с ним очень ласковы!»

Он не вызывает общих восторгов. Однако никто не может отказать ему в уважении.

Конечно, Инженерное училище не Царскосельский лицей. Оно никогда не будет пробуждать в нем тех чувств и воспоминаний, которыми утешался Пушкин. Присущий Училищу корпоративный дух имел мало общего с высоким духом лицейского дружества. Но родная душа всюду находит родную душу...

Чем больше он замыкается на людях, тем, очевидно, сильнее потребность раскрыться, высказать себя в общении с человеком близким, как ему кажется, душевного склада. Конечно, это идейная дружба: недаром ее опознавательным знаком становится Шиллер.

О «шиллеровщине» много позже он будет отзываться иронически. Может быть, потому, что знает: восторги чреваты скорым охлаждением.

Юности свойственны страстные привязанности. В России эта черта проявляется с особенной силой. Как было замечено, обожание вообще характерно для закрытых заведений. Очутившись в чуждой ему среде, Достоевский ищет наперсника и конфидента. Бережецкому надлежало заполнить вакуум, оставленный отъехавшим в Ревель братом. Правда, от стороннего наблюдателя (А. И. Савельева) не укрылось то обстоятельство, что один из друзей, а именно Бережецкий, «слушался... и повиновался» другому, «как преданный ученик учителю».

Чему же учит он своего нового приятеля?

В отличие, например, от будущего героя русско-турецкой войны Радецкого он не может похвастать выдающимися атлетическими способностями. Поэтому настойчивые попытки «отклонить» товарищей от издевательств над слабейшими (черта устойчивая: вспомним эпизод в пансионе Чермака — с Каченовским),— эти попытки основаны исключительно на его моральном авторитете.

Он даже выступает порою в роли судии. За неблагородный, унижающий человеческое достоинство поступок они с Бережецким приговаривают порядочно поколотить виновника. «Монах Фотий» оказывается не столь смирен. «Ай да схимник!» — восклицает, как помним, брат Иван, пораженный неожиданным резюме брата Алеши («расстрелять!» — в качестве средства улучшить социальные нравы!).

Не будем, однако, настаивать на аналогиях.

Туманный образ Бережецкого, едва возникнув, исчезает во мгле. Но... «Эта дружба так много принесла мне горя и наслажденья! Теперь я вечно буду молчать об этом...»

Он исполнит обещание: ни в одном его тексте фамилия Бережецкого не названа. Зато с глубоким чувством он произносит другое имя.

С Иваном Николаевичем Шидловским братья знакомятся сразу же по приезде в Петербург. Выпускник юридического факультета Харьковского университета, он по своим природным склонностям был очень далек от юриспруденции. Он был романтик, мистик и, разумеется, поэт.

«О какая откровенная, чистая душа!.. ангельская душа!» — восклицает Достоевский, и за этим расхожим — в духе столетия — штампом трудно разглядеть какие-то индивидуальные черты. Однако в отличие от Бережецкого Шидловский был натурой необыкновенной. Недаром на исходе дней Достоевский подметит некое сходство между своим давним, уже по тому времени покойным приятелем и новым молодым знакомцем — философом Владимиром Соловьевым.

Современники вспоминают странный «сверхчеловеческий» хохот Владимира Соловьева: очевидно, именно так встретил он предположение Достоевского, будто в него, Соловьева, переселилась чужая душа. Между тем шутка была уместна. Ибо Достоевского всегда влекло к людям именно такого психологического склада — сочетавшим в себе взыскующий, мятущийся дух и глубокую, выстраданную веру...

Шидловский обладал даром слова. Возвышенный строй его беседы, его духовный экстаз не были данью возрасту или обстоятельствам. Его миновала участь, предреченная — в своем комфортабельном варианте — другому романтику, Владимиру Ленскому. Ибо и по миновании молодости он оставался человеком духа. Словно бродячий апостол, проповедовал он на больших дорогах Евангелие и, обретаясь в миру, вплоть до самой своей кончины не снимал послушнического одеяния.

Он никогда не был на каторге, как ошибочно полагает Всеволод Соловьев (брат философа), которому почему-то запомнилась именно эта возможность.

Достоевский был моложе своего друга на целых пять лет. Ему должно было льстить это знакомство. Кроме того, Шидловский — первый встреченный им «настоящий» поэт: его лирический дар имел своих прозелитов.

«Единственное ремесло, пригодное для романтического сознания,— говорит М. П. Алексеев,— ремесло писателя, художника, артиста: все прочие осуждены, потому что служат житейской необходимости» [1].

Стихи Шидловского, «не уступающие Музе Баркова», до нас не дошли: «романтическое сознание» скрыло свою изнанку. Дошло другое, не менее любопытное.

Звезда горит на в[illegible]е ясном;
Она пленительна, нежна;
В ее сиянии прекрасном
Тоска любви заключена.
Но для чего она сияет,

[1] Алексеев М. П. Ранний друг Ф. М. Достоевского. Одесса, 1921, с. 20.

Того не ведает сама.
Не Бог ли в ней земле являет
Маяк и чувства, и ума?
Что ждет ее? С какою целью,
Какой ей путь на небе дан?
Ее пучиной или мелью
Искусит горний океан?
Или сама собой скучая,
Она сорвется, упадет,
Как с глаз Творца слеза святая,
И в нашем мраке пропадет [1].

Конечно, это «общемировое» — тоскующее, неистребимое, вечное. Может быть, Шелли? («Скажи, звезда с крылами света, скажи, куда тебя влечет, в какой пучине непроглядной закончишь огненный полет?») Но сквозь графоманскую заезженность чужого напева проступает что-то «до боли родное» — в ритме, в дыхании, в горестном безответном вопрошении. Возможно ли? Да, это Бунин — как прекрасная статуя под слоем облепившей ее глины:

Звезда дрожит среди вселенной...
Чьи руки дивные несут
Какой-то влагой драгоценной
Столь переполненный сосуд?

Звездой пылающей, потиром
Земных скорбей, небесных слез
Зачем, о Господи, над миром
Ты бытие мое вознес?

Шидловский — угадывает и предвосхищает. Он дерзает сравнить плывущие по небу облака с «хитона Божьего каймою накладной». Минет XIX век, склонится к закату XX — и другой отважный метафорист уподобит парящую чайку белым плавкам бога: образный ряд будет пройден практически до конца.

И — еще одна перекличка, горячащая кровь. Шидловский пишет:

Он не к Себе ль ведет меня,
Отец, всемощный Покровитель?
Дождусь я радостного дня:
И вечность, время заменя,
Откроет мне свою обитель.

Это — пастернаковская «Магдалина»: ее рифмы, строфика, ее словарь:

О где бы я теперь была,
Учитель мой и мой Спаситель,
Когда б ночами у стола
Меня бы вечность не ждала,
Как новый, в сети ремесла
Мной завлеченный посетитель.

«И вечность, время заменя...» — неуверенно, спотыкаясь, начинает Шидловский. «Ты вечности заложник...» — легко «подхватывает» Пастернак, освобождая чистый горловой звук из родовых судорог косноязычия. Но воздадим и предтече! Такое впечатление, что человек с трудом, мучительно, невпопад припоминает то, что будет написано только спустя столетие. Мудрено ли, что юный Достоевский так жадно вслушивается в эти воспоминания?

Задумывался ли он о будущем? Готовился ли к нему?

Все внеслужебные интересы будущего военного инженера устремлены в одну сторону. Он приглядывается то к тому, то к другому из мировых творцов — от Гомера (неосторожно сближаемого с Христом) до своего знаменитого современника — Виктора Гюго. Он говорит о литературе не как любитель, а как лицо посвященное; он — примеривается.

...Дежурный по Инженерному училищу офицер замечает далеко за полночь бодрствующего воспитанника. Набросив одеяло поверх белья, он что-то пишет у выходящей на Фонтанку оконной амбразуры (за́мок есть за́мок). Быть может, дело происходит белой ночью: «пишу, читаю без лампады».

А. И. Савельев по простоте душевной полагает, что именно так создавались «Бедные люди». Он ссылается при этом на самого Достоевского, через много лет якобы поведавшего ему, что роман начал писаться еще до поступления автора в училище.

[1] Рус. архив. 1888, № 10, с. 230.

Воспоминатель, конечно, ошибается. До «Бедных людей» еще довольно далеко. Но что-то Достоевский действительно сочиняет, и это «что-то» — скорее всего не дошедшие до нас наброски романтических драм.

(Но почему, собственно, романтических? Потому что помним еще со школьной скамьи: нет ничего неотвратимей величавой поступи литературных эпох. Романтизм предшествует... то-то же: сами знаем чему. Достоевский не должен выламываться из ряда! Сам Гоголь начинал как романтик! Между тем уже написан не только «Вертер», но и «Капитанская дочка»; «Мертвые души» вот-вот сорвутся с письменного стола...)

Он начнет сразу. Он явится публике уже как «готовый» реалист. Все, что писалось до 1844 года, относится к стадии внутриутробной.

Впрочем, вплоть до обретения первого офицерского чина трудно было изыскивать досуги для занятий литературных. У воспитанника кондукторской роты доставало иных забот. Громадный объем учебного материала, неизбежная зубрежка, изматывающая «фрунтовая служба», бесчисленные парады и смотры — все это не оставляло ни времени, ни сил: не только для сочинительства, но даже для правильной переписки с родными. Отсюда — большие эпистолярные паузы, вызывающие у старшего брата самые мрачные предположения: «стал прилежно читать приказы, думая найти его имя в списке или отживших или живущих, но как живущих?!» (вспомнилось — до времени — отцовское: «быть тебе под красной шапкой!»?).

Кроме того, при переводных экзаменах его постигает катастрофа: он оставлен на второй год.

О блаженное время второгодничества!

О неспешное текучее время, о золотая пора, когда наконец ты свободен, и смел, и учен, и отмечен богами, и принадлежишь самому себе; когда ты постиг уже все, что стараются судорожно понять неофиты. Когда можно отвлечься от постылых учебников и читать только те книжки, которые выбираешь сам; когда на уроках мечтаешь о чем угодно; когда пришли сроки поразмыслить и о душе.

Отдых в пути, вакации, именины сердца...

Что происходит с нашим героем осенью и зимой 1838-го, весной 1839-го? Никогда прежде мы не задумывались над этим. Может быть, именно здесь — точка перелома? Избегая сакральной формулы «духовный переворот», выразимся скромнее: с героем происходит нечто.

Меняются его письма: их дух, содержание, тональность. Если раньше в них господствовал своего рода биографический фатализм (безграничное упование на волю божью, что щедро отражено в словаре), то теперь этот предмет практически изъят из употребления. Автор Нагорной проповеди, как помним, сравнивается с Гомером, автор Пятикнижия — с Шекспиром. Меняется стиль мышления: все ценности становятся эстетически измеримы. Литература оказывается столь же универсальной, как само бытие. Бог и человек обретаются в ней на равных.

Из писем к отцу исчезают все рассуждения на «отвлеченную» тему — он «отстал» окончательно. Зато в письмах к брату «идейная» часть возрастает.

Эту зиму он тесно общается с Шидловским. Но, может быть, следует назвать еще одно имя. Хотя он упоминает его только единожды и — с полувопросительным оттенком («к чему мне сделаться Паскалем или Остроградским»).

Тезка Ломоносова, Михаил Васильевич Остроградский,— первый встреченный им в жизни гений (он встретит их, надо сказать, не так уж много). Остроградский преподавал математику — и о том, как он ее преподавал, ходили легенды. Его знали в Европе. «Каково идет ученость?» — осведомлялся при встрече государь Николай Павлович. «Очень хорошо, Ваше Императорское Величество»,— отвечал Остроградский.

«...Не терплю математики»,— признаётся Достоевский, может быть, пораженный тем, чего достиг в этом деле его гениальный учитель и чего ему самому

никогда не достичь. Но наставник и не призывал к подражанию. Его заботит другое.

И в лекциях, и в печатных трудах академик не устает повторять: надо быть первым в своем деле. «Если вы будете первым в своей специальности, то будете более полезным для себя и для других, чем если вы будете посредственно знать и науку, и литературу, технические ремесла и искусство» [1].

Достоевский желает быть первым.

Но пока он оставлен на второй год.

Последнее происшествие, при известии о котором папеньку чуть было не хватил удар (а пожалуй что и хватил), произвело не меньшее впечатление и на самого потерпевшего: с ним, по его словам, «сделалось дурно». Это немудрено: здесь жестоко страдало самолюбие и — уже не впервой — оскорбленное чувство справедливости. Помимо прочего, неперевод в следующий класс открывал добавочную статью родительских расходов.

«Мы не знаем, что Вам вздумалось, милый папенька, писать к нам о деньгах. О! у нас их еще очень много»,— бодро сообщают братья летом 1837 года, в первые месяцы своего столичного житья. Кажется, это единственный случай: более они никогда не решатся на столь легкомысленные заявления.

Почти все письма Достоевского к Михаилу Андреевичу полны просьб о денежном вспомоществовании. Почтительный сын, он никогда не просит денег просто так — аккордно и неподотчетно; он самым подробнейшим образом исчисляет свои — в большинстве своем крайние — нужды. Так, извещая Достоевского-старшего, что решительно все его новые товарищи обзавелись собственными киверами, он тонко дает понять неизбежность и для себя этих чрезвычайных трат. Дело, оказывается, отнюдь не в стремлении не отстать от прочих, а главным образом в том, что старый его кивер «мог бы броситься в глаза царю».

Подобные аргументы, долженствующие, по мысли автора, продемонстрировать его непосредственную близость к источнику власти (и произвести тем самым неотразимое действие на законопослушного родителя), эти государственные мотивы сменяются со временем доводами более прозаическими: «...Я прошу у Вас хоть что-нибудь мне на сапоги в лагери; потому что туда надо запасаться этим».

О возможном неудовольствии монарха по поводу не совсем исправных сапог на сей раз умалчивается.

Дочь Достоевского Любовь Федоровна утверждает, что ее дед «владел имением и деньгами, которые он копил для приданого своим дочерям», а посему будущего автора «Преступления и наказания» глубоко возмущали те лишения и унижения, которым его «подвергала скупость отца».

Любовь Федоровна по обыкновению несколько преувеличивает: мы знаем, что «именье» не приносило почти никакого дохода, а приданым для дочерей пришлось озаботиться все тем же Куманиным. Сам Достоевский ни разу — ни прямо, ни косвенно — не попрекает отца за прижимистость. Наоборот, он всячески пытается войти в его положение. «Боже мой! Долго ли я еще буду брать у Вас последнее... Знаю, что мы бедны». Он говорит, что если бы он обретался «на воле», он бы не требовал от отца ни копейки: «я обжился бы с железною нуждою».

Отметим в скобках энергическую точность эпитета.

Те материальные и сопряженные с ними нравственные стеснения, о которых он повествует в письмах к отцу и брату, отнюдь не досужий плод его юношеских фантазий. Он действительно принужден отказываться от многих благ, которыми походя пользуются его более обеспеченные соученики. Уместно все же предположить, что воспитанники одного из самых престижных военно-учебных заведений с голоду не пухли...

[1] Остроградский М. В. Педагогическое наследие. М., 1961, с. 40.

Здесь, пожалуй, впервые явила себя одна из характернейших его черт. Он всегда был склонен драматизировать свои обстоятельства.

П. П. Семенов-Тян-Шанский, обитавший в том же полевом лагере, что и Достоевский, свидетельствует: ему самому на все лагерные надобности хватало десяти рублей. А поскольку казенный чай давали утром и вечером, он вполне обходился без с в о е г о чая.

На этом сюжете мы обещали остановиться подробней.

Испрашивая у отца необходимые ему сорок рублей, Достоевский настоятельно подчеркивает, что он не включает в эту сумму расходы на чай и сахар. При этом дается понять, что чай — не роскошь, а средство существования, ибо в условиях лагерного житья отсутствие этого ободряющего напитка влечет невосполнимый ущерб здоровью. Но — тут следует самое патетическое место: «Но все-таки я, уважая Вашу нужду, не буду пить чаю».

Такое самоотвержение призвано было до глубины потрясти душу чадолюбивого родителя. Что, собственно, и входило в авторский замысел. Благородный отказ от предмета первой необходимости (только в силу бесконечной сыновней покорности трактуемого как баловство: «Что же; не пив чаю, не умрешь с голода»), эта добровольно приносимая жертва оборачивалась немым укором. Уж если в уважении родительских нужд отказывают себе в таком невинном удовольствии, надо иметь воистину каменное жестокосердие, чтобы немедленно не удовлетворить все прочие пожелания бескорыстного просителя — хотя бы в вознаграждение за его стоический дух.

И тут, откуда ни возьмись, вновь возникает уже знакомый п а в л о в с к и й мотив. «Однажды училище почтила Своим посещением... вдовствующая Императрица М а р и я Ф е д о р о в н а. Осведомясь о пище кондукторов, Ея Величество приказала дозволить им по вечерам пить чай, для чего и подарила училищу самовар. В то время во всех прочих военно-учебных заведениях чай положительно не допускался»[1].

В тоне официального историографа Училища, запечатлевшего этот замечательный, но, увы, пропущенный потомками факт, звучит законная гордость. Высочайше пожалованный чай — привилегия не менее почетная, чем отсутствие телесных наказаний. Поддержание доброй традиции в полевых условиях (уже на собственный счет) становится делом чести.

Конечно, чай — только знак, символ нравственной независимости (Семенов-Тян-Шанский замечает, что чаепитие носило скорее ритуальный характер — «чтобы не отстать от других товарищей»). И хотя нелепо (вслед за Страховым) отождествлять автора «Записок из подполья» с его героем, нельзя упускать из вида, что слова подпольного парадоксалиста («Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить») могли заключать в себе реминисцентную пародию: во-первых, некоторых реальных обстоятельств авторской юности[2], а во-вторых,— той эпистолярной методики, которая использовалась в сношениях с отцом.

Молодой Достоевский решает вопрос в пользу «света»: впрочем, последнее дается ему не без известных усилий.

...Михаил Андреевич еще успеет отозваться на указанное письмо. Он изобразит картину надвинувшейся беды: черные выжженные поля, обнаженные для корма скоту крыши, безысходность, отчаяние и гибель. Он высылает просимую сыном сумму, уведомляя, что нескоро сможет возобновить присылки. И — как бы в усиление его слов — это даяние оказывается последним.

Смерть отца (вернее, обстоятельства этой смерти) — одно из самых темных мест в биографии сына.

Сам Достоевский не обмолвился об этом ни словом: ни прямо — в дошед-

[1] Максимовский М. С. Исторический очерк развития Главного Инженерного училища. 1819—1869. СПб., 1869, 1-я пагин., с. 111.

[2] Кстати, фамилия одного из персонажей «Записок из подполья», школьного товарища героя — Зверков (лицо, надо признать, мало симпатичное). В списках воспитанников Главного инженерного училища находим: Зверков Харлампий, в 1842 году выпущен из кондукторского класса юнкером в 4-й Саперный батальон. (См.: Максимовский М. С. Указ. соч., 2-я пагин., с. 100.)

ших до нас текстах, ни косвенно — в передаче воспоминателей. Официальная версия гласила, что владелец Чермашни и Дарового умер скоропостижно — от внезапно поразившего его апоплексического удара. Это случилось 6 июня 1839 г.— менее чем через десять дней после последнего письма сыну. Труп почти двое суток пролежал в поле, пока явившийся из Каширы лекарь формальным образом не удостоверил факт смерти. (Первоначально прибыл доктор из близлежащего Зарайска, но поскольку владения Достоевских относились к Каширскому уезду, он не мог дать официального заключения.)

О том, что Михаил Андреевич не умер естественной смертью, а был убит своими крепостными, впервые поведала миру Любовь Федоровна. Зная наклонность мемуаристки к вымыслам и преувеличениям, можно было бы отнестись к ее словам скептически. Если бы не опрошенные на сей предмет крестьяне, которые в 1925 году, то есть через 86 лет после самого события, почти единодушно подтвердили, что их деды и прадеды повинны в насильственной смерти барина, и даже назвали имена убийц. Кроме того, в 1930 году вышли в свет воспоминания Андрея Михайловича (написанные, кстати, несколькими десятилетиями ранее книжки Любови Федоровны), где младший брат Достоевского как нечто не подлежащее сомнению излагает ту же историю.

Семейная версия закрепилась в литературе и не вызывала особых споров, пока в 1975 году Г. А. Федоров не опубликовал в «Литературной газете» несколько выписок из обнаруженного им в тульских архивах подлинного следственного дела о смерти М. А. Достоевского. Из материалов официального расследования явствовало, что надворный советник Михайло Андреев Достоевский «скоропостижно умре» и «в насильственной смерти его... сомнения и подозрения никакого не оказалось».

Вполне убежденный этими, казалось бы, неоспоримыми доказательствами, автор публикации (поддержанный мощным авторитетом В. Я. Кирпотина) пришел к заключению, что семейная версия (об убийстве) не что иное, как невольное воспроизведение злонамеренной выдумки соседей Достоевского по имению Хотяинцевых. Зачем это им понадобилось? Оказывается, затаив злобу против покойника, они пытались опорочить его посмертно (в чьих глазах: крестьян? родственников? начальства?). Именно Хотяинцевы признавались отныне виновными в распространении той криминальной информации, с которой почему-то согласились не только легковерные исследователи, но и члены семейства Достоевских.

Как бы то ни было, находка Г. А. Федорова произвела сенсацию. Правда, большинство специалистов сошлось на том, что прежде чем делать какие-либо заключения, необходимо ознакомиться со всем комплексом вновь найденных документов: оценить степень их достоверности, установить отсутствие или наличие внутренних противоречий и т. д. До выполнения этой элементарной источниковедческой работы говорить о научном значении находки было бессмысленно.

Между тем счастливый обладатель информации не спешил поделиться ею с нетерпеливыми читателями. Может быть, поэтому его толкования убедили далеко не всех. «...Иначе как «романтическим» домыслом Г. А. Федорова эту гипотезу назвать нельзя»[1],— замечает В. С. Нечаева, подвергшая саму «гипотезу» весьма основательной критике.

Прошло тринадцать лет, но следственное дело до сих пор не опубликовано! Зато Г. А. Федоров опубликовал еще одну пространную статью, где, не балуя читателя новыми фактами, повторил версию о естественной кончине, изложенную в официальных документах, а также собственные подозрения относительно мрачной роли Хотяинцевых. При этом ему удалось блистательно «не заметить» возражений своей — теперь уже покойной — оппонентки.

Имеет смысл еще раз вернуться к этой истории.

Известно, что смерть отца произвела на 17-летнего подростка неизгладимое впечатление. Высказывались намеки, что именно это известие вызвало у него

[1] Ранний Достоевский, с. 94.

первый приступ эпилепсии. В свою очередь, Любовь Федоровна пишет о том уже вполне утвердительно.

«Мне кажется совершенно невозможным говорить о гении Достоевского, не произнося слова «преступление»,— понизив голос, замечает Томас Манн.—...Нет сомнений, что подсознание и даже сознание этого художника-титана было постоянно отягощено тяжким чувством вины, преступности, и что чувство это отнюдь не было только ипохондрией» [1]. О, разумеется, автор статьи «Достоевский — но в меру» имеет в виду признание полубезумного Ивана Карамазова: «Кто не желает смерти отца?..» И впрямь: уж не посещали ли творца «Карамазовых» схожие чувства?

Поклонники психоанализа немедленно связали возникновение падучей болезни с якобы преследовавшим больного «комплексом вины». «...Бессознательные чувства ненависти и мести против отца,— пишет профессор Нейфельд,— были так сильны, что цензура сознания могла защищаться от них только при помощи глубокого обморока» [2]. Заметим, что обморок помогает в таких случаях «защищаться» и от чувства любви.

Он мог испытывать угрызения: правда, иного рода.

Ведь это для него выбивались из мужиков последние медные деньги; это ему — в голод и неурожай — посылались средства на приобретение собственного чая. Жестокость отца, приведшая его к гибели, могла провоцироваться невольным эгоизмом сына.

Причины для обморока были.

Но если даже свидетельства о ранних припадках не вполне точны (эпилепсия, судя по всему, возникла позднее), вряд ли можно сомневаться, что Достоевский пережил сильнейшее нервное потрясение, память о котором осталась навсегда. Дело усугубилось знанием тех ужасных подробностей, которые не замедлили вскоре явиться.

Существовало еще одно обстоятельство, не могшее не тяготить душу. Среди убийц Достоевского-старшего наверняка находились люди, которых Достоевский-младший знал с самого детства. Тот же мужик Марей, ободривший некогда напуганное «волком» дитя, имел шанс быть заодно с теми, кто отправил в лучший мир отца ребенка — тем более что среди убийц наличествовали члены семьи Марка Ефремова (то бишь Марея).

Не потому ли мужик Марей вспоминается рассказчику именно на каторге: он мог оказаться соседом по нарам.

В планы убийц, если верить молве, посвящен и кучер Давид — фигура, на наш взгляд, загадочная.

По словам Андрея Михайловича, Давид был крепостным его отца и служил у него еще задолго до женитьбы последнего. Это обстоятельство не может не вызвать некоторого недоумения, поскольку не вполне ясно, каким образом Михаил Андреевич, еще не будучи дворянином, исхитрился сделаться владельцем крепостных душ. Другая небезынтересная подробность: Давид и его брат Федор (служивший у Достоевских лакеем) были малороссами. Конечно, само по себе это ничего не значит, но памятуя о географическом происхождении их хозяина, позволительно задуматься — не из родных ли ему мест явились вышеуказанные братья и не имеют ли они какого-либо касательства к оставленному там семейству?

Давид не принадлежал к барским крестьянам: для жителей Дарового он, так сказать, человек со стороны. Немало усилий, очевидно, понадобилось убийцам, чтобы «подговорить» или по меньшей мере нейтрализовать старого слугу. Может, его просто-напросто припугнули? Дошедшие до нас толки о безуспешной

[1] Манн Т. Собр. соч., т. 10. М., 1961, с. 330—331.
[2] Нейфельд И. Достоевский, с. 22.

попытке кучера в последний момент отклонить барина от роковой поездки в Чермашню выглядят не столь фантастично.

В «Братьях Карамазовых» Смердяков говорит Ивану: «А все чрез эту самую Чермашню-с... Если б остались, то тогда бы ничего не произошло...»

В сознании Достоевского поездка в Чермашню — знак смертельной опасности, синоним предательства, метафора смерти.

Но вернемся к загадочному Давиду. Как обычно, нимало не заботясь о достоверности, Любовь Федоровна тонко намекает, что он-то и есть «главный убивец». Она говорит, что ее дед был задушен «подушкой от экипажа», после чего кучер, само собой, «исчез вместе с лошадьми».

Трудно ручаться за лошадей, но что касается кучера, он никуда не делся. Он продолжал исправно служить семейству. Осенью 1855 года тридцатилетний Андрей Михайлович, заехав в Москву к сестрам, с трудом узнает в старике «с седой окладистой бородой, в кучерском наряде» своего давнего знакомца.

«— З<д>равствуй, Давыд!

— Здравствуйте, сударь... да я что-то не признаю вас.

— А Андрея Михайловича Достоевского позабыл?..

— Батюшка, Андрей Михайлович...— и чубурах мне тут же на улице в ноги!..» [1]

Конечно: радость внезапной встречи, трогательная привязанность к господам (не уступающая Мареевой) и т. д. и т. п. Все это так. Но падение в ноги — еще и жест покаянный. Его можно расценить и как мольбу о прощении — того греха, который вольно или невольно взял на свою душу кающийся.

(Следует признать, что если Давиду и не удалась попытка предотвратить убийство, он, во всяком случае, озаботился тем, чтобы Михаил Андреевич умер как христианин. Очевидно, убийцы полагали, что барин мертв, и поэтому позволили кучеру увезти труп — подальше от места действия. Можно предположить, что по дороге несчастный стал подавать признаки жизни — и Давид, оставив барина «у дуба», поспешил в Моногарово «за попом», дабы спасти душу умирающего для жизни вечной. Правда, допустим и другой вариант: священник был необходим убийцам как свидетель агонии и мирной кончины.)

Описывая убийство отца, Андрей Михайлович приводит ряд очень характерных деталей. Но именно это обстоятельство вызвало через сто лет сугубое недоверие его строгого критика и оппонента. «Кто это рассказывает,— негодующе восклицает Г. А. Федоров,— очевидец, бывший в те дни в Даровом? Нет, рассказывает старик, а было ему тогда четырнадцать лет, и жил он при московском пансионе, весть до него дошла, пройдя через множество уст и отлившись в версию, сформированную в недоброй к памяти его отца среде» [2].

Допустим, допустим... Допустим, что неродная бабушка (вдова Ф. Т. Нечаева, мачеха Марии Федоровны), незамедлительно явившаяся в Даровое по поручению Куманиных, а также сами Куманины — все это «недобрая» к памяти покойного «среда». Но ведь Андрей Михайлович ссылается на другие источники! Он говорит, что главная информация исходила от двух живших в семье людей — няни Алены Фроловны, которая находилась «вместе с папенькой в деревне и была почти свидетельницей и очевидицею катастрофы», а также от девушки Ариши, к которой «приходили родные из деревни». Уж их-то, ближайших и преданнейших домочадцев, трудно заподозрить в злонамеренном искажении фактов.

И, наконец, кучер Давид. Он был непосредственным свидетелем и участником происшествия: отвозил барина в Чермашню, ездил в Моногарово за попом и т. д. И если бы Михаил Андреевич умер естественной смертью, доверенный возчий не преминул бы уверить в этом безутешных родных. Тем более что подобная трактовка событий в первую очередь была спасительна для него самого.

Между тем дети Михаила Андреевича, а также их потомки во втором и третьем колене никогда не сомневались, какой именно смертью умер отставной надворный советник. Семейная версия однозначна: Михаил Андреевич был убит

...Спустя сорок лет, в июле 1877 года, Достоевский в первый и единствен-

[1] Воспоминания, с. 252.
[2] Новый мир, 1988, № 10, с. 237.

ный раз вновь посетит эти места. Проездом через Москву он делает крюк и направляется в Даровое, хотя это и нарушало его нетерпеливые планы — как можно скорее вернуться к ждущей его семье.

«Проклятая поездка в Даровую! — пишет он Анне Григорьевне.— Как бы я желал не ехать! Но невозможно: если отказывать себе в этих впечатлениях, то как же после того и об чем писать писателю! Но довольно, обо всем переговорим».

О каких впечатлениях идет речь? Была ли эта поездка лишь ностальгической данью воспоминаниям детства? Или здесь позволительно усмотреть еще и желание лично побывать на месте катастрофы? Многие свидетели, а может, и виновники трагедии были еще живы. «...Обо всем переговорим»,— пишет Достоевский жене, и в этой многозначительной интонации тоже брезжит намек — на такие предвидимые волнения, о которых уместно рассказывать только лично.

Мог ли сын не побывать на старом моногаровском кладбище, где под безымянным камнем покоилось тело его отца? Г. А. Федоров справедливо полагает, что не мог. А раз так, почему бы не отождествить надгробный «без всякой надписи» камень на могиле М. А. Достоевского с камнем, под которым, умирая, просил похоронить его Илюшечка Снегирев и у которого Алеша Карамазов произносит свою апостольскую речь. В доказательство такого сближения привлекается евангельское: «Камень, который отвергли зиждущие, стал главою угла», а также академический комментарий к роману («первый камень здания будущей гармонии»). Все это, относящееся к «Илюшечкиному камню», не вызывает возражений. Они возникают тогда, когда «прообразом» последнего объявляется камень на могиле отца.

Аллюзия здесь действительно есть, однако не высокого, а прямо противоположного свойства.

Алеша Карамазов произносит свою речь вовсе не у «памятника сыну» штабс-капитана Снегирева, как полагает Г. А. Федоров. Ибо под камнем сим — приходится это напомнить — никто не лежит.

Когда отец Илюшечки хочет выполнить его последнюю волю, квартирная хозяйка Снегиревых невольно нарушает чинную скорбь похорон, чтобы сделать ему соответствующее внушение. «Вишь, что выдумал, у камня поганого хоронить, точно бы удавленника,— строго проговорила старуха-хозяйка».

Михаил Андреевич Достоевский отнюдь не «удавленник», а скорее удавленный, и похоронен он (как и Илюшечка) в освященной земле. Отсутствие надписи на его могиле — знак забвения и греха.

Выйдя из неизвестности, Михаил Андреевич вновь уходит во тьму, словно не желая оставлять по себе ни имени, ни хронологических мет...

...Но если, однако, так интерпретируются всемирно известные романные тексты, то можно ли с полным доверием отнестись к изъяснению документов малодоступных, архивных, обнародованных к тому же в кратких и не вполне связных отрывках? Чего бы проще — опубликовать полный текст следственного дела и предоставить скептикам возможность убедиться в своей неправоте.

Первые письменные сообщения о смерти отца — те, которые Достоевский должен был получить из Москвы или Дарового, до нас не дошли. Да и вряд ли они содержали всю информацию: такие вещи не доверяются почте. «Брат пишет очень неясно о всем происшедшем...» — сетует из Ревеля получивший печальную весть Михаил Михайлович (письмо Достоевского, о котором он говорит, также не сохранилось). Но, очевидно, брат и не мог изъясняться толковее: тогда, в конце июня, ему самому далеко не все было понятно.

Итак, никаких частных свидетельств, относящихся к 1839 году, практически не существует. С другой стороны, наличествуют солидные, скрепленные официальными подписями документы, чей почтенный архивный возраст не может не внушить невольного уважения.

О магия документа (тем паче — полицейского документа)! Кто позволит себе усомниться в результатах официального следствия: его непогрешимость подтверждена гробовым молчанием полутора веков! Но что сталось бы с нами, жертвами новейших исторических аберраций, если бы мы судили о тех, исчезнувших в 1937-м, только на основании завершенных и благополучно сданных в архив следственных производств...

О чем же говорят и о чем умалчивают архивы?

...Некто Лейбрехт «изъявляет подозрение», что дело нечисто. Наряжается новое следствие, которое, впрочем, ничего нового не обнаруживает. Тульская палата уголовного суда, тоже, в свою очередь, усомнившись, посылает дело на доследование. Все кончается тем же: случай смерти предается «суду воли Божией», а суд человеческий — в меру отпущенных ему возможностей — делает ротмистру Лейбрехту отеческое внушение.

Лейбрехт, доводя до властей свои подозрения, ссылался на информацию, полученную от В. Ф. Хотяинцева. Последний — родственник соседа Достоевского, Павла Петровича Хотяинцева. Отсюда, как уже говорилось, делается умозаключение, что именно они, Хотяинцевы, виновники и распространители уголовных слухов.

Но странное дело. В. Ф. Хотяинцев, на которого ссылается Лейбрехт, призванный на очную ставку с последним, категорически отказывается от приписываемых ему слов. Сам же Павел Петрович, якобы горевший желанием «открыть все дело», почему-то не спешит с исполнением этого благородного намерения.

Г. А. Федоров полагает, что Лейбрехт «подставное лицо»: через него Хотяинцевы пускают свой поклеп на «невиновных крестьян». Логика замечательная, ибо вообще-то «подставное лицо» (т. е. Лейбрехт) возводит напраслину прежде всего на тех, чьим агентом он якобы является. Он тщится доказать: Хотяинцевы знают, что М. А. Достоевский умер не своей смертью. Такое показание равносильно обвинению в укрывательстве или по меньшей мере в недонесении. Уж не развлекался ли подобным образом в своей деревенской глуши отставной майор и герой 1812 года Павел Петрович Хотяинцев — через «подставных лиц» оговаривая самого себя?

Почтенный сосед Достоевских предстает перед нами этаким провинциальным злодеем, мечтающим, как бы половчее опорочить доброе имя соседа, пустить по миру его детей и ради достижения этой заветной цели даже готовым рискнуть собственной репутацией. Эта опереточная (не по своей воле) фигура могла бы произвести некоторое впечатление на доверчивого читателя, если бы не было известно, что во второй половине 30-х годов оба соседствующих семейства пребывали в наилучших отношениях (несмотря на застрявшую в судах тяжбу между ними), что маменька Мария Федоровна любила гащивать у соседей, а те, в свою очередь, были посвящены в домашние дела овдовевшего Михаила Андреевича.

«Долгом считаю,— пишет Ф. М. Достоевский 3 марта 1839 г. одному из Хотяинцевых,— изъявить Вам мою сердечную признательность в том, что Вы принимаете участие в делах моего батюшки!»

До смерти родителя остается чуть более трех месяцев.

«Заговор Хотяинцевых» против наследников Михаила Андреевича выглядит очень детективно, но, увы, не находит никаких фактических подтверждений.

Хотяинцевы, безусловно, знали о факте убийства и, очевидно, имели намерение довести все до сведения властей. Почему же они внезапно меняют точку зрения и упорно отпираются от признаний чистосердечного Лейбрехта? Да очень просто: обстоятельства переменились.

То, о чем приватно было поведано Лейбрехту (может быть, в порядке совета с ним: открывать или не открывать дело?) и что он «по злобе» (ссора его с Хотяинцевыми?) сообщил по начальству,— все это надлежало забыть. Родственники убитого согласились замять историю. Нависшая над наследниками угроза разорения и позора вряд ли могла быть восполнена запоздалой радостью от удовлетворения чувства классовой мести. Следствию уже нельзя было дать об-

ратный ход: обнаружились бы подделки и мздоимания. (Впрочем, можно допустить, что ввиду трудно распознаваемого способа убийства медики дали свои заключения более или менее искреино.) Мужики, повязанные круговой порукой, натурально, не спешили свидетельствовать против самих себя. И даже крестьянские дети оказались на высоте, не прельстившись даровыми господскими конфетами. Очень похоже, что куманинские (с присовоуплением толики крестьянских денег) капиталы привели следственное делопроизводство в столь гармоническое состояние: ныне еще труднее обнаружить концы.

«Нам кажется несколько наивной,— пишет В. С. Нечаева,— уверенность Г. А. Федорова в возможности обнаружить в архиве николаевского суда 30-х годов... следы «фальсификации» приговора» [1].

Удивительно другое. В 1925 году деревенские старожилы — с чужих, разумеется, слов — «вспоминают» подробности (во многом совпадающие, заметим, с теми, что приводятся в воспоминаниях Андрея Михайловича). Так, сквозь тьму времен доходит известие, что в момент покушения «навоз мужики возили». Эта устойчивая деталь, фигурирующая также и в официальных бумагах, как бы намекает на тайное равноправие обеих версий...

Допустим и «промежуточный» вариант: припадок и смерть, последовавшие в результате нападения [2].

Апоплексический удар под бесцветным, пустым, выжженным июньским небом столь же вероятен, как и зверское умерщвление опостылевшего и распутного помещика. Среди убийц находились и родственники 16-летней Катерины, которая незадолго до того прижила от барина вскоре умершее дитя. А само нападение, по некоторым сведениям, совершилось во дворе крестьянина Ефимова — двоюродного брата Катерины. «Убийство Михаила Андреевича,— замечает Нечаева,— ...имело особый характер, который может быть истолкован как месть за женщину» [3]. Надо думать, однако, что м е т о д предполагал прежде всего неоставление улик. Иначе — если длить аналогию — вливание в барскую глотку бутылки спирта тоже может быть истолковано в сугубо символическом смысле...

Ч. Б., разумеется, не может проигнорировать такой сюжет. Его не удовлетворяет скупая информация Андрея Михайловича («Катя... была огонь-девчонка»), и он смелыми мазками дополняет картину: «рано развившаяся девочка с широкими бедрами и пышной грудью (вот, вот они, недостающие подробности, уличающие, но отчасти и оправдывающие поздние мужские порывы Михаила Андреевича! — **И. В.**), так не соответствующими ее тонкому, скорбному лицу и тихим, задумчивым глазам...» (само собой, с «задумчивыми глазами» более гармонировали бы узкие бедра). Оказывается, вовсе не маменьку ревновал несовершеннолетний Федюша, а пышногрудую горничную отца: какое, однако, посрамление для фрейдистов! Но и ее настигает рок. «...Катерину вытащили из неумело прилаженной на сеновале петли»,— горько заключает Ч. Б.: бестактно вопрошать подлинного художника, откуда он известился об этом не отраженном ни в одном источнике приключении...

«У тебя на шее, Катя, шрам не зажил от ножа»,— почему-то (и совершенно некстати!) приходит на ум разухабистая строка, памятная со школьных лет. И в виде гордого обломка полузабытой университетской образованности запоздало всплывает: «Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?» [4] — с игривой, будившей молодой восторг гимназистов заменой имени римского патриция близкой отечественному слуху Катериной...

О нет, мы не сторонники шуток и, как, надеемся, заметил читатель, прибегаем к ним в исключительных случаях — главным образом из робости перед изобразительной мощью Ч. Б. Нам кажется, что юная наложница Михаила Андреевича заслуживает не только беллетристического или, положим, ученого интереса, но и самых простых человеческих чувств. Она живой человек, а не героиня мелодрамы.

[1] Ранний Достоевский, с. 91.
[2] Ранний Достоевский, с. 94.
[3] В семье и усадьбе Достоевских, с. 58—59.
[4] До каких пор, скажи мне, Катилина, будешь искушать ты наше терпение? (лат.)— Из первой речи Цицерона против Катилины.

Она, возможно, единственная свидетельница обвинения.

Полагаем, что это действительно так.

Откуда, спрашивается, пошел слух? Почему, собственно, у Хотяинцевых возникли подозрения о насильственной смерти соседа? Лейбрехт, говорящий с их слов, несколько проясняет дело. Он утверждает, что «какая-то девка Г-на Достоевского слышала крик его, и чтобы она о том никому не говорила брат ее запрещал».

Какая такая «девка»? И какой такой «брат»?

Известно, что после появления первенца — незаконнорожденного сына Михаила Андреевича — Катерина была возвращена из господского дома в деревню, в семью своего двоюродного брата (она была сирота). Именно у него во дворе, по словам крестьян, совершилось убийство.

«Девка Г-на Достоевского» — очень похоже, что это все та же Катерина. Она «слышала крик»: что пробудил он в ее смятенной душе?

В отличие от Ч. Б., загнавшего бедную самоубийцу на сеновал, у нас нет никаких оснований подозревать Катерину в чувствах, враждебных отцу ее ребенка. Мы бы даже рискнули предположить обратное, хотя сознаем, что такое допущение способно навлечь на нас упрек в притуплении классового чутья. Молодая мать слышала смертный крик убиваемого. Несмотря на угрозы брата, она могла поведать об у с л ы ш а н н о м: например, крестьянам Хотяинцева или даже самим Хотяинцевым. Толки дошли до Лейбрехта... Ход делу был дан.

«Ищите женщину!» — радостно восклицаем мы, указуя на тайный движитель преступлений. Но не она ли (женщина) есть и вернейшее средство к разоблачению оных?

Достоевский, по свидетельству очевидцев, не любил говорить об отце. Это объясняют его неприязнью к покойнику (хотя большинство авторов в отличие от Ч. Б. мотивируют такое чувство не столько эротическими, сколько финансовыми разногласиями). Но не вернее ли предположить, что подобная сдержанность была вызвана и воспоминаниями о чудовищных подробностях отцовской кончины?

Незадолго до смерти автор «Мертвого дома» скажет А. С. Суворину: «Вы не видели того, что я видел... вы не знаете, на что способен народ, когда он в ярости. Я видел страшные, страшные случаи».

Интересно: где именно мог наблюдать он эти проявления слепой и стихийной ярости? На каторге? Разумеется. Хотя там — не столько видел, сколько с л ы ш а л («страшные истории» — непременная принадлежность каторжного фольклора). Не правильнее ли поэтому отнести его слова о н а р о д н о й я р о с т и к собственному семейному опыту («видел» = «знал»)?

Независимо от того, как отвечаем мы на сакраментальный вопрос, «был ли убит отец Достоевского?», трудно предположить, чтобы у самого писателя существовала на этот счет точка зрения, отличная от семейной. Недавно обнародованные документы, призванные как будто поколебать уверенность в возможности криминального исхода, достигают обратного. Оказывается, что слухи об убийстве отца не позднейшие домыслы, не навет, порожденный мстительным воображением потомков,— о преступлении были осведомлены современники событий.

Но тут различим еще один поворот темы.

Долгие годы автор «Братьев Карамазовых» проводит в стенах Михайловского замка. Между тем стены эти хранят г о с у д а р с т в е н н у ю т а й н у. Повествуя о пребывании Достоевского в училище, Савельев говорит, что будущий инженер хорошо изучил топографию замка. Думается, его не меньше интересовала история.

События той роковой ночи — с 11 на 12 марта 1801 г.— конечно же, принадлежали к числу самых захватывающих училищных преданий. Надо полагать, дошли и кое-какие детали. Спальня императора — та самая — не была доступна

для обозрения, что, конечно, усугубляло ее мрачную репутацию. Окровавленный призрак (как и положено призракам) скитался по лестницам и переходам замка — порой не без помощи изобретательных «кадетов». Не для его ли успокоения основал позднее Александр II домовую церковь — на месте бывшей царской опочивальни?

Павловский мотив возникает вновь.

И отец Достоевского, и император Павел Петрович оказались умерщвленными *тайно*. И в том, и в другом случае официальная версия гласила, что они скончались скоропостижно. Совпадает даже диагноз: апоплексический удар. И тогда, и теперь медицинские заключения были фальсифицированы. В обоих случаях обстоятельства кончины не являлись секретом для окружающих, но о них не принято было говорить вслух. И, наконец, оба убиения сопровождались достаточно отвратительными подробностями.

«Бывают странные сближения»,— сказал Пушкин.

Разумеется, гвардейский заговор, имевший целью смену царствования, мало напоминает мужицкое возмущение (хотя в последнем случае тоже можно обнаружить элементы умысла или сговора). Скарятинский шарф и массивная золотая табакерка, послужившие орудиями убийства, конечно, несопоставимы с бутылкой спирта и прочими пособиями, употребленными для аналогичной цели. (И там, и здесь выдержан соответствующий социальный уровень, но наиболее чудовищная деталь в обоих случаях совпадает.) Проницательный обществовед мог бы добавить, что ни то, ни другое происшествие не повлекло за собой изменений самой системы. Однако последнее соображение вряд ли нам пригодится.

И тем не менее. Странное схождение разновременных и тайно аукающихся обстоятельств могло оставить глубокий след: не только в душе 17-летнего юноши, но и в его дальнейшей деятельности.

Речь идет о «Братьях Карамазовых».

Брат Иван Федорович, желающий смерти отца и дающий молчаливую санкцию на убийство, отправляется в Чермашню (название вспомнилось как нельзя кстати). Этот шаг означает «*добро*»: Смердяков довершает дело.

Известно, что наследник престола цесаревич Александр Павлович (будущий император Александр I) был извещен заговорщиками заблаговременно. Он ждал; пребывая в одном из покоев Михайловского замка, он в ночь на 12 марта лег спать *не раздеваясь*. Правда, он решительно потребовал от заговорщиков сохранить жизнь родителю: в русских условиях это было трудноисполнимо.

Молчаливое согласие сына на переворот могло означать только одно: смерть. Как и брат Иван Федорович, Александр *самоустранился*.

Рассказывают, что, ошибочно приняв одного из ворвавшихся к нему гвардейцев за кого-то из своих сыновей, Павел воскликнул: «И ваше высочество здесь?» (российский парафраз к античному — тоже *мартовскому* — «И ты, Брут...»). Многие в Европе расценили петербургские события как отцеубийство.

В «Братьях Карамазовых» — разумеется, в самом общем виде — различима та же нравственная схема. Император Александр и брат Иван Федорович сопоставимы по своим сюжетным функциям[1].

Годы учения не прошли для него даром.

...Императору Александру Павловичу бог не даровал сыновей. Законные дочери государя умерли во младенчестве; век единственной побочной (от «официальной» фаворитки Нарышкиной) тоже окажется недолог. Царя не оставляла мысль, что гибель детей ниспослана ему за грех 11 марта.

Историки будут говорить о духовной драме Александра; Толстой напишет

[1] Можно также допустить, что отчество Федора Павловича Карамазова есть своего рода отсылка все к той же павловской теме. Тогда и совпадение имен автора и героя приобретает особый смысл. Федор ведет свое происхождение (и как бы «отталкивается») от Павла. Круг замыкается самоистреблением еще одного Павла — Смердякова.

«Посмертные записки старца Федора Кузьмича». Для современников не останется секретом подверженность государя приступам мистической меланхолии.

...В Михайловском замке в начале века поселится госпожа Буксгевден — немецкая нянька покойной дочери государя, великой княжны Марии. Ее собственная дочь Екатерина Филипповна Буксгевден (в замужестве Татаринова), перейдя в 1817 году из лютеранства в православие, откроет в себе тайный пророческий дар.

В замке, по словам очевидцев, начинает твориться «нечто ни на что не похожее». «Это шабаш!» — энергически выразится одна из них.

Достоевский несколько раз упоминает «хлыстовскую» секту Татариновой: он, очевидно, неплохо осведомлен о предмете.

Хлысты появились на Руси в середине XVII века. Они именовали себя «людьми божиими» и полагали, что в любого из них может вселиться святой дух. В конце XVIII столетия внутри хлыстовства возникает новая его разновидность — скопчество. Во главе движения становится отец-искупитель (оскопитель) Кондратий Селиванов. Когда в 1775 году Селиванова везут в ссылку, в Сибирь, он встречает закованного в железы Пугачева: того соответственно эскортируют в Москву. Не тогда ли зародилась у Селиванова мысль — наряду с Христом наречься еще и Петром III? Именно в таком виде он и предстанет впоследствии перед императором Павлом Петровичем, коий, выслушав эту интересную новость, поспешит отправить «родителя» в дом скорби. (По-видимому, государя не обрадовал и добросердечный совет собеседника — ради спасения души проделать над собой известную операцию.)

Сектаторство, изгойство, отпадение от «мира», безумство и самозванство — все эти темы не были чужды автору «Бесов». Он пристально вглядывается в глубинные корни русского сектантства. С какой-то смутной «недоконченной» тревогой говорит он о том, что самые рафинированные, самые утонченные духовные учения могут «слиться с которой-нибудь из темных сект народа русского...» «Темное» и «светлое» способны к социальному и нравственному сожительству: вопрос только — в чью пользу? Кажется, он не ждет добра от подобного симбиоза...

Он говорит о двух «древнейших атрибутах» сектантства — верчении и пророчестве. Упомянув квакеров и тамплиеров, он простирает аналогию далее — в глубь веков: античные пифии склоняются над истоками российских радений!

Ему, эпилептику, жертве «священной болезни» — недуга юродивых и пророков, важен не обрядовый, а духовный смысл мистических игрищ. Он усматривает в сектантстве силу, способную сплотить людей — как на добро, так и на зло.

Отчуждение, тайна, гордыня, посвященность, избранничество, фанатизм — все это, соединенное для известной цели, может поработить мир. Знал ли Достоевский о том, что один из «светских скопцов» — камергер Еленский подал Александру I записку о теократическом правлении — с Христом-Селивановым во главе и поголовном, если можно так выразиться, оскоплении мужского христианского люда?

Документальное повествование П. И. Мельникова (А. Печерского) «Белые голуби» (так называли себя скопцы; хлысты, со своей стороны, именовали себя «духовными скопцами»), где приводилась, в частности, записка Еленского, было опубликовано в третьей и пятой книжках «Русского вестника» за 1869 год. Разумеется, Достоевский внимательно следил за журналом, в котором только что был окончен печатанием его «Идиот». В конце того же 1869 года он набрасывает план «Жития великого грешника» и задумывает «Бесы».

На первый взгляд утопия камергера Еленского не имеет ничего общего с системой «фанатика человеколюбия» Шигалева. Но духовное оскопление общества («Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается каменьями») ничем не лучше физического самооскопления индивида. И там и здесь торжествует ненависть к инакомыслию, откровенное стремление к авторитарной власти.

Но тут есть еще одна сторона.

«Злоумышлеииое общество», к которому вскоре примкнет Достоевский, тоже своего рода секта, церковь, «орден меченосцев». Причем — со своими ночными «радениями» и своими — страстными и захватывающими — пророчествами. Позднее русская революция будет представляться ему также делом, проникнутым духом нетерпимости и сектантства.

«Мы пустим легенду получше, чем у скопцов»,— говорит Петр Верховенский.

Не приданы ли «нашим» в «Бесах» черты хлыстовской секты? Антихрист Ставрогин выполняет функции не только «князя», «Ивана-царевича» и т. д., он еще и «типичный» хлыстовский христос (что подчеркивается его «говорящей» фамилией: «ставрос», как помним, по-гречески означает «крест»). Он формально вне «наших», их организационной рутины (вербовка неофитов, наказание ослушников и т. п.), но — как бы освящает все действия секты самим фактом своей сопричастности. Ставрогин, как Кондратий Селиванов и другие олицетворенные символы «белого» и «духовного» скопчества, является (это его основная роль); он, как и положено хлыстовскому христу, сожительствует (плотски или духовно) с двумя потенциальными «богородицами» — двумя Мариями, чьи дети (вымышленный у Лебядкиной и реальный у Шатовой) умирают вскоре после рождения, что может рассматриваться как описанное у Мельникова-Печерского хлыстовское жертвоприношение. С этой точки зрения более ясна и композиционная роль Ставрогина в романе.

Вернемся, однако, к Татариновой. Ни она сама, ни ее последователи не называли себя хлыстами: они толковали про «духовный союз» и, несмотря на идейные симпатии, отвергали скопчество как богопротивную мерзость. Они основывали свою практику на библейских примерах (царь Давид, скачущий перед ковчегом) и на словах первого послания апостола Павла к коринфянам: «Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать» (Коринф. I, XIV, 1).

Татариновой покровительствовал министр духовных дел князь Голицын; государь Александр Павлович, мучимый, как сказано, угрызениями совести, относился к ее подвигам в высшей степени снисходительно. В 1821 году, вскоре после основания Инженерного училища, Татаринова принуждена была выехать из замка; она обосновалась на даче по Московской дороге.

В 1837 году (год поступления Достоевского в Училище) до правительства доходит весть, что на вышеупомянутой даче творятся всякие непотребства. Генерал Дубельт и обер-прокурор Синода лично прибывают на место; в чулане они обнаруживают чуть живую от голода и истязаний дочь чиновника Попова. Лавочку прикрывают; заблудших овец рассылают по монастырям.

Надо полагать, Инженерного училища, «родового гнезда» Татариновой, достигают слухи о последних событиях.

Через двенадцать лет, осенью 1849-го, о секте вспоминают вновь. Впрочем, пребывающему в крепости Достоевскому это уже безразлично. И тем не менее между ним, узником равелина, и вновь затеянным делом есть некая связь.

Во-первых, Липранди.

Тут следует почтительно приподнять шляпу: впервые в нашем повествовании появляется это имя.

Об Иване Петровиче Липранди надлежит говорить обстоятельно и со вкусом; мы постараемся сделать это в книге «Политический процесс». Здесь же заметим следующее.

Осенью 1849 года Липранди остается не у дел. Выслеженные им злоумышленники преданы в руки правосудия, но сам виновник торжества, к глубочайшему своему неудовольствию, практически отстранен от следственных игр.

«В утешение» — как специалисту по скопчеству и расколу — действительному статскому советнику Липранди поручают новое дело. Он немедленно подключит к своим занятиям двух агентов — Шапошникова и Наумова: последние тоже простаивают после ареста Петрашевского и его друзей.

Среди привлеченных к дознанию сектантов наличествует значительное лицо: генерал от инфантерии Е. А. Головин. Его дочь замужем за действительным статским советником Я. В. Ханыковым. Заметим справедливости ради, что Липранди всячески выгораживает своего коллегу по Министерству внутренних дел Я. В. Ханыкова, оправдывая его терпимость к происходившим у него на квартире мистическим таинствам пагубным влиянием горячо любимой жены.

Между тем младший брат Я. В. Ханыкова, студент Петербургского университета Александр Владимирович Ханыков, заключен в крепости: он проходит по делу петрашевцев.

С младшим Ханыковым, своим однодельцем, Достоевский, естественно, знаком. Оба они еще раньше входили в кружок Бекетовых, речь о котором впереди.

Информация, которую Достоевский получил в Инженерном училище (относительно деятельности Татариновой), могла пополняться свежими сведениями, почерпнутыми от младшего Ханыкова.

Тут уместен вопрос, никогда прежде не возникавший. Нет ли следов этой осведомленности в раннем творчестве героя?

«Странная вещь! непонятная вещь!» — воскликнул Белинский, с трудом одолевший «Хозяйку»: цитата пришлась как нельзя кстати.

Действительно, эта небольшая повесть — едва ли не самое «темное», порой даже раздражающее своей событийной невнятностью произведение Достоевского. Загадочен фольклорный разбойник Илья Мурин, загадочна Катерина, загадочны обстоятельства и характер их, по-видимому, не освященного церковью брака [1]. И хотя комментаторы академического собрания сочинений Достоевского именуют Мурина «старообрядцем», вряд ли можно согласиться с подобным определением: он, как и Катерина, посещает православные богослужения и усердно молится в храме.

Из всех русских сект господствующую церковь признавали (или полупризнавали) только скопцы.

В доме Кошмарова (чего стоит одно название!), где поселяются Мурин и Катерина, как будто не совершается никаких противозаконных в религиозном отношении действий. Однако быт жильцов окутан покровом тайны; Мурин читает древние «черные книги»; он обладает силой внушения; наконец, он «колдун», вещун, прорицатель.

Мистическое откровение и дар пророчества — две фундаментальные основы хлыстовства. Если добавить к этому специфические воззрения хлыстов на брак и отношения полов (ср. настоятельные призывы Катерины к герою повести жить «как брат и сестра» и т. п.), тогда глухие переклички между миром «Хозяйки» и стихией русского сектантства станут еще ощутимее.

Принято считать, что герою повести Ордынову Достоевский придал автобиографические черты. В качестве прототипа называют также Шидловского (Ордынов, как и он, трудится над историей церкви!). Эти соображения следовало бы дополнить.

Во-первых, имя и отчество Ордынова соответствуют имени и отчеству «ученого дедушки» — Василия Михайловича Котельницкого. И, во-вторых, Ханыков.

Ордынов (орда) — Ханыков (хан) — подобная смысловая близость может быть преднамеренной. Особенно если вспомнить, что идея «Хозяйки» возникает у Достоевского в октябре 1846 года — в период тесного общения с Бекетовыми и Ханыковым.

Но почему автор прямо не называет вещи своими именами?

В 40-е годы хлыстовщина (равно как и другие «ереси») — тема, глубоко не одобряемая начальством. Это неодобрение распространяется и на область изящной словесности. Сверх того автор «Хозяйки» не Лесков и не Мельников-Печерский: он не настолько хорошо знает предмет. Вероятно, поэтому он решает ограничиться полунамеками и набрасывает на потенциально опасную фабулу легкий уголовно-романтический флер.

[1] Из текста «Хозяйки» можно заключить, что Илья Мурин был некогда любовником матери Катерины. И, следовательно, возможно, он «женится» на собственной дочери. Намек на это есть в тексте. Тогда понятно, какой «страшный грех» тяготеет над любовниками.

В «Хозяйке» — впервые у Достоевского — изображен приступ падучей. Предчувствует ли автор близкий уже недуг?

Не будем, однако, злоупотреблять единственным преимуществом — тем, что у нас всегда есть возможность заглянуть в конец.

5 августа 1841 г. он получает свой первый офицерский чин. Еще через год — делается подпоручиком и переводится в верхний офицерский класс. Помимо прочих благ, это давало еще одно неоценимое преимущество — свободу в выборе места жительства. Впервые он обрел возможность жить как хотел.

Однако о том, *как* он жил, мы осведомлены сравнительно мало. Круг его знакомых ограничен. Немногочисленные воспоминания содержат довольно общую информацию о герое. Даже такой опытный мемуарист, как Григорович, живописует главным образом внешние подробности, не посягая на сокровенный мир своего приятеля и — некоторое время — соседа по квартире. То же можно сказать и о другом его знакомце (и тоже соседе) — докторе Ризенкампфе, чьи сетования по поводу расточительности его пациента не менее любопытны, чем профессиональные медицинские наблюдения.

Можно было бы обратиться к самому Достоевскому, но, увы, сделать это не так просто. Два письма (к брату) за весь 1841 год, одна пятистрочная записка за 1842-й, пять писем за 1843-й — вот все *тексты*, оставленные нам будущим сочинителем многостраничных романов и плодовитым невольником эпистолярного жанра.

Между тем в этот период, то есть в 1841—1843 годы, решается все: он живет *накануне*.

Продолжающееся ученье, а с 1843 года служба в Санкт-Петербургской инженерной команде «с употреблением при чертежной Инженерного департамента» практически не затрагивают сферы его собственных, личных интересов. Ибо он ни в малой мере не связывает свою будущность с открывшейся военно-инженерной карьерой. Поприще уже избрано: остается только ступить на него.

Однако желанный момент почему-то откладывается.

Достоевского миновала ранняя участь Некрасова и Гоголя: ему не пришлось скупать и уничтожать свои первые творения. Он *явился* сразу. Нам неведомы пробы его пера: до нас не дошло ни строчки, писанной прежде «Бедных людей». Куда девалось созданное еще в училище, «у амбразуры», а затем на воле — под чужим и случайным кровом? Где драмы с громкими историческими наименованиями, которые вызывали восхищение младшего брата, а по уверениям старшего (имевшим, правда, известную цель) должны были вскоре явиться на петербургской сцене?

Ничего этого нет. Утешительное правило, согласно которому рукописи не горят, относится, очевидно, не ко всякому сочинению: оно действует избирательно. Вся предварительная черновая работа (надо полагать — немалая) оказалась сокрытой от наших глаз. На вопрос младшего брата о своих давних опытах он только махнет рукой...

А между тем...

16 февраля 1841 года Достоевский «впервые» читает друзьям отрывки из своих драматических сочинений. Самому драматическому писателю недавно минуло девятнадцать.

Через три с лишним года, осенью 1844-го, он собирается наконец обнародовать свою «Марию Стюарт». Первые пробы пера отданы драме. Факт знаменательный, особенно если вспомнить позднейшие уверения автора романов-трагедий о невозможности воплотить их в сценической форме [1].

Но странное дело. Те названия, которыми он намеревается украсить первые свои творения, уже существуют в литературе. «Борис Годунов» давно сочинен Пушкиным, «Мария Стюарт» — Шиллером. Уж не собирается ли начинающий драматург перепевать старые темы?

На Достоевского это не похоже.

Автор «Бедных людей» так и не создал того, что может быть названо «широким эпическим полотном». История действует у него не «в лоб» — через столкновения народов и государств, свидания государей, брачные или дипломатические союзы и т. д. и т. п., она *осуществляется* исподволь — на «низком», «негероическом» уровне. Но взгляд художника таков, что каждое мгновение частной жизни может заключать в себе мировой смысл.

Нет, Достоевский не собирался переписывать знаменитые драмы.

Царь Борис, Лжедмитрий, Марина Мнишек — все эти главные пушкинские герои могли стать у Достоевского героями *второстепенными*. И — наоборот. Кстати, у Пушкина есть линия, едва намеченная: он словно нарочно оставляет ее *другому*.

Это — семейный круг царя Бориса. Потерявшая жениха и впоследствии поруганная Лжедмитрием несчастная Ксения — о ее судьбе Достоевский мог прочитать у Карамзина (не первая ли «девочка» в ряду ей подобных?), сын-школяр, прилежно чертящий карту Московии и выслушивающий отеческие наставления царя-детоубийцы («Учись, мой сын...» — *чему?* — мог бы резонно возразить отрок) — в этой частной семейной коллизии скрывается высокий трагизм. Для молодого Достоевского с его приверженностью к камерным и малонаселенным сюжетам, с его внимательностью к сокровенной жизни детей — для такого автора выбор младших Годуновых был бы вполне оправдан.

Преступник-отец (царь) невинными глазами любящих его детей — можно только гадать, какие парадоксальные психологические возможности представлялись воображению драматурга.

Конечно, нам могут возразить, что подобная реконструкция несохранившихся текстов относится исключительно к области литературоведческих грез. И мы немедленно согласились бы с этим справедливым укором, если бы следы «годуновского» замысла не проступали в позднейшей прозе.

Речь идет о «Неточке Незвановой».

Неточка не помнит родного отца. Она боготворит отчима, к которому у нее «какая-то безграничная любовь». Это, по ее мнению, «самый странный, самый чудесный человек из всех, которых я знала». Между тем над «самым чудесным человеком» тяготеет такое же тяжкое подозрение, как и над царем Борисом: в тайном умерщвлении соперника.

Отчим Неточки, музыкант, заводит дружбу с капельмейстером-итальянцем. Тот обучает своего нового знакомца скрипичному искусству и завещает ему дорогой инструмент. Затем капельмейстер умирает. «Его нашли поутру крестьяне во рву, у плотины. Нарядили следствие, и вышло, что он умер от апоплексического удара».

Заметим: диагноз и обстоятельства кончины капельмейстера-итальянца удивительным образом напоминают уже знакомый эпизод. Отца Достоевского тоже «нашли» крестьяне, при этом был официально зафиксирован тот же диагноз.

Но далее нас ожидают еще большие сюрпризы.

Один из персонажей «Неточки Незвановой», тоже музыкант, «затеял ужасное дело». Он подает донос, что приятель умершего «виновен в смерти итальянца и умертвил его с корыстной целью». Над отчимом Неточки нависает страшная угроза. Напрасно обвинителя пытаются образумить и разуверить —

«ничто не могло поколебать доносчика в его намерении. Ему представляли, что медицинское следствие над телом покойного капельмейстера было сделано правильно, что доносчик идет против очевидности, может быть, по личной злобе и по досаде... Музыкант стоял на своем, божился, что он прав, доказывал, что апоплексический удар произошел не от пьянства, а от отравы, и требовал следствия в другой раз. С первого взгляда доказательства его показались серьезными. Разумеется, делу дали ход».

---

[1] Не вполне ясно, стихами или прозой были написаны первые драмы. См. нашу работу «Стихи не твоя специальность...» (Достоевский как стихотворец). — День поэзии 1988. М., 1986, с. 216—219.

«Лейбрехт! Лейбрехт!» — осененно воскликнет наш прозорливый читатель — и нам остается лишь подивиться аналитической силе его ума. Действительно, ситуация, обозначенная в «Неточке Незвановой», буквально, вплоть до деталей, напоминает расклад, когда бдительность ротмистра Лейбрехта воспрепятствовала тому, чтобы дело о скоропостижной кончине Михаила Андреевича Достоевского было положено под сукно.

В. С. Нечаева первой указала на эту знаменательную перекличку. Г. А. Федоров тоже не обошел ее стороной. Он вполне удовлетворен тем, что обвинение, возведенное на отчима Неточки, было признано ложным, и следствие закончилось полным оправданием героя. Отсюда, очевидно, должно следовать: донос Лейбрехта тоже был ложен. Аналогично тому, как клеветник в «Неточке Незвановой» возвел напраслину на «чудесного человека», так в реальной жизни доносчик Лейбрехт попытался опорочить ни в чем не повинных черемошенских крестьян.

И тут опять возникает отнюдь не праздный вопрос: **как** читать художественные тексты?

Вспомним, что у Достоевского (да и не только у него) речь героя далеко не всегда отражает позицию автора. Взгляд персонажа может не только не совпадать с авторской точкой зрения, но и быть диаметрально противоположным. Макар Девушкин в «Бедных людях», всячески расхваливая Вареньке условия своего житья-бытья, мимоходом роняет, что в его комфортном жилище, к сожалению, правда, «чижики так и мрут». Эта невинная проговорка мгновенно дезавуирует эйфорические заверения Макара Алексеевича.

В «Неточке Незвановой» — стоит лишь пристальнее вглядеться — с «чижиками» происходит очень похожая метаморфоза.

Все, что говорится в романе об отчиме Неточки, произносится вовсе не автором, а героиней, от имени которой ведется повествование и которой, как уже было сказано, дорог человек, заменивший ей отца. Естественно, Неточка выступает **в защиту**: она — даже в затруднительных случаях — пытается оправдать героя.

Но чем искреннее она старается это сделать, тем меньше истины просматривается в ее словах.

Во-первых, не может не насторожить необъяснимое озлобление, которое испытывает Неточкин отчим к своему покойному благодетелю: итальянец, по его словам, «издох, как собака». Далее следует странное полупризнание: «Многому он меня научил на мою погибель. Лучше б мне никогда его не видать».

Это ситуация пушкинского «Моцарта и Сальери». Итальянец завещал своему другу скрипку, но не смог завещать собственного таланта. Как и Сальери, Неточкиного отчима подозревают в отравительстве.

Во-вторых, даже после формального оправдания героя его обвинитель остается в полной уверенности, что оправданный был «причиной смерти несчастного капельмейстера». Причем в отличие, скажем, от Лейбрехта обличитель пользуется не какими-то сомнительными слухами, а действует по собственной догадке, по глубокому, ничем не поколебленному внутреннему убеждению.

Во всех «детективных» романах Достоевского интуиция играет неизмеримо большую роль, нежели формальные юридические доказательства. Вина Родиона Раскольникова не установлена; между тем Порфирий Петрович ни минуты не сомневается в том, кто есть настоящий убийца. Напротив, вина «отцеубийцы» Дмитрия Карамазова доказана по всем правилам следовательского искусства, и лишь «блаженный» Алеша глубоко убежден в невиновности брата.

Достоевский нигде не говорит, что отчим Неточки — убийца. Однако эта жуткая догадка все прочнее укореняется в сознании читателя. И адвокатский пыл Неточки лишь сильнее подчеркивает обоснованность подозрений.

Нам уже приходилось говорить о присущей прозе Достоевского системе «повествовательных намеков» [1]. Недоговоренность, открытость события для читательского домысливания — отличительная черта его художественного стиля.

[1] Волгин И. Л. Последний год Достоевского. с. 192.

И, наконец, последнее. Пора вспомнить фамилию героя.

Отчим Неточки Незвановой зовется просто: Ефимов. Но такова фамилия реального убийцы. Именно во дворе черемошенского крестьянина Ефимова, двоюродного брата Катерины, мужики устроили барину «карачун».

Не слишком ли много совпадений?

Трудно объяснить их простою случайностью. Скорее мы имеем дело с системой скрытых мотивов. Обстоятельства убийства Михаила Андреевича проецируются на романный текст — с явным акцентом в пользу «семейной» версии

«Борис Годунов» так и не был закончен. Егор Ефимов в «Неточке Незвановой» частично взял на себя функции царя Бориса.

Преступление как двигатель сюжета — «метод» позднего Достоевского. В его ранней прозе (этих бескровных маленьких трагедиях) человеческие страсти, как правило, еще не влекут криминальных развязок. Но «Борис Годунов» и «Мария Стюарт» свидетельствуют **о намерениях**.

Стефан Цвейг, сам написавший одноименную повесть о Марии Стюарт, говорит: «Только Шекспиры, только Достоевские способны создавать такие образы...» [1]. Знал ли он о ранних замыслах второго из упомянутых им лиц?

Однажды Достоевский признался, что в юности «любил воображать себя иногда то Периклом, то Марием, то христианином из времен Нерона, то рыцарем на турнире...». Это достаточно традиционный романтический ряд. Однако пишущий добавляет: «...то Эдуардом Глянденингом из романа «Монастырь» Вальтер Скотта...»

Дети, зачитывающиеся Вальтер Скоттом, воображают себя либо Айвенго, либо Ричардом Львиное Сердце, либо — чаще всего — Робин Гудом. Глянденинг — фигура в этом смысле достаточно бледная. Почему же запомнился именно он?

Эдуард Глянденинг, как известно, герой и другого романа Вальтер Скотта — «Аббат»: речь в нем идет об освобождении Марии Стюарт из ее первого заточения. Впрочем, шотландской королеве пытались помочь многие. У Шиллера — Мортимер: это вымышленное литературное лицо — также любимый герой Достоевского.

Следует учесть авторские симпатии.

Время действия «Марии Стюарт», по свидетельству Ризенкампфа, у Достоевского то же, что и у Шиллера: он «хотел обработать эту трагическую тему по-своему, для чего тщательно принялся за приготовительное историческое чтение».

Но тут словно сама судьба вновь выглядывает из-за кулис и делает автору пьесы предостерегающие знаки.

Известно, что восторженных молодых людей, жаждущих спасти королеву из последнего ее заточения, обвинят в заговоре и государственной измене. Всех их приговорят к смерти и подвергнут в Лондоне мучительной казни.

Если Достоевский берет этот сюжет, то, значит, он сочиняет сценарий собственной жизни. Ибо только в разговорах, письмах и туманных мечтах заключалось то преступление, которое привело возвышенных молодых людей на елизаветинский эшафот. Их заговор можно назвать «заговором идей»: именно так квалифицирует вскоре Петрашевский то, в чем будут обвинены он и его друзья и что повлечет за собой два десятка смертных приговоров...

— О чем ваша пьеса, маэстро?
— О себе, о себе, конечно же, о самом себе...

Итак, XVI век. Заговор Беббингтона (прототип шиллеровского Мортимера) инспирирован его злейшим врагом, министром полиции Уолсингемом, который следит за заговорщиками с помощью специально подосланных лиц. Если вспомнить подробности дела петрашевцев, сходство покажется невероятным.

[1] Цвейг С. Мария Стюарт. М., 1960, с. 210.

Предчувствуя гибель, Беббингтон мечется в поисках спасения. «Потом,— пишет о нем С. Цвейг,— вдруг возвращается в Лондон и появляется — невольно вспомнишь Достоевского — как раз у того человека, который играет его судьбой...» [1].

«Невольно вспомнишь Достоевского...» Конечно, С. Цвейг имеет в виду психологию (Порфирий! Раскольников!). Он, очевидно, не подозревает о странных предвестиях...

«Шиллер остался нашим любимцем, лица его драм были для нас существующие личности...— вспоминает Герцен.— На сто ладов придумывал я, как буду говорить с Николаем, как он потом отправит меня в рудники, казнит. Странная вещь, что почти все наши грезы оканчивались Сибирью или казнью и почти никогда торжеством, неужели это русский склад фантазии или отражение Петербурга с пятью виселицами и каторжной работой на юном поколении?»

Первая драма могла оказаться черновым наброском судьбы.

Впрочем, возможно, во всем виноват Михайловский замок: обитель царей и цареубийц.

И, наконец, последний из замыслов — «Жид Янкель». Как видим, на главную роль претендует явно негероическое лицо. Правда, в «Тарасе Бульбе» этот персонаж — своего рода «помощник» главного героя (термин В. Я. Проппа [2]), двигатель сюжетного действия. С ним так или иначе связаны судьбы главных персонажей. Гоголевский Янкель постоянно в курсе событий: чем не будущий Хроникер?

...Практически ничего не ведая о ранних опытах Достоевского, можно попытаться по ряду косвенных признаков «вычислить» их художественный вектор. Конечно, «расчеты» эти сугубо условны: предпочтительнее поискать сам текст...

Но даже при отсутствии рукописей ясно одно. Тому триумфальному вступлению в литературу, которое и доныне возбуждает благородную зависть в талантах и графоманах (ночь, объятия, мгновенная и легкая слава) — всему этому кино предшествовала немалая литературная работа. Она осталась сокрытой от современников и потомков.

Он утаивает свои труды от постороннего взора почти так же ревностно, как и свои болезни, хотя постоянно мучается тем и другим.

Несколько более различимы контуры его холостого офицерского житья. Правда, и здесь обнаруживаются существенные пробелы.

У него нет знакомств в обществе; не вхож он пока и в литературный мир. Иногда он наезжает в Ревель, к брату, который недавно обзавелся семейством, и эти испрашиваемые у начальства («для пользования тамошними ваннами») отлучки — единственные за двенадцать лет петербургской жизни перемещения его в географическом пространстве. Вплоть до того дня, когда судьба швырнет его за тысячу верст от Петербурга — но уже на казенный счет.

Он ведет достаточно уединенное существование, и его удовольствия ограничиваются в основном посещением театров да истощающей его финансы бильярдной игрой. Иного, кажется, и не разглядеть: годы эти как бы теряются в бледном петербургском тумане...

«К женскому обществу,— замечает добропорядочный Ризенкампф,— он всегда казался равнодушным и даже чуть ли не имел к нему какую-то антипатию...» И раздумчиво добавляет: «Может быть, и в этом отношении он скрывал кое-что».

«Замечал он и толпившихся у трактиров ярко нарумяненных и принаряженных женщин»,— погрустнев, сообщает Ч. Б.: тут, однако, с ним не поспоришь. В развитие темы живописуется визит героя в известное заведение, где тот, само собой, знакомится с девушкой: «сквозь густой слой пудры явственно проступало свежее, молодое лицо». (Мы рискнули бы добавить, что сквозь «слой пудры» проступает и нечто еще, чрезвычайно знакомое. Наглядный урок начинающим авторам: желаешь правдиво изобразить личную жизнь писателя — не

[1] Цвейг С. Мария Стюарт, с. 352.
[2] Пропп В. Я. Морфология сказки. М., 1969, с. 72—75.

поленись полистать его книги!) И хотя «все дальнейшее», естественно, «произошло как в тумане», герой с присущей ему социальной чуткостью догадывается, что состояние его избранницы «не имеет ничего общего с его состоянием, что ей нехорошо». Весьма возможно, снова добавим мы; зато как хорошо нам, читателям, не устающим поражаться бесстрашному психологизму автора и зрелой мужественности его наблюдений!

В письмах Достоевского конца 30-х — начала 40-х годов мы не встретим ни одного женского имени, которое было бы названо под определенным ударением. Ни одного увлечения, ни — хотя бы — намека на влюбленность (разительный контраст с пушкинским или лермонтовским мироощущением). Мерной поступью минует он пору, казалось бы, самой природой назначенную для романтических безумств и признаний. (Сочувственный отзыв о роковой и литературно облагороженной страсти Шидловского лишь подчеркивает его собственный индифферентизм в этом отношении.) Между тем его первая повесть явит глубокое знание женского сердца.

Личный опыт, безусловно, желателен, но не всегда необходим для художника.

Дочь Достоевского утверждает, что до сорока лет ее отец жил «как святой» (wie ein Heiliger). Эта замечательная гипотеза столь же недоказуема, сколь и мрачные подозрения прямо противоположного толка (например, счастливая догадка уже упоминавшейся эссеистки, будто интересующий нас период был «необычайно бурен в половом отношении» [1]). Последнее умозаключение, пожалуй, и можно было бы подкрепить игривым намеком из письма к Михаилу Михайловичу (у Достоевского в это время гостит брат Андрюша): «Ничем нельзя ни заняться, ни развлечься — понимаешь»,— однако эта братская откровенность вовсе не обязательно подразумевает то, что тщится различить наше ретроспективное любопытство. Еще меньше оснований, как уже говорилось, числить за автором «Записок из подполья» тот специфический «подпольный» опыт, через который проходит его «уединенный» герой.

Изображение вновь расплывается и двоится, но это тот извинительный случай, когда, признаться, и не хотелось бы большей четкости.

Упомянув об отсутствии у Достоевского чрезвычайных, связанных с интимными потребностями расходов, доктор Ризенкампф выказывает удивление, куда же он девал деньги: они у него никогда не задерживались. В свою очередь, отнюдь не широкая по натуре Любовь Федоровна полагает, что безмерное расточительство ее отца было своеобразной формой борьбы с наследственной скупостью.

Почти все письма Достоевского наполнены просьбами о деньгах или предположениями о том, где бы их раздобыть. Он желает казаться оборотистым и тертым; на самом деле — он беспечен, непрактичен и прост. Он постоянно жалуется на бедность, однако способен в один вечер спустить присланную опекуном и рассчитанную на довольно продолжительный срок сумму. Его собственный денщик почти открыто обкрадывает его; он проигрывает последнее, делает долги и поминутно оказывается в затруднительном положении.

Он надеется поправить свои обстоятельства с помощью переводов. В письмах к старшему брату возникают захватывающие проекты будущих совместных изданий.

Но пока удается завершить только одну работу.

Рождественскими праздниками 1843 года он до неправдоподобия быстро переводит «Евгению Гранде» Бальзака [2]. Перевод — разумеется, без имени переводчика — появляется в шестой и седьмой книжках «Репертуара и Пантеона» за 1844 год.

[1] Кашина-Евреинова А. Подполье гения, с. 21. Автор этой завлекательной книжки, утверждая, что ее «изыскания в области физиологической жизни Достоевского не ограничиваются геморроем», предвосхитила ряд позднейших суждений на ту же тему.
[2] Отметим ошибку (или описку) комментаторов Полного собрания сочинений Достоевского, отнесших это событие к концу 1844 г. (т. 1, с. 459).

Справедливо замечено, что Достоевского привлекала в новом для него деле «возможность сотворчества» [1]. И возможностью этой он пользуется довольно лихо.

Начинающий литератор позволяет себе править Бальзака. С истинно французским красноречием сказанное — «прекрасная вышивка, выполненная с любовью в часы, потерянные для любви» — умеряется почти до аскезы: «труд любви для любви» [2].

Смягчаются неудобные для российского уха вольности: «Вы что, принимаете моего племянника за беременную женщину?» — вопрошает отец Евгении. «Разве племянник мой баба?» — слегка меняет акценты целомудренный переводчик. Папаша Гранде говорит «девки» (les garces): Достоевский деликатно переводит «они». Авторское богохульство: «А, чтобы черт побрал твоего бога!» усекается до максимально допустимого «А, чтобы черт...» — по соображениям, думается, как вкусовым, так и цензурным.

Легко догадаться, что переводчик слабо разбирается во французской кухне! Он путает печенье с пирожным, а «торт с фруктами» переводит как «компот». Сын врача нетверд в медицинских терминах. Так, «волкодав, лаявший так хрипло, как будто у него был ларингит», превращается (не очень ловко) в «дикое животное, потерявшее свой лай».

Зато щедро добавляются слова и даже целые обороты, вовсе отсутствующие в оригинале. Старик Гранде выражается: «жизненочек мой» — вспомним, что точно так отец переводчика именовал в своих письмах его мать. И даже когда Бальзак начинает вдруг мыслить по-русски (например, крыловской строкою «и в сердце льстец всегда отыщет уголок»), то и тогда не следует хватать переводчика за руку, произнося ужасное слово «отсебятина».

Ибо Достоевский старается воплотить не букву, по дух. Он играет при этом еще не окрепшими литературными мускулами. Он позволяет себе быть свободным: недаром так раскован его словарь.

Но уроки Бальзака скажутся не только на стиле.

Достоевский начинает свою первую прозу вскоре после окончания перевода. Сравнив оба текста, нельзя не заметить того, что мы упорно не замечали сто сорок лет: их глубокого структурного сходства.

И Евгения Гранде, и Макар Девушкин живут в бедности в большом, подробно описанном доме, сам «образ» которого является символом безысходности. Это, так сказать, декорации. Но вот и действующие лица. Оба главных героя (Шарль и Варенька) переживают семейное горе — смерть отца (матери), разорение, связь с человеком «из общества», который старше их. (В «Евгении Гранде» это Аннета, в «Бедных людях» — господин Быков.) Макар Девушкин симметричен Евгении: Варенька Доброселова — Шарлю. Евгения (Девушкин) отказывает себе во всем ради блага дорогого человека, который зачастую этого не замечает, не ценит. Любимым улыбается счастье: Шарль женится на дочери маркиза, Варенька выходит за господина Быкова; их судьбы материально устроены. Но оба они не любят и не уважают своих «избранников»; их брак — сделка.

Единственное (но существенное!) различие — отсутствие у Макара Девушкина потенциального отца-миллионера. По логике «хэппи энда», Макар, как и Евгения, должен был бы унаследовать 21 миллион: «критический реалист» Достоевский избавил русских читателей от этой душераздирающей развязки.

«Бедные люди» по сюжету (точнее, по функциональной схеме) как бы «зеркальны» бальзаковскому роману. Так девушка становится Девушкиным: разумеется, бедный петербургский чиновник нимало не похож на свою иноплеменную сестру. Бальзаковская сюжетная схема наполняется реалиями русской жизни и меняет свой вид до неузнаваемости.

Перевод «Евгении Гранде» не первое соприкосновение Достоевского с миром литературы. Но первое — с литературным миром. Кажется, он становится своим человеком в редакции «Репертуара и Пантеона»: о чем, как не о близости, свидетельствует эпистолярное именование журнальных редакторов «этими дураками» или, скажем, «канальями»?

[1] Гроссман Л. П. Бальзак в переводе Достоевского.— В кн.: Бальзак О. де. Евгения Гранде. М.-Л., 1935, с. LIX.

[2] Здесь и далее перевод сравнивается с французским оригиналом издания 1834 г., с которого он и осуществлялся.

Вообще с зимы 1844 года в его письмах начинают мелькать имена издателей и журналистов. Несколько раз всплывает имя Александра Васильевича Никитенко — профессора, цензора и — что пока неизвестно автору — того, от кого в немалой мере будет зависеть печатная судьба еще не написанных «Бедных людей».

Пора, наконец, оставить привычку заглядывать в будущее: так рискуешь вообще до него не добраться.

Худо-бедно первый гонорар (за «Евгению Гранде») был получен, и литературная карьера — пусть анонимно — начата. Сообщая московским родственникам, что младший брат «желает вполне предаться литературе», Михаил Михайлович успокоительно добавляет: «до сих пор он работал только для денег, т. е. переводил для журналов («Отечественные записки», «Репертуар»), за что ему очень хорошо платили».

Современный комментатор говорит так: «Переводы Достоевского, помещавшиеся в «Отечественных записках» и «Репертуаре русского и пантеоне всех европейских театров», полностью не выявлены» [1].

Действительно, известна только «Евгения Гранде». Но в том же шестом номере «Репертуара и Пантеона», где печатался упомянутый роман, мы находим рассказ еще одного французского автора, Эдуарда Лемоаня. Заманчиво атрибутировать перевод Достоевскому: впрочем, это отдельный вопрос. Пока же отметим название:

«СЛЕЗА РЕБЕНКА».

«Слезинка... слезинка очистила, открыла сердце мое!» — восклицает сентиментальный автор. Конечно, этот пассаж не имеет прямого отношения к грядущей беседе братьев — Ивана и Алеши Карамазовых. Но не тогда ли запала на ум великая формула?

Переводы, вопреки уверениям брата, не принесли ни денег, ни славы. Между тем первые были необходимы даже больше второй, ибо росли долги. Достоевский решается на отчаянный шаг: изъявляет готовность отказаться от своей доли родительского наследства — всего за 1000 рублей серебром.

Последнее зависело исключительно от Петра Андреевича Карепина.

Петр Андреевич, женившись на сестре Варе (жених был старше 18-летней невесты на каких-нибудь 26 лет), делается официальным опекуном осиротевшего семейства. Он жительствует в Москве, с завидной аккуратностью высылая братьям причитающиеся им части. Однако брат Федор неосновательно полагает, что ему выгоднее разом покончить с этой зависимостью.

Он требует свою тысячу и отказывается от всех прочих наследственных притязаний. Положительный Петр Андреевич опасается, сомневается и жмется.

Достоевский вдумчиво объясняет новоявленному родственнику, что спать под колоннадою Казанского собора нездорово, ибо от этого можно протянуть ноги. Он уведомляет, что имеет «величайшую надобность в платье», ибо зимы в Петербурге холодны, а осени — ненастны. «Наконец, нужно есть. Потому что не есть нездорово...». Он заявляет, что его терпение истощилось «и остается употребить все средства, данные мне законами и природою, чтобы меня услышали, и услышали обоими ушами».

Разумеется, такое исполненное сокрушительного сарказма послание («Как

[1] Ланской Л. Р. Достоевский в неизданной переписке современников.— Лит. наследство. т. 86. с. 366.

я его отделал») больше, чем просто письмо. Оно отвечает всем требованиям искусства: нельзя не заметить, как за последние годы возмужало его перо.

Он аттестует свою переписку с Карепиным как «образец полемики». Но это еще и п р о б а (не менее важная, чем предпринятый им перевод Бальзака). Проба характера, умения настоять на своем и, главное,— изложить свои претензии литературно. Он мгновенно нащупывает у оппонента «комическую черту» — его высокомерное «озлобление на Шекспира» — и как бы лично задетый наносит ответный удар.

(Увы, увы. К тайному удовольствию оппонента, удар этот, кажется, поражает воздух.

«Свинья-Карепин» (они с Достоевским никогда не встретятся, что не помешает одному из них вообразить другого господином Быковым в «Бедных людях» и господином Лужиным в «Преступлении и наказании»: так осуществится художественная месть!), трактуя об «отвлеченной лени и неге шекспировских мечтаний», снисходительно вопрошает: «Что в них вещественного, кроме распаленного, раздутого, распухлого — преувеличенного, но пузырного образа?»

Уязвленный, как уже было сказано, «Шекспиром», родственник немедленно лезет в бутылку: «...Вам не следовало бы так наивно выразить свое превосходство... шекспировскими мыльными пузырями. Странно: за что так больно досталось от Вас Шекспиру. Бедный Шекспир!» И, все еще негодуя, в письме к брату вновь обрушивается на московского опекуна: «Говорит, что Шекспир и мыльный пузырь все равно... Ну к чему тут Шекспир?»

Думается, что Шекспир был «к чему».

Чуткий Карепин сразу уловил в письмах своего корреспондента их подчеркнутую литературность. И, очевидно, решил сыграть с ним в ту же игру.

Назидая пребывающего в петербургском отделении «брата» (человека, как он догадывался, непростого), Петр Андреевич решает блеснуть своей эрудицией и знанием европейских литератур. Очень похоже, что его сентенции относительно «пузырного образа» имеют совершенно конкретный литературный источник. А именно: Шекспир, «Макбет», акт I, сцена 3.

Сравним:

(В е д ь м ы и с ч е з а ю т.)
БАНКО.
И на земле бывают пузыри.
Как на водах,— вот нам пример. Куда
оне исчезли?
МАКБЕТ.
В воздух: что казалось
Телесным, как дыханья пар от ветра,
Пропало <...>.
БАНКО.
Конечно, часто с умыслом лукавым
Клевреты мрака говорят нам правду,
Нас обольщают истиной в безделке,
Чтоб погубить изменою в важнейшем [1].

Как видим, «мыльные пузыри» здесь ни при чем. Имеются в виду вовсе не они, а те самые «пузыри земли», на которых спустя десятилетия неосторожно споткнутся лирические герои Блока [2].

Достоевский в гневе «не опознал» текст. Хотя вряд ли можно усомниться в том, что он, столь высоко ставящий Шекспира и сам увлеченный «шотландским» сюжетом, читал прославленную трагедию в русском или французском переводе. Но если даже он и знаком с «Макбетом», ему «выгоднее» з а б ы т ь: фигура «свиньи-Карепина» уже обрела художественную завершенность, и он, этот образ, несовместим ни с каким Шекспиром.

---

[1] Макбет. Сочинение В. Шекспира. Перевел с английскаго М. В. Спб., 1837, с. 11, 13.

[2] Впрочем, она захотела,
Чтобы я читал ей вслух «Макбета»,
Едва дойдя до п у з ы р е й з е м л и,
О которых я не могу говорить без волнения,
Я заметил, что она тоже волнуется
И внимательно смотрит в окно.
Оказалось, что большой пестрый кот
С трудом лепится по краю крыши,
Подстерегая целующихся голубей.
Я рассердился больше всего на то,
Что целовались не мы, а голуби,
И что прошли времена Паоло и Франчески.

Приходится слегка уточнить картину. Сухой, рассудочный, велеречиво резонерствующий Петр Андреевич (по-нашему говоря, зануда) неожиданно выказывает ловкий литературный вкус и изящно обыгрывает своего петербургского оппонента (хотя последний уверен как раз в обратном!).

Здесь надлежит закрыть потерявшуюся скобку.

«Даже в отношении Достоевского к родственникам,— замечает М. П. Алексеев,— сквозит иногда типичная романтическая ненависть к непосвященным» [1]. Тем важнее для него сочувствие посвященных.

«Мои письма chef d'oeuvre л е т р н с т и к и»,— пишет он брату. Между тем уже двинулся в путь его первый — эпистолярный — роман.

Отказавшись от своей доли наследства, он перестает быть помещиком и владельцем крепостных душ. И — почти одновременно — лицом, состоящим на государственной службе.

Если высочайшая резолюция, за некую архитектурную погрешность гневно поименовавшая его дураком, не очередной биографический миф, тогда, похоже, это автобиографический розыгрыш или самооговор. О. Ф. Миллер усматривает в данной истории своего рода lapsus memoriae (ошибку памяти), возникшую на основе другого случая — оплошности Достоевского при титуловании великого князя Михаила Павловича («превосходительство» вместо «высочества», что вызвало августейшую реплику — «посылают же таких дураков»). С другой стороны, настаивая на подлинности своей версии (о нелицеприятном царском резюме), доктор Яновский добавляет, что на его вопрос, почему Достоевский оставил инженерную карьеру, последний якобы отвечал: «Нельзя, не могу, скверную кличку дал мне государь, а ведь известно, что иные клички держатся до могилы...» Николай Павлович действительно имел обыкновение лично рассматривать даже второстепенные архитектурные проекты. (В 1831 году на плане одной из построек Мариинской больницы для бедных государь собственноручно начертал: «Украшение это походит на древнюю гробницу» [2], что в ретроспективе может выглядеть как «рифма» к сюжету, изложенному Яновским.)

Как бы то ни было, монаршее вопрошение на эскизе лишенной ворот крепости — («Какой дурак это чертил») — вся эта туманная, но вместе с тем поучительная история имела в виду намекнуть на личное вмешательство императора в его судьбу. Через несколько лет этот неосторожный намек овеществится в подлинной царской сентенции — на приговоре; государство отечески наложит на него свою карающую руку.

Пока же, в 1844 году, он разрывает тяготившие его узы, чтобы — уже до конца дней — возложить на себя новые бремена.

Сообщаемые родным причины его отставки выглядят не вполне логично. И здесь множественность версий — в том числе грозящее ему откомандирование из Петербурга — затемняет действительную подоплеку событий. Конечно, «служба надоела, как картофель»: в этом можно признаться брату. Но главная цель, которая подвигла его на сей решительный шаг, не называется.

Это поворот судьбы, поступок, как уже говорилось, в чем-то напоминающий уход Михаила Андреевича из отчего дома. Как бы намеренно создается экстремальная ситуация: отныне он может рассчитывать только на себя.

Михаил Михайлович горячо уверяет родственников в недюжинных дарованиях брата: москвичам предоставляется право поверить ему на слово. Сверстники (например, Григорович, на всю жизнь запомнивший откровение — о п о д п р ы г и в а ю щ е м п я т а к е) уже проявили данные им от бога таланты. Он же в свои 23 года, кроме перевода «Евгении Гранде», еще не опубликовал ни строки. Тем временем «разлад между чертежничеством и авторством» (как изящно выражается О. Ф. Миллер) становится все невыносимее.

Поэтому он сжигает мосты. Отныне ничто не мешает ему отдаться люби-

---

[1] Алексеев М. П. Ранний друг Достоевского, с. 21.

[2] Историческая записка о Московской Мариинской больнице для бедных, с. 69.

мому делу. У него не остается никаких иных надежд, кроме этой. Его поступок обличает не только цельность натуры, но и азарт игрока.

Он идет с козырей.

«На открывшиеся вакансии...»

Достоевский. Петербургские сновидения в стихах и прозе

<...> Петербург, не знаю почему, для меня всегда казался какою-то тайною. Еще с детства, почти затерянный, заброшенный в Петербурге, я как-то все боялся его. (Время, 1861, № 1, отд. VI, с. 3.)

А. М. Достоевский

Помню я восторженные рассказы папеньки про Петербург и пребывание в нем: про путешествие, про петербургские деревянные (торцовые) мостовые, про поездку в Царское Село по железной дороге, про воздвигающийся храм Исаакия и про многие другие впечатления. (Воспоминания, с. 81.)

Михаил и Федор Достоевские — М. А. Достоевскому. 23 июля 1837. Петербург

Теперь у вас идет в деревне уборка хлеба, а это, как мы знаем, самое любимое для Вас занятие; мы не знаем, какой-то в вашей стороне урожай, какова-то у вас погода? Что касается до петербургской, то у нас прелестнейшая, итальянская. (ПСС, XXVIII, I, с. 38.)

Д. В. Григорович

Раз в воскресенье отправился я из училища, желая навестить бывшего моего наставника К. Ф. Костомарова. Я пришел утром, в то время, когда его питомцы (их был новый комплект и, по-прежнему, человек пять) не занимались. Меня тотчас же все радостно обступили; я был для них предметом живейшего любопытства, мог сообщить о житье-бытье училища, в которое они должны были вступить будущею весной.

В числе этих молодых людей находился юноша лет семнадцати, среднего роста, плотного сложения, белокурый, с лицом, отличавшимся болезненною бледностью. Юноша этот был Федор Михайлович Достоевский. (Рус. мысль, 1892, № 12, с. 21.)

Михаил и Федор Достоевские — М. А. Достоевскому. 23 июля 1837. Петербург

Скоро мы начнем учиться фронту у унтер-офицера, которого пригласил Korоиад Филиппович <Костомаров>, и займемся этим до самого вступления, то есть до декабря месяца. На фронт чрезвычайно смотрят, и хоть знай все превосходно, то за фронтом можно попасть в низшие классы. И притом этим одним мы можем выиграть у его высочества Михаила Павловича. Он чрезвычайны<й> любитель порядка. (ПСС, XXVIII, I, с. 38.)

А. Н. Яхонтов

Великий князь Михаил Павлович, под главным начальством которого мы состояли <...>, навещал нас изредка, и мы страшно боялись этого, в сущности, доброго человека — так умел он принимать на себя грозный вид. (Рус. старина, 1888, № 10, с. 110.)

Приказ по Главному инженерному училищу. 2 сентября 1837

По случаю имеющего начаться приемного экзамена кандидатов прошу г-на доктора статского советника Волькенау приступить к освидетельствованию кандидатов начиная с 3-го числа, причем, на основании повеления его императорского высочества генерала-инспектора по Инженерной части, присутствовать г-дам полковнику Лом<н>овскому и подполковнику Фере. Список кандидатов с отметкою состояния их здоровья прошу представить мне за общим подписанием.

<Генерал-лейтенант В. Л. Шарнгорст> (Мат. и иссл., 5, с. 180.)

Д. В. Григорович

Нас повели сначала в лазарет для осмотра, потом в какую-то комнату, где всех раздели до нага (я корчился, как девочка, едва удерживая от стыда слезы). Час спустя мы были в казенном белье, куртках с погонами и тугим застегнутым воротником, крайне неловко подпиравшим подбородок. Нас поставили в ранжир по росту и долго заставляли чего-то ждать. Вошел наконец ротный командир, полковник Фере, человек заспанного, сумрачного вида, с красным, опухшим лицом. Он обвел нас мутными глазами и вдруг скомандовал: «Направо, марш!» Напирая друг другу на пятки, сбиваясь от непривычки на шагу, мы направились к рекреационной зале, по которой расхаживали наши будущие товарищи. (Рус. мысль, 1892, № 12, с. 13.)

М. М. Достоевский — М. А. Достоевскому. 27 сентября 1837. Петербург

Брат держал экзамен с честию. Мы наверно полагали, что он будет в числе первых, ибо ни у кого почти нет более его баллов. Из геометрии, истории, французского и закона божия он получил полные баллы, то есть 10. Из прочих всех по 9. Чего почти ни у кого не было. Несмотря на все это, он стал 12-м; ибо теперь, вероятно, смотрели не на знания, но на лета и на время, с которого начали учиться. Поэтому первыми стали почти все маленькие и те, которые дали

денег, то есть подарили. Эта несправедливость огорчает брата донельзя. Нам нечего дать; да ежели бы мы и имели, то, верно бы, не дали, потому что бессовестно и стыдно покупать первенство деньгами, а не делами. Мы служим государю, а не им. (ПСС, XXVIII, I, с. 40.)

А. И. Савельев

Сохраняющий в сердце своем чувства высокой честности, он рассказывал мне свое глубокое негодование на некоторых начальников, грабивших и возмущающих солдат тогдашней продолжительной службы <...>. Ф<едор> М<ихайлович> знал имена начальников в войсках на войне и на гражданском поприще, которые получали награды не по заслугам, а благодаря родству и связям с сильными мира сего. Он знал проделки бывшего инспектора классов инженерного училища, как он помещал и поддерживал тех кондукторов, которых родители ему платили или делали подарки и пр. (Рус. старина, 1918, № 1—2, с. 19.)

Достоевский — М. А. Достоевскому. 4 февраля 1838. Петербург

Недавно я узнал, что уже после экзамена генерал постарался о принятии четырех новопоступающих на казенный счет <...> и перебил мою вакансию. Какая подлость! Это меня совершенно поразило. Мы, которые бьемся из последнего рубля, должны платить, когда другие — дети богатых отцов — приняты безденежно. Бог с ними! (ПСС, XXVIII, I, с. 47.)

Из приказа по Главному инженерному училищу. 16 января 1838

На открывшиеся в кондукторской роте вакансии пенсионеров с утверждения его императорского высочества генерал-инспектора по Инженерной части, зачисляются следующие кандидаты.

Кондукторами: <...>

11. Достоевский Федор 15 <лет> [1]3[2] <...>.

(Мат. и иссл., 5, с. 181.)

М. М. Достоевский — М. А. Достоевскому. 29 января 1838. Петербург

Брата я нынче видел! Сегодня рожденье Михаила Павловича — и в Училище генерал делает бал! Они теперь, я думаю, подняли пыль до небес! Кондукторы с ним очень ласковы! Какой он молодец в своем мундире! Только скучает фронтом; ибо перед каждым офицером надобно вытягиваться! (Лит. наследство, т. 86, с. 359.)

М. А. Достоевский — М. М. Достоевскому. 12 февраля 1838. Даровое

Уведомь доволен ли Фединька своим теперешним состоянием, ты писал мне, что он скучает тем, что надобно становиться во фронт пред офицерами. Скажи ему, чтобы он не скучал, ибо это неизменный устав воинской службы, а лучше всего, чтобы он себя поставил на место офицера, я полагаю, что ему было бы приятно, есть ли бы низшие воздавали ему честь, а более всего, что тот, кто не умеет повиноваться, не будет уметь и повелевать. <...> поцелуй за меня Фединьку. Скажи ему, что он меня забыл, вероятно он очень занят. Посылаю вам обоим мое благословение, ваш вас нежно любящий отец и друг

М. Достоевский

(В семье и усадьбе, с. 118—119.)

Из приказа генерал-инспектора по инженерной части великого князя Николая Павловича. 15 марта 1820

Кротость, согласие и беспрекословное повиновение властям <...> суть отличительные признаки посвящающих себя военной службе и в особенности вступивших в Главное Инженерное училище <...> (Цит. по кн.: Савельев А. И. Исторический очерк инженерного управления в России за время царствования императора Николая I. Спб., 1896, с. 220.)

Без семьи

А. де Кюстин

Все идет в ней <России> как в военном училище, с той лишь разницей, что ученики не оканчивают его до самой смерти. (Николаевская Россия. М., 1930, с. 216.)

Д. В. Григорович

Нас ставили в ряд; унтер-офицер становился впереди и командовал: «Ра-аз!» — и мы должны были вытягивать правую ногу и носок; затем шла команда: «Два-а-а!» — следовало медленно подымать ногу и стоять в таком журавлином положении, пока не скомандуют: «Три!» При малейшем колебании туловища унтер-офицер кричал: «Отставь!» — и снова начиналось вытягивание ноги и носка. <...> Более всех горячился добрейший Д. А. Скалон. Когда фронт становился лицом к солнцу, глаза начинали щуриться и штыки колебаться, он поло-

[1] Возраст убавлен на год — очевидно, намеренно: это повышало шансы пройти конкурсный отбор.— **И. В.**

[2] «Цифра указывает средний балл, полученный на экзаменах». **(Прим. И. Д. Янубоевича.)**

жительно выходил из себя, топал ногами и кричал с пеной у рта: «Смирно! Во фрунте нет солнца!.. Нет солнца во фрунте! Смирно, говорю вам!..» (Рус. мысль, 1893, № 12, с. 18.)

А. И. Савельев

На то, что особенно сердило Григоровича: барабанный бой, вытягивание носка на маршировке и стояние, как он говорит в журавлиной позе на одной ноге, пока не скомандуют ее опустить — Достоевский смотрел равнодушно, усердно вытягивал носок, учился подходить на ординарцы, хотя сознавал, что по его телосложению, болезненной структуре и по его бледному лицу, он уже по природе не был красавцем, чтоб быть представителем строевого кондуктора. Григоровича сердили нередко фразы инструктора солдатика Образцового полка, говорившего: когда маршируете, то так, чтобы «носок ваш играл», когда идет по фронту начальство справа, то держите левое ухо вострее и смотрите начальству «глаз в глаз»,— одним словом, ему не нравились многие обычные солдатские выражения: «уберите третье ребро», или «подавайтесь всеми средствиями вперед, не упираясь на оные» и т. п. Ф. М. Достоевского наставления эти не только не сердили, но казались любопытными по своей оригинальности. (Рус. старина, 1900, № 8, с. 331—332.)

К. А. Трутовский

Во всем училище не было воспитанника, который бы так мало подходил к военной выправке, как Ф. М. Достоевский. Движения его были какие-то угловатые и вместе с тем порывистые. Мундир сидел неловко, а ранец, кивер, ружье — все это на нем казалось какими-то веригами, которые временно он обязан был носить и которые его тяготили. (Рус. обозрение, 1893, № 1, с. 213.)

Из приказа по Главному инженерному училищу. 3 января 1839

По представленной командиром кондукторской роты полковником Фере аттестации о поведении и знании фронтовой службы кондукторов за декабрь 1838 г. по фронтовой службе оказываются слабыми <...>

Достоевский Федор

<...> составить особую команду и проводить им ежедневное учение. (Мат. и иссл., 5, с. 182.)

Д. В. Григорович

<...> гонор основывался на преимуществе перед другими военно-учебными заведениями, не допускавшем в училище телесного наказания. Такое преимущество в значительной степени приподымало дух каждого, составляло его гордость. (Рус. мысль, 1892, № 12, с. 16.)

Достоевский — М. А. Достоевскому. 4 февраля 1838. Петербург

Нас посылают на фрунтовое ученье, нам дают уроки фехтованья, танцев, пенья, в которых никто не смеет не участвовать. Наконец, ставят в караул, и в этом проходит все время; но, получив от Вас письмо, я бросил все и теперь спешу отвечать Вам, любезнейший папенька. Слава богу, я привыкаю понемногу к здешнему житью; о товарищах ничего не могу сказать хорошего. Начальники обо мне, надеюсь, очень хорошего мненья. (ПСС. XXVIII, I, с. 46.)

Д. В. Григорович

С первого дня поступления новички получали прозвище рябцов,— слово, производимое, вероятно, от рябчика, которым тогда военные называли штатских. Смотреть на рябцов как на парий было в обычае. Считалось особенною доблестью подвергать их всевозможным испытаниям и унижениям. <...>

Крайне забавным считалось налить воды в постель новичка, влить ему за воротник ковш холодной воды, налить на бумагу чернил и заставить слизать, заставить говорить непристойные слова, когда замечали, что он конфузлив и маменькин сынок. (Рус. мысль, 1892, № 12, с. 14.)

А. И. Савельев (в передаче О. Ф. Миллера)

Нет сомнения <...> что испытаниям в послушании старшим, в первый год своего пребывания в училище, мог подвергнуться и Ф. М. Достоевский. Исключений в этом случае никому не делалось. (Биография, с. 37.)

М. Максимовский

Жалобы начальству не допускались. Но если кто из «рябцов», возмущенный какою-либо несправедливостью старенького, или выведенный из терпения толчками и пинками, решался на явный отпор, то на это смотрели снисходительно. <...>

Грубые формы, в которых проявлялись принципы домашнего законодательства, не мешали ученью,— оно шло своим чередом,— но преследуя все нечестное, не прямое, приносили свою долю пользы: характеры вырабатывались твердые, сильные, мужественные. (Ист. очерк развития Главного Инженерного Училища. Спб., 1869, 1-я пагин., с. 102—103.)

Д. В. Григорович

Один из кондукторов старших двух классов вступился неожиданно за избитого, бросился на обидчика и отбросил его с такою силою, что тот покатился на паркет. На заступника наскочило несколько человек, но он объявил, что первый, кто к нему подойдет, поплатится ребрами. Угроза могла быть действительна, так как он владел замечательною физическою силой. Собралась толпа. Он объявил,

что с этой минуты никто больше не тронет новичка, что он считает подлым, низким обычай нападать на беззащитного, что тот, кому придет такая охота, будет с ним иметь дело. Не мало нужно было для этого храбрости. Храбрец этот был Радецкий, тот самый Федор Федорович Радецкий, который впоследствии был героем Шипки. (Рус. мысль, 1892, № 12, с. 17.)

Из отчета об обеде в честь Ф. Ф. Радецкого. 19 октября 1878

Встал наш известный писатель Ф. М. Достоевский. «Уважаемый Федор Федорович,— сказал он негромким голосом, обращаясь к генералу Радецкому.— Мы чествуем вас, как знаменитого генерала, как редкого человека, как стойкого и доблестного русского солдата, олицетворением которого в его наилучших чертах вы служите. Позвольте же мне провозгласить тост за здоровье русского солдата!»

Генерал Радецкий орлиным, «шипкинским», сказали бы мы, взглядом окинул всех и твердо, не без торжественности, воскликнул:

«Да, господа! Выпьем здоровье нашего славного русского солдата!»

Громкое «ура!» вырвалось у всех, как один могучий боевой крик, и долгим рокотом пронеслось по зале. (Плюцинский А. Ф. Генерал-адъютант Ф. Ф. Радецкий в среде бывших воспитанников Николаевской инженерной академии и училища в день 19 октября 1878 г. Спб., 1878, с. 20.)

Выпускник Инженерного училища генерал Д. И. Романовский. Из речи на обеде в честь Ф. Ф. Радецкого. 19 октября 1878

Генерал Радецкий служит для нас представителем того типа русских людей, которые, будучи поставлены силою обстоятельств у какого бы то ни было дела, свято исполняют его, самоотверженно несут его тяготы. Инженерное училище давало таких людей. Здесь, в числе присутствующих, мы видим людей этого типа, Сеченова, Достоевского <...>. (Плюцинский, с. 21.)

Из отчета об обеде в честь Ф. Ф. Радецкого. 19 октября 1878

Весело еще раз были подняты бокалы, но генерал Радецкий встал и, с его симпатичною улыбкою на добром лице, сказал:

«А все-таки, господа, «рябцов» бить следует — из них потом люди выходят!»

«Браво!» — загремело кругом со стороны слушателей, в большинстве испытавших справедливость замечания генерала Радецкого. (Плюцинский, с. 19.)

А. И. Савельев

<...> они <Достоевский и Бережецкий> видели грубое обращение товарищей со служителями и с рябцами (только что поступившими в училище кондукторами). Д<остоевский> и Б<ережецкий> употребляли все средства, чтобы прекратить эти обычные насилия, точно так же как старались защищать и сторожей и всякого рода служащих в училище. Д<остоевского> и Б<ережецкого> возмущали и всякого рода демонстрации, проделки кондукторов с учителями иностранных языков, особенно немцев. Пользуясь большим авторитетом у товарищей, они, Д<остоевский> и Б<ережецкий>, или прекращали задуманные проделки с учителями, или останавливали. Только то, что творилось внезапно, им нельзя было остановить. Как например, это случилось во время перемены классов, когда из 4-го класса (называвшегося Сибирью) вдруг, из открытых дверей, выбежал кондуктор О., сидевший верхом на учителе Н. немецкого языка. Конечно, эта проделка не прошла даром. По приговору Д<остоевского> и Б<ережецкого> виновник проделки был порядочно товарищами старшего класса побит. (Рус. старина, 1918, № 1—2, с. 16.)

М. М. Достоевский — М. А. Достоевскому. 28 февраля 1838. Петербург

Брат очень доволен также своим Училищем. У них чудеснейшие учителя. (Лит. наследство, т. 86, с. 359.)

Достоевский — С. А. Ивановой. 20 марта 1869. Петербург

<...> меня с братом Мишей свезли в Петербург в Инженерное училище, 16 лет, и испортили нашу будущность. По-моему, это была ошибка. (ПСС, XXIX, I, с. 27.)

Достоевский — И. В. Ждан-Пушкину. 17 мая 1858. Семипалатинск

<...> Вы Вашим письмом разбудили во мне все тяжелые воспоминания моего собственного воспитания. Но я был в отцовском доме до 15 лет и не заглох в корпусе. Но что я видел перед собою, какие примеры! Я видел мальчиков тринадцати лет, уже рассчитавших в себе всю жизнь: где какой чин получить, что выгоднее, как деньги загребать (я был в инженерах) и каким образом можно скорее дотянуть до обеспеченного, независимого командирства! Это я видел и слышал собственными глазами и не одного, не двух! (ПСС, XXVIII, I, с. 309.)

Из дневника Н. А. Момбелли. Май — ноябрь 1847

Двое выпускных Московского кадетского корпуса пойманы в педерастии. <...> Чернышев, военный министр, потребовал к себе Ростовцова[1] <...>. Ростовцов старался доказать, что об этого рода ошибках юности справедливо судить могут только воспитывавшиеся в казенных заведениях, только испытавшие, как легко детям впасть в заблуждение. Потом прибавил: «если взыскивать

[1] Начальник штаба военно-учебных заведений.— И. В.

за ошибки детства так строго, как вы требуете, то пришлось бы разжаловать многих генералов, занимающих важные посты в государстве и уже принесших пользу своею службою. Для доказательства приведу в пример свой выпуск. Я вышел из пажеского корпуса в таком-то году. Во-первых, я сам шалил в корпусе и, по-вашему, должен быть наказан». Чернышев невольно сделал знак удивления,— как, вы, Яков Иванович?.. «Да, я»,— отвечал Ростовцов; «со мною вместе вышли...» При этом Ростовцов перечислил три или четыре фамилии известных генералов <...>. Каждая новая фамилия все сильнее и сильнее поражала удивленного министра, давно уже забывшего свой служебный гнев. <...> Неистовый смех по крайней мере на полчаса отнял у министра способность выговаривать слова. <...> Император тоже сильно хохотал. Раскрытие гнусных тайн, соединенных с корпусным воспитанием, отнюдь не опечалило его, а наоборот забавило, развеселило. (Дело петрашевцев. М.-Л., 1937—1951, т. I, с. 302—304.)

Достоевский. Записки из подполья

В нашей школе выражения лиц как-то особенно глупели и перерождались. Сколько прекрасных собой детей поступало к нам. Через несколько лет на них и глядеть становилось противно. <...> Чин почитали за ум; в шестнадцать лет уже толковали о теплых местечках. <...> Развратны они были до уродливости.

А. И. Савельев

<...> он <Достоевский> настолько был не похожим на других его товарищей, во всех поступках, наклонностях и привычках, и так оригинальным и своеобычным, что сначала все это казалось странным, ненатуральным и загадочным, что возбуждало любопытство и недоумение, но потом, когда это никому не вредило, то начальство и товарищи перестали обращать внимание на эти странности. Федор Михайлович вел себя скромно, строевые обязанности и учебные занятия исполнял безукоризненно, но был очень религиозен, исполняя усердно обязанности православного христианина. <...> После лекций из закона Божия о<тца> Полуэктова Ф<едор> М<ихайлович> еще долго беседовал со своим законоучителем. Все это настолько бросалось в глаза товарищам, что они его прозвали монахом Фотием[1]. (Рус. старина, 1918, № 1—2, с. 13.)

Достоевский — М. А. Достоевскому. 23 марта 1839. Петербург

Теперь я знаю причину, почему мои письма не доходили до Вас. У нас в училище случилась ужаснейшая история, которую я не могу теперь объяснить на бумаге; ибо я уверен, что и это письмо перечитают многие из посторонних. 5-ть человек кондукторов сослано в солдаты за эту историю. Я ни в чем не вмешан. Но подвергся общему наказанью. (ПСС, XXVIII, I, с. 56.)

Д. В. Григорович

Один из кондукторов, прежде меня поступивший в училище, сделался любимцем ротного командира Фере, которого все боялись и огулом не любили. <...> Этого достаточно было, чтобы возбудить подозрение; стали распространять слухи, что любимец ничего больше, как фискал и доносчик. Не помню, как составился и созрел против него заговор; я в нем не участвовал. Помню только следующую сцену. Это было ночью. Любимец, в качестве унтер-офицера, был дежурным; он проходил через большую камеру, где спало нас шестьдесят человек; зала тускло освещалась высокими жестяными подсвечниками с налитою в них водой и плавающим в ней сальным огарком. Едва показался любимец, огни мгновенно были погашены; несколько человек, ждавших этой минуты, вскочили с постелей, забросали любимца одеялами и избили его до полусмерти. На шум и крик вбежал дежурный офицер; со всех концов посыпался на него картофель, без сомнения, заранее сбереженный после ужина. «Господа,— кричал офицер,— я не под такими картофелями был, под пулями — и не боялся!..» <...> На следующее утро всю роту выстроили по камерам; пришел генерал Шаренгорст и, по обычаю, начал здороваться; ему не отвечали. Вскоре за ним приехал начальник штаба военно-учебных заведений генерал Геруа[2]. Проходя по камерам, он начал также здороваться; никто не откликнулся. Не ожидая, вероятно, такого упорного неповиновения и приписывая его опасной стачке, он, не дойдя до последней камеры, круто повернулся на каблуке и вышел, сопровождаемый начальством училища, которое шло повеся нос и как бы пришибленное. Результат был тот, что всю роту заперли в училище на неопределенное время. (Рус. мысль, 1892, № 12, с. 11—12.)

Из дневника Н. А. Момбелли. 17 октября 1845

Инспектор классов Павловского кад<етского> кор<пуса> дей<ствительный> ст<атский> сов<етник> Шенин, имевший огромное влияние на Ростовцова и на весь комитет Военно-учебных заведений, изнасиловал кадета. Кадет, возвратясь в роту, рассказал о происшедшем. Вся рота выстроилась и заставила несчастного кадета перед ротою рассказать дежурному офицеру, который рапортом и по команде донес, как следует. Шенина посадили в дом сумасшедших на время, а потом, говорят, намерены отправить его за границу или, если

[1] Очевидно, в честь новопреставленного новгородского архимандрита (1792—1638), героя пушкинских эпиграмм.— **И. В.**

[2] Предшественник Ростовцова.— **И. В.**

согласится, дать ему какую-нибудь другую выгодную должность. (Дело петрашевцев, I, с. 279.)

А. И. Савельев

<...> и кондуктора, замеченного в курении табаку, и офицера, курившего в классной комнате или на дежурстве, сажали под арест или высылали на службу. Еще строже взыскивали за нарушение дисциплины, несоблюдение формы одежды, головного убора, за хождение в фуражках по улице или в калошах и пр. (Рус. старина, 1900, № 8, с. 327—328.)

Высочайший инженер

А. И. Савельев

Раз даже Достоевский, будучи ординарцем, представлялся вел<икому> князю Михаилу Павловичу, подходя к которому и сделав на караул, он оробел и вместо следующей фразы: к в<ашему> и<мператорскому> в<ысочеству> — громко сказал: «к вашему превосходительству». Этого было довольно, чтобы за это досталось и начальству, и самому ординарцу. (Рус. старина, 1918, № 1—2, с. 20.)

А. Г. Достоевская (в передаче О. Ф. Миллера)

«Посылают же таких дураков»,— заметил Великий Князь. (Биография, с. 45.)

Достоевский — М. А. Достоевскому. 5 июня 1838. Петербург

Пять смотров великого князя и царя измучили нас. Мы были на разводах, в манежах вместе с гвардиею маршировали церемониальным маршем, делали эволюции и перед всяким смотром нас мучили в роте на ученье, на котором мы приготовлялись заранее. Все эти смотры предшествовали огромному, пышному, блестящему майскому параду, где присутствовала вся фамилия царская и находилось 140 000 войска. Этот день нас совершенно измучил.— В будущих месяцах мы выступаем в лагери. (ПСС, XXVIII, I, с. 48—49.)

Из дневника Н. А. Момбелли

Относительно здоровья и во всем другом выгоды тирана совершенно противоположны, нашим, напр<имер>, маневры страшным образом разрушают наше здоровье, а император часто затевает маневры именно для поправления своего здоровья: ему прописали это лекарство Арендт и другие лекаря как лучшее средство для рассеяния, зная его особенную наклонность к военным экзерцициям. (Дело петрашевцев, I, с. 338.)

С. М. Соловьев

Смотр стал целью общественной и государственной жизни. Все делалось напоказ, для того, чтобы державный приехал, взглянул и сказал: — Хорошо! все в порядке! — Отсюда все потянулось напоказ, во внешность, и внутреннее развитие остановилось. Начальники выставляли Россию перед императором на смотр на больших дорогах — и здесь было все хорошо, все в порядке; а что было дальше, туда никто не заглядывал, там был черный двор. Учебные заведения также смотрелись, все было чисто, вылощено, опрятно, воспитанники стояли по росту и дружно кричали: «Здравия желаем В<ашему> И<мператорскому> В<еличеству>!» Больше ничего не спрашивалось. (Записки Сергея Михайловича Соловьева. Пг., 1915, с. 120.)

Достоевский — М. А. Достоевскому. 5 июня 1838. Петербург

Решительно все мои новые товарищи запаслись собственными киверами; а мой казенный мог бы броситься в глаза царю. Я вынужден был купить новый, а он стоил 25 рублей. На остальные деньги я поправил инструменты и купил кистей и краски. Всё надобности! К лагерям же наступит ужаснейшая необходимость, ибо там без денег беда. Если можно, папенька, пришлите мне хоть что-нибудь. (ПСС, XXVIII, I, с. 49.)

Д. В. Григорович

В лагерное время прекращались всякие классные занятия. Занимались только шагистикой, военными эволюциями, приготовлением к линейным учениям и маневрам, которыми командовал обыкновенно сам Государь Николай Павлович. (Рус. мысль, 1892, № 12, с. 19.)

А. Корсаков. Детство и отрочество Николая Павловича

<...> великий князь Николай с самого детства своего, как только мог ходить и владеть руками, стал высказывать свой вкус к военным игрушкам: видели, как он носил ружье, взмахивал шпагою, бил в барабан. Едва он стал понимать первое значение слов, как находил большое удовольствие в рассказах о войне и сражениях; он охотно проводил бы целые дни слушая их, выслушав — желал бы еще слушать. Лучшею наградою для него было, когда воспитатель его Ламсдорф мог ему обещать сводить его в день парада на место развода. Он отправлялся туда с восторгом, с поспешностью и оставался там как можно дольше, наслаждаясь зрелищем, которое он наблюдал в малейших подробностях. (Рус. архив, 1896, № 6, с. 284.)

М. А. Корф

Склонность Николая Павловича к строительной части начала выражаться довольно рано: в его играх заметно было стремление ко всякого рода постройкам; рисовать любил он также не столько фигуры и другие предметы, сколько домики и крепости <...>. Все военное было до такой степени на первом плане, что даже когда Николай Павлович строил дачу для няни или гувернантки, из стульев, земли или игрушек, то он никогда не забывал укрепить ее пушками, «для защиты». Михаил Павлович, будучи гораздо живее своего брата, столько же любил разрушать, сколько тот любил строить крепости, гавани, мосты и проч., и потому старший брат часто боялся даже присутствия младшего для своих построек. (Материалы и черты, с. 36.)

Г. И. Тимченко-Рубан

Назначение молодого Великого Князя <Николая Павловича в 1817 г.> генерал-инспектором по инженерной части на 21 году от роду не явилось простой случайностью. Во главе ведомства было поставлено лицо, давно уже тяготевшее к военно-инженерной специальности и увлекавшееся ею с младенческих лет. <...> любимой забавой их <Николая и Михаила Павловичей> были всегда именно военные игры, любимыми игрушками — оловянные солдатики. (Очерк деятельности, I, с. 7.)

Д. В. Григорович

В бытность нашу в кадетском лагере нас иногда <...> вели в нижнюю часть петергофского парка к Самсону; там устанавливали нас <...> против одного из бассейнов, куда стекает вода, ниспадающая по ступеням мраморной лестницы; на верхней площадке, перед дворцом, помещались придворные, окружавшие Государыню Александру Федоровну. Несколько минут спустя выходил Государь и здоровался с нами. Выровняв наши ряды, он отходил в сторону и командовал: «Раз! Два! Три!» По третьей команде мы бултыхались в бассейн и, цепляясь друг за дружку, сбиваемые водой, старались взобраться по ступенькам каскада до верхней площадки; первым трем, опередившим других, императрица собственноручно дарила призы <...>. (Рус. мысль, 1892, № 12, с. 19—20.)

Г. И. Тимченко-Рубан

Особое расположение выказывал Николай Павлович училищу до конца своих дней <...>.

<...> Николай Павлович, и поначалу чувствовавший большую склонность к инженерному корпусу, с течением времени стал смотреть на саперных и инженерных офицеров как на людей ему особо близких. По удостоверению барона Корфа, уже будучи на престоле, он постоянно говорил: «Мы, инженеры...», «Наша инженерная часть...» <...> Инженерный мундир Император считал почетным <...>. (Очерк деятельности, I, с. 14, 17.)

М. С. Максимовский

Инженерное училище всегда отличалось самою пламенной преданностью царствующему дому. Государь, передавший в 1825 г. Наследника Цесаревича, во время декабрьских событий, на руки Л.-гв. Саперному баталиону, который тогда, по первому призыву, поспешно был приведен ко дворцу доблестным ротным командиром, капитаном П. А. Витовтовым, передавал Своего Августейшего Первенца в верные руки. В Инженерном ведомстве помнили всегда этот высший знак Царского доверия и гордились им. Инженерное училище было отражением настроения целого ведомства. (Ист. очерк, 1-я пагин., с. 112.)

В. Д. Хлебников

Никогда не забуду того страха, который я испытал в минуту раздражения Государя после одного из учений, которое он делал в Петергофе отряду военно-учебных заведений. На заднем от нашего лагеря поле было грязно, много луж. Когда приходилось идти через воду, то натурально, что многие предпочитали или обойти лужу, или прыгнуть через нее. Государь за это был нами недоволен и по окончании ученья, подойдя к нашей роте, начал кричать на нас. В свою очередь, мы были утомлены, голодны, а следовательно, и нетерпеливы; двое или трое из нас, довольно громко, в ответ на его брань, посылали по его адресу очень резкие эпитеты. Я думал, что если только он услышит, то беда нам всем неминучая; но, к счастью, он в пылу гнева не слыхал, и дело окончилось благополучно. (Рус. архив, 1907, кн. I, с. 383—384.)

П. С. Николаев

Император Николай Павлович всякий вечер объезжал лагерь или один в дрожках, или в тюльбюри с Августейшим Семейством. Помню, как он однажды приехал к нам, остановился на плацу и позвал к себе кадет; когда все это детское население окружило Его, Он спросил: «А кто меня догонит?» и пустился бежать вдоль плаца. Кадеты за ним; в другой раз он приехал поздно, дал знать рукою, чтобы не кричать, как это водилось, «всем на линию», подошел к барабанщику, взял палки и собственноручно пробил тревогу. (Отдел рукописей ГБЛ, 358, 408. 10, л. 58 об.)

К. В. Заиковский

Несколько воспитанников разных корпусов, подстрекаемые любопытством, вздумали прогуляться по царским покоям <в Петергофе> <...> и таким образом, переходя из комнаты в комнату, очутились в кабинете государя. Не успели они еще опомниться от испуга, что уже слишком далеко зашли, как входит государь. Кадеты наши обезумели от страха; но государь, всегда милостивый и снисходительный к детским увлечениям, надрал шутя уши шалунам и сказал: — «Вы здесь лишние гости». Этим отеческим выговором и отделались смельчаки. (Ист. вестник, 1886, № 4, с. 113.)

Л. М. Жемчужников

Государь играл с нами; в расстегнутом сюртуке ложился он на горку, и мы тащили его вниз или садились на него, плотно друг около друга; и он встряхивал нас, как мух. Любовь к себе он умел вселять в детях <...>. (Мои воспоминания из прошлого. Л., 1971, с. 38.)

К. А. Трутовский

В то время начальство этого училища если видело в воспитаннике какое-нибудь дарование, то старались дать возможность ему развиться, направляя его на то поприще, к которому у него были природные способности. Стоило только доложить покойному Государю Николаю Павловичу или Великому Князю Михаилу Павловичу, что воспитанник обладает талантом, чтоб ему сделали всевозможные льготы, понимая, что всякий человек только тогда будет полезным деятелем, когда он будет работать на своем поприще. (Рус. обозрение, 1893, № 1, с. 215—216.)

С. М. Соловьев

Посещает император одно военное училище; директор представляет ему воспитанника, оказывающего необыкновенные способности <...> что́ же отвечает император? — Радуется, осыпает ласками даровитого молодого человека, будущего слугу отечества? Нисколько: нахмурившись, отвечает Николай: «Мне таких не нужно, без него есть кому думать и заниматься этим; мне нужны вот какие!» С этими словами он берет за руку и выдвигает из толпы дюжего малого, огромный кус мяса, без всякой жизни и мысли на лице и последнего по успехам. (Записки, с. 117.)

А. де Кюстин

Говорят, что в день тезоименитства императрицы шесть тысяч экипажей, тридцать тысяч пешеходов и бесчисленное множество лодок покидают Петербург и располагаются лагерем вокруг Петергофа. <...> Конечно, войска тоже принимают участие в празднестве: часть гвардии и кадетские корпуса стоят в лагерях около царской резиденции. <...>

Солдаты в лагерях подчинены дисциплине еще более строгой, чем в казарме. Такой суровый режим среди глубокого мира и к тому же в день народного празднества заставляет меня вспомнить отзыв великого князя Константина о войне: «Я не люблю войны,— сказал он однажды,— она портит солдат, пачкает мундиры и подрывает дисциплину». (Николаевская Россия, с. 141, 143.)

М. Ю. Лермонтов. Петергофский праздник. 1833—1834

Кипит веселый Петергоф,
Толпа по улицам пестреет,
Печальный лагерь юнкеров
Приметно тихнет и пустеет.
Туман ложится по холмам,
Окрестность сумраком одета —
И вот к далеким небесам,
Как долгохвостая комета,
Летит сигнальная ракета.

А. И. Савельев

<...> ему <Достоевскому> приходилось видеть <...> крестьян в пригородных деревнях, когда летом, идя в лагеря в Петергоф, кондукторская рота ночевала в деревне «Старая Кикенка». Здесь представлялась картина нищеты, в ужасающих размерах, от бедности, отсутствия промыслов, дурной, глинистой почвы и безработицы. <...> Поразительная бедность, жалкие избы и масса детей, при бескормице, увеличивали сострадание в молодых людях к крестьянам «Старой Кикенки». Д<остоевский>, Б<ережецкий> и многие их товарищи устраивали денежную складку, сбирали деньги и раздавали беднейшим крестьянам. (Рус. старина, 1918, № 1—2, с. 16.)

М. Ю. Лермонтов. Петергофский праздник. 1833—1834

Узоры радужных огней,
Дворец, жемчужные фонтаны,
Жандармы, белые султаны,
Корсеты дам, гербы ливрей <...>.

Портрет второгодника

Достоевский — М. А. Достоевскому. 30 октября 1838. Петербург

Любезнейший папенька! <...>

Наш экзамен приближался к концу; я гордился экзаменом, я экзаменовался отлично, и что же? Меня оставили на другой год в классе. Боже мой! Чем я прогневал Тебя? Отчего не посылаешь Ты мне благодати своей,

которою мог бы я обрадовать нежнейшего из родителей? О скольких слез мне это стоило. Со мной сделалось дурно, когда я услышал об этом. В 100 раз хуже меня экзаменовавшиеся перешли (по протекции). Что делать, видно, сам не прошибешь дороги. Скажу одно: ко мне не благоволили некоторые из преподающих и самые сильные своим голосом на конференцной. С двумя из них я имел личные неприятности. Одно слово их, и я был оставлен. <...>

О подлость! (ПСС, XXVIII, I, с. 51—52.)

М. А. Достоевский — В. М. Достоевской. 19 ноября 1838. Даровое

Любезный друг Варинька!

<...> я получил от брата твоего, Фединьки, письмо, для нас всех неприятное; он уведомляет, что на экзамене поспорил с двумя учителями, это сочли за грубость и оставили его до майя будущего года, в том же классе, это меня, при болезненном состоянии, до того огорчило, что привело в совершенное изнеможение, левая сторона тела начала неметь, голова начала кружиться; тут я призвал бога на помощь, послал за фельдшером, который измучил меня четырьмя разрезами до того, что я претерпел 4 обморока, не помню как наконец он успел мне пустить кровь, эта операция меня пооблегчила. Помню только, как во сне, Сашенькин плач, что папинька умер. Я жив, да и удивительно ли, жизнь моя закалена в горниле бедствий. (В кн.: Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского, с. 364.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. 31 октября 1838. Петербург

Я не переведен! О ужас! еще год, целый год лишний! Я бы не бесился так, ежели бы не знал, что подлость, одна подлость низложила меня; я бы не жалел, ежели бы слезы бедного отца не жгли души моей. До сих пор я не знал, что значит оскорбленное самолюбие. (ПСС, XXVIII, I, с. 53.)

Д. В. Григорович

Достоевский, сколько помнится, учился <...> не важно; он приневоливал себя с тем, чтобы окончить курс и переходить из класса в класс без задержки. Последнее не удалось ему, однако ж; при переходе в один из классов, он не выдержал экзамена и должен был в нем остаться еще год; неудача эта потрясла его совершенно; он сделался болен и пролежал несколько времени в лазарете. (Рус. мысль, 1892, № 12, с. 23.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. 31 октября 1838. Петербург

Философию не надо полагать простой математической задачей, где неизвестное — природа... Заметь, что поэт в порыве вдохновенья разгадывает бога, след<овательно>, исполняет назначенье философии. След<овательно>, поэтический восторг есть восторг философии... След<овательно>, философия есть та же поэзия, только высший градус ее!.. (ПСС, XXVIII, I, с. 54.)

А. И. Савельев (в передаче О. Ф. Миллера)

Любимым местом его занятий была амбразура окна в угловой (так называемой круглой каморе) спальне роты, выходящей на Фонтанку. В этом изолированном от других столиков месте, сидел и занимался Ф. М. Достоевский; случалось нередко, что он не замечал, что кругом его делалось <...> Достоевский только тогда убирал в столик свои книги и тетради, когда проходивший по спальням барабанщик, бивший вечернюю зорю, принуждал его прекратить свои занятия. Бывало, в глубокую ночь, можно было заметить Ф<едора> М<ихайловича> у столика сидящим за работою. Набросив на себя одеяло сверх белья, он, казалось, не замечал, что от окна, где он сидел, сильно дуло <...>. Нередко на замечания мои, что здоровее вставать ранее и заниматься в платье, Ф<едор> М<ихайлович> любезно соглашался, складывал свои тетради и, по-видимому, ложился спать; но проходило немного времени, его можно было видеть опять в том же наряде, у того же столика, сидящим за его работою. (Биография, с. 42—43.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. 1 января 1840. Петербург

Что же касается до Гомера <...> то ты, кажется, нарочно не хотел понять меня. Вот как я говорю: Гомер (баснословный человек, может быть как Христос, воплощенный богом и к нам посланный) может быть параллелью только Христу, а не Гете. Вникни в него, брат, пойми «Илиаду», прочти ее хорошенько (ты ведь не читал ее? признайся). Ведь в «Илиаде» Гомер дал всему древнему миру организацию в духовной и земной жизни, совершенно в такой же силе, как Христос новому. (ПСС, XXVIII, I, с. 69.)

А. И. Савельев

Невозмутимый и спокойный по природе, Ф<едор> М<ихайлович> казался равнодушным к удовольствиям и развлечениям его товарищей; его нельзя было видеть ни в танцах, которые бывали в училище каждую неделю, ни в играх в «загонки, бары, городки», ни в хоре певчих. Впрочем, он принимал живое участие во многом, что интересовало остальных кондукторов, его товарищей. Его скоро полюбили и часто следовали его совету или мнению. (Рус. старина, 1918, № 1—2, с. 13—14.)

А. Е. Ризенкампф (в передаче О. Ф. Миллера)

Вот как описывает д<окто>р Ризенкампф тогдашнего Федора Михайловича: «довольно кругленький, полненький светлый блондин с лицом округленным и слегка вздернутым носом... Светло-каштановые волосы были коротко острижены, под высоким лбом и редкими бровями скрывались небольшие, довольно глубоко лежащие серые глаза; щеки были бледные, с веснушками; цвет лица болезненный, землистый, губы толстоватые. Он был далеко живее, подвижнее, горячее степенного своего брата... <...> Природная прекрасная его декламация выходила из границ артистического самообладания». (Биография, с. 35.)

М. М. Достоевский — М. А. Достоевскому. Начало октября 1838. Ревель

О брате Феде не беспокойтесь. <...> Неужели вы полагаете, что там один только он худо чертит? Поверьте, что там гораздо более половины таких, которые не только чертить, но и учиться не умеют! (Лит. наследство, т. 86, с. 362.)

Пить или не пить: к вопросу о чае

Достоевский — М. А. Достоевскому. 23 марта 1839. Петербург

Я задолжал кругом и очень много. Я должен по крайней мере 50 р. Боже мой! Долго ли я еще буду брать у Вас последнее. Но эта помощь необходима или я пропал. Срок платежа прошел давно. Спасите меня. Пришлите мне 60 р. (50 р. долга, 10 для моих расходов до лагеря). Скоро в лагери, и опять новые нужды. Боже мой! Знаю, что мы бедны. Но, бог свидетель, я не требую ничего лишнего. Итак, умоляю Вас помогите мне скорее, как можно. <...>

Я сейчас только приобщался. Денег занял для священника. Давно уже не имею ни копейки денег. (ПСС, XXVIII, I, с. 57.)

Достоевский — М. А. Достоевскому. 5—10 мая 1839. Петербург

Волей или неволей, а я должен сообразовываться вполне с уставами моего теперешнего общества. К чему же делать исключенья собою? Подобные исключенья подвергают иногда ужасным неприятностям. Вы сами это понимаете, любезный папенька. Вы жили с людьми. Теперь: лагерная жизнь каждого воспитанника военно-учебных заведений требует по крайней мере 40 р. денег. (Я Вам пишу все это потому, что я говорю с отцом моим). В эту сумму я не включаю таких потребностей, как например: иметь чай, сахар и проч. Это и без того необходимо, и необходимо не из одного приличия, а из нужды. Когда вы мокнете в сырую погоду под дождем в полотняной палатке, или в такую погоду, придя с ученья усталый, озябший, без чаю можно заболеть; что со мною случилось прошлого года на походе. Но все-таки я, уважая Вашу нужду, не буду пить чаю. (ПСС, XXVIII, I, с. 60.)

Л. М. Жемчужников

Спали мы в больших, хороших палатках, но в сильный дождь они промокали до того, что одеяло и постель были мокры, и только оставалось сухое то место, на котором лежишь. Тюфяки и подушки были парусиновые, набитые соломой. Ружья стояли посреди палатки. Умывались в поле, далеко от палаток, на открытом воздухе. (Мои воспоминания из прошлого.)

М. С. Максимовский

Его Величество, посетив раз кадетский лагерь, нашел, что кондукторы лежали в сырости и на совершенно мокрой соломе. Он приказал отправлять маленьких на ночь во дворец, а большим умывать по вечерам ноги водкою. (Ист. очерк, 1-я пагин., с. 112.)

П. П. Семенов-Тян-Шанский

Я жил в одном с ним <Достоевским> лагере, в такой же полотняной палатке, отстоявшей от палатки, в которой он находился (мы тогда не были знакомы), всего только в двадцати саженях расстояния, и обходился без своего чая (казенный давали у нас по утрам и вечерам, а в Инженерном училище один раз в день), без собственных сапогов, довольствуясь казенными, и без сундука для книг, хотя я читал их не менее, чем Ф. М. Достоевский. Стало быть, все это было не действительной потребностью, а делалось просто для того, чтобы не отстать от других товарищей, у которых были и свой чай, и свои сапоги, и свой сундук. В нашем более богатом, аристократическом заведении мои товарищи тратили в среднем рублей триста на лагерь, а были и такие, которых траты доходили до 3000 рублей, мне же присылали, и то неаккуратно, 10 рублей на лагерь, и я не тяготился безденежьем. (Детство и юность. Пг., 1917, с. 203.)

Л. М. Жемчужников

Лагерная столовая стояла далеко; это был навес на деревянных столбах, вдоль которого тянулись столы, покрытые черной клеенкой, и на них расставлены были деревянные миски, ложки, кружки с квасом и черный хлеб. К каждой миске садилось пять, шесть человек, составляющих артель. <...> Кормили нас в лагерях лучше, чем в городе, из боязни, что приедет царь и попробует, что он делал нередко. (Мои воспоминания о прошлом, с. 47.)

М. А. Достоевский — Достоевскому. 27 мая 1839. Даровое

Любезный друг Фединька! <...>

Пишешь ты, что терпишь и в лагерях будешь терпеть нужду в самых необ-

ходимейших вещах, как то: в чае, сапогах и т. п., и даже изъявляешь на ближних твоих неудовольствие, в коем разряде без сомнения и я состою, в том, что они тебя забывают. Как ты несправедлив ко мне в сем отношении! Ты писал что состоишь должным 50 р. и просил, чтобы прислать тебе для расплаты, а также и для себя хотя 10 р., вот твои слова. Я выслал тебе семьдесят пять рублей <...>. Теперь ты, выложивши математически свои надобности, требуешь еще 40 р. Друг мой! роптать на отца за то, что он тебе прислал сколько позволяли средства, предосудительно и даже грешно. Вспомни, что я писал третьего года к вам обоим, что урожай хлеба дурной, прошлого года писал тоже, что озимого хлеба совсем ничего не уродилось. Теперь пишу тебе, что за нынешним летом последует решительное и конечное расстройство нашего состояния. Представь себе зиму, продолжавшуюся почти 8 месяцев, представь, что по дурным нашим полям мы и в хорошие годы всегда покупали не только сено, но и солому, то кольми паче теперь для спасения скота я должен был на сено и солому употребить от 500 до 600 руб. Снег лежал от мая месяца, следовательно, кормить скот чем-нибудь надобно было. Крыши все обнажены для корму. Но это ничто в сравнении с настоящим бедствием. С начала весны и до сих пор ни одной капли дождя, ни одной росы. Жара, ветры ужасные все погубили. Озимые поля черны, как будто и не были сеяны; много нив перепахано и засеяно овсом, но это, по-видимому, не поможет, ибо от сильной засухи, хотя уже конец мая, но всходов еще не видно. Это угрожает не только разорением, но и совершенным голодом! После этого станешь ли роптать на отца за то, что тебе посылает мало. Я ...[1] ужаснейшую нужду в платье ... уже 4 года я себе решительно ... зделал ни одного, старое ... в ветхость, не имею никогда собственно для себя ни одной копейки, но я подожду. Теперь посылаю тебе тридцать пять рублей асс<игнациями>, что по московскому курсу составляет 45 р. 75 к., расходуй их расчетливо, ибо, повторяю, что я не скоро буду в состоянии тебе послать. (В семье и усадьбе, с. 120—121.)

М. М. Достоевский — А. А. и А. Ф. Куманиным. 30 июня 1839. Ревель

Подивитесь предчувствию души моей. В ночь на 8-е июня — я видел во сне покойного папиньку. Вижу, как будто он сидит за письменным столиком и весь как лунь седой; ни одного волоса черного; я долго смотрел на него, и мне стало так грустно, так грустно, что я заплакал; потом я подошел к нему и поцеловал его в плечо, не быв им замеченным, и проснулся. Я тогда же подумал, что это не к добру <...>. (В кн.: Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского, с. 414.)

«Скоропостижно умре...»

Достоевский — А. Г. Достоевской. 28 апреля 1871. Висбаден

<...> я сегодня ночью видел во сне отца, но в таком ужасном виде, в каком он два раза только являлся мне в жизни, предрекая грозную беду, и два раза сновидение сбылось. (ПСС, XXIX, I, с. 197.)

А. Г. Достоевская

Ф<едор> М<ихайлович> придавал значение снам. Очень тревожился он, когда видел во сне брата Мишу и в особенности своего отца. Сновидение предвещало горе или беду и я была несколько раз свидетельницею тому, что вскоре (дня 2—3 спустя) после подобного сновидения наступала чья-либо болезнь или смерть в нашей семье, доселе здоровой, тяжелый припадок с Ф<едором> М<ихайловичем> или какая-нибудь материальная беда. (В кн.: Письма Ф. М. Достоевского к жене. М.—Л., 1926, с. 316.)

Из ведомости Моногаровской церкви. 1838

Сельца Дарового Помещик надворный советник Михаил Андреев Достоевский вдов — 51 г[2].

дети его: Николай — 6 л.

Александра — 3 л.

живущая в доме его московская мещанка девица Елена Флорова[3] —63 г. (В семье и усадьбе, с. 156.)

А. М. Достоевский

Но, наконец, вот он <М. А. Достоевский> в деревне, в осенние и зимние месяцы, когда даже и полевые работы прекращены.— После очень трудной двадцатипятилетней деятельности отец увидел себя закупоренным в две-три комнаты деревенского помещения, без всякого общества. Овдовел он в сравнительно не старых летах, ему было 46—47 лет. По рассказам няни Алены Фроловны он в первое время даже доходил до того, что вслух разговаривал, предполагая, что говорит с покойной женой и отвечал себе ее обычными словами... От такового состояния, особенно в уединении, недалеко и до сумасшествия. Независимо

[1] «Край листа вырван, отчего пострадал текст письма». (Прим. В. С. Нечаевой.)

[2] В 1638 г. М. А. Достоевскому, если верить формулярным спискам, 49 лет. Но может быть, на исповеди он называет более точную цифру? — И. В.

[3] Алена Фроловна.— И. В.

всего этого он понемногу начал злоупотреблять спиртными напитками. В это время он приблизил к себе бывшую у нас в услужении еще в Москве девушку Катерину. При его летах и в его положении, кто особенно осудит его за это?! (Воспоминания, с. 109.)

Из ведомости Моногаровской церкви. 1838

<...> сын ее <Катерины> незаконнорожденный Симеон 3 мес. (В семье и усадьбе, с. 58.)

Акулина, крестьянка с. Дарового, бывшая прислуга Достоевских. Записано О. А. Ивановой

Оставшись один после смерти своей жены, Михаил Андреевич очень тосковал. Во время приступов тоски он стонал, бегал по комнате и даже бился головой об стену. (Хроника рода Достоевского, с. 55.)

А. М. Достоевский

Пристрастие его к спиртным напиткам видимо увеличилось, и он почти постоянно бывал не в нормальном состоянии. (Воспоминания, с. 109.)

Из черновиков воспоминаний А. М. Достоевского

Причины смерти отца.

Сильная любовь его к матери, его сумасшествие, его привязанность к рюмочке. Приближение Катьки. Постоянное возбужденное состояние <...>. (В семье и усадьбе, с 60.)

Иван Мелихов, крестьянин с. Чермошны. Записано В. С. Нечаевой 8 июля 1925

Семен[1] был хитрый мужик. Вез он раз воз ржи мимо барского дому. А в старину было так: всяк должон у барского дома шапку снять. Семен, чтобы шапки не снимать, взял да по другую сторону дома и поехал. А барин-то зашел с другой стороны и говорит: «Здорово, Семушка! Ты и шапки перед барином снять не хочешь». И велел ему закатить.. (Новый мир, 1926, № 3, с. 133.)

А. де Кюстин

Недавно в какой-то далекой деревне, в которой вспыхнул пожар, крестьяне, изнемогавшие от жестокостей своего господина, воспользовались суматохой, быть может ими же вызванной, схватили своего врага, убили его, посадили на кол и сжарили в огне пожара. (Николаевская Россия, с. 75.)

Данил Макаров, крестьянин с. Дарового. Записано Д. Стоновым в 1926 г.

Я, гражданин <...> старого барина, конечно, не упомнил — где там! Мне отец-покойник рассказывал о нем Зверь был человек! Душа у него была темная — вот что! (Красная нива, 1926, № 16, с. 18.)

А. И. Герцен. Былое и думы

А тут чувствительные сердца и начнут удивляться, как мужики убивают помещиков с целыми семьями <...>.

В передних и девичьих, в селах и полицейских застенках, схоронены целые мартирологи страшных злодейств, воспоминание об них бродит в душе и поколениями назревает в кровавую, беспощадную месть <...>. (Полярная звезда на 1855, кн. I, с. 142.)

А. де Кюстин

Крестьянские волнения растут: каждый день слышишь о новых поджогах и убийствах помещиков[2]. <...> Можете себе представить, какая расправа уготована для виновников! Впрочем, всю Россию в Сибирь не сослать! Если ссылают людей деревнями, то нельзя подвергнуть изгнанию целые губернии. (Николаевская Россия, с. 268.)

Л. Ф. Достоевская

Мой дед Михаил обращался всегда очень строго со своими крепостными. Чем больше он пил, тем свирепее становился, до тех пор, пока они, в конце концов не убили его. (Достоевский в изображении дочери, с. 16.)

А. Дроздов

На голой дороге между Чермашней и Даровым в глухую ночь Михаил Андреевич был убит крестьянами, страшное это место и ныне пугает в ночи. (Известия, 1924, 4 ноября.)

В. С. Нечаева

Смутно хранится в памяти крестьян образ отца писателя, Михаила Андреевича Достоевского. Помнят, что барин был суровый, недобрый, но лично знавших его крестьян уже нет в живых. Отчетливо стоит в памяти крестьян лишь факт его насильственной смерти. Наиболее подробно рассказать об этом факте смогли два крестьянина с. Дарового, Данила Макаров и Андрей Саввушкин. Первый, девяностолетний старик, был мальчиком лет семи, когда было совершено убийство, второй рассказывал со слов своего отца. Рассказывали старики вместе, поправляя и дополняя друг друга. (Новый мир, 1926, № 3, с. 131.)

Данил Макаров и Андрей Саввушкин. Записано В. С. Нечаевой 8 июля 1925 г.

Чермашинские мужики задумали с ним кончить. Сговорились между собой — Ефимов, Михайлов[3], Исаев да Василий Никитин[4]. Теперь все равно ни-

[1] Дед Мелихова.— И. В.

[2] Летом 1839 г.— И. В.

[3] Муж Мареевой дочери Настасьи.— И. В.

[4] Двоюродный брат Михайлова, свойственник Марея.— И. В.

кого на свете нет, давно сгнили,— можно сказать. Петровками, о сю пору, навоз мужики возили. Солнце уже высоко стояло, барин спрашивает, все ли выехали на работу. Ему говорят, что из Чермашни четверо не поехало, сказались больными. «Вот я их вылечу» — велел дрожки заложить. А у него палка вот какая была. (Новый мир, 1926, № 3, с. 132.)

Данил Макаров. Записано Д. Стоновым в 1926 г.

А кучер тут и не выдержал, говорит — не езжайте, барин, может с вами там что приключится. Барин на него кричит — топчет — ты хочешь, чтоб я их не лечил? Закладывай живей! — Кучер только рукой махнул, пошел запрягать. (Красная нива, 1926, № 16, с. 18.)

Данил Макаров и Андрей Саввушкин. Записано В. С. Нечаевой 8 июля 1925 г.

А кучер Давид был подговорен. (Новый мир, 1926, № 3, с. 132.)

А. М. Достоевский

<...> кучер Давид Савельев <...> был крепостным еще до женитьбы отца и жил у нас бессменно по день смерти папеньки <...>. Личность эту папенька особенно любил и уважал против прочей кухонной прислуги. (Воспоминания, с. 28.)

Л. Ф. Достоевская

В один летний день он <М. А. Достоевский> отправился из своего имения Дарового в свое другое имение под названием Чермашня и больше не вернулся... (Достоевский в изображении дочери, с. 16.)

А. М. Достоевский

Вот в это-то время в деревне Черемошне на полях под опушкою леса работала артель мужиков, в десяток или полтора десятка человек; дело, значит, было вдали от жилья. (Воспоминания, с. 109—110.)

Данил Макаров. Записано Д. Стоновым в 1926 г.

Приезжает барин в Чермашню, а там никого и нет, дети — и те по домам спрятались. Только около одного дома Ефимов сидит, курит.— Почему на работу не вышел? — Болен.— Я тебя полечу,— барин говорит и дубинку поднимает: — Я тебя лечить стану. А Ефимов — не будь дурак! — юрк в ворота. Барин за ним. Как он в ворота сунулся, тут все трое на него и напали. (Красная нива, 1926, № 16, с. 18.)

Данил Макаров и Андрей Саввушкин. Записано В. С. Нечаевой 8 июля 1925 г.

Приехал, а мужики уже стоят на улице.— «Что не едете?» — «Мочи, говорят, нет». Он их палкой одного, другого. Они во двор, он за ними. Тут Василий Никитин — здоровый, высокий такой был, его сзади за руку схватил, а другие стоят, испугались. Василий им крикнул: «Что ж стоите? зачем сговаривались?» (Новый мир, 1926, № 3, с. 132.)

А. М. Достоевский

Выведенный из себя каким-то неуспешным действием крестьян, а может быть, только казавшимся ему таковым, отец вспылил и начал очень кричать на крестьян. Один из них, более дерзкий, ответил на этот крик сильною грубостью, и вслед затем, убоявшись последствий этой грубости, крикнул: «Ребята, карачун ему!..» и с этим возгласом все крестьяне, в числе до 15 человек, кинулись на отца и в одно мгновенье, конечно, покончили с ним. (Воспоминания, с. 110.)

Из черновиков воспоминаний А. М. Достоевского

<два слова нрзб> рабочих в Черемошне, крик его на крестьян. Протест их. Боязнь протеста порешили. (В семье и усадьбе, с. 60.)

В. С. Нечаева

М. А. Иванова, со слов соседней помещицы старушки, от которой она слышала рассказ об убийстве, сообщила нам, что убийство произошло посредством сжатия мочевого пузыря. Вследствие чего на теле будто бы нельзя было обнаружить никаких признаков насильственной смерти. (Новый мир, 1926, № 3, с. 132.)

Данил Макаров и Андрей Саввушкин. Записано М. В. Волоцким 8 июля 1925 г.

Мужики бросились да за нужное место; нужное место ему завернули. Бить не били, знаков боялись. Приготовили они бутылку спирту, барину рот разжали, весь спирт ему в глотку вылили и в рот тряпку забили. От этого барин и задохнулся. (Хроника рода Достоевского, с. 58.)

Л. Ф. Достоевская

Его <М. А. Достоевского> нашли позже на полпути, задушенным подушкой из экипажа. Кучер исчез вместе с лошадьми, одновременно исчезли еще некоторые крестьяне из деревни. Во время судебного разбирательства другие крепостные моего деда показали, что это был акт мести. (Достоевский в изображении дочери, с. 16—17.)

Данил Макаров и Андрей Саввушкин. Записано М. В. Волоцким 8 июля 1925 г.

<...> его кучер увез и под Чермошней на меже у дуба — стоит еще и теперь дуб этот! — и свалил, а сам, не заезжая в Даровое, в Моногарово за попом. (Хроника рода Достоевского, с. 58.)

Данил Макаров. Записано Д. Стоновым в 1926 г.

Приехал священник, а барин еще дыхал, говорить не может, а дыхать — дыхал.

Священник кучера спрашивает: — что ты с барином сделал?

— С ним — кучер отвечает — удар и боле ничего. А с ним удары и ране бывали. Туда-сюда — пришлось поверить. Тем дело и кончилось. (Красная нива, 1926, № 16, с. 18.)

Данил Макаров и Андрей Саввушкин. Записано В. С. Нечаевой 8 июля 1925 г.

Поп глухую исповедь принял, знал он да скрыл, крестьян не выдал. Следователи потом из Каширы приезжали, спрашивали всех, допытывали, ничего не узнали. Будто от припадка умер, у него припадки бывали. (Новый мир, 1926, № 3, с. 132.)

М. М. Достоевский — А. А. и А. Ф. Куманиным. 30 июня 1839. Ревель

Боже мой! боже мой, какою ужасною смертью умер папинька! два дня на поле... может быть дождь, пыль ругались над бренными останками его; может быть, он звал нас в последние минуты, и мы не подошли к нему, чтобы смежить его очи. Чем он заслужил себе конец такой! (В кн.: Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского, с. 414.)

В. С. Нечаева

8 июля 1925 г. М. В. Волоцкой, автор труда «Хроника рода Достоевского» (1933), и я <...> ездили в Даровое со специальной целью побеседовать с крестьянами на эту тему. Обстоятельные, спокойные рассказы стариков были чужды всякого стремления к эффекту, не было в них противоречий, путаницы. Правильно назывались имена давно умерших крестьян, которые я потом проверила по церковным ведомостям села Моногарова. Они так оправдывали оглашение долго скрывавшегося преступления: «Теперь все равно никого нет на свете, давно сгнили,— можно сказать». (Ранний Достоевский, 1821—1849. М., 1979, с. 93.)

Донесение из Каширского земского суда Тульскому гражданскому губернатору. 16 июня 1839

Сего июня 6 числа утром Надворный Советник Михайло Андреев Достоевский имея от роду 54 года[1], распоряжавшийся имением покойной его жены Каширского уезда в селе Даровом — быв в поле для присмотра за возившими крестьянами навоз скоропостижно умре по произведенному временным отделением Сего Суда следствию в насильственной смерти его Г-на Достоевского сомнения и подозрения никакого не оказалось. (Лит. газета, 1975, 18 июня.)

Из черновиков воспоминаний А. М. Достоевского

Скрыли. Почему скрыли... Почему не возбуждали <два слова нрзб> Так и остались убийцы без наказания. Про няню, про Аришу. (В семье и усадьбе, с. 60.)

А. М. Достоевский

Няня Алена Фроловна жила вместе с папенькой в деревне и была почти свидетельницей и очевидицею катастрофы, т. е. видела труп отца. <...> Она ходила довольно часто к Куманиным и тут-то во время каникул 1839 года я услышал от нее все подробности о жизни отца в деревне и о его убийстве. (Воспоминания, с. 108.)

М. М. Достоевский — А. А. и А. Ф. Куманиным. 30 июня 1839. Ревель

На этой неделе получил я от брата Феодора письмо, в котором он извещает меня о несчастии, постигшем семейство наше. Видно Провидению угодно было вновь поставить на пробу твердость нашего духа и заставить нас до дна испить чашу горести. Мы теперь круглые сироты, без матери, без отца. <...> Из деревни я не получал еще никакого известия, а брат пишет очень неясно о всем происшедшем; потому я почти ничего не знаю подробно. (В кн.: Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского, с. 413.)

А. М. Достоевский

Сперва от меня как будто бы скрывали причину смерти отца, говоря, что он скончался в одночасье, скоропостижно, ударом и т. п. Но из разговоров, высказываемых вскользь, которым я был свидетелем, я вскоре убедился, что сообщения эти неверны, и я начал приставать сперва к сестре, а потом и к тетушке <А. Ф. Куманиной>, чтобы мне сказали всю истину, и в результате достиг того, что от меня перестали скрывать действительную причину смерти отца, то есть что он был убит своими крестьянами. Впоследствии я много слышал подробностей этого убийства из уст сестры Веры Михайловны, а главное от девушки Ариши и от няни Алены Фроловны. Арина Архипьевна <«Ариша»> жила у тетушки и ходила за ней. Конечно, к ней приходили родные из деревни, и от них-то она слышала все подробности, переданные мне впоследствии. (Воспоминания, с. 108.)

Протокол заседания Тульской судебной управы (в изложении Г. А. Федорова)

<...> 6 июля в Каширский земский суд явился местный помещик ротмистр

---

[1] По данным формулярных списков — 50 лет, церковной ведомости—52 года.— И. В.

А. И. Лейбрехт, «изъявив в смерти Его Достоевского подозрение на крестьян его». От него потребовали «на бумаге сведения».

И Лейбрехт записал: «...слышал от Г-на В. Ф. Хотяинцева, что в смерти... Достоевского имеется сумнение в том, что будто бы какая-то девка Г-на Достоевского слышала крик его, и чтобы она о том никому не говорила брат ее запрещал; люди его Достоевского так озлоблены когда обмывали тело умершего били по пятам и не хотели оное вносить в церковь». (Лит. газета, 1975, 18 июня.)

А. М. Достоевский

Как стая коршунов, наехало из Каширы так называемое временное отделение. Первым его делом, конечно, было разъяснить, сколько мужики могут дать за сокрытие этого преступления. Не знаю, на какой сумме они порешили, и не знаю также, где крестьяне взяли вдруг, вероятно, немаловажную сумму денег, знаю только, что временное отделение было удовлетворено, труп отца был анатомирован, при чем найдено, что смерть произошла от апоплексического удара, и тело было предано земле в церковном погосте села Моногарова. (Воспоминания, с. 110.)

Данил Макаров и Андрей Саввушкин. Записано М. В. Волоцким 8 июля 1925 г.

Следователи потом из Каширы приезжали, спрашивали всех, допытывали, ребятишек даже гостинцами сманивали, но ничего не узнали. (Хроника рода Достоевского, с. 58.)

В. С. Нечаева

Характерно, что крестьянин Чермашни, с которым мы беседовали, семидесятилетний старик Иван Васильевич Мелихов решительно отверг факт убийства и изобразил картину смерти так, как, вероятно, официально она была установлена. Барин ехал на дрожках в поле из Дарового в Чермашню, с ним сделался удар, кучер его оставил в поле и поскакал за священником в Моногарово. (Новый мир, 1926, № 3, с. 133.)

Резолюция на донесение исправника о необходимости доследования дела о смерти М. А. Достоевского

Напротив же сего, по произведенному следствию... оказалось совершенно сему <сообщенному Лейбрехтом> противное... со всеми тщательными изысканиями ничего не оказалось и ни от кого никакого сумнения кроме г-на Лейбрехта. (Лит. газета, 1975, 18 июня.)

Из протокола судебного заседания (в изложении Г. А. Федорова)

<...> 12 сентября они <Лейбрехт и В. Ф. Хотяинцев> явились в суд, и Лейбрехт, повторив ранее сказанное («все сии слухи», как сказано в документе), уличил Хотяинцева: его показания в суде — пересказ того, что услышано у Хотяинцева дома. Хотяинцев, однако, вновь все отрицал и заявил: Лейбрехт «вывел» на него «все по злобе». И тут Лейбрехт дал новые показания, из которых открылось, что В. Ф. Хотяинцев прямо просил Лейбрехта сообщить исправнику: «Г-н Хотяинцев <...> его <исправника> ждет к себе непременно дабы открыть все сие дело». (Лит. газета, 1975, 18 июня.)

А. М. Достоевский

Оба Хотяинцевы, т. е. муж и жена, не скрывали от бабушки <вдовы Ф. Т. Нечаева, посетившей Даровое в конце июня 1839 г.> истинной причины смерти папеньки, но не советовали возбуждать об этом дела, как ей, так и кому-либо другому из ближайших родственников. Причины к этому выставляли следующие:

а) отца детям не воротишь;

б) трудно предположить, чтобы виновное временное отделение дало себя изловить; по всей вероятности и второе переосвидетельствование трупа привело бы к тем же лживым результатам;

в) что ежели бы, наконец, и допустить, что дело об убиении отца и раскрылось бы со всею подробностью, то следствием этого было бы окончательное разорение оставшихся наследников, так как все почти мужское население деревни Черемошни было бы сослано на каторгу. (Воспоминания, с. 110.)

А. де Кюстин

В таких случаях царь обыкновенно высылает всю деревню в Сибирь, и это называется в Петербурге: «заселять Азию». (Николаевская Россия, с. 75.)

Из постановления Каширского уездного суда. 16 ноября 1839

<...> случай смерти <...> предать суду воли Божией, так как в оной виновных никого нет. (Лит. газета, 1975, 18 июня.)

А. М. Достоевский

Вероятно, старшие братья узнали истинную причину смерти отца еще ранее меня, но и они молчали. (Воспоминания, с. 110—111.)

Л. Ф. Достоевская

Замечательно, что вся родня моего деда считала эту насильственную смерть позором, никогда не говорила об этом и не позволяла литературным друзьям Достоевского, которым были известны подробности его жизни, говорить об этом в их воспоминаниях о моем отце. <...>

Семейное предание гласит, что с Достоевским при первом известии о смерти отца сделался первый припадок эпилепсии. (Достоевский в изображении дочери, с. 17.)

О. Ф. Миллер

Есть еще одно совершенно особое свидетельство о болезни Ф<едора> М<ихайловича>, относящее ее к самой ранней его юности, и связывающее ее с трагическим случаем в их семейной жизни. Но хотя это и передано мне на словах очень близким к Ф. М. человеком, я ниоткуда более не встретил подтверждения этому слуху, а потому и не решаюсь подробно и точно его изложить. (Биография, с. 141.)

Л. Ф. Достоевская

Это преступление, совершенное во время его юности столь любимыми крестьянами Дарового, произвело глубокое впечатление на юношу. Он помнил это всю жизнь и глубоко анализировал причины этой ужасной смерти. (Достоевский в изображении дочери, с. 17.)

А. С. Суворин

Во время политических преступлений наших, он <Достоевский> ужасно боялся резни, резни образованных людей народом, который явится мстителем. «Вы не видели того, что я видел, говорил он; вы не знаете, на что способен народ, когда он в ярости. Я видел страшные, страшные случаи». (Новое время, 1881, 1 февраля.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. 16 августа 1839. Петербург

Милый брат! Я пролил много слез о кончине отца, но теперь состоянье наше еще ужаснее; не про себя говорю я, но про семейство наше. <...> есть ли в мире несчастнее наших бедных братьев и сестер? Меня убивает мысль, что они на чужих руках будут воспитаны. (ПСС, XXVIII, I, с. 62.)

М. М. Достоевский — А. А. и А. Ф. Куманиным, 30 июня 1839. Ревель

Слезы мешают писать мне далее <...>.

Братьев и сестер всех целую. Бедная Варинька! Ты потеряла лучшего друга и нежнейшего из отцов! (В кн.: Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского, с. 414.)

Из дневника А. М. Достоевского

Отец похоронен в церковной ограде. На могиле его лежит камень без всякой надписи и могила окружена деревянною решеткою, довольно ветхою. Надо будет озаботиться возобновить ограду.

Примечание его сына А. А. Достоевского. Этого намерения Андрею Михайловичу, к сожалению, не довелось привести в исполнение. (В кн.: Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского, с. 411.)

А. Дроздов

Тело Михаила Андреевича, рядом с телом его сестры <дочери?>, погребено на запущенном моногаровском кладбище. Каменная плита сброшена с его могилы, решетка разломана. Тропинка поросла травою, в которой путается нога. Жизнь забыла о нем. (Известия, 1924, 4 ноября.)

Обстоятельства места: отступление в 1801 год

О. Ф. Миллер

В памяти самого Ф<едора> М<ихайловича>, кстати будет заметить, отчетливо сохранилась историческая топография инженерного замка, который очень нравился ему своею архитектурой.

Примечание. Занесено в записную книжку А. Г. Достоевской. (Биография, с. 44.)

А. Коцебу

Внутренность дворца представляет истинный лабиринт темных лестниц и мрачных коридоров, в которых день и ночь горят лампы; мне нужно было более двух недель, чтобы обойтись без провожатого и чтобы научиться ходить одному, не заблуждаясь, по этому лабиринту. (В кн.: Шильдер Н. К. Император Павел Первый. Спб., 1901, с. 459.)

А. де Кюстин

Я удивляюсь лишь тому, что до сих пор не снесли этого дворца с его мрачными воспоминаниями. Но для туриста большая удача видеть историческое здание, которое своей стариной внешностью так резко выделяется на общем фоне города, в котором деспотизм все подстриг под одну гребенку, все уравнял и создал заново, стирая каждый день самые следы прошлого. Впрочем, эта беспокойная стремительность, пожалуй, и является причиной того, что старый Михайловский замок уцелел: о нем просто забыли. Его огромный четырехугольный массив, глубокие каналы, его трагические воспоминания, потайные лестницы и двери, которые так способствовали преступлению, его необычайная высота в городе, где все строения придавлены, — все это придает старинному дворцу какое-то особенное величие, которое редко встречается в Петербурге. (Николаевская Россия, с. 64.)

Из ведомости о расходах Павла I в первые три недели царствования

28-го <ноября 1796 г.>. На построение замка Михайловского дворца .... Повеленная сумма ...395.600 <р.> (Рус. старина, 1873, № 7, с. 99.)

Указ Павла I о строительстве Михайловского замка. 28 ноября 1796

<...> повелеваю употребить всевозможные способы, чтоб помянутый замок в течение будущего 1797 года мог быть вчерне отделан. (Цит. по кн.: Михайлов А. И. Баженов. М., 1951, с. 270.)

А. Коцебу

Подвалы и нижний этаж выстроены из тесанного гранита, а два верхние этажа из кирпича, по большей части облицованного мрамором. Остальные части стен окрашены в красноватый цвет, происхождение которого преданием, довольно достоверным, приписывается рыцарской любезности. Говорят, что одна придворная дама[1] однажды явилась в перчатках этого цвета, и что император послал одну из этих перчаток в образец составителю этой краски. Надобно сознаться, однако же, что столь резкий красный цвет более приличен для пары перчаток, чем для дворца. (Император Павел Первый, с. 447.)

К.-Ф. Розенцвейг, саксонский посланник при дворе Павла I

У дворца было имя архангела и краски любовницы. (Цит. по кн.: Шиман Т., Брикнер А. Смерть Павла Первого. М., 1910, с. 72.)

А. де Кюстин

Если в России молчат люди, то за них говорят — и говорят зловеще — камни. Я не удивляюсь, что русские боятся и предают забвению свои старые здания. Это — свидетели их истории, которую они чаще всего хотели бы возможно скорее забыть. Когда я увидел глубокие каналы, массивные мосты, пустынные галереи этого мрачного дворца, я невольно вспомнил о том имени, которое с ним связано, и о той катастрофе, которая возвела Александра на трон. Передо мной воскресла вся обстановка этой потрясающей сцены, которой закончилось царствование Павла I. (Николаевская Россия, с. 63.)

А. С. Пушкин. Вольность. 1817

Глядит задумчивый певец
На грозно спящий средь тумана
Пустынный памятник тирана,
Забвенью брошенный дворец.<...>.

Н. С. Лесков. Привидение в Инженерном замке

В Петербурге во мнении многих подобною худою славою долго пользовалось характерное здание бывшего Павловского дворца, известное нынче под названием Инженерного замка. Таинственные явления, приписываемые духам и привидениям, замечали здесь почти с самого основания замка. Еще при жизни императора Павла тут, говорят, слышали голос Петра Великого и, наконец, даже сам император Павел видел тень своего прадеда. <...> Прадед будто бы покидал могилу, чтобы предупредить своего правнука, что дни его малы и конец их близок. Предсказание сбылось.

А. Ф. Ланжерон

<...> он <Павел> вскочил с постели, и если б сохранил присутствие духа, то легко мог бы бежать; правда, он не мог этого сделать через комнаты императрицы <...> но он мог спуститься к Гагарину и бежать оттуда. Но, по-видимому, он был слишком перепуган, чтобы соображать, и забился в один из углов маленьких ширм, загораживающих простую без полога кровать, на которой он спал. (Цареубийство 11 марта 1801 года. Спб., 1907, с. 143.)

А. Чарторыйский

Ищут с фонарем в руках и скоро находят несчастного императора забившимся в складки портьеры, за которой он старался спрятаться от них. Ни жив ни мертв, в одной сорочке, он был вытащен оттуда. <...> «Ваше Величество», сказал ему генерал <Беннигсен>, «вы — мой пленник, и ваше царствование окончено; откажитесь от короны, напишите и подпишите тотчас же акт отречения в пользу великого князя Александра». (Мемуары князя Адама Чарторижского и его переписка с императором Александром I. Т. 1, М., 1912, с. 219.)

А. Коцебу

Конечно, никого бы не удивило, если бы в эту минуту, как многие уверяли, государь поражен был апоплектическим ударом. И, действительно, он едва мог владеть языком, однако собрался с духом и весьма внятно сказал: «Non, non! je ne souscrirai point!»[2] (Цареубийство 11 марта 1801 года, с. 336.)

Л. Л. Беннигсен

Вдруг буйная толпа ворвалась с неистовыми криками, в спальню, впереди были три брата Зубовы. (Исторический сборник Вольной русской типографии, кн. 2. Лондон, 1861, с. 131.)

---

[1] «Княгиня Анна Петровна Гагарина, рожденная княжна Лопухина». (Примечание Н. К. Шильдера.)

[2] Нет, нет, я не подпишу! (фр.)

Н. А. Саблуков

<...> <Николай Зубов> сжимая в кулаке массивную золотую табакерку, со всего размаху нанес правою рукою удар в левый висок императора, вследствие чего тот без чувств повалился на пол. (Цареубийство 11 марта 1801 года, с. 88.)

А. С. Пушкин. Дневниковая запись 8 марта 1834

Скарятин снял с себя шарф, прекративший жизнь Павла I-го. (Полн. собр. соч., т. VIII. М., 1958, с. 38.)

А. Коцебу

Яшвиль и Мансуров накинули ему на шею шарф и начали его душить. Весьма естественным движением Павел тотчас засунул руку между шеей и шарфом; он держал ее так крепко, что нельзя было ее оторвать. Тогда какой-то изверг взял его за самые чувствительные части тела и стиснул их. Боль заставила его отвести туда руку, и шарф был затянут. (Цареубийство 11 марта 1801 года, с. 337.)

Т. Шиман

Александр не имел мужества сам участвовать в заговоре и тем спасти отца. (Цит. по кн.: Эйдельман Н. Я. Грань веков. М., 1982, с. 299.)

Достоевский. Братья Карамазовы

Глаза Смердякова злобно сверкнули <...>.

— А то самое я тогда разумел и для того я тогда это произносил что вы, знамши наперед про это убийство, родного родителя вашего, в жертву его тогда оставили, и чтобы не заключили после сего люди чего дурного об ваших чувствах, а может, и об чем ином прочем,— вот что тогда обещался я начальству не объявлять.

А. Н. Вельяминов-Зернов

Александр плакал и рвался беспрестанно идти на помощь к своему отцу. Гг. фицеры загораживали ему путь <...> умоляли его всеми возможными убеждениями и даже ложными обещаниями, что Павел не будет лишен жизни, не стремиться к отцу и подождать возвращения от него заговорщиков. (Ист. сборник, 2, с. 50.)

Достоевский. Братья Карамазовы

— Но отвечай, отвечай, я настаиваю: с чего именно, чем именно я мог вселить тогда в твою подлую душу такое низкое для меня подозрение?

— Чтоб убить — это вы сами ни за что не могли-с, да и не хотели, а чтобы хотеть, чтобы другой кто убил, это вы хотели.

Из манифеста о вступлении на престол Александра I. 12 марта 1801

Судьбам Вышнего угодно было прекратить жизнь любезного Родителя НАШЕГО, Государя Императора ПАВЛА ПЕТРОВИЧА, скончавшегося скоропостижно апоплексическим ударом в ночь с 11-го на 12-е число сего месяца. (Император Павел Первый, вклейка к стр. 489.)

Достоевский. Братья Карамазовы

<Смердяков:>

— <...> главный убивец во всем здесь единый вы-с, а я только самый не главный, хоть это и я убил. А вы самый законный убивец и есть!

Н. С. Лесков. Привидение в Инженерном замке

Неожиданная внезапность кончины императора Павла, по случаю которой в обществе тотчас вспомнили и заговорили о предвещательных тенях, встречавших покойного императора в замке, еще более увеличили мрачную и таинственную репутацию этого угрюмого дома. С тех пор дом утратил свое прежнее значение жилого дворца, а по народному выражению — «пошел под кадетов».

А. И. Савельев (в передаче О. Ф. Миллера)

Должно заметить, что в Михайловском (инженерном) замке, сохранилось до сих пор много устных преданий о первой четверти нынешнего столетия, касающихся истории замка: сохранились указания, где была тронная зала императора, его спальня, столовая, кухня, не так давно заделан ход в стене, в котором шла лестница из среднего этажа в нижний, уничтожен коридор, шедший к дверям, ведущим к каналу, где когда-то стояла лодка <...>. (Биография, с. 44.)

Н. С. Лесков. Привидение в Инженерном замке

Особенно было в моде пугать новичков или так называемых «малышей», которые, попадая в замок, вдруг узнавали такую массу страхов о замке, что становились суеверными и робкими до крайности. Более всего их пугало, что в одном конце коридоров замка есть комната, служившая спальней покойному императору Павлу, в которой он лег почивать здоровым, а утром его оттуда вынесли мертвым. «Старики» уверяли, что дух императора живет в этой комнате и каждую ночь выходит оттуда и осматривает свой любимый замок,— а «малыши» этому верили. Комната эта была всегда крепко заперта, и притом не одним, а несколькими замками, но для духа, как известно, никакие замки и затворы не имеют значения.

А. де Кюстин

В школах и вообще повсюду запрещено рассказывать о смерти Павла I, и са-

мое событие это никогда никем не упоминается. (Николаевская Россия, с. 64.)

Н. С. Лесков. Привидение в Инженерном замке

<...> спальная комната, из которой исходили главнейшие страхи Инженерного замка, была открыта и получила такое приспособление, которое изменило ее жуткий характер, но предания о привидении долго еще жили <...>. Кадеты продолжали верить, что в их замке живет, а иногда ночами является призрак. Это было общее убеждение, которое равномерно держалось у кадетов младших и старших, с тою, впрочем, разницею, что младшие просто слепо верили в привидение, а старшие иногда сами устраивали его появление. Одно другому, однако, не мешало, и сами подделыватели привидения его тоже побаивались.

Г. И. Тимченко-Рубан

В октябре 1822 года Великий Князь Николай Павлович вошел со всеподданнейшим докладом, в котором указывал, что в Михайловском замке размещены различные инженерные учреждения и что посему «существующая над главным фронтоном оного, во всю длину фасада надпись: «Дому Твоему подобаетъ святыня Господня въ долготу дней», равно надписи над воротами: «Воскресенскія», «Зачатейскія» и «Рождественскія» — неприличествуют более сему зданию». Поэтому Его Высочество испрашивал разрешение — надписи снять, а на главном фронтоне изобразить: «Дом инженерного корпуса» или «Инженерный корпус» и тому подобное». 23 февраля 1823 года было Высочайше повелено Михайловский замок «называть — впредь Инженерным замком»: о надписях же умалчивалось. (Очерк деятельности, I, с. 87—88.)

А. И. Савельев

Когда Главное училище Инженеров помещено было в одном из павильонов Михайловского (впоследствии Инженерного) замка, то над главным входом Училища была надпись: **Главное Училище Инженеров**. (Ист. очерк, с. XIX.)

Обстоятельства места: под голубем белым

А. И. Савельев (в передаче О. Ф. Миллера)

<...> сохранился в одной из овальных комнат замка крюк, на котором висел голубь, принадлежавший секте хлыстов, под которым они совершали свои «радения» и проч. (Биография, с. 44.)

Ф. Ф. Вигель

<...> в один воскресный день, раз посетил я доброе семейство Лабат-де-Виванс <...>. Оно состояло из старых девок, ревностных, чтобы не сказать бешеных католичек, которым, по милости государя, за службу отца дана была квартира в верхнем этаже Михайловского замка. За дружеским разговором последовало минутное молчание, во время которого послышалось мне странное пение. «Что это значит?» — спросил я. — «Ah, c'est le sabbat» [1], — воскликнули они, заливаясь слезами. Окна их выходили на Фонтанку, рядом с округленным выступом, вовнутрь которого из них сбоку вниз можно было смотреть. Там находилась зала, отведенная секте для ее духовных упражнений. Я полюбопытствовал взглянуть и мог только рассмотреть фигуры, как бы в саваны наряженные, с остроконечными белыми колпаками, которые, с неимоверною быстротою кружась молниеобразно, появлялись и исчезали. Девицы Лабат после того предложили мне войти в темный коридор и в открытую трубу прислушаться к их пению; на голос: «За долами, за горами» я разобрал только слова: «Бог нам дал и дева». (Записки, М., 1928, т. 2, с. 170—171.)

А. И. Савельев

До вечерней повестки нередко сбирались в рекреационной зале все, не исключая прислуги, послушать рассказы старшего писаря Игумнова.

Это был старший писарь кондукторской роты, человек, прослуживший долго в строю, в армейском полку; весьма честный, добрый, весьма любимый кондукторами, большой любитель литературы и обладавший отличной памятью. Он имел большое нравственное влияние на молодежь. Его рассказы исторические из русской старины были весьма интересны, в особенности об Инженерном Замке, о жительстве в нем, в 20-х годах, секты «людей Божиих», об их курьезных радениях (пляске, кружениях и пениях) <...>. (Рус. старина, 1918, № 1—2, с. 19.)

Достоевский

<...> у Татариновой вертелись и пророчествовали <...>. (Дневник писателя, 1877, январь.)

Ф. Ф. Вигель

Один очевидец, допущенный зрителем к их проказливым таинствам, рассказывал мне после следующее. Верховная жрица, некая г-жа Татаринова, урожденная Буксгевден, посреди залы садилась в кресла; мужчины садились вдоль по стене, женщины становились перед нею, ожидая от нее знака. Когда она подава-

[1] Ах! Это шабаш! (фр.)

ла его, женщины начинали вертеться, а мужчины петь, под такт ударяя себя в колена, сперва тихо и плавно, а потом все громче и быстрее; по мере того и вращающиеся превращались в юлы. В изнеможении, в исступлении тем и другим начинало что-то чудиться. Тогда из среды их выступали вдохновенные, иногда мужик, иногда простая девка, и начинали импровизировать нечто ни на что́ не похожее. Наконец, едва передвигая ноги, все спешили к трапезе, от которой нередко вкушал сам министр духовных дел, умевший подчинить себе святейший синод. (Записки, 2, с. 171.)

Достоевский

<...> штунда [1] не имеет никакого будущего, широко не раздвинется, скоро остановится и наверно сольется с которой-нибудь из темных сект народа русского, с какой-нибудь хлыстовщиной — этой древнейшей сектой всего, кажется, мира, имеющей бесспорно свой смысл и хранящей его в двух древнейших атрибутах: верчении и пророчестве. Ведь и тамплиеров судили за верчение и пророчество, и квакеры вертятся и пророчествуют, и пифия в древности вертелась и пророчествовала <...>. (Дневник писателя, 1877, январь.)

Л. Н. Толстой. Война и мир

— Ну что же, все это безумие <...> Татаринова, — спросил Денисов, — неужели все продолжается?

— Как продолжается? — вскрикнул Пьер. — Сильнее чем когда-нибудь. Библейское общество — это теперь все правительство.

С. Я. Штрайх

К ее <Татариновой> «союзу» были очень близки А. Н. Голицын, А. Ф. Лабзин, директор департамента духовных дел В. С. Попов и др. Сам Александр одно время с интересом беседовал с Татариновой и покровительствовал ее «союзу». Императрица Елизавета Алексеевна любила ее. <...> Впавший в это время в мистицизм царь писал, что сердце его «пламенеет любовью к спасителю», когда читает о собраниях «союза» Татариновой. (В кн.: Вигель Ф. Ф. Записки, 2, с. 172.)

Из записной книжки члена секты — художника В. А. Боровиковского 1819-й год

Мая 18-го. Воскресенье. После обеда, в Михайловском <замке> увиделся со всеми <...>. При пении: «Царство ты, царство», приходил в сокрушение, и слезы лились. <...>

21-го. Середа. Во 2-м часу началось, кончилось в 5-ть. <...> Е(катерина) Ф(илипповна) многим пророчествовала и мне. <...>

25-го. Воскресенье, Пятидесятница. Пришел в Михайловский и застал уже давно прод(олжающих). Е. Ф. подала мне рубашку, и я прод(олжал) один час. <...>

18-го <Августа>. Понедельник. Для Е(катерины) Ф(илипповны) писать картину: <...> она с проч(ими), и я тут же, на коленах. <...>

19-го. Вторник. <...> Смотрела картину и была довольна. (Девятнадцатый век, вып. 1. Спб., 1872, с. 213, 216.)

Достоевский. Идиот

<Князь Мышкин:>

— Ведь подумать только, что у нас образованнейшие люди в хлыстовщину даже пускались... Да и чем, впрочем, в таком случае хлыстовщина хуже, чем нигилизм, иезуитизм, атеизм? Даже, может, и поглубже еще!

П. И. Мельников (А. Печерский). Белые голуби

В Михайловском дворце, у Татариновой, совершались те самые обряды, какие совершались по ночам у отца-искупителя <К. Селиванова>. (Рус. вестник, 1869, № 5, с. 287.)

А. М. Еленский. Известие, на чем скопчество утверждается. 1804

Занимаемся таинственными псалмами, пением сионских песней <...> яко Давид пред кивотом Господним был скачущий, и играющий, и плясающий, а когда Мелхола безумная посмеялась, то он и паче скакаше и играше. Так и ныне та же Мелхола смеется нам и поносит, а рабы Божии в дому Давидовом и паче скачут и играют, яко младенцы благодатные, пивом новым упоенные. Пасха всечестная с нами всегда пребывает. (Рус. вестник, 1869, № 5, с. 260.)

М. И. Пыляев

Про Селиванова старожилы рассказывали много таинственного и чудесного: говорили, что он предсказывает будущее, а этого уже было достаточно, чтобы привлекать суеверную публику. Петербургские барыни толпами приезжали к этому пророку, чтобы послушать пророчества. (Старый Петербург. Спб., 1887, с. 331.)

Достоевский. Хозяйка

— То же самое случилось и с одной знатной дамой высшего общества: она

[1] Религиозная секта рационалистического характера, отрицавшая догматы православной церкви (1860—1870-е гг.). — И. В.

тоже вышла от него <Мурина> бледна, как платок, вся в слезах и в изумлении от его предсказания и красноречия.

Достоевский (в передаче Вс. С. Соловьева)

Видите ли, не верить в возможность предсказаний нельзя, никак нельзя... Это вздор! уж не говоря о том, что в истории сохранилось многое в этом роде, но почти каждый человек на себе знает. Все верят и если не признаются, то единственно из малодушия, которого в нас так много. Сам верит, верит, может быть, даже больше, чем бы следовало — и в то же время смеется, глумится над искренним человеком, который так прямо и скажет, что верит... (Ист. вестник, 1881, № 4, с. 849.)

Из подготовительных материалов к «Дневнику писателя». Май — июнь 1877

Если способность пророчества действительно есть в человеке, заключается в самой природе его, в организме его, положим при известных, особых условиях, но совершенно естественных условиях, то как бы хорошо и полезно было разъяснить, очистить факт, хотя бы только от мистической его примеси. <...> Если действительно существует дар пророчества, то как болезнь или как нормальное отправление? Если существует способность пророчества, то во всех ли людях, более или менее разумеется, или в самых редких случаях, из множества миллионов людей в одном каком-нибудь экземпляре? (Лит. наследство, т. 86, с. 69.)

П. И. Мельников (А. Печерский). Белые голуби

В иных, немногих, впрочем, хлыстовских кораблях, моление начинается чтением священных книг <...>. (Рус. вестник, 1869, № 3, с. 3.)

Достоевский. Хозяйка

— Иной раз он просто своими словами меня заговаривает, другой раз берет свою книгу, самую большую, и читает надо мной. Он все грозное, суровое такое читает! Я не знаю что и понимаю не всякое слово; но меня берет страх, и когда я вслушиваюсь в его голос, то словно это не он говорит, а кто-то другой, недобрый, кого ничем не умягчишь, ничем не замолишь, и тяжело-тяжело станет на сердце, горит оно...

А. И. Савельев

Должно заметить, что общество, наз. «Собором Братства», существовавшее в Михайловском замке <...> старалось извлекать из церковной литературы доказательства в пользу учения своей секты <...>. (Ист. очерк, с. 217.)

Достоевский. Хозяйка

— Он, кажется, читает всё священные книги?

— Да-с, он мистик-с. <...> Но я вам говорю это по секрету.

Ю. В. Толстой (со слов члена секты, генерала Е. А. Головина)

В эту эпоху искания истины в вере <...> Е. Ф. Татаринова обратила на себя особенное внимание Петербургского общества. <...> Нередко приходившие к ней или к матери ее гости заставали ее прислуживающею за своим столом нищим и, по примеру ее, прислуживали им. (Девятнадцатый век, I, с. 221.)

Достоевский

<...> в философской основе этих самых сект, этих трясучек и хлыстовщины, лежат иногда чрезвычайно глубокие и сильные мысли. По преданию, у Татариновой, в Михайловском замке, около двадцатых годов, вместе с нею и с гостями ее, такими, как, например, один тогдашний министр, вертелись и пророчествовали и крепостные слуги Татариновой: стало быть, была же сила мысли и порыва, если могло создаться такое «несестественное» единение верующих, а секта Татариновой была, по-видимому, тоже хлыстовщина или одно из бесчисленных ее разветвлений. (Дневник писателя, 1876, март.)

А. И. Савельев

<...> переселившись <в 1821 г.> за город, по московской дороге (где ныне находится кладбище Новодевичьего монастыря) <...> в особенно устроенную усадьбу, куда никто не мог проникнуть, благодаря принятым предосторожностям; секта безнаказанно продолжала совершать свои «радения» не только с усердием, но и с фанатизмом. (Ист. очерк, с. 217.)

М. Е. Салтыков-Щедрин. История одного города

Приметив на самом выезде из города полуразвалившееся здание, в котором некогда помещалась инвалидная команда, он <Грустилов> устроил в нем сходбища, на которые по ночам собирался весь так называемый глуповский бомонд. Тут сначала читали <...> но так как они глупы, то скоро переходили к другим занятиям. Председатель вставал с места и начинал кор*чи*ться; примеру его следовали другие; потом, мало-помалу, все начинали скакать, кружиться, петь и кричать, и производили эти неистовства до тех пор, покуда, совершенно измученные, не падали ниц. Этот момент собственно и назывался «восхищением».

А. И. Савельев

Так продолжалось до 1837 г., когда одна из дочерей (средняя) т<айного> с<оветника> Попова, измученная наказаниями отца за то, что отказывалась исполнять требования сектантов, не пожаловалась городскому начальству. (Ист. очерк, с. 217—218.)

Ю. В. Толстой

<...> в начале 1837 года до сведения правительства дошло по слухам, как

обыкновению весьма преувеличенным, что на дачах за Московской заставою совершаются непозволительные сатурналии, что после неистовых пений и радений, наподобие скопческих, тушатся свечи и совершаются страшные деяния «им же имяни несть!» — что противляющиеся сим деяниям дети засекаются до бесчувствия, что на сборищах сектаторов попирается святость всех уз родственных, прорицается гибель политическому бытию державы, изрекаются в нечестивых прорицаниях хулы православию! (Девятнадцатый век, 1, с. 226.)

Достоевский. Хозяйка

— По секрету скажу вам еще, что за ним был некоторое время сильный присмотр.

И. П. Липранди

В 1837 году, находившийся в услужении у Тайного Советника Попова, крепостной человек, Петр Александров, обнаружил, что близ Московской заставы, на дачах, принадлежащих Титулярному Советнику Федорову и Медику Косовичу, учреждена Статскою Советницею Татариновою религиозная секта, к которой принадлежат некоторые, поименованные им, лица.

Вследствие сего, от 8 Мая (1837 г.), в 10 часов вечера, по Высочайшему повелению, С.-Петербургский Обер-Полицеймейстер Генерал-Майор Кокошкин, Начальник Штаба Корпуса Жандармов Генерал-Майор Дубельт и Обер-Прокурор Святейшего Синода, Флигель-Адъютант Полковник Граф Протасов, прибыли на помянутые дачи <...>. (Чтения в Обществе истории древностей российских, 1868, № 4, отд. V, с. 25.)

А. И. Савельев

В одну ночь полиция проникла в усадьбу сектантов и арестовала всех, кого там застала. (Ист. очерк, с. 218.)

Достоевский. Хозяйка

— Ах! представьте,— я было совсем позабыл рассказать,— молвил вдруг Ярослав Ильич, как будто припомнив что-то весьма интересное,— у нас новость! Я вам скажу по секрету. Помните дом, где вы жили?

Ордынов вздрогнул и побледнел.

— Так вообразите же, недавно открыли в этом доме целую шайку воров, то есть, сударь вы мой, ватагу, притон-с; контрабандисты, мошенники всякие, кто их знает! Иных переловили, за другими еще только гоняются; отданы строжайшие приказания.

П. И. Мельников (А. Печерский). Белые голуби

В сентябре 1846 года <...> в Петербурге и Кронштадте производились розыски скопцов <...>. (Рус. вестник, 1869, № 5, с. 288.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. 20-е числа октября 1846 г. Петербург

Я пишу другую повесть <«Хозяйка»>, и работа идет, как некогда в «Бедных людях», свежо, легко и успешно. (ПСС, XXVIII, I, с. 131.)

И. П. Липранди

Действительный Статский Советник, Яков Владимирович Ханыков, состоял по Министерству Внутренних Дел, был женат на дочери Головина, Екатерине Евгеньевне, рьяной последовательнице учению Татариновой, и в 1837 году взятой с матерью на сборище. Яков Владимирович был человек высокого образования, но, попав в закоренелое сектаторское семейство и общество, не имея твердого характера и к тому влюбленный, подчинился влиянию обстоятельств и <...> конечно, не разделяя сумасбродств семейства и близких к оному посетителей, терпел, для сохранения семейного спокойствия, происходившие там таинственные чтения, в которых тесть его принимал такое живое участие <...>.

Младший <...> брат Якова Владимировича <Ханыкова>, был замешан в деле Петрашевского. (Чтения в Обществе истории и древностей российских, 1868, № 4, отд. V, с. 44—45.)

Н. Г. Чернышевский. Дневник. 4 декабря 1848

У него <А. В. Ханыкова> взял II том Фурье <...> как будто бы читаешь какую-нибудь мистическую книгу средних веков или наших раскольников: множество (т. е. не множество, потому что и всего-то немного, а просто несколько) здравых мыслей, но странностей бездна. (Полн. собр. соч., т. 1. М., 1939, с. 188.)

Достоевский. Хозяйка

— Но теперь он <Мурин> не занимается этим?

— Строжайше запрещено-с.

Господин офицер

Из приказа по Главному инженерному училищу. 9 августа 1841

Высочайшим его императорского величества приказом в 5 день августа 1841 г. <Достоевский> производится из кондукторов в полевые инженеры-прапорщики <...>. (Мат. и иссл., 5, с. 185.)

Из «Кондуитного списка гг. обер-офицеров Главного Инженерного Училища на 1841 год»

ФЕДОР, МИХАЙЛОВ СЫН, ДОСТОЕВСКИЙ

Усердей ли по службе?	Весьма усерден
Каковы способности ума?	Хороших.
В каких науках имеет знания?	В законе божием, русском языке, во всей чистой математике со включением дифференциального и интегрального исчислений, начертательной геометрии, статике, геодезии, полевой и долговременной фортификации и минном искусстве, артиллерии, военно-строительном искусстве, архитектуре, физике, тактике, истории, географии, рисовании, ситуации и черчении планов.
Какие знает иностранные языки?	Французский и немецкий.
Каков в нравственности?	Хорош.
Каков в хозяйстве?	Хорош.

(Достоевский на жизненном пути, I, с. 72.)

А. М. Достоевский

Брат в то время жил в Караванной улице близ самого манежа, так что ему близко было ходить в офицерские классы главного инженерного училища. Он занимал квартиру в две комнаты с передней, при которой была и кухня; но квартиру эту он занимал не один, а у него был товарищ-сожитель Адольф Иванович Тотлебен. Тотлебен занимал первую комнату от передней, а брат — вторую, каждая комната была о двух окнах, но они были очень низенькие и мрачные, к тому же табачный дым от жукова табаку постоянно облаками поднимался к потолку и делал верхние слои комнаты наполненными как бы постоянным туманом. (Воспоминания, с. 123—124.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. 23 декабря 1841. Петербург

Андрюша болен; я расстроен чрезвычайно. Какие ужасные хлопоты с ним. <...> Его житье у меня вольного, одинокого, независимого, это для меня нестерпимо. Ничем нельзя ни заняться, ни развлечься — понимаешь. <...> я сильно раскаиваюсь в моем глупом плане, приютивши его. (ПСС, XXVIII, I, с. 79.)

А. М. Достоевский

<...> я где-то простудился, и у меня сделалась сильнейшая тифозная горячка; по крайней мере я долгое время лежал и наконец впал в беспамятное состояние. Брат ухаживал за мною очень внимательно, он давал лекарства, предписываемые доктором, который ездил ежедневно. Но тут-то и случился казус, сильно напугавший брата и, кажется, бывший причиною моего очень медленного выздоровления. Дело в том, что одновременно с моею болезнью брат лечился сам, употребляя какие-то наружные лекарства, в виде жидкостей. Раз как-то ночью брат, проснувшись и вспомнив, что мне пора принимать микстуру, спросонья перемешал стклянки и налил мне столовую ложку своего наружного лекарства. Я мгновенно принял и проглотил его, но при этом сильно закричал, потому что мне страшно обожгло рот и начало жечь внутри!.. Брат взглянул на рецептурку и, убедившись в своей ошибке, начал рвать на себе волосы и сейчас же, одевшись, поехал к пользовавшему меня доктору. Тот, приехав мгновенно, осмотрел стклянку наружного лекарства, которое мне было дано, прописал какое-то противоядие и сказал, что это может замедлить мое выздоровление. (Воспоминания, с. 126.)

А. Е. Ризенкампф — А. М. Достоевскому. 10 марта 1881 Пятигорск

В сентябре1843 года, поселившись с ними на одной квартире, я не скоро узнал, что он страдает некоторыми болезнями <...>, притом весьма тяжкими. Он держался правила: «Откройся только тому, кто в состоянии тебе помочь». С стоическим терпением он ходил на службу, страдая невыносимо от нарывов, а между тем даже ближайший друг его Григорович об этом ничего не знал. (Лит. наследство, т. 86, с. 550.)

К. А. Трутовский

В то время Ф<едор> М<ихайлович> был очень худощав; цвет лица был у него какой-то бледный, серый, волосы светлые и редкие,— глаза впалые, но взгляд проницательный и глубокий. (Рус. обозрение, 1893, № 1, с. 213.)

Из рукописи воспоминаний А. Е. Ризенкампфа

<...> он был золотушного телосложения, и хриплый его голос при частом опухании подчелюстных и шейных желез, так же землистый цвет его лица указывали на порочное состояние крови (на кахексию) и на хроническую болезнь воздухоносных путей. Впоследствии присоединились опухоли желез и в других частях, нередко образовывались нарывы, а в Сибири он страдал костоедой костей голеиных. Но он переносил все эти страдания стоически и только в крайних случаях обращался к медицинской помощи. Гораздо более его тревожили нервные страдания. (Лит. наследство, т. 86, с. 331.)

Д. В. Григорович

Несколько раз, во время наших редких прогулок, с ним случались припадки. Раз, проходя вместе с ним по Троицкому переулку, мы встретили похоронную процессию. Достоевский быстро отвернулся, хотел вернуться назад, но, прежде чем успели мы отойти несколько шагов, с ним сделался припадок настолько сильный, что я с помощью прохожих принужден был перенести его в ближайшую мелочную лавку; насилу могли привести его в чувство. После таких припадков наступало обыкновенно угнетенное состояние духа, продолжавшееся дня два или три. (Рус. мысль, 1893, № 1, с. 10.)

Из рукописи воспоминаний А. Е. Ризенкампфа

Федор Михайлович любил скрывать не только телесные свои неудачи, но и затруднительные денежные обстоятельства. В кругу друзей он казался всегда веселым, разговорчивым, беззаботным, самодовольным. Но немедленно по уходе своих гостей он впадал в глубокое раздумье, затворившись в уединенном кабинете, выкуривал трубку за трубкой, обдумывал печальное свое положение <...>. (Лит. наследство, т. 86, с. 331.)

О. Ф. Миллер

В то же время держал свой выпускной экзамен и д-р Ризенкампф. От усиленных занятий он заболел и еще 30-го июня <1842 г.> лежал в постели. Как вдруг в этот день приезжает к нему Федор Михайлович, которого нельзя было и узнать. Веселый, с здоровым видом, довольный судьбой, он возвестил о благополучном окончании экзаменов, выпуске из заведения с чином подпоручика (в полевые инженеры), о получении от опекуна такой суммы денег, которая дала ему возможность расплатиться со всеми кредиторами <...> он силою стащил приятеля с постели, посадил его с собой на пролетку и повез в ресторан Лерха на Невском проспекте. Тут Достоевский потребовал себе номер с роялем, заказал роскошный обед с винами и заставил больного приятеля есть и пить с собой вместе. Как ни казалось это сначала невозможным для больного г. Ризенкампфа, но пример Федора Михайловича подействовал на него заразительно; — он хорошо пообедал, сел за рояль — и выздоровел. (Биография, с. 50—51.)

Достоевский — А. М. Достоевскому. Декабрь 1842. Петербург

Брат! Если ты получил деньги, то ради бога пришли мне рублей 5 или хоть целковый. У меня уж 3 дня нет дров, а я сижу без копейки. На неделе получаю 200 руб. (я занимаю) наверное, то тебе всё отдам. (ПСС, XXVIII, I, с. 80.)

О. Ф. Миллер

Вернувшись в Петербург в сентябре 1843 года, доктор Ризенкампф <...> застал <...> Федора Михайловича без копейки, кормящимся молоком и хлебом, да и то в долг из лавочки. «Федор Михайлович,— говорит он,— принадлежал к тем личностям, около которых живется всем хорошо, но которые сами постоянно нуждаются. Его обкрадывали немилосердно, но, при своей доверчивости и доброте, он не хотел вникать в дело и обличать прислугу и ее приживалок, пользовавшихся его беспечностью». Самое сожительство с доктором чуть было не обратилось для Федора Михайловича в постоянный источник новых расходов. Каждого бедняка, приходившего к доктору за советом, он готов был принять как дорогого гостя. «Принявшись за описание быта бедных людей,— говорил он как бы в оправдание,— я рад случаю ближе познакомиться с пролетариатом столицы». На поверку, однако же, оказалось, что громадные счеты, подававшиеся в конце месяца даже одним булочником, зависят не столько от подобного гостеприимства Федора Михайловича, сколько от того, что его денщик Семен, находясь в интимных отношениях с прачкой, прокармливал не только ее, но и всю ее семью и целую компанию ее друзей за счет своего барина. Мало того: вскоре раскрылась и подобная же причина быстрого таяния белья, ремонтировавшегося каждые три месяца <...>.

<...> ему, Достоевскому, так нравилась благодушная физиономия его денщика Семена, что на все предостережения от его долгих рук он преспокойно отвечал: «пусть себе ворует; не разорюсь я от этого». На самом же деле он положительно разорялся и входил в долги. (Биография, с. 51—52, 48.)

А. М. Достоевский

Упомяну также здесь о случившихся раза 3—4 вечеринках у брата, на которые собирались несколько офицеров (товарищей брата), с целью игры в карты; в первое время своего офицерства брат очень увлекался игрою, причем преферанс или вист были только началом игры, а вечер постоянно кончался азартною игрою в банк или штосс. Помню, что в подобные вечера я занимался хозяйственной частью, наливая всем гостям чай и отправляя в комнату брата, где происходила игра, с лакеем Егором. После же чая всегда подавался пунш, по одному или по два стакана на человека. (Воспоминания, с. 129.)

А. Е. Ризенкампф (в передаче О. Ф. Миллера)

Понятно, что при все более и более развивающихся литературных наклонностях Достоевский должен был тяготиться посещением офицерских классов. Он бы давно бросил их, если бы не угроза опекуна прекратить в таком случае выдачу ему денег. А Федор Михайлович в них постоянно нуждался! (Биография, с. 50.)

Правило падающего пятака

Из книги приказов Главного инженерного училища. 19 августа 1842

Его императорское высочество генерал-инспектор по Инженерной части от 15 сего августа за № 37 изволил отдать по Инженерному корпусу следующий приказ: высочайшим его императорского величества приказом, последовавшим августа в 11 день, производятся по экзамену состоящие при Главном инженерном училище полевые инженеры: <...>

из прапорщиков в подпоручики — Достоевский

(Мат. и иссл., 5, с. 185—186.)

Из рукописи воспоминаний А. Е. Ризенкампфа

То и дело он нанимал писарей для переписки черновых своих сочинений и выходил из себя, видя их ошибки и бесполезно им истраченные деньги. Между тем время шло, и Федор Михайлович до 23-летнего возраста не заявил о себе еще ни одним печатным сочинением. (Лит. наследство, т. 86, с. 331.)

Д. В. Григорович

Я был всегда высокого мнения о Достоевском; его начитанность, знание литературы, его суждения, серьезность характера действовали на меня внушительно; мне часто приходило в голову, как могло случиться, что я успел уже написать кое-что, это кое-что было напечатано, я считал уже себя некоторым образом литератором, тогда как Достоевский ничего еще не сделал по этой части? (Рус. мысль, 1893, № 1, с. 10.)

О. Ф. Миллер

Между тем 12 августа 1843 г., по окончании полного курса наук в верхнем офицерском классе, Ф. М. Достоевский выпущен был на действительную службу в инженерный корпус и зачислен при С.-Петербургской инженерной команде с употреблением при чертежной Инженерного департамента. (Биография, с. 48.)

Д. В. Григорович

В течение этого времени <1844 г.> я чаще и чаще виделся с Достоевским. Кончилось тем, что мы согласились жить вместе, каждый на свой счет. Матушка посылала мне ежемесячно пятьдесят рублей; Достоевский получал от родных из Москвы почти столько же. По тогдашнему времени, денег этих было бы за глаза для двух молодых людей; но деньги у нас не держались и расходились обыкновенно в первые две недели; остальные две недели часто приходилось продовольствоваться булками и ячменным кофеем, который тут же подле покупали мы в доме Фридерикса. Дом, где мы жили, находился на углу Владимирской и Графского переулка; квартира состояла из кухни и двух комнат с тремя окнами, выходившими в Графский переулок; последнюю комнату занимал Достоевский, ближайшую к двери — я. Прислуги у нас не было, самовар ставили мы сами, за булками и другими припасами также отправлялись сами. (Рус. мысль, 1893, № 1, с. 8.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. Вторая половина января 1844. Петербург

Нужно тебе знать, что на праздниках я перевел «Евгению Grandet» Бальзака (чудо! чудо!). Перевод бесподобный.— Самое крайнее мне дадут за него 350 руб. ассиг<нациями> Я имею ревностное желание продать его, но у будущего тысячника нет денег переписать; времени тоже. Ради ангелов небесных, пришли 35 руб. ассиг<нациями> (цена переписки). Клянусь Олимпом и моим «Жидом Янкелем» (оконченной драмой) и чем еще? разве усами, кои, надеюсь, когда-нибудь вырастут, что половина того, что возьму за «Евгению», будет твоя. (ПСС, XXVIII, I, с. 86.)

Д. В. Григорович

Он <Достоевский>, по-видимому, остался доволен моим очерком, хотя и не распространялся в излишних похвалах; ему не понравилось только одно выражение в главе Публика шарманщика. У меня было написано так: когда шарманщик перестает играть, чиновник из окна бросает пятак, который падает к ногам шарманщика. «Не то, не то,— раздраженно заговорил вдруг Достоевский,— совсем не то! У тебя выходит слишком сухо: пятак упал к ногам... Надо было сказать: пятак упал на мостовую, звеня и подпрыгивая...» Замечание это,— помню очень хорошо,— было для меня целым откровением. (Рус. мысль, 1893, № 1, с. 7.)

Пузыри земли

Достоевский — М. М. Достоевскому. Март — апрель 1844. Петербург

Служба надоедает.

Служба надоела, как картофель. (ПСС, XXVIII, I, с. 89.)

А. М. Достоевский

<...> с выходом сестры Вареньки в замужество, добрейший муж ее Петр Андреевич Карепин сделался опекуном над имением, оставшимся после родителей, в соопекуны к нему назначен был брат Михаил <...>. (Воспоминания, с. 120.)

О. Ф. Миллер

По словам самого Ф. М., он очень любил в детстве «сестру Варю», впоследствии вышедшую замуж за г. Карепина. (Биография, с. 7.)

Достоевский — П. А. Карепину. 20-е числа августа 1844. Петербург

Уведомляю Вас, Петр Андреевич, что имею величайшую надобность в платье. Зимы в Петербурге холодны, а осени весьма сыры и вредны для здоровья. Из чего следует очевидно, что без платья ходить нельзя, а не то можно протянуть ноги. Конечно, есть на этот счет весьма благородная пословица — туда и дорога! Но эту пословицу употребляют только в крайних случаях, до крайности же я не дошел. Так как я не буду иметь квартиры, ибо со старой за неплатеж нужно непременно съехать, то мне придется жить на улице или спать под колоннадою Казанского собора. Но так как это нездорово, то нужно иметь квартиру. Существует полупословица, что в таком случае можно найти казенную, но это только в крайних случаях, а я еще не дошел до подобной крайности. Наконец, нужно есть. Потому что не есть нездорово, но так как тут нет ни вспомогательного средства, ни пословицы, то остается умереть с голоду; но это только в крайних случаях возможно, а я, слава всевышнему, еще не дошел до подобной крайности. Я требовал, просил и умолял три года, чтобы мне выделили из имения следуемую мне после родителя часть. Мне не отвечали, мне не хотели отвечать, меня мучили, меня унижали, надо мной насмехались. Я сносил всё терпеливо, делал долги, проживался, терпел стыд и горе, терпел болезни, голод и холод, теперь терпение кончилось и остается употребить все средства, данные мне законами и природою, чтобы меня услышали и услышали обоими ушами. <...>

Так как я хочу, чтобы никто не смел говорить, что я разоряю всё семейство наше, то я теперь говорю, в последний раз, по моей собственной воле, по моему собственному желанию сделать так, чтобы всем было хорошо, что я отказываюсь от всего участка моего (приносящего до 1000 руб. дохода) за 1000 руб. серебром, из которых половина должна быть выплачена разом, а остальное на сроки. (ПСС, XXVIII, I, с. 92—93.)

Достоевский — П. А. Карепину. 7 сентября 1844. Петербург

А обстоятельства мои вот какие. В половине августа я подал в отставку, в силу того что долгов у меня бездна, а командировка не терпит уплаты их и что ославленный офицер начнет весьма дурно свою карьеру. Наконец, самому жизнь была не в рай. Долги, превышающие состояние, простятся богачу. Даже в иных случаях на это обстоятельство — везде смотрят с уважением. Бедняку дают щелчка. <...> Наконец, говорю Вам в последний раз, теперь, будучи в совершенном неведении насчет Вашего решения, что лучше сгнию в тюрьме, чем вступлю в службу, прежде окончания и устроения дел моих. (ПСС, XXVIII, I, с. 95—96.)

А. Г. Достоевская. Записи к биографии Ф. М. Достоевского

Он <Карепин> был действительно дрянной человек. (Хроника рода Достоевского, с. 163.)

П. А. Карепин — Достоевскому. 5 сентября 1844. Москва

Продать следующую Вам часть наследства, кроме того прискорбия, что сын слишком мало дорожит трудами и заботами родителей и что стоило им ценой жизни сбыть на другой год выхода из школы и сбыть бог знает для чего, не было возможным, потому что Вам едва минуло совершеннолетие. <...>

Вы едва почувствовали на плечах эполеты, довольно часто в письмах своих упоминали два слова — наследство и свои долги; я молчал, относя это к фантазии юношеской, твердо зная, что опыт, лета, поверка отношений общественных и частных лучше Вам истолкуют; но теперь хочу упомянуть, что первое слишком миниатюрно <...>. Не вина наша, что мы родились не миллионерами; но наша вина будет в том, если не воспользоваться средствами от бога и положением, благодетельного начальства предоставленными. Не Вы первый, а много очень много людей, начинающих свое поприще по известным чистым, светлым и всегда отрадным правилам труда, прилежания и терпения, со способностями ума, коими одарил Вас господь, с хорошим образованием, которое получили в заведении отличном,— Вам ли оставаться при софизмах портических, в отвлеченной лени и неге Шекспировских мечтаний? на что они, что в них вещественного, кроме распаленного, раздутого, распухлого — преувеличенного, но пузырного образа? Тогда как в вещественности Вам указан и открыт путь чести, труда уважительного, пользы общественной <...>.

Офицеру в военном мундире нельзя останавливаться приготовлениями мягких пуховиков и Лукулловой кухни. Почтовая кибитка, бурка и кусок битой говядины, приготовленной денщиком, всегда найдется за прогоны и царское жалованье. Зато сколько приятных ощущений при удачном исполнении своего долга; сколько отрады во внимании начальников, в любви и уважении товарищей, а далее награда, заслуженная трудом своим путем прямым, благородным. Вот, Брат! настоящая поэзия жизни и сердечное желание Вам преданного П. Карепина

(В кн.: Письма, IV, с. 449—450.)

Из отчета по опеке Достоевских за 1844 год

Расход денег

На содержание детей Достоевских отправлено почтою:

1)	Михаилу Михайловичу	700 р. асс.
2)	Федору Михайловичу	2412 р. 50 к. асс.
3)	Андрею Михайловичу	150 р. асс.
4)	На одежду, учебные пособия Николаю Михайловичу	65 р. 25 к. асс.

(*Жизнь и труды*, с. 39.)

М. М. Достоевский — П. А. Карепину. 25 сентября 1844. Ревель

Он дает подписку, что отказывается от своей части; вы пошлете ему деньги <...>. Брат так честен, что ему можно и без расписки дать эти деньги. Я за него, если хотите, в качестве второго опекуна,— ручаюсь. (*Лит. наследство*, т. 86, с. 365.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. 30 сентября 1844. Петербург

Свинья-Карепин глуп как сивый мерин. Эти москвичи невыразимо самолюбивы, глупы и резонеры. В последнем письме Карепин ни с того ни с сего советовал мне не увлекаться Шекспиром! Говорит, что Шекспир и мыльный пузырь все равно. Мне хотелось, чтобы ты понял эту комическую черту, озлобление на Шекспира. Ну к чему тут Шекспир? Я ему такое письмо написал! Одним словом, образец полемики. Как я его отделал. Мои письма chef d'oeuvre[1] летристики. (ПСС, XXVIII, I, с. 100—101.)

Достоевский — П. А. Карепину. 19 сентября 1844. Петербург

Милостивый государь, Петр Андреевич.

Письмо Ваше от 5-го сентября, наполненное советами и представлениями, я получил и теперь спешу отвечать Вам. <...>

Будьте уверены, что я чту память моих родителей не хуже, чем Вы Ваших. Позвольте Вам напомнить, что эта материя так тонка, что я бы совсем не желал, чтоб ею занимались Вы. Притом же, разоряя родительских мужиков, не значит поминать их. Да и, наконец, всё остается в семействе. <...>

Если <...> Вы считаете пошлым и низким трактовать со мною о чем бы то ни было, разумеется уж в тех мыслях, что он-де мальчишка и недавно надел эполеты, то все-таки Вам не следовало бы так наивно выразить свое превосходство заносчивыми унижениями меня, советами и наставлениями, которые приличны только отцу, и шекспировскими мыльными пузырями. Странно: за что так больно досталось от Вас Шекспиру. Бедный Шекспир! (ПСС, XXVIII, I, с. 96—98.)

«Какой дурак это чертил?»

Из «Биографии», продиктованной Достоевским в 1877 г.

В 1842-м году окончил военно-инженерный курс и вышел из училища инженер-подпоручиком. Был оставлен на службе в Петербурге, но другие цели и стремления влекли его к себе неотразимо. Он особенно стал заниматься литературой, философней и историей. (ПСС, XXVII, с. 120.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. 30 сентября 1844. Петербург

У меня есть надежда. Я кончаю *роман* в объеме «Eugénie Grandet». Роман довольно оригинальный. Я его уже переписываю, к 14-му я наверно уже и ответ получу за него. Отдам в «О<течественные> з<аписки>». (Я своей работой доволен.) Получу, может быть, руб. 400, вот и все надежды мои. (ПСС, XXVIII, I, с. 100.)

М. М. Достоевский — П. А. Карепину. 3 октября 1844. Ревель

Он избрал для себя новую, лучшую дорогу, и так как два дела делать вдруг нельзя, он вполне предался тому, к которому чувствовал более склонности. Вы, любезный брат, не зная лично брата Федора, вероятно судите об его поступке как о малодушном капризе ребенка, который с бухты-барахты, не спросясь рассудка, решился на дело, могущее иметь влияние на целую жизнь. Я, зная хорошо брата, зная его как человека с правилами, как человека опытного — не улыбайтесь, ради бога, это так,— я скорее готов видеть в его поступке необыкновенную силу души и характера, великое самопожертвование новому призванию. <...> Поверьте, любезный брат Петр Андреевич, он будет богаче всех нас. Мы будем еще им гордиться. <...> Одно только и есть затруднение: если, получа эти деньги, брат все-таки будет иметь еще притязания на свою долю. *Но в этом я Вам, как угодно, письменно, формено, ручаюсь, что этого никогда не будет.* (*Лит. наследство*, т. 86, с. 366, 368.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. 30 сентября 1844. Петербург

Никто не знает, что я выхожу в отставку. Теперь, если я выйду,— что тогда буду делать. У меня нет ни копейки на платье. Отставка моя выходит к 14 октябр<я>. Если свиньи-москвичи промедлят, я пропал. И меня пресерьезно стащут в тюрьму (это ясно). Прекомическое обстоятельство. (ПСС, XXVIII, I, с. 100.)

[1] шедевр (фр.)

Достоевский — П. А. Карепину. 20-е числа октября 1844. Петербург

Так как я без средств, с долгами, без платья и вдобавок больной, что, впрочем, всё равно, то я естественно прихожу к заключению как-нибудь, так или этак, поправить свои обстоятельства. Вы человек *деловой*, Петр Андреевич, Вы и с нами действуете, как человек *деловой*, не иначе, и так как Вы человек *деловой*, то у Вас времени не будет обратить внимание на мои дела, хотя они и миниатюрны, или, может быть, именно оттого, что миниатюрны. Но если эти миниатюрные дела составляют всё спасение, всё благосостояние, всю надежду человека, то нужно извинить его настойчивость и назойливость. Вот почему я нижайше прошу Вас помочь мне в том смысле, как я Вам писал. (ПСС, XXVIII, I, с. 103.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. 30 сентября 1844. Петербург

Подал я в отставку, оттого что подал, то есть, клянусь тебе, не мог служить более. Жизни не рад, как отнимают лучшее время даром. Дело в том, что я, наконец, никогда не хотел служить долго, след<овательно>, зачем терять хорошие годы? А наконец, главное: меня хотели командировать — ну, скажи, пожалуйста, что бы я стал делать без Петербурга. Куда бы я годился? (ПСС, XXVIII, I, с. 100.)

О. Ф. Миллер

<...> на одном чертеже Ф. М-ча был какой-то пропуск и император Николай Павлович написал на нем: «Какой дурак это чертил?», будто это было уже тогда, когда Ф. М. уже офицером занимался в чертежной Инженерного департамента и будто он подал в отставку вследствие того, что пометка государя была покрыта лаком и чертеж с нею отдан на сохранение в архив Инженерного управления. Между тем, после тщательных розысков в архиве при обязательном содействии А. И. Савельева, ничего подобного там не оказалось. (*Биография*, с. 45.)

С. Д. Яновский

Понимая его таким всегда, то есть инженером без призвания, я никогда не сомневался в том, что он мог начертить план крепости, не указав место для ворот, и я вполне сочувствовал тому равнодушию, с каким сам Федор Михайлович относился к выходу в отставку, причем он ни разу не намекнул даже, что ему обидна главная причина этой отставки. (*Рус. вестник*, 1885, № 4, с. 807.)

Из письма С. Д. Яновского О. Ф. Миллеру (в пересказе А. С. Долинина)

В этом письме <...> приводятся ответы Достоевского на заданные ему Яновским вопросы: «Отчего он не хочет, не оставляя литературы, служить и зачем он оставил именно инженерную карьеру?» На первый вопрос Достоевский якобы ответил: «Прислуживаться тошно, да и не умею»; на второй: «Нельзя, не могу, скверную кличку дал мне государь, а ведь известно, что иные клички держатся до могилы...» (В кн.: *Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников*, М., 1964, т. 1, с. 405—406.)

Высочайший приказ об отставке Достоевского

Его Императорское Величество, в присутствии Своем в Гатчине, октября 19-го дня 1844 года, соизволил отдать следующий приказ:

УВОЛЬНЯЮТСЯ СО СЛУЖБЫ: <...>

По инженерному корпусу. <...> *По домашним обстоятельствам.* <...> Полевый Инженер-Подпоручик Достоевский, Поручиком.

(*Рус. инвалид*, 1844, 24 *октября*.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. 30 сентября 1844. Петербург

Насчет моей жизни не беспокойся. Кусок хлеба я найду скоро. Я буду адски работать. Теперь я свободен. (ПСС, XXVIII, I, с. 100.)

Достоевский. Петербургские сновидения в стихах и прозе

И стал я разглядывать и вдруг увидел какие-то странные лица. Всё это были странные, чудные фигуры, вполне прозаические, вовсе не Дон-Карлосы и Позы, а вполне титулярные советники и в то же время как будто какие-то фантастические титулярные советники... И замерещилась мне тогда другая история, в каких-то темных углах, какое-то титулярное сердце, честное и чистое... а вместе с ним какая-то девочка, оскорбленная и грустная, и глубоко разорвала мне сердце вся их история. (*Время*, 1861, № 1, отд. VI, с. 6.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. 16 августа 1839. Петербург

Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком. Прощай. Твой друг и брат

Ф. Достоевский

(ПСС, XXVIII, I, с. 63.)

(Окончание следует)

М. ЗАРАЕВ

Как я был ходоком

1

Осенью 1988 года в Москве проходила итальянская выставка. Чего там только не было — автомобили, по комфорту и красоте доведенные до какого-то немыслимого для нашего автолюбителя совершенства, компьютеры, обувь — все, за чем гонялся, о чем мечтаем. Демонстрировал свои достижения и концерн «Феруцци».

Во всей этой пестрой рекламной суете меня по-настоящему заинтересовало, как такие крупные корпорации — когда-то мы их называли капиталистическими спрутами — развивают сферы своего влияния.

Вот, скажем, эта самая фирма «Феруцци», которая чего только не производит — и пластмассу, и лекарства, и сахар,— задумала заняться выращиванием цитрусовых, кофе и какао. Для чего ей это вдруг понадобилось, в проспекте не говорилось. Но тем не менее она скупает триста тысяч гектаров джунглей в бразильской провинции Мату Гроссо... И, думаете, вырубает лес? Ничего подобного. Расчищает семнадцать тысяч гектаров, остальное сохраняет в первозданном состоянии для экологического равновесия, проводит коммуникации, строит склады, жилье. И вот уже на роскошном цветном панорамном снимке среди густой первобытной зелени джунглей — ряды цитрусовых деревьев, аккуратные домики, культивированная, хорошо ухоженная земля.

У той же «Феруцци» — плантации сои в США и заводы полипропилена в Италии. Можно, конечно, догадываться, что толкает концерн к столь многоотраслевому и к тому же разбросанному по миру производству — стремление более эффективно использовать капитал, научно-технический задел. В общем-то это азбука капитализма, азы нормального прибыльного хозяйствования. Но мы начинаем постигать такую азбуку только сейчас, пытаясь избавиться от схематизма, отраслевого мышления, ведомственной психологии.

В Липецке, в областном птицеводческом объединении, рассказывали, как они намерены использовать валюту, впервые полученную за продажу на внешнем рынке пуха-пера. Купят итальянские фризеры для изготовления мягкого мороженого.

— Мороженого? — переспросил я, напряженно соображая, какая может быть связь между птицеводством и мороженым. Да, мороженого. В хозяйствах объединения не только куры, но и молочный скот. Производить мороженое куда выгоднее, чем сбывать цельное молоко. У совхозов появился интерес и вкус к получению прибыли. И они идут к этой прибыли кратчайшим путем.

В Москве Первый часовой завод ведет тяжбу с союзным Госагропромом за право объединиться с подмосковным совхозом. И не каким-нибудь, а учебным хозяйством ветеринарной академии. Часы и ветеринария? Оказывается, совхоз все равно не выполняет свои учебные функции — скот у него только молочный, ни свиней, ни овец нет, коровники старые, производство убыточное, за молоко государство доплачивает. Все это завод обещает поправить, вложив с десяток миллионов рублей, сделать животноводство прибыльным, выполнять государственные планы и в то же время создать будущим ветеринарам все условия для учебной практики.

Зачем ему это нужно? Мало хлопот с часами? Есть свой интерес. Сверхплановые молоко, мясо и овощи пойдут на стол часовщикам, к тому же завод намерен вынести на территорию совхоза вспомогательные процессы — изготовление тары, нестандартного оборудования,— высвободив тем самым столь дефицитную городскую площадь, необходимую для реконструкции основного производства.

Птицеводы, производящие мороженое, часовщики, объединяющиеся с ветеринарным учхозом. Подобные современные агропромышленные коллизии и есть проявление нового экономического мышления. Для нас, разумеется, нового. Попытка в повседневной хозяйственной практике вырваться из строя, раз навсегда установленного порядка в царство осознанной необходимости, которая и есть, по Марксу, свобода.

Но как все это происходит? На каком фоне? Не на бумаге, а во плоти. Ведь за экономическими связями стоят социальные. Движение в экономике влечет за собой сдвиг в человеческих отношениях.

2

Все началось с телефонного звонка. Большинство наших журналистских сюжетов начинается с письма или звонка. Впрочем, здесь звонок означал не исток действия, а его продолжение. Исток был за два года перед тем, когда я, на сей раз уже по письму, отправился в глухое поволжское село Малячкино, которое волею обстоятельств выпало из хозяйственной жизни района. Полторы тысячи малячкинских жителей прекратили заниматься обычным своим крестьянским делом — откармливать и доить скот, возделывать окрестные поля. От полного раскрестьянивания их спасало разве лишь свое усадебное хозяйство.

Разумеется, это произошло не сразу. Сначала за околицей села построили фабрику технической бумаги, выделываемой из тонковолокнистого хлопка. Такое десантирование московского министерства можно было бы уподобить деяниям концерна «Феруцци» с его экономическими подвигами в глубинах бразильских джунглей, если б только хлопок на выделку не пришлось возить за тысячи километров из Средней Азии, где к тому же в отличие от Поволжья не дефицит, а избыток рабочей силы.

Потом начались акции местного масштаба, проводимые под флагом концентрации и специализации. Два десятка тысяч свиней соседнего совхоза решили снять с государственного зернового довольствия. Свои совхозные земли не могли их прокормить из-за низкой урожайности. Тогда-то малячкинский колхоз объединяют с совхозом «Пионер». Село становится периферией огромного разбросанного хозяйства, нелюбимым дитятей в большой, раздираемой неурядицами семье. А скоро в Малячкине уже ни отделения не оставляют, ни бригады. Ветшают постройки, исчезает всякое производство, остается лишь одна небольшая откормочная ферма. Людям негде работать, они расходятся, разъезжаются по утрам, кто на фабрику, кто на вахтенных машинах по разным районным предприятиям.

Первое душевное поползновение, когда узнаешь обо всем этом,— отыскать чью-то злую волю. В самом деле, почему именно на малячкинскую общину обрушились беды? Кто-то ведь принимал нелепые решения? Но злой воли не отыскивалось.

Любой из руководителей, принимавший те решения, будь то московский министерский работник или свой, местный секретарь райкома, крайне бы изумился, если бы его обвинили в стремлении причинить вред селу. Он и в самом деле никакого зла Малячкину не желал. Он просто в упор его не видел, оно существовало как бы в другом измерении. В его измерении были планы, показатели, политические кампании, которые нацеливали сегодня на одно, а завтра на другое. Все считалось политикой — рапс и кукуруза, специализация производства и бригадный подряд.

Село Малячкино если и попадало в поле зрения власти, то лишь в свете той или иной кампании. А коль скоро оно перестало существовать как отдельная производственная единица, его просто не замечали, и жалобы общины на всякие бытовые неурядицы — бездорожье, отсутствие детского сада, нехватку колодцев, пустой магазинный прилавок — воспринимались как докучливое брюзжание. Посмотрите, сколько строим, как стараемся, дойдет и до вас очередь. Но не доходила. И не могла дойти. Для фабрики, совхоза, сельсовета с его грошовым бюджетом малячкинцы были чужаками.

По одной из таких жалоб я и приехал сюда летом 1986 года. После сельского схода, бурного, истеричного, с обвинениями в адрес совхоза, районных властей, сведением давних счетов, мы толковали с лидерами общины о том, что же все-таки делать. Весь мой многолетний опыт разбора таких ситуаций убеждал: обратного хода здесь не может быть. Присоединить Малячкино к совхозу было просто. Шла кампания, совхозная форма собственности считалась передовой в сравнении с колхозной. Передать «Пионеру» малячкинский колхоз вместе с постройками, скотом, техникой — что тут хитрого. Меньше управленческого персонала станет, за это только похвалят. А вот разъединять... Все колхозное имущество — зерноток, склады, скотные дворы — за время периферийного житья в руины превратилось. Одна ферма осталась, и та, в сущности,— сарай. Восстанавливать — деньги нужны, и немалые, кто их даст? Да и зачем все это району? Малячкинцы хотят. Мало ли что они хотят?

Пиши я что угодно в своей статье — обличай ошибки и грехи прошлого,— ничего не выйдет, хоть расшибись. Дорогу подлатают, мосты через овраги наведут, пару колодцев построят — это сделают. А чтобы колхоз воссоздать, такого еще не бывало.

И мои собеседники — местные учителя, специалисты, заготовитель кооперативный — только головами сокрушенно качали. Сами знали, что я прав. И их опыт — «плод ошибок трудный» — то же им подсказывал.

На том и расстались. И все так и было. Написал я и газетную, и журнальную («Октябрь», 1987, № 12) статьи. Получил ответы из райисполкома о сгрейдированной дороге и построенных колодцах. Я считал себя реалистом и полагал, что свое дело сделал — высветил эту сельскую драму и, быть может, заронил зерно в общественное сознание. Во всяком случае, хотелось так думать.

И вот два года спустя, весной 1988 года,— звонок одного из моих тогдашних малячкинских собеседников — заготовителя Владимира Сергеевича Данилова.

Он в Москве, в редакционном подъезде, приехал специально ко мне — община послала, надо посоветоваться.

Сидим, толкуем, и, фиксируя все перипетии его необычайно занимательного рассказа, я думаю о том, как относительны наши представления о времени — историческом, социальном времени. Они добились-таки права создать свой колхоз, отделиться от «Пионера»! То, что еще два года назад казалось невозможным, сейчас стало реальным. Что же произошло за два года? В стране-то, я понимаю, что произошло: но ведь нам кажутся эти перемены, все эти разговоры о гласности, статьи, прожекты верхушечными, не затрагивающими глубинку. Еще Некрасовым сказано: «В столицах шум, гремят витии, кипит словесная война, а там, во глубине России,— там вековая тишина...» Я думал, как обычно, о последействии своих статей: бросил камень в реку жизни, булькнуло — и снова течет темная вода.

Но нет же, нет! Время изменилось. В соседских разговорах, уличных толках, семейных застольях накипало, зрело, бурлило. Выплескивалось на стихийных, никем из властей не созываемых сходах: «Хотим свой колхоз. Чтоб в прежних границах, на тех же землях, что отцы пахали. Отделяемся от совхоза».

Это происходило не только в Малячкине. И другие села района, которые насильно объединили в прошлые годы без всякой хозяйственной и социальной целесообразности, только лишь потому, что один колхоз посильнее, пусть и тянет слабого, тоже требовали разъединения. И не так, как раньше — в пересудах, глухом недовольстве, а в открытую, кулаком по столу: «Делите нас, и все тут!»

— Колхоз Калинина, может, помните,— сказал Данилов,— входили туда села Новодевичье и Маза. Теперь, как и в старые годы, снова два колхоза образовались. Тоже люди взбунтовались: хотим в своих селах работать. Пошли им навстречу. А уж нам сам бог велел.

Я понял, на что он намекает. Малячкино — чувашское село в окружении русского населения. Как это исторически получилось — являются ли малячкинцы некой ветвью, оторвавшейся от основного своего племени, или остатками коренного местного населения,— не знаю. Но только они, как и жители двух других деревень района, четко осознают и оберегают свое национальное единство: язык, культура, браки — все здесь чувашское.

Никто на их национальные чувства не покушается, заверяли меня местные власти. Но сами-то крестьяне в своих неурядицах, в отторгнутости от жизни района всегда усматривали дискриминацию. А район, в свою очередь, в конфронтации общины с совхозным руководством видел стремление к национальной обособленности.

Сколько лет мы стыдливо умалчивали о национальных конфликтах и противоречиях! Только после Карабаха со всеми его последствиями начали постепенно снимать вуаль умолчаний с этой острейшей проблемы нашей общественной жизни.

Вот и в желании малячкинцев показать себя сказывалось не только здоровое крестьянское чувство, но и уязвленное национальное самолюбие. Создадим свой колхоз — покажем, чего мы стоим.

Я представил себе тревоги районной власти: это ж сотни полторы рабочих разных предприятий — шоферы, механизаторы, наладчики бумагоделательных машин — вдруг все враз оставляют свои места, оголяют производство. Это дележ техники, земли, наконец, перекраивание планов.

— А район что вам ответил?

— Сначала пытались не замечать, объявляли сходы незаконными: сельсовет, мол, их не созывал. Потом, когда мы начали собирать сотни подписей, нельзя уж было не замечать. Начались переговоры с совхозами, РАПО, райкомом.

И сразу же — спор о земле. Совхоз готов был отдать сначала тысячу двести, потом тысячу шестьсот гектаров, село требовало около четырех тысяч, входивших в землепользование малячкинского колхоза, существовавшего до начала шестидесятых годов. Поехали в Куйбышев, отыскали старые карты. Наша же, мол, пашня, и заливные луга были наши. Совхоз отступал, район вроде тоже не возражал, но вязло все, как водится, в согласованиях, ссылках одного руководителя на другого.

— Ладно, разрешат вам создать колхоз. Что дальше? Разорено все у вас. Как хозяйствовать будете? В общем котле с совхозом «Пионер» ваша ферма как-то существовала. И земли худо-бедно, пусть и пришлые механизаторы, но пахали. Когда отделитесь, на виду станете, все на вас пальцем показывать начнут.

— Завод поможет.

— Какой еще завод?

— Сызранский нефтеперерабатывающий. Готов деньги дать, построить все, что требуется.

— Вы что же, станете его подсобным хозяйством?

— Не совсем. Как раз об этом в Куйбышеве и идет разговор — то ли в аренду он нас возьмет, то ли объединение будет. Там много споров. Да мы не можем больше ждать. За тем меня к вам и послали, чтоб приехали, помогли ускорить дело.

Сижу, соображаю, приноравливаюсь к этой новой для меня ситуации. Значит, и до поволжской глухомани дошли такие хозяйственные отношения. Вспоминаю обветшавшую малячкинскую ферму, заросшие сорняками поля. Что же, сызранский завод там действовать будет, как итальянский концерн в бразильских джунглях? Причудливы и драматичны нынешние агропромышленные коллизии! Придется ехать в Куйбышевскую область, становиться малячкинским ходоком, как и этот деревенский парень, с надеждой смотревший на меня. Надо ехать.

3

Месяц спустя сажусь на сызранском автовокзале в старый, дребезжащий автобус. Сквозь щель в крыше дует теплый летний ветер. Шоссе разрезает чахлые хлеба. Мелькают знакомые названия сел — Пионерское, Усинское. Наконец, Шигоны.

Во всех кабинетах двухэтажного здания райкома партии, где я проводил столько времени два года назад, пусто. Секретарша в приемной поясняет: «Актив районный идет по продовольственному вопросу». Вот и прекрасно. Не надо никого расспрашивать о районных делах, посижу на активе, все и все, но многое узнаю. Пишу записочку в президиум с просьбой разрешить присутствовать и через минуту оказываюсь в небольшом зале, приковав к себе ненадолго внимание соседей.

«Кто такой?» — несется шепоток. И в ответ также еле слышно, легким шевелением губ: «Корреспондент». «Ах, корреспондент...» И снова вокруг воцаряется то особое умиротворенно-сосредоточенное, на грани сонливости состояние, которое свойственно среднему чиновному слою на долгих многолюдных заседаниях.

На сцене районное начальство. Новый первый секретарь — Вячеслав Федорович Сысуев, старого — Анатолия Петровича Милова — перевели на кооперативную работу, председателем облпотребсоюза. Два года назад Сысуев, тогда второй, подписывал ответ на мою статью. Сейчас вторым — Павел Дмитриевич Дашков. Он был председателем колхоза имени Пушкина. Помнится, Милов возлагал на него большие надежды. Молод, энергичен, образован. Да и Сысуев такой же стройный, подтянутый, молодой еще мужик. И тоже до райкома командовал лучшим в районе колхозом «Россия».

Что ж, закономерный рост, естественное движение кадров. После института — колхозный агроном или инженер, потом председательское кресло, затем районный уровень. Милов же вон и на областной вышел. Двигайся, расти, делай карьеру, пока возраст или какие-либо обстоятельства не остановят это движение. Засиделся — упустил свой срок, на одном месте куковать до пенсии. Все правильно, да только из-за быстрого движения по должностным ступенькам не с кого спросить за результаты решений и планов. Раскинут перед тобой любые цифры, как скатерть, распишут, расчислят — туда-то деньги будем вкладывать, такую-то технологию применять, таких-то показателей добьемся, обязательно добьемся, не сомневайтесь. Приедешь несколько лет спустя — нет того человека. А если сидит пока на своем месте, на погоду сошлется, на неразумность начальства или еще какие-нибудь объективные причины.

Вот и в 1986-м Милов ладно и умно рассказывал об освежении крови молочного скота, о почвозащитной технологии, о коллективном подряде. Но ведь нет теперь Милова, он за потребительскую кооперацию в областном масштабе отвечает, а на трибуне Дашков, второй секретарь, делает доклад, и от приводимых им цифр прямо-таки оторопь берет.

Урожайность зерновых вот уже десять лет застыла на одном показателе — тринадцать центнеров с гектара. И как ей не застыть, если от земли берут больше, чем дают. В районе отрицательный баланс гумуса, и никто не пополняет убывающее плодородие пашни. Картошки собирают меньше, чем сажают. Овощей не только для госпоставок не хватает, но даже и для своих столовых. За арбузами ездят в Сызрань. Коллективный подряд есть, им охвачены семьдесят процентов работников земледелия и половина животноводов. Только что толку. Все это формальность, пустое писание бумаг.

Выходят на трибуну ораторы — и еще мрачнее картина. Доярка Маслова из колхоза «Приморье»: скот ушел на зимовку истощенным, в апреле кончился запас грубых кормов, пастбищ мало, надои падают. Литвинович, директор совхоза «Новодевиченский»: в прошлом году собрали зерновых по четыре центнера с гектара. Бог ты мой, посевная норма — два центнера, выходит, получили сам-два. Так мало не брали с этой земли и во времена графа Орлова.

Выливать на голову нового хозяина района свое негодование бесполезно. Отговорится: погода, мало строим, плохое снабжение, люди из сел бегут, но стараемся, намечаем то-то и то-то. Наверное, уже есть планы охвата арендным подрядом. Что тут толковать?

В перерыве расспрашиваю Сысуева про Малячкино.

— Колхоз там создали. Назвали «Нива».

— Председателем Данилова избрали?

— Да нет, не Данилова! — смеется Сысуев.— Там такая борьба шла... Голоса разделились. Все ж таки Данилов не имеет агрономического образования, не специалист. Избрали Васильева. Толковый, умный мужик и агроном хороший, в сельхозхимии работал, да только вот одного опасаемся...— Секретарь райкома запинается, щелкает пальцем по шее и добавляет: — Пока держится.

Экое несчастье, сколько талантливых

людей по российским деревиям, которых только одно и губит...

— Остаиетесь до коица актива? — спрашивает Сысуев.

К чему все это слушать? Только душу травить. И проще им обсуждать свои семейные дела без посторонних. Поеду в Малячкино.

4

Плывут облака иад селом, его широкими затравеневшими улицами, поленницами дров, просторно раскинувшимися бревенчатыми домами. Тихо кругом, несуетио — легкий теплый ветер, поспевшие к сенокосу травы, привольные усадьбы. Все рождаст представление о жизни цельной, неспешной, которая так манит измученного толчеей, заводскими дымами, магазинными очередями и дороговизной горожанина. И вот он уже бросает работу, благоустроенное жилье в доме-муравейиике, отправляется в эту деревенскую идиллию, с тем чтобы вскоре убедиться в несовместимости своих представлений о сельском укладе с реальностью, в крушении мечты о потерянном рае. Сколько таких писем приходилось мне читать в последнее время! Одного из авторов поражало, что председатель колхоза и главный экономист — муж и жена, другого — что кочегар совхозной котельной может иа два часа бросить свой пост без подмены, хотя правилами это строжайше запрещено, третьего — собственное одиночество, полное равнодушие к нему соседей, а ои так искал тепла, общения. Их жаждущим чистой жизни взглядам открывались кумовство и зависть, вражда, длящаяся десятилетиями, а самое главное — что и здесь под ликом благостности и добродушия кипели те же страсти и драмы, что и в городе.

Вот и я, неспешио идучи по деревенским улицам, кланяясь редким прохожим, вспоминаю тот, двухгодичной давности сход с мрачным упорством его участников, криками, взрывами ярости. В сущности, и сейчас село иа граии нервного срыва. Столько лет игиорировали его стремление жить своей хозяйственной жизнью, распоряжались землями, дергали нелепыми прожектами!

А обвииения в пьянстве, бескультурье, заботе только о личной выгоде, личном хозяйстве, воспринимавшиеся здесь как ущемление национального достоинства! Упрекни русский начальник русское же село: «Грязно у вас»,— все воспримут как упрек этому селу. Ну, а здесь? «Значит, мы, чуваши, грязные, некультурные?» Надо понимать и такую тонкость, считаться с самолюбием общины, живущей в иионациональном окружении. Но кто считается, кто думает о таких нюансах? «Мы интернационалисты, у иас все равны». Может, хоть Карабах отрезвит, заставит понять, какая тоикая материя — национальные отиошения в стране, где сотня наций и народностей.

В Малячкине все повито корневыми семейными связями, традициями клаиовой вражды и дружбы. Мне рассказывали в Шигонах, как проходили выборы колхозного председателя. Лидером общины был Даиилов. Именио он возглавил инициативную группу, добивавшуюся воссоздаиия колхоза, выступал на сходах, ездил в Шигоны, Куйбышев да и в Москву ко мне. У него и молодость, и иапор, и честолюбие. Вторым человеком считался Васильев, работавший некогда агрономом малячкинского отделения совхоза «Пионер», а теперь — в агрохимии. Здешние земли он знал досконально, в районных делах ориентировался. И если б не слабость, на которую столь выразительио намекал секретарь райкома, давно бы карьеру сделал.

Данилов так и рассчитывал: ои — председатель, а Васильев, заместитель, главным агроиомом. И вдруг перед самым собранием Васильев себя председателем выдвигает. Голоса разделились. За Данилова большинство молодежи. Он капитан футбольной команды, которой все село гордится. Как кто упрекнет малячкинцев в пьянстве, шабашничестве: «А команда наша футбольная? На всех районных соревнованиях выступает». Да и уважали Данилова — заготовителя, фигуру влиятельную в сельской жизни. И все же большинством голосов прошел Васильев. Сочли, что специалист тут надобен, агроиом. Крику, ссор, уличных пересудов, конечно, миого было. Даиилов в сердцах отказался вступать в колхоз: «Я и заготовителем свои триста имею». Конечно, отметили событие. Злые языки говорили: Даиилов расчет имел, что не выдержит Васильев на радостях, сломается после первой рюмки, закуролесит, как то с ним уже случалось. Устоял председатель. И за дело взялся с большим рвением.

Сейчас иам предстояло встретиться. Но я приехал пораньше, посмотреть, изменилось ли село визуальио. Особых перемен не заметно. И все же дорогу замостили, это верно, несколько колодцев появилось, в оврагах — мостки. Зашел в магазин. Тут-то, пожалуй, хуже стало. Даже разноцветные конфеты — горошек, что приводили на сходе как пример оскудения торговли, и те исчезли. Сахара дают по два килограмма на душу в месяц. И это в ягодную пору, когда самое время варенье варить. Вся округа зиает: в Сызрани норма — три кило, опять деревню обижают.

Василий Егорович Васильев, сухощавый, сдержанный, глаза с прищуром, ждал на улице. Вошли в контору. Скрипучие некрашеные полы, лавки, корявые доски стола, гора окурков в углу, банка с колодезной водой — давненько я не видывал эдаких контор. Разве что в пятидесятые годы, работая геодезистом в землеустроительном отряде, сидел на такой вот лавке, вникая в неторопливую крестьянскую беседу на утреннем наряде, всегда многолюдном. Заходили на него и те, кому надо, и те, кому ничего не надо,— просто так, покурить, послушать деревенские новости. Вот и сюда стал подваливать народ. Кое-кого помнил по прежнему приезду. Строймастер Юрий Васильев, однофамилец председателя, молодой парень, после института в Костромской области поработал, потом в Малячкино вериулся. Акимов Михаил Евсеевич, пенсионер, раньше механиком в сельхозтехиике был, теперь тоже в председательский актив входит. Еще какие-то незнакомые мужики перекидываются репликами по-чувашски.

— По-русски, по-русски говорите! — прикрикнул председатель и кивнул на меня: — Он же ие понимает.

Перешли на русский, и потянулась уже знакомая по рассказам Данилова повесть о том, как собирались на сходы, требовали, писали письма, воевали с районом.

— Что сейчас?

— Сейчас колхоз юридически создан. На днях будем делить с «Пионером» технику, земли, скот. Людей у нас более чем достаточно, не всех даже приняли, кто хочет. Крикни завтра — все село в колхоз пойдет. А в нем пятьсот шестьдесят дворов. Беспокоит другое: строить надо. Все, что было в том старом, шестидесятых годов, колхозе, «Пионер» довел до ручки. Пусть даже дадут нам кредит, как отоварить его? В РАПО говорят: району на квартал выделили сотню тысяч штук кирпича. На район! Представляете? Одна надежда теперь на завод. Но соединиться с ним не дает облагропром. Как раз завтра едем в Куйбышев, последнее слово нам должны сказать. Так что встретимся послезавтра. А пока поля посмотрим, что нам совхоз передает. Наследство наше.

Набились в «Жигули» Юрия Васильева и, медленно объезжая огромные наплывы засохшей грязи, что избороздили деревенскую улицу, бочком, вдоль домов стали пробираться к околице. А там уж сначала избитый асфальт, потом мягкий пыльный проселок повели нас по увалистым просторным поволжским нивам.

Выбирались из машины, входили в чахлые, редкие хлеба. Не поймешь, что здесь и сеяли — и пшеничные, и ячменные колосья попадались.

— Осенью озимую пшеницу посеяли,— сказал председатель.— Вымерзла. Весной — яровой ячмень. А взять-то нечего. Лучшее поле даст семь-восемь центнеров. А планируют девятнадцать. Кое-где ие соберешь и что посеяли. Сорняков-то сколько!

Сорняков было много. Поле пестрело розовыми цветами осота, желтыми — сурепки. Попадались и неизвестные мне растения.

— Это ярутка полевая,— пояснял Васильев.— Видите: цветок белый, стебли ветвистые? А там липучка ежовая — плохая трава. Жабрей. Худо дело. Сеял «Пионер», а собирать нам. Ладно, зябь-то уж сами пахать будем...

Покатили дальше — скот смотреть. Скот был не лучше посевов. Худые бычки теснились на летней площадке. Покосившаяся изгородь, истолченная копытами грязь, голодное мычаиие.

— Пастбищ нет, концентратов совхоз не дает, да и зеленку сегодня не привозили,— мрачно проговорила молодая работница.

Невмоготу становилось от всего этого разора и запустения. Впрочем, и два года назад было то же самое. Может, хватит?

— Нет, нет, давайте все посмотрим! — запротестовали мои спутники.— На ферму съездим.

Зимние квартиры малячкииских бычков являли собой зрелище еще более неприглядное, чем летняя площадка. Обветшавшие, осевшие сараи, солнце, светившее сквозь стены. Все здесь вручную — и раздача кормов, и уборка иавоза. Долго гадали, есть ли вода? Неужто в ведрах из колодца таскают? Подошел заведующий Петр Васильевич Туйзюков, разрешил сомнения:

— Водопровод есть. А уж остальное — сами видите.

Ему, коренному малячкинскому крестьянину, видно, было неловко. Не мог же он не чувствовать своей ответственности за это безобразие. Все же он заведующий. Другие испытывали отнюдь не смущение, а скорее горечь с примесью некоего мрачного злорадства: вот вам Мироиов и его команда, не зря мы с иим воюем, требуем отделения, ведь до чего довел.

Если б в одном Миронове даже со всей его командой дело было. Снять Миронова, поставить Иванова, Петрова несложно. Сколько раз с меия требовали после таких вот командировок указать конкретного человека, персонально ответственного за провал работы! Хорошее словечко: персональная ответственность. Когда есть такой человек, можно с облегчением вздохнуть, можно наказать, заменить, снять, сообщить о принятых мерах. А если нет его? Если Миронов, издерганный беготней по своим необъятным полям, указаниями района, измученный недородами, нехваткой кормов, радикулитом, лишь последний в веренице своих предшественников, приложивших руку к развалу малячкинской фермы и оскудению полей? Если драма этого села — результат многих деяний, которые родинт только одно: те, кто давал директиву, не знали всех последствий ее выполнения и не отвечали за эти последствия, а те, кто выполнял, не имели ни силы, ни смелости противостоять напору власти. Да он, Мироиов, может, облегчение чувствует, выделяя это «бунташное» чувашское село из совхоза. Оно ему, как прострел в радикулитной спине. Он и технику, и скот отдаст — живите, ребята. А вот как им жить? Как выво-

лочь эту телегу из болота, какое тягло здесь припрячь?

— Сход соберем послезавтра,— сказал Васильев.— Поговорим.

На том мы и расстались. Завтрашний, свободный от малячкинских дел день я решил поездить по району. А затем — сход.

5

— Ну, как, побывали в Малячкине? — спросил утром Сысуев.— Трудное село. Я хотел вам предложить посмотреть, как разделили мы колхоз Калинина.

Подтекст этого предложения был ясен: там, в Малячкине, все рядятся с совхозом, жалуются на район, область, а в колхозе имени Калинина разделились и работают. Зри, корреспондент, не в одну лишь сторону, предлагай читателю не только горькое, но и сладкое. Район-то, он не в стороне от современных веяний, понимает, что пора исправлять ошибки прошлого, с народом считается, идет навстречу его требованиям, коль скоро они разумны.

О колхозе имени Калинина, о нелепом и волевом объединении в нем двух сел — Мазы и Новодевичьего — я слышал еще в тот приезд. Оба села, старинные, жившие своей особой жизнью (в небольшой Мазе был компактный колхоз, а в огромном прибрежном Новодевичьем располагался в свое время даже и райцентр). Та же слепая чиновная сила, не спросясь согласия общин, бросила их друг другу в объятия, соединила в общий хозяйственный организм.

Колхоз прозябал, ни ладу ни складу там не получалось. Семь миллионов рублей долгов, низкие надои и урожаи, разбросанность полей. Маза от Новодевичьего в двенадцати километрах, в Мазе — почти все хозяйственные постройки, а в Новодевичьем — школа, больница — все это угнетало, давило своей несообразностью, противоречило здравому смыслу.

Мазинские мужики — крепкие, толковые механизаторы — так и не примирились с объединением. Стоило начаться в стране оттепели, пошли письма в райком, коллективные, с десятками подписей: «Разделяйте нас!» А зимой 1988 года на отчетном собрании колхоза все мазинские, словно один человек, покинули зал. Так вот — встали и вышли. Не считаетесь с нашими требованиями — нечего нам здесь делать. Эдакая акция гражданского неповиновения. И тогда райком понял: больше оттягивать нельзя. Не замечать, как делали годами, или прикрикнуть, пригрозить — только масло в огонь подливать. Сейчас с народом шутки плохи. Вон в Куйбышеве, и это вся область знала, создаются неформальные объединения, набухает, назревает гнев народный, разразившийся в июне массовыми митингами с конкретными обвинениями по адресу хозяина области Муравьева. Сидел Муравьев на XIX партийной конференции с лицом трагическим, словно знал: скоро снимут. Сняли.

И шигонские руководители — не без политического чутья, понимали: надо делить колхоз, ничего не поделаешь, пора платить по старым счетам, вскрывать назревшие нарывы, как ни больно, ни трудно это делать.

В конце марта, в один день в Мазе и Новодевичьем, с разрывом в несколько часов проходили учредительные собрания. Райком готовился к ним. В духе времени решили в каждом колхозе предложить по три кандидатуры на председательскую должность. В Мазе — Елина, председателя колхоза имени Калинина, главного агронома Смирнова и из областного резерва — главного агронома совхоза «Суринский» Фоменко. Этого отвергли сразу же: чужих нам не надо. Елина — после обсуждения. Да, конечно, ясли построил, утеплил мастерские, гараж, а все же — груб, самовластен. Избрали Смирнова, надеясь, что учтет ошибки предшественника. В Новодевичьем точно так же, по тем же причинам,— отвели Елина и Фоменко и избрали председателем своего секретаря парткома Кочеткову. С названиями решили так: в Мазе пусть остается имя Калинина, а в Новодевичьем — хватит имен вождей — стоит село на берегу Волги, вот пусть и будет «Волгарь». Однако раздел был только началом.

— Вы нашу-то районную тяготу поймите,— говорил мне Сысуев.— Конечно, негоже в свое время сделали, объединили. Но в том же «Волгаре» крыши для техники нет, зерно провеять да подсушить негде, даже начальству колхозному сесть негде. И гараж, и ток, и контора — все в Мазе. У нас же на район во втором квартале всего восемьдесят тысяч штук кирпича. Отдали их «Волгарю», а там, глядим, Малячкино отделяется. Вот приехали мы с вами сюда, а она,— секретарь райкома кивнул на сопутствовавшую нам в Новодевичьем Галину Петровну Кочеткову,— ждет от меня, что еще я ей дам. Нужно все — и лес, и цемент, и кирпич. Понимаете?

Понимаю. Как не понять! Сколько таких речей наслушался я за годы поездок по сельским районам. Эта райкомовская исповедь разворачивалась на фоне крупного, широко раскинувшегося села, опустелость и заброшенность которого почему-то особенно явственно ощущались в разгар ясного летнего дня. Основательные, но дряхлеющие, без следов ремонта дома были окружены старыми цветущими садами. Просторные общественные здания — клуб, больница, почта, словно шапка большего размера на ссохшейся стариковской голове, свидетельствовали о социальной инфраструктуре, рассчитанной на целый район. Здесь и в самом деле некогда был райцентр. Мне не раз приходилось видеть такие вот заброшенные райцентры. Структуру административную кроят, как лоскутное одеяло, что-то пришивая, а что-то и ушивая, отрезая, опять же без особой думы о жителях. Отсталый, бедный район — давай его пристегивай к соседу побогаче. Вот и Новодевиченский то в Шигонский вливали, то в Сызранский, то опять в Шигонский.

Ну, что, казалось, особенного в превращении села из районной столицы в обычный поселок? Не будет сотни местных чиновников, вывески учрежденческие поснимают... Ан нет, словно жизнь уходит из поселка. Не только чиновники, но и рабочее активное население скорее разъезжается, глуше, тише жизнь становится. Тут и снабжение похуже, и за дорогами не следят, и кино в клубе не то показывают. Так уж у нас устроено: все цветет и растет поближе к начальственному оку. Много чего меняется с превращением райгорода в обыкновенное село.

Вышли к берегу Волги, а вернее Куйбышевского водохранилища, разлившегося в предплотинном приволье. Недлинный рядок «Москвичей», «Жигулей» с корзинами, мешками, набитыми плодовым и овощным товаром, стоял на травянистом холме над неоглядным речным простором. Сюда к приходу «Метеоров» съезжаются крестьяне со всего района везти усадебный продукт на рынки Сызрани и Куйбышева. Пристань выглядела на диво новенькой, аккуратной. Изящный деревянный домик-шалашик на хорошо выкрашенной железной, как говорят речники, «галоше». Рядом тянулись бетонные тумбы, укреплявшие берег.

Историю этой пристани я знал. Ее мне поведали еще в прошлый приезд. В такой же вот ясный летний день сидел здесь в затоне на старом деревянном причале местный речной начальник, мужик простой, грубоватый, и подбивал топором сломавшиеся сходни. Настроение у него было скверное то ли от своих бед, то ли от того, что устал требовать ремонта гнилой пристани. И потому, когда над ним кто-то старческим голосом спросил: «Что, сломалась?» — он ответил, не поднимая головы: «Сломалась, так ее перетак».

Что-то все же в этом голосе его насторожило, он поднял голову и увидел сутуловатого пожилого человека в спортивном костюме и соломенной шляпе. Лицо его показалось странно знакомым. Впрочем, мужику некогда было вспоминать, где он видел этого человека, много тут всяких сановных стариков ходит, неподалеку правительственный санаторий «Волжский утес», и он выложил все, что думал о волжских пристанях, порядках в пароходстве и многом другом. Собеседник усмехнулся на кудрявые выражения речника и стал расспрашивать о жизни. Покалякали о том о сем. Речник в конце концов сообразил, что говорит с Дмитрием Федоровичем Устиновым, но не смутился. Повторяю, народ здесь привычный к лицезрению большого начальства.

Вернувшись к себе на госдачу, Устинов связался по правительственному телефону с министром речного флота, и вскоре в Новодевичье привезли новую типовую пристань — «галошу», шалашик, а заодно начали укреплять берег, размываемый волжской волной.

Об Устинове в районе вспоминают тепло и охотно. Говорят, родом он самарский, брат в гражданскую здесь погиб, потому и отдыхал в «Волжском утесе» не раз, приезжал с детьми, внуками. Гулял по окрестностям, приходил в санаторский бар, смотрел на танцующих, угощал коктейлями. И вообще был прост, доступен, доброжелателен. Я все уточнял: в какие же годы то было? В те ли времена, когда в район привозили наглухо закрытые гробы из Афганистана?

Вообще-то у районного начальства к «Волжскому утесу» отношение двойственное. С одной стороны, кое с кем из знатных отдыхающих удается решать всякие сложные хозяйственные вопросы. Один заместитель министра водопроводные трубы помог достать, другой — газораспределительный механизм: магистраль рядом идет, а газ баллонами приходилось возить. Иди пробейся к такому человеку в Москве, дальше приемной не пустят, да вспомнит ли он тебя, сельского районщика? А здесь, на отдыхе, со всем благорасположением: как не помочь селу, ему эти трубы — тьфу, капля в море ресурсов его отрасли, что стоит позвонить или бумагу подписать. С другой стороны — хлопоты. Кого возить по району надо, с кем — уха, с кем — застолье. А самый высший ранг... Звонит директор госдачи: Гришину захотелось посмотреть подледный лов — ищи лошадь, сани, тулупы, чтоб полное деревенское раздолье. А то стерляди ему хочется, организуй ловлю...

Район полон рассказами о санатории, его обитателях, их быте. Расположен «Волжский утес» напротив старого графского Усолья, по другую сторону залива. И орловский дом кажется хижиной в сравнении с многоэтажным современным корпусом санатория. Что там сравнивать? Век девятнадцатый и век двадцатый. Целый городок расположился вокруг горы Светелка, где, по преданию, граф Орлов с Екатериной любовались волжским раздольем. Многоквартирные дома обслуги, охотничий, рыбацкий домики, бассейн, всякие службы. Поодаль белым пятном в зелени — госдача. Внутри главного корпуса санатория импортная, обитая кожей мебель, роскошные холлы, одна хрустальная люстра, говорят, сто тысяч стоит. Весь же санаторный комплекс, подсчитали в районе, в десятки миллионов обошелся. Не меньше. Одних машин там сто пятьдесят и обслуги сто человек на двести пятьдесят отдыхающих.

Все это на виду у окрестных сел с их

мечтами о двух километрах дороги или новом клубе, с их планами раздела хозяйств, трудноосуществимыми из-за тягот со строительством зернотока или гаража стоимостью в десяток тысяч рублей.

— Каков объем капитальных вложений в сельское хозяйство района? — спросил я у Сысуева.

— По миллиону в год примерно. Да не только в деньгах дело. Я ж говорил вам, сколько кирпича нам выделили на квартал,— восемьдесят тысяч.

Во время обеда на бригадном стане за длинным дощатым столом в обществе колхозных механизаторов снова заговорили о том же.

— А ведь был у нас в Новодевичьем свой кирпичный завод,— сказал один из механизаторов, зачерпывая ложкой густой мясной суп. И, улыбнувшись, добавил: — Я же его ломал лет десять назад.

— Зачем ломали?

— Велено было. А ведь миллион штук в год давал. Да не только кирпичный завод. Валяльный цех был, валенки делал. Мельница своя имелась, маслобойка. Все хозяйство... Сейчас один швейный цех «Волна» остался, одеяла да простыни шьет.

— Он промкомбинат имеет в виду, местной промышленности принадлежал,— сумрачно пояснил Сысуев.

— А вы б поглядели, что там сейчас,— не унимался механизатор.

После обеда заглянули посмотреть, что сейчас на месте промкомбината. Большой, заросший буйной травой двор окаймляли старые бревенчатые строения. Там, где был жестяной цех, кровлю делал, располагался небольшой свинарник — подсобное хозяйство швейного производства. Остальные пустовали.

Что за Мамай прошел по местным селам? Какая надобность была разрушать такое разветвленное и нужное людям хозяйство, микропромышленность целого района — и валенки валяли (где их сейчас найдешь — валенки?), и масло сбивали, и кирпич, о котором теперь мечтают, делали.

— Централизация,— грустно усмехнулся Сысуев.— В Сызрань все стягивали. Там дирекция, а здесь решили: ни к чему людей держать.

В который раз слышу об этой непродуманной, беспорядочной централизации, концентрации. Так же вот закрывали сельские пекарни, потому что в райцентре открыли хлебозавод. Попробуй от него по бездорожью доставь хлеб во все углы района! И сепараторные отделения, мелкие маслозаводики, а молоко тягали на тяжелых тракторах в город, в райцентр. И хладобойни, а скот на долгом пути терял вес. Дошло до того, что некоторые хозяйства сырое непровеянное зерно прямо из бункера комбайна на элеватор отправляли. Без зернотоков обходились, а стало быть, и без кормовых зерноотходов. Лишь бы сдать поскорее хлеб, пусть потеряем в цене, в прибыли, лишь бы сдать, скинуть, свалить, отчитаться.

Самостоятельность, возможность распоряжаться своим, заработанным, уже никого не манили. Вот ведь и в истории с этим кирпичным заводиком сдал позиции район, разрешил его сломать. Наверное, аргументы были такие: старые печи, отсталое мелкое производство. Мелкое-то мелкое, а миллион кирпичей давало, сейчас же вон и сотню тысяч не наберут. Ломать легче, чем реконструировать. Вместе с заводом отдали и право распоряжаться его продукцией, которое всегда склонна монополизировать вышестоящая власть. Она теперь распределяет кирпич из Куйбышева, Шигонам достаются крохи. У кого ресурсы — тот и хозяин.

Власть была в городе, и она стягивала к себе всю сельскую промышленность, перерабатывающую инфраструктуру, не считаясь с реальной жизнью деревни, ее потребностями, волей сельских общин. На все беды был один ответ: объединим, сконцентрируем, сильный подтянет слабого — и показатели улучшатся. Представители власти не засиживались долго на одном месте, уходили из района наверх или в сторону, благоразумно не дожидаясь результатов своей деятельности, но методы оставались теми же.

Власть обещала, приводила расчеты, расписывала по годам планы. Верховные правители гуляли по деревням района, иногда милостиво одаривая селян новой пристанью, водопроводом. А села скудели, старели, затаивались в глухом протесте, как Малячкино, Маза, Новодевичье. Села ждали своего часа. Пробил ли тот час?

6

Сход в Малячкине. Вернее теперь — колхозное собрание. Васильев весь день был в Куйбышеве и сейчас заехал домой перекусить. Седьмой час. Вечер теплый, на небе ни облачка. Самая пора ходить с литовкой по оврагам да лесным полянам, навьючивать свежим сеном тележку мотороллера или мотоцикла (так здесь принято) да метать стог на подворье. Упустишь час — будет корова зимой на голодном пайке. Тем не менее на взгорке у клуба густая толпа. Подходят учителя — Валентина Алексеевна Ерофеева, Надежда Павловна Самаркина. Шоферы, механизаторы, наладчики с бумажной фабрики. Начальства никакого — ни из сельсовета, ни из района.

Подходит Васильев. Толпа втягивается в стылый полутемный клубный зал. Ряды обшарпанных кресел, на сцене стол с бордовой скатертью. Председатель подходит к краю стола и, выждав, когда утихнут хлопанье сидений, кашель, разговоры, начинает излагать «текущий момент». Он повторяет то, что уже хорошо известно и мне, и уж, наверное, собранию. С РАПО договоренность есть:

план на первое время колхозу устанавливают небольшой, можно рассчитывать на кое-какие кредиты банка. Но как быть дальше? Для того чтобы превратить «Ниву» в нормальное хозяйство, нужны стройматериалы, удобрения, хорошие семена, машины. Здесь требуются средства солидные, миллионные, если даже и дадут такие кредиты — попробуй за них рассчитайся. Видно, обо всем этом в селе говорилось не раз, ибо зал слушает привычно и спокойно, понимает: не за тем же он ездил в Куйбышев! Сделав, как опытный оратор, небольшую паузу, Васильев переходит к главному.

Сызранский нефтеперерабатывающий завод готов провести полное экономическое и социальное переустройство села, но при одном условии: колхоз становится подсобным хозяйством предприятия.

— А чего хочет завод? На что рассчитывает? — раздается из зала.

— Я скажу, на что рассчитывает,— отвечает Васильев.— Они хотят иметь по пятьдесят килограммов мяса на работника, шестьдесят — молока и восемьдесят — овощей. Мы прикинули: при ежесуточном привесе крупного рогатого скота в пятьсот граммов и годовом надое около трех тысяч килограммов для этого нужны тысяча шестьсот гектаров земли. А у нас около четырех тысяч. Как же быть? Отказываться от своей земли? Сокращать землепользование?

— Не-ет! — дружно загудело собрание.

— Вот и я думаю — нет,— сказал Васильев.— Выход есть. Мы предлагаем нефтепереработчикам взять всю нашу землю. Но продукцию с тысячи шестисот гектаров забирать себе, а с остальных — продавать государству. Пусть это будет подсобное хозяйство, однако работающее не только на свое предприятие, но и на государство, районные, областные планы. Завод устраивают такие условия, и он готов вложить в ближайшие годы в развитие нашего хозяйства пять миллионов рублей.

— Сколько? — ахнуло собрание.

— Пять миллионов.

Откровенно говоря, и я чувствую себя взволнованным. Пять миллионов — это ж пятилетка капвложений всего района!

— Они предлагают построить,— продолжает Васильев,— пять километров асфальта, два коровника. Есть и подрядчик — Сызранская ПМК. Старую ферму реконструировать под откорм свиней. Кошары на тысячу двести овец, а рядом — цех пошива дубленок. Сыроваренный, колбасный цехи. Зерноток, детсад, клуб, дом животновода. Все это за пять лет.

Зал ошеломленно молчит. Словно золотой дождь пролился над головами людей. Долгие годы они вели бесплодную борьбу за строительство клуба, нескольких километров дороги, а тут все сваливалось на них само собой, только работай в поле и на ферме, делай свое крестьянское дело.

«Вот уж узнают в районе, какие они, малячкинцы. Все-то мы им — черная кость. Сыроваренный цех, дубленки...» — отзвуки не утихающих на селе страстей.

— Это все реально, товарищи,— подливает масла в огонь Васильев.— Завод богатый, крупный, с большими прибылями, и валюта у него своя есть на покупку импортного пищевого оборудования. Они у нас хотят наладить современное производство по всему циклу — от поля до готового продукта.

— И что же? — спросил зал.

— Облагропром против. Не можем переубедить.

Кончился золотой сон. Собрание подавленно молчит.

Вот так завершился второй малячкинский сход, в котором мне довелось принять участие. Люди долго еще не расходились по домам. Пригорок у клуба дотемна кипел пересудами, толками. Колхоз создан, ему возвращены старые общинные земли, пусть заброшенные, засоренные, но свои. И вот новая беда, новый барьер. На сей раз в туманной городской дали, на недоступном областном уровне. Как его преодолеть?

— С кем конкретно вы вели переговоры? — спросил я Васильева.— Кто вам отказал?

— Зампред облагропрома по экономике Горбачев Виктор Николаевич. И мужик-то вроде умный, а уперся: пусть завод вложит деньги в колхоз и получит соответствующее количество продукции на договорных началах. Сейчас так многие делают. А завод это не устраивает. Хочет хозяином быть. Тоже прав по-своему. Может, съездите в Сызрань, в Куйбышев, потолкуете? Сейчас прессе — внимание.

7

Раскаленная полдневным жаром Сызрань — город старинный, «купецкий», славный некогда своим мукомольем да перевалкой леса. Сейчас же чего только там нет: и сельхозмашины строят, и оборудование для металлургии, горного дела, и нефть перерабатывают. Нефть здесь начали добывать в начале тридцатых, а в военные сороковые перевели из Баку перегонный завод, который к нынешним временам превратился в мощное, хорошо оснащенное предприятие, дающее бензин, сажу и многое другое. Завод этот органично вписался в облик города, типичного для современного Поволжья — до предела насыщенного индустрией, перенаселенного, пыльного, с пустыми магазинными прилавками.

— Понимаете,— говорил директор завода Владимир Федорович Зенкин,— в социальном плане у нас, в сущности, все проблемы решены: детские сады, Дом культуры, жилье. А вот продовольственные дела...

Я вспомнил старый анекдот о том, как журналисту демонстрируют в передовом колхозе всякие социальные блага — Дворец культуры, Дворец бракосочетаний, стадион. «А здесь мы вчера картошку посадили,— показывают ему небольшое поле.— Завтра выкапывать будем». «Зачем же?» «Очень кушать хочется».

Тень улыбки, видно, мелькнувшая на моем лице при воспоминании об этом анекдоте, вызвала улыбку у директора. Он даже руками слегка развел. Вот ведь какая штука — неплохо работаем, зарабатываем деньги, в накормить народ не можем. И в подтверждение привел свой экономический расклад. Годовая плановая прибыль у завода — 35 миллионов рублей. Уже в нынешнем году он отчисляет в свои фонды около половины ее, а в 1990 году — восемьдесят процентов. Многое, конечно, уйдет на развитие производства, но на социальные нужды тоже хватит. Достанет миллионов и на развитие малячкинского хозяйства. Есть валюта и на покупку пищевого оборудования за рубежом. Все есть, права получить колхоз пока нет.

Зенкин принимал меня не один. Собрал заместителей по экономике, быту, секретаря парткома — умных технарей, четко и логично излагающих свою позицию. А она такова. Малячкино выбрано не случайно. Там избыток рабочей силы, сотни крестьян, изголодавшихся по сельскому труду на своих полях, стремление показать себя в глазах района, сделать хозяйство образцовым. Такое стремление в сочетании с заводскими капиталами и возможностями строить... Какой колхоз будет!

Почему препятствует облагропром? Он предлагает заводу: берите 1600 гектаров и хозяйствуйте. Но община не хочет дробить земли, и с этим надо считаться. Тогда агропром выдвигает другой вариант: пусть завод заключит с колхозом договор на поставку определенного количества продукции. Мы вам — капиталовложения, вы нам — мясо и молоко.

— А так мы не хотим,— говорит Зенкин.— Все это временные дела, вроде шефства, набившего всем оскомину. Хотим стать хозяевами, тогда не только в производственную, но и в социальную сферу деньги вкладывать будем. Дайте вы нам этот колхоз, мы из него настоящее современное предприятие сделаем. Высококачественные колбасы, прекрасные сыры станем выпускать. И ведь не только для себя! Будем и государственные планы выполнять. Понимаю: для облагропрома ситуация нестандартная. Как это так, завод, кроме бензина, еще и сыр, колбасу производит! Ну и что тут такого? Главное ведь — результат.

Ситуация действительно нестандартная. Недавно она и меня озадачила бы, во всяком случае, вызвала неприятие. Почти все журналисты, пишущие на аграрные темы, встретили принятое несколько лет назад постановление о развитии подсобных хозяйств предприятий и последовавшую затем общественную кампанию с раздражением. Ну, в самом-то деле, когда же у нас люди станут заниматься своим ремеслом: кузнец — ковать, пахарь — пахать? Какую дезорганизацию вносит в экономику навязывание заводам земли, требование кормить своих рабочих! Понятно, когда на дальнем севере рудник строит себе тепличку: не навозишься огурцов в таежную даль. Но в благодатном российском подстепье рядом с колхозными угодьями заводить аграрный цех? Надо отдать эти средства тому же колхозу. Не лучше ли привести в порядок село, чем обременять промышленность производством мяса и молока?

Но время шло, а порядка на селе больше не становилось. И заводские руководители осознавали: спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Хочешь, чтобы люди держались в твоих цехах, не только жильем и заводским благоустройством их приманивай — мясом да молоком. Сколько ни кричи о социальной справедливости, об общественном разделении труда, как ни мучайся от нежелания влезать в чуждую, незнакомую сферу производства, осваивать иной характер отношений, никуда не уйдешь от таких забот. И вот уже возникает тип промышленника-хозяина, который находит в этом вкус, готов не только нефть перерабатывать, но и сыр варить, дали бы только права. Его не устраивает половинное решение: вложил деньги — получил продукт. По такому пути идут те, кто не хочет хлопот. В конце концов деньги для современного преуспевающего завода не проблема. Несколько сот тысяч рублей, переведенных на счет колхоза, не разорят коллектив. А уж как в том колхозе дела пойдут, как деньги окупятся — с тебя, заводского директора, спроса нет. Договор подписан, помощь оказана, ни обком, ни горком, ни собственное министерство к тебе не в претензии.

А хорошему хозяину всегда неймется. Он хочет держать дело в своих руках. На селе сегодня одна реорганизация, завтра — другая, вчера — кукуруза, сегодня — рапс. Он же, хозяин, вложив деньги, хочет сам решать, что и как ему производить. Не за десятью печатями эти знания, и опытных людей можно найти. Почему, черт возьми, какой-нибудь западный концерн может и химикаты выпускать, и сою выращивать, коль скоро это ему выгодно, а я не могу изготовлять и бензин, и колбасу?

Один из таких хозяев сидел передо мной. И я не понимал, что можно было противопоставить его желанию превратить несчастное Малячкино в преуспевающее колхозное село, кормить свой коллектив да еще и государству излишки отдавать. Впрочем, то вопросы не к нему. Их надо задавать в Куйбышеве.

8

Куйбышев был раскален не столько летней жарой, сколько политическими страстями. Казалось, что миллионный город очнулся от многолетней общественной летаргии, привычного послушания и равнодушия, обнажив доселе незнакомый социальный лик.

В городском парке шли стихийные политические диспуты. На одной из центральных площадей два дня проходил массовый митинг. И уже выделялись никому не известные доселе лидеры — рабочий, инженер: их знали по именам и в лицо. Их призыва было достаточно, чтобы тысячная толпа стихла или перешла с одной площади на другую.

По рукам ходили цифры душевого потребления продуктов — сколько нынешний самарский житель съедает за год масла, мяса, овощей. Такой, казалось бы, невинный список превращался в политическую листовку. Продовольственное положение было главным предметом критики, другим стал переезд обкома партии в новое роскошное здание. И все сходилось на имени первого секретаря, все вменялось в вину ему лично. Работники обкома рассказывали об этих событиях как-то отрешенно и немного растерянно. Ни расколоть, ни разогнать толпу по нынешним временам невозможно. Переубедить — трудно. То же выражение читалось на лицах в Шигонском райкоме, когда мы обсуждали малячкинские сходы.

Вот в такое-то время я и пришел в облагропром к Виктору Николаевичу Горбачеву. Васильев был прав: Виктор Николаевич производил впечатление умного человека. Он все понимал с полуслова и четко формулировал свои мысли.

Что за беда такая: нигде не встречал дураков и даже более того — тупых, ограниченных людей — ни в Шигонах, ни в Сызрани, ни в Куйбышеве. Было бы легче усмотреть за бедами села Малячкино, как, впрочем, и многими другими нашими бедами, дурака. Так нет: всюду умные, опытные люди, прекрасно владеющие современной фразеологией.

Горбачев мгновенно реагировал на мои аргументы и сразу же менял систему обороны.

— Зачем создавать колхоз, с тем чтобы сразу же отдавать его заводу? Пусть люди свободно работают.

— Да какая это свобода? В нищете и разорении. Они сами рвутся в подсобное хозяйство завода.

— Завод ведь нам не подведомствен. Как мы спросим с него план?

— Он сам отдаст. Наконец, договор можно заключить.

— Нет прецедента.

— Виктор Николаевич, помилосердствуйте. Что, мы в английском судопроизводстве с его прецедентами? Посмотрите, в какое время живем. Нет прецедента, так создайте. Ведь всем от этого лучше — и колхозу, и заводу, и государству. Мяса, молока больше будет.

Молчит. Вроде нечего возразить. Но что-то томит его, что-то сковывает и не дает возможности принять разумное решение. Какая-то сила стоит за его спиной. Сила властвования над колхозами, совхозами, над имуществом, трудом и поступками сотен тысяч людей, работающих на полях и фермах. Невозможность расстаться с этой властью, не ему одному расстаться, а всем тем, кого он представляет,— агропрому и облисполкому, райкомам и обкому.

— Ну, давайте вместе сходим в обком.

— Не надо никуда ходить. Мы сами примем то решение, которого вы добиваетесь.

— Так можно и передать людям?

— Так и передайте.

Торжествовать? Звонить в Малячкино, в Сызрань, сообщать, каким удачливым ходоком оказался? Ох, нет, надо погодить. Скепсисом омрачены наши души. Легко верится плохому, трудно — хорошему. В любой компании услышишь сейчас голос, комментирующий добрую перемену в общественной жизни: «Не радуйтесь. Все это не всерьез, ненадолго...» А может, все-таки всерьез? Нет, нет, надо подождать бить в литавры.

Вернувшись в Москву, откладываю шигонские блокноты. И только спустя два месяца звоню Зенкину.

— Что слышно у вас, Владимир Федорович?

Голос в трубке неожиданно бодр:

— Все идет нормально. В сущности, мы взяли колхоз в аренду. Землю — на двадцать пять лет. Основные фонды выкупили, там всего-то их и было на триста тысяч. Получили небольшой план госпоставок зерна и мяса. Хозяйствуем. Село заасфальтировали. Реконструируем коровники. Все, что намечено, сделаем. Настроение у людей как будто неплохое. Председателя колхоза, правда, переизбрали. Не выдержал. Сломался.

— Кого избрали-то?

— Юриста из «Пионера» — Ершова Владимира Ивановича. Молодой человек. Лет тридцати. Сами крестьяне его захотели, но с условием, чтоб в село перебрался. Дом ему строим.

— Что ж, как говорится, давай вам бог. Приеду к вам через годик.

— Приезжайте.

А может, и в самом деле все всерьез и надолго? Пока живу — надеюсь. Время покажет, что будет с селом Малячкино, с Шигонским районом, с самарской землей и со всеми нами.

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ

Страдание памяти

Покойный писатель-«мовист» эпатировал читающую публику тем, что в своей прозе цитировал поэтическую классику «на память» — а я, дескать, так помню!.. Как ни странно, именно такое творческое поведение наилучшим образом выражает природу мемуарного жанра, ведь мемуары в чистом виде — это не столько рассказ о событиях, фактах, сколько запечатленное в слове воспоминание о событиях (когда генерал-мемуарист посылает своего офицера в архивы, это уже другой жанр). Относительная неточность, аберрация памяти являются условием жанра, входят в «правила игры»; и если самые интересные, ценные мемуары те, в которых автор рассказывает нечто, что он один только и может рассказать, получается, что самые ценные мемуары суть самые недостоверные, ибо с наибольшим трудом поддаются проверке,— такой вот парадокс. А если серьезно, то мемуары всегда свидетельство, если не о событиях, то непременно о человеке, хотя бы о самом мемуаристе. Даже когда он сознательно искажает истину, он все равно свидетельствует о том, каким он хотел бы сегодня видеть сам и представить другим те или иные обстоятельства своей жизни.

Это «теоретическое» введение необходимо потому, что я, обращаясь к нередким ныне публикациям «лагерных» мемуаров, заведомо не пытаюсь оспаривать достоверность тех или иных свидетельств. Они для меня равны, я всем им верю. Все они (очень разные) есть своеобразные человеческие и исторические документы, дающие богатую пищу для размышлений о нашем историческом пути, о природе нашего общества и, что немаловажно, о природе самого человека, которая наиболее ярко проявляется именно в чрезвычайных обстоятельствах, какими и был для каждого из мемуаристов страшный опыт ГУЛага.

«Что не объяснено...»

«Страдание памяти» — выражение Виталия Семина; в предисловии к своему знаменитому «Нагрудному знаку OST» (книге о пребывании в немецком арбайтлагере) он писал, что «в разряд забытых или забываемых могут, по-моему, переходить лишь удовлетворительно объясненные события. К тому, что не объяснено, память наша возвращается постоянно... Нет объяснения, которое исчерпывало бы «все» и, следовательно, «окончательно» удовлетворило бы нашу совесть». Казалось бы, какие Семину нужны объяснения,— «враги», «фашисты», чего от них можно ждать! Но нет, мучается память, болит душа («Природа этих событий такова, что, сколько ни объясняй, всегда останется что-то очень тревожное...»); что же говорить о тех, кто столкнулся не с иноземным организованным насилием, а с отечественным... Об этом — почти все мемуары последнего времени (точнее — опубликованные в последнее время). Других вроде бы и не печатают. Все — об этом. И всюду «страдание памяти»; причем (прямо по Семину) не столько от пережитых ужасов, сколько от невозможности хоть как-нибудь, а не то что «окончательно» этот ужас объяснить. Немецкую коммунистку, бежавшую от Гитлера, посадили в советскую тюрьму еще до заключения договора с Германией — в 37-м; она спрашивает Софью Швед («Воспоминания», «Урал», 1988, № 2): «Мы иностранцы, мы многого не понимаем в вашей стране, но ведь вы-то должны знать, как это произошло?», и не может поверить, что советские ничего не понимают. «Много разных чувств терзало меня за эти годы. Но основным, ведущим было чувство изумления,— признается Евгения Гинзбург («Крутой маршрут», «Юность», 1988, № 9, полностью — в «Даугаве» 1988 с № 7).— Неужели такое мыслимо? Неужели все это всерьез?. Неужели ТАКОЕ возможно ПРОСТО ТАК? Без справедливого возмездия?»

Но и мы спрашиваем: что ЭТО было? Сталин? сталинизм? Административная Система? административно-командный механизм? Берия? казарменный коммунизм?.. (Чем больше слов, тем больше обнажается неполнота всех объяснений, прикрывающих иррациональную бездну происшедшего)... Расплата за попытку «пролетарской» революции в крестьянской стране? крах попытки построить общество с заранее заданными свойствами? плоды левацкого авантюризма? «бесы»? утверждение власти «нового класса»? гнев Божий? Думаю, что по-настоящему никто не знает, а кто говорит, что знает, вероятно, обманывает себя и других.

«Смерч» и «пирамида»

«Тогда же мне сказали, что лично меня никто ни в чем не обвиняет и по отбытии срока могу писать в анкетах, что судимости не имею» (разрядка здесь и далее везде моя.— **А. В.**),— так пишет Галина Колпомасова («В те далекие годы», «Наука и жизнь», 1988, № 3), получившая восемь лет лагерей в административном порядке как «жена»: так, начиная с 37-го года называли женщин, чьи мужья были расстреляны за «измену Родине» с конфискацией имущества и заключением в лагеря всех членов их семей. «Жены», как правило, были женами партийных, государственных работников, военачальников и потому до ареста принадлежали к советской «элите» разного, конечно, уровня. Кому-то это покажется жестоким или безнравственным (мне так не кажется), но критик Михаил Поздняев совершенно точно сказал в предисловии к воспоминаниям Галины Серебряковой («Смерч». «Подъем», 1988, № 7), что она скорее всего невольно, но показала, какая пропасть образовалась в начале тридцатых годов между народом и «слугами народа», обитателями дач в Кунцеве, завсегдатаями Торгсина (...), восторженными зрителями из почетных лож премьер в Большом и воздушных парадов в Тушине... И когда он пишет: «то, что смерч подхватил их и швырнул на нары, рядом с гениальным ученым и тихим сельским священником, «подкулачником» и переводчиком Петрарки,— это была не случайность, но историческая закономерность», в его словах нет злорадства (у некоторых оно есть), а только трезвость и нежелание довольствоваться «оттепельными» мифами тридцатилетней давности.

Сколь велико было это неравенство, свидетельствуют многие мемуаристы, причем как бы между прочим (тем ценнее эти «показания»): тридцатилетний учитель Илья Таратин («Потерянные годы жизни», «Волга», 1988, № 5) видел на Колыме «много женщин, которые в политике вообще не разбирались, но они были самыми настоящими тружениками, крестьянками и думали, что их (внимание, читатель! — **А. В.**) привезли сюда бесплатно работать, выращивать овощи, картофель, сено косить. И здесь они трудились честно, так же, как в своем колхозе, но хлеба досыта не ели». Можно себе представить, как жили эти бедные женщины в колхозе, чтобы они приняли как должное, что их могут просто так сорвать с родных мест и отправить на край земли «бесплатно работать»! Какое убеждение, что «они», «наверху», имеют право делать с человеком что угодно, и какое смирение перед этой судьбой... Сравните: «Мой муж еще оставался членом ЦИК СССР, и поэтому жила я в комфортабельном номере гостиницы «Москва», а при моих постоянных поездках из Казани и в Казань меня встречали и провожали машины татарского представительства в Москве. Эти же машины доставляли меня и на Ильинку, где решался вопрос — быть мне или не быть»,— вспоминает Евгения Гинзбург. Здесь — произвол, и там — произвол; те — жертвы, и эти — жертвы; но, читая о машинах татарского представительства, я не могу не думать, что в те же годы некоторым соотечественникам Гинзбург (пусть немногим — как «исключение») было в лагере лучше, чем на «воле», где, по утверждению генсека, был «в основном» построен социализм. Вдова Бухарина, А. Ларина, рассказывает в своих мемуарах («Незабываемое», «Знамя», 1988, №№ 10—12) о некой Дине: «Так тяжка была для нее работа в порту, так безрадостна вся жизнь, что в лагере Дина почувствовала не заключение, а освобождение от житейских тягот и радость беззаботных дней». И это при том, что в лагере Дина... возит телегу вместо лошади!

«Смерч» (воспользуемся выражением Галины Серебряковой) как бы смешал все сословия, классы, народы, и это смешение было не просто зримо, но и значимо уже в то время; так в воспоминаниях Льва Разгона («Жена президента», «Огонек», 1988, № 13) ужасается некий полковник, военврач: «Это не в состоянии вместиться в сознании! Жена Калинина! Жена всесоюзного старосты! Да что бы она ни совершила, какое бы преступление ни сделала, но держать жену Калинина в тюрьме, в общей тюрьме, в общем лагере!..» Чем жена Калинина «лучше» упомянутой Дины, полковник, наверно, объяснить бы не смог и, возможно, не понял бы вопроса, ведь его, заметим, потрясает не только сам факт осуждения жены «президента» (мало ли какие важные фигуры полетели), но именно «уравниловка», отрицающая устоявшуюся иерархию «справедливого» общества, она оскорбляет его глубоко сословное мышление (что он может и не осознавать). И все-таки самое существенное: смешав все сословия в одном лагерном котле, «смерч» никого на деле не уравнял — равенства в ГУЛаге не было. Я говорю не о противостоянии уголовников и политических, не об уголовной иерархии зеков («суки», «фраера», «битые фраера» — об этом хорошо рассказано в повести Анатолия Жигулина «Черные камни»), но о расслоении в среде «политических» заключенных, отражающем расслоение всего общества. «В большинстве своем это были жены старых большевиков, ответственных партийных работников, ученых

и пр.,— вспоминает Г. Колдомасова Акмолинский лагерь.— Я жила замкнуто, к «элите» — кружку женщин с известными фамилиями, возглавляемому Евгенией Серебровской,— не принадлежала». Заметим, что «социальная» дифференциация пронизывала всю массу заключенных. Об этой лагерной «пирамиде» рассказывает немецкая коммунистка Труде Рихтер («Долгая ночь колымских лагерей», «За рубежом», 1988, № 35): наверху счастливицы, благодаря образованию или связям ставшие лагерными врачами, медсестрами или занявшие теплые места в конторе, чуть ниже — руководительницы полевых бригад, элита, освобожденная от физического труда. Более многочисленная группа — женщины, годами работавшие в теплицах, «они жили в чисто выбеленных бараках, постоянно питались по 1-й категории, были аккуратно одеты, порой даже не в лагерную форму, устраивали себе спальные места с перьевыми подушками, пуховыми одеялами, ковриком на стене и по возможности общались лишь друг с другом... Многие из них получали из дома такие богатые посылки, что они могли почти совсем отказаться от лагерной еды в пользу более бедных, которые, естественно, расплачивались какими-либо услугами», а широкое основание «пирамиды» составлял лагерный «пролетариат», заключенные, которых посылали сегодня на одну, завтра на другую работу. Все уравнивающий «смерч» как бы разбивается об эту «пирамиду» и о бессмертный «черный рынок», имеющий здесь то же происхождение, что и на «воле». «Все продавалось, и на все находился свой покупатель». В том числе и на самих женщин: «при огромном дефиците «спросом» пользовались не только молодые, но и женщины постарше. Тех, кто сразу усваивал эти манеры, обещавшие им преимущества, было немало. Некоторые из них всего за несколько недель полностью теряли себя, свой прежний облик».

Опыт ГУЛага столь разнообразен, что та же Колыма в воспоминаниях Рихтер и, скажем, Ильи Таратина — разные миры: «...люди замерзали и на работе, и по дороге... у вахты накапливались целые штабеля трупов» (это уже не работа в «теплицах», упоминаемая Рихтер). «Утром мы увидели: в проходе лежит голова бригадира второй бригады. Это было дело рук уголовников... Пришли солдаты из охраны, посмотрели, но никто ничего не видел»; «в побег уходили чаще всего уголовники, большими группами. Старались взять с собою 2—3 человека, осужденных по статье 58, то есть «врагов народа» («оленей») на мясо. Когда у них кончались продукты, они убивали их и съедали». Колыма, описанная Т. Рихтер,— место, где работают; Колыма Таратина — место, где убивают, убивают много и планомерно: «в палатке надевают наручники и в рот суют кляп, чтобы человек не мог кричать, зачитывают приговор — решение Колымской тройки НКВД и ведут в «кабинет начальника», специально приспособленный для исполнения приговора. Человек только переступает порог двери, тут же слышен глухой выстрел. Стреляют, видно, неожиданно, в затылок... Некоторые не могли сами выйти, их сопровождал староста, а дальше палачи таскали волоком сами. В ту ночь семьдесят человек попрощались с жизнью», а рассказчик, ждавший своей очереди, спасся чудом — был арестован сам Гаранин, руководивший расстрелами по всей Колыме, с ним в ту же мясорубку попали начальник тюрьмы, несколько сотрудников политуправления, расстрелы прекратились, заключенных погнали на прииски — работать... и умирать.

В воспоминаниях Таратина есть эпизод, волнующий не менее, чем сцена расстрела, но по иной причине. Он вспоминает, что летом 1944 года в одночасье были убраны лагерные вышки и колючая проволока, грязь засыпали опилками, заключенным выдали чистое белье, погнали в баню и побрили, в столовой варили не баланду, а рисовый суп с тушенкой, лагерное начальство переоделось в штатскую одежду, охрану сняли... Чуть позже приехала американская делегация в сопровождении мидовцев. Американцы интересовались, как и сколько промывают золота, какой здесь живет народ, в каких условиях. На другой день все стало по-старому. Мне думается, что американцы проверяли, не применяется ли при добыче золота, которым мы расплачивались по ленд-лизу, принудительный труд. Что же, обманули американцев? Ох, сомневаюсь. Уж поверили американцы декорациям или нет, но они были, как и наша сторона, заинтересованы в сокрытии истины. США поставляли своему военному союзнику товары, Советы платили золотом — чего же еще? А комиссия, вероятно, засвидетельствовала на родине (в конгрессе?), что препятствий гуманитарного характера к поставкам в Россию товаров нет. Но это мои личные домыслы по поводу того, что спокойно, без комментариев и оценок рассказал Таратин. Кем были на самом деле эти американцы — простаками или соучастниками? Не знаю, не знаю...

«Почему они дали себя убить?»

«Сквозные трагедии нашей жизни,— размышлял недавно Виктор Ерофеев о «хронических иллюзиях» шестидесятников XIX и XX века,— объясняются не столько жутью общественных отношений (но и этим тоже.— **А. В.**), сколько коллективным согласием терпеть эту жуть и участвовать в ней». Обессиливающую атмосферу массового террора вспоминает Лев Разгон и все равно не понимает («страдание памяти»): почему

военные дали себя убить? почему не стреляли, не сопротивлялись? почему просто не пытались бежать? (в посмертно напечатанном романе «Московская улица» Б. Ямпольский отвечает так: мы психологически были не готовы бежать, скрываться в своей стране). Из всех «легендарных героев» его юности только Гай «малость придушил одного конвойного и выпрыгнул на ходу (из поезда.— **А. В.**). Конечно, его нашли со сломанной ногой и после быстрых традиционных процедур застрелили. Но все же он погиб как солдат».

«Гибель богов» — так можно назвать эту главу воспоминаний Льва Разгона, «богов», которые не сумели спасти себя и своих близких — не то что «дальних»; а от них как раз ждали если не спасения, то хотя бы попытки сопротивления. А. Ларина (Бухарина) вспоминает о своей реакции на процесс военных: поверить в их связь с Гитлером было невозможно, «они, подумала я, решили убрать Сталина, чтобы прекратить репрессии, и провалились». В связи с реабилитацией военных много писали об их невиновности — заговора не было; да, скажу я, заговора не было — они виновны (разумеется, не перед своими обвинителями, а перед соотечественниками). В тех же воспоминаниях — о том же — еще резче: ответственный работник НКВД при Ягоде, приговоренный к расстрелу, перестукивается из соседней камеры с А. Лариной, не зная, чья она жена: «Сволочи мы все, и Ягода, и я, и те, кто нас заменил. Мы стали преступниками, потому что не убили того, кто принудил нас и принуждает тех, кто нас сменил, идти на преступления (то есть Сталина.— **А. В.**)»; оставим на совести безымянного смертника это «принудил», но направление мысли верное. Возможно, Сталин тоже ждал подобной акции и именно от сотрудников НКВД; К. Симонов («Глазами человека моего поколения», «Знамя», 1988, №№ 3—5) воспроизводит беседу с адмиралом И. С. Исаковым, тот вспоминал: к залу «от кабинета, где мы заседали, вели довольно длинные переходы с несколькими поворотами. На всех этих переходах, на каждом повороте стояли... дежурные офицеры НКВД. (...) Сталин вдруг сказал: «Заметили, сколько их там стоит? Идешь каждый раз по коридору и думаешь: кто из них? Если вот этот, то будет стрелять в спину, а если завернешь за угол, то следующий будет стрелять в лицо...» Это было (если было) сразу после убийства Кирова, но за верхним слоем сталинского иезуитства крылся, возможно, подлинный страх.

«Стали переходить речку вброд,— вспоминает Илья Таратин.— Среди нас были бывшие военные, они шептали: «Надо всем сразу захватить винтовки, умереть — так умереть в бою, как на войне». Один сделал два шага в сторону, хотел убежать, но его тут же пристрелили, а нас положили прямо в воду...» Захватили бы винтовки, но стрелять-то в кого? В конвоиров, может быть, наименее виновных винтиков репрессивного механизма (хотя и среди них были мерзавцы, садисты — см. у Жигулина). Как можно расстрелять систему? Во многих воспоминаниях, даже при описании конкретных палачей, все равно звучит мотив: мы столкнулись не с личным, а со сверхличным насилием, действующим как бы сквозь исполнителей (хотя и они с лихвой привносили свое «личное»), столкнулись с тоталитарным насилием, превосходящим возможности отдельного злодея. Отсюда во многом и непонимание как мучительное состояние — «страдание памяти». Сознание охватывает только ближайшие к человеку факты унижения и мук, но при попытке охватить «все» пасует от соприкосновения с чем-то по природе своей не-человеческим, с превосходящим возможности рассудка Злом. И показательно, что как только эта система зла чуть-чуть дрогнула (после смерти Сталина), заключенные перестали безропотно мириться с насилием; как вспоминает вдова поэта Даниила Андреева, в 1954—1955 годах в Норильске, Воркуте и Караганде начались восстания и забастовки, люди требовали пересмотра дел и права переписки с родными, «усмирили их страшно. Женский лагерь в Караганде танками сровняли с землей. В Воркуте — стреляли...» («Московский комсомолец» от 30 ноября 1988 г.).

«Столкновение с иррациональной силой, иррациональной неизбежностью, иррациональным ужасом резко изменило нашу психику,— размышляла Надежда Мандельштам («Юность», 1988, № 8).— Многие из нас поверили в неизбежность, а другие в целесообразность происходящего (последнее может быть понято как бессознательная самозащита психики от настоящего безумия.— **А. В.**). Всех охватило сознание, что возврата нет... Нам действительно внушили, что мы вошли в новую эру и нам остается только подчиниться исторической необходимости, которая, кстати, совпадает с мечтами лучших людей и борцов за человеческое счастье».

Что же говорить о более молодых, кто сразу осознавал себя частью родного и единственно возможного «прекрасного нового мира»! «Я поступила в юридический институт в сорок шестом году. Кто тогда сомневался хоть в чем-нибудь? Был страх, была искренняя вера. Все происходящее воспринималось как должное...— говорит сегодня доктор юридических наук Софья Келина («Московский комсомолец» от 25 сентября 1988 г.).— Да что мы знали, кроме «Краткого курса»? XX съезд был как гром среди ясного неба». У нас нет оснований ей не верить, но неужели «все»? Все — минус миллионы «политических» в лагерях и тюрьмах, минус миллионы раскулаченных и депортированных, ми-

нус переселенные с родной земли народы, минус бывшие военнопленные, минус семьи репрессированных... Перечень этот можно продолжить, но тогда получится, что *все* знали, не могли не знать *все*. Но ведь этого на самом деле не было. Как же так? Может быть, разгадка этого всеобщего «помрачения» была и в том, что каждое частное малое знание отдельного человека или семьи существовало как бы само по себе, вне аналогичных «знаний» соотечественников. Люди мало делились такими горестями — опасно было рассказывать, опасно было слушать. Островки горестного знания не сливались воедино, поэтому — между ними — сознание вполне могло найти и зачастую находило своеобразную психологическую «нишу», в которой можно было (искренне!) не знать, не понимать, не сомневаться.

И все-таки, даже если речь идет только о школьно-студенческой среде, и то — неужели «все»? Вот перед нами автобиографическая повесть поэта Анатолия Жигулина «Черные камни» («Знамя», 1988, №№ 7—8) о созданной после войны в Воронеже нелегальной Коммунистической партии молодежи, чье рождение и разгром как раз уместились между выходом в свет первой, удостоенной Сталинской премии редакции «Молодой гвардии» и ее второго, переработанного варианта (интересно, читали эту книгу молодые участники КПМ? а писатель, если бы узнал о КПМ, понял бы, *что* это значит?). Как показывает Жигулин, к активной политической и смертельно опасной (что ими не осознавалось) деятельности мальчишек 17—18 лет подтолкнуло совестливое внимание к жизни: в 46-м во время *лыжного* похода ребята видели лежащих по избам на полу умирающих от голода, распухших людей, жевавших прошлогоднюю траву, варивших березовую кору; «люди пухли от голода и умирали не только в селах и деревнях, но и в городах, разбитых войною, таких, как Воронеж. Они ходили толпами — опухшие матери с опухшими от голода малыми детьми...», но волны народного горя разбивались о ворота роскошного двухэтажного особняка из четырех *десятикомнатных* квартир («на первом этаже — квартиры второго секретаря Воронежского обкома ВКП(б) и первого заместителя председателя Воронежского облисполкома...»), у ворот — будка с телефоном, круглосуточный пост спецотдела милиции. «Боря (Батуев.— **А. В.**) жил почти как при коммунизме, а мы, его товарищи, и соседи, и соклассники, голодали», но именно он создавал КПМ. Резкое социальное неравенство, сопряженное с бесстыжей демагогией и обожествлением тирана,— вот на чем «дрогнули их сердца». Честность, честь, юный максимализм — этого было достаточно, чтобы сделать выводы, а поиски духовной опоры обратили их к «первоначальному», а не мистифицированному марксизму-ленинизму (собственно, никакого иного мировоззренческого выбора у них не было). «Все, что сегодня с боем взято, с большой трибуны нам дано, я слышал в юности когда-то, я смутно знал давным-давно»,— писал Жигулин (а он входил в ЦК КПМ) в 60-е годы. Пусть была одна такая организация (говорят, что не одна), 50—60 человек, но уже нельзя говорить «все». Скажут: *почти* все; но в нравственном, а не статистическом смысле между «все» и «почти все» лежит пропасть: если «все» — значит, иначе и быть не могло, если «почти все» — значит, *можно* было иначе (все это я отношу и к нравственному значению правозащитного движения в годы пресловутого «застоя»).

«Возможно, историки еще напишут о новом периоде освободительного движения в России — антисталинском, протянув нить от отважного Рютина до отчаянных создателей КПМ»,— пишет критик Вл. Новиков, сочувственно откликаясь на «Черные камни»; но называя только коммуниста Рютина и молодых марксистов-ленинцев из воронежской организации, он тем самым (я уверен, что непреднамеренно) как бы ограничивает это «освободительное движение» коммунистическими рамками; но вряд ли следует вычленять антисталинское «движение» из истории, как бы покорректнее сформулировать—антитоталитарного сопротивления в нашей стране — причем и *до* Сталина, и *после* него; такая история, конечно, будет написана и, думаю, пишется уже, да не все, что написано, нами прочитано — здесь нашей нет вины.

29-й contra 37-й?

1937 год давно уже стал «знаком» сталинского террора. Неразумно оспаривать то, что уже вошло в язык общества как условный, но необходимый и всем понятный «рабочий термин»; но многие мемуаристы говорят о 37-м годе как о реальном, а не символическом рубеже; вот характерная фраза: «То, что пережил, произошло со мной, как и с миллионами ни в чем не повинных людей, *начиная* с памятного 1937 года, когда преклонение перед личностью Сталина перешло все границы, когда это преклонение вылилось в форму физического уничтожения масс народа» (Илья Таратин). Несколько иначе, но по сути то же пишет С. Швед: «Массовые аресты начались не в 1937 г., а значительно раньше, постепенно нарастая. 1937 г.— год апогея репрессий и полного беззакония в ведении дел, но уже в (ну, в каком? — **А. В.**) 1935 г. имели место массовые аресты среди работников идеологического фронта». Она вспоминает, что ее муж И. С. Коган критиковал «практическую работу в деревне», ругался по этому поводу нецензурно с «властями», но связать в одно целое «практическую

работу в деревне» с репрессиями среди партийцев она не может даже в 70-е годы.

«Было бы преувеличением, если бы я стала теперь (в середине 60-х.— **А. В.**), задним числом, приписывать себе особенно глубокие мысли о роли Сталина в *назревавшей* (речь идет о 1936 годе.— **А. В.**) *трагедии* партии и *страны*. Эти мысли пришли позднее, по мере ознакомления со сталинизмом в действии»,— пишет Евгения Гинзбург. Но если в 36-м трагедия страны еще только назревала, а в 37-м уже разразилась, а между этими датами лежит арест самой Гинзбург, то... Что ж, почти все мемуаристы начинают отсчет *всенародной* трагедии с *собственного* ареста, это отчасти — в самой природе человека, в его психологии. Было бы несправедливо и неблагородно укорять мемуаристку в глухоте к страданиям народа; но удивительно, что и сегодня читатели предлагают (на страницах «Литературной газеты») днем траура по жертвам репрессий считать, скажем, 1 декабря, то есть день убийства Кирова, и поясняют это так: «1 декабря было «сигнальным» днем для начала истребления *ленинских кадров*, за которыми *потянулись* тысячи и тысячи, из которых *потом* сложились миллионы погубленных жизней» (В. П. Неверов). Да разве в 34-м все это началось! Чаянов и Кондратьев, «шахтинское дело», «Промпартия», «Трудовая крестьянская партия», усмиренные деревни в годы продразверстки, заложники, расстреленные ЧК, Дмитрий Лихачев на Соловках...— я намеренно называю только то, о чем пишет наша «легальная» пресса — никаких «голосов» и «самиздатов».

К 1934-му, а тем более к 1937 году каток организованного государственного[1] (повторю — как бы сверхличного) насилия так или иначе затронул едва ли не большую часть советского народа, достаточно вспомнить коллективизацию: «То, что я там увидел, нельзя выразить никакими словами. Это было такое *нечеловеческое*, невообразимое горе, такое страшное бедствие, что оно становилось уже как бы абстрактным, не укладывалось в границы сознания. Я заболел»,— это личные впечатления Бориса Пастернака о деревне начала 30-х годов (по воспоминаниям З. Масленниковой «Нева», 1988, №№ 9—10). Мемуарных свидетельств об этой трагедии мало хотя бы уже потому, что по уровню культуры да и просто грамотности жертвы коллективизации не могли оставить столько подробных, психологически разработанных, литературно ярких свидетельств происшедшего, как это сделали уцелевшие жертвы из более образованных слоев общества; погибший литератор имел шанс уцелеть в воспоминаниях близких, друзей, других литераторов, а миллионы крестьян или рабочих канули *без следа* — в бездну, в пустоту, мы не видим их *лиц*. Тем ценнее то, чем мы располагаем. В журнале «Урал», 1988, №№ 9—11, напечатаны воспоминания Николая Мурзина, он был ребенком, когда семью раскулачили и выслали на Урал. Вслушаемся: осень 1931-го, школа, ссыльная учительница рассказывает детям, как плохо было при царе и как хорошо стало сейчас; «по карточкам же получали не все. И не всегда. Если что-то не завезено и продукты не получены, то назавтра их уже не давали: не померли же, прожили. Появились первые покойники — чаще это старики или малые дети»..., «...Я один иду в столовую. «На промысел» — полизать тарелки...»; «вон повариха что-то понесла свиньям... Галька побежала за свиньей, пала ей на спину и отобрала говяжью кость»; «...бежим к окну Готовцевых. Оказалось, Васька украл всю месячную норму муки из дома и съел ее. А где остатки — не сознается. Через полатину Готовчиха перепустила веревку. На конце — петля из полотенца. Ваську мать подвела к петле, одела ее ему на шею и тянет за другой конец. Васька висит... Готовчиха отпускает веревку. И так много раз. Но Васька не сознается, где мука. Съел, наверное, всю... (Это гибель для всей семьи.— **А. В.**). Все кончилось тем, что Васька уже валялся на полу — встать не мог. Мать его в ужасе тоже падает на пол и воет как о покойнике...». Весна 34-го, людоедство, вдова Сорокина с тремя детьми, одна девочка умерла (сама или задушили), пустой гробик отнесли на кладбище, а из трубы дома пошел подозрительный дым, нагрянули — и попали на «ужин», Сорокины доедали свою сестру и дочь... И сквозной мотив воспоминаний (как и других мемуаров о раскулачивании, например, у И. Т. Твардовского) — отношение властей к крестьянам, особенно ссыльнопоселенцам как к рабочей скотине, с тем отличием, что скотину все-таки надо кормить, а крестьяне обойдутся: красивый, сытый, аккуратно одетый (так он запомнился Н. Мурзину) комендант: *после* работы идите пни корчевать, а то *дальше* сошлем...

Конечно, никакими «перегибами» и «перекосами» генеральной линии тут ничего не объяснить и не оправдать. Что ж удивительного, если С. Куняев бросает такие резкие обвинения советской «элите», ставшей позднее жертвой 37-го года: «Знать не желают арбатские души,/ как умирают в Нарыме от стужи/ русский священник и нищий кулак... /Счастливо длится арбатское детство... /Где-

---

[1] Может показаться, что, акцентируя внимание на государственном насилии, я не вижу возможности и реальности насилия *не* государственного (уголовного, охлократического...): нет, вижу, но горький опыт отечественной истории заставляет говорить в первую очередь об опасности тоталитарного принуждения, исходящего от законных (или псевдозаконных) властей.

то на Волге идет людоедство. /На Соловках расцветает ГУЛаг...». Правда, ярость застилает ему глаза, он рубит сплеча и не вполне по адресу. Но ярость эта не беспочвенна. Кстати, раз уж мы втягиваем в разговор и стихотворный, а не только мемуарный материал, стоит процитировать стихотворение Марии Терентьевой, вдовы писателя Ивана Катаева, «Рослый парень» («Новый мир», 1988, № 4); «парень» — это лагерный конвоир.

Снег и ветер в поле чистом,
И идут, ровняя строй,
Жены русских коммунистов,
Как, бывало, шли на бой.

Стихи датированы 1940-м годом. Тем они ценнее как психологическое свидетельство: находясь в лагере, Мария Терентьева видела трагедию именно в том, что сажают коммунистов (своих!) и жен коммунистов (как она сама). Трудно предположить, что она не заметила в неволе некоммунистов, но это ее знание как бы выходит за рамки ее представлений о сущности происходящего. По сути, именно такая узкопартийная трактовка народной трагедии была официально закреплена XX съездом. К сожалению, в ответ на внедряемую долгое время версию, что «нарушения социалистической законности» в период «культа личности» сводились к неоправданным репрессиям против некоторых партийцев, военачальников, писателей в 37—39-х годах, оппоненты выдвигают не менее уязвимую концепцию, что 37-й год был годом «локальных» (по сравнению с 29—33 гг.) репрессий, сфокусированных только на верхнем слое советского общества, то есть годом своеобразного «возмездия». Крайность порождает крайность, узость — другую узость, одна неправда — другую (подозрительно похожую).

Идея 37-го года как «возмездия» родилась сразу же. Вспомним в мемуарах Льва Разгона колоритную фигуру Рощаковского, бывшего царского контр-адмирала: «Бог надо мной смилостивился, дал мне к концу моей жизни увидеть настоящее счастье (это монолог на тюремных нарах.— А. В.)!.. Я дождался того, что увидел тюрьмы, набитые коммунистами, этими — как их? — коминтерновцами, евреями, всеми политиканами, которые так и не понимают, что с ними происходит... Все думают, дурни, что ошибка какая-то случилась». Такая оценка 37-го года в уст Рощаковского, в общем, естественна и ожидаема, но есть примеры более неожиданные и впечатляющие. М. Чудакова пересказывает свой разговор с вдовой Булгакова, Еленой Сергеевной, о 37-м годе, подчеркивая, впрочем, что свидетельства вдовы следует воспринимать осторожно, делая поправку на аберрацию памяти. Итак:

«— У него (Булгакова.— А. В.) было ощущение возмездия о этих арестов?

— Да, не скрою от вас, было! Он открывал газету и видел там имена своих врагов (Авербах, Киршон и др.— А. В.). (...)

— Но ведь брали и тех, кто был большим писателем... Мандельштама, например.

— Но он же написал такое ужасное (спохватившись, она смягчила негодующую интонацию улыбкой) стихотворение о Сталине! Можно себе представить, в какое бешенство он (Сталин.— А. В.) пришел!..» («Современная драматургия», 1988, № 5).

29-й contra 37-й? Нет, не в этом дело. Для меня после прочтения многих мемуарных книг авторы действительно разделились, но как? На тех, кто воспринимает тюрьму как «свою», и на тех, кому она заведомо «чужая», на тех, для кого их собственный арест воспринимается как частная (пусть даже глубокая) деформация «своей», «хорошей» системы, и на тех, для кого все происходящее — вполне адекватное проявление чуждого им начала. «Мы никогда не спрашивали, услыхав про очередной арест: «За что его взяли?» Но таких, как мы, было немного... «За что?» — яростно кричала Анна Андреевна (Ахматова.— А. В.), когда кто-нибудь из своих, заразившись общим стилем, задавал этот вопрос.— Как за что? Пора понять, что людей берут ни за что...» (Н. Мандельштам). Еще более выразительное свидетельство принадлежит Алле Андреевой, вдове Даниила Андреева. «Меня спрашивали, как я отношусь к Сталину. А я говорила: «Конечно, плохо, потому что он погубил Россию». Нас обвиняли в организации террора. Меня спрашивали: «Вы говорили, что готовы убить Сталина?» Я лезла на рожон: «С удовольствием треснула бы его табуреткой по голове за то, что он сделал с Россией...» (...) Даниил, оказалось, тоже не скрывал своего отношения к Сталину» («Московский комсомолец» от 30 ноября 1988 г.).

В этом смысле очень интересны воспоминания толстовца Бориса Мазурина «Рассказ и раздумья об истории одной толстовской коммуны «Жизнь и труд» («Новый мир», 1988, № 9). Толстовцы из этой коммуны выдержали испытание «великим переломом», правда, для этого им пришлось добровольно переселиться в ту же Сибирь, но они тем самым сохранили свою структуру, возможность относительно свободно работать на земле. Коммуна была окончательно разгромлена именно в 37-м (Мазурин приводит целые списки убитых). По-настоящему волнует эта попытка толстовцев в условиях все нарастающего государственного насилия выгородить себе «угол», островок для вольного, безгосударственного жития. В отличие от колхозов толстовская коммуна была не только экономическим, но и действительно самоуправляемым, «самодостаточным» сообществом: толстовцы не нуждались ни в местном Совете, ни в райкоме, ни в исполкоме... Так вот, если вернуться к проблематике

нашей статьи, самое сильное впечатление производят рассказы Мазурина о поведении толстовцев в 30-е годы, об их реакции на репрессии. «Яков Дементьевич Драгуновский придерживался того мнения, что тюрьма ему не нужна и добровольно он в нее заходить не должен. Когда его вызывали или выводили из тюрьмы, он шел, когда же его приводили вновь к воротам тюрьмы (например, с допроса), он не шел и говорил:

— *Мне туда не надо*...»

Это еще не 37-й год, но вот и в 37-м то же самое: «Федю нашли в долине Радости. Он отказался идти. Его запихали в матрац, завязали, привязали к хвосту лошади и так выволокли по снегу из долины (...) Федя не ходил на допросы, его носили на руках на третий этаж, а оттуда тащили с лестницы за ноги, он на каждой ступеньке стукался головой и молчал».

Полезно сопоставить эти свидетельства с мемуарами Гинзбург, которая, по ее же признанию, только в тюрьме *впервые в жизни* столкнулась с необходимостью «самостоятельного анализа обстановки и выбора линии поведения» (можно сказать: не она жила, а ее «жили» — партия, окружение, система...); а толстовцы сделали свой выбор задолго до испытаний и остались ему верны, они смотрели на любую государственную власть как на безнравственное насилие над человеком и, естественно, в тюрьме укрепились в своих убеждениях, в начале войны некоторые из них заплатили жизнью за свой отказ брать в руки оружие (хотя этот их выбор вызывает у большинства из нас смешанные чувства). Но вернемся к мемуарам Гинзбург: старый партиец Гарей Сагидуллин, страстно ненавидящий Сталина, простучал ей сквозь стену камеры: «Говори прямо о несогласии с линией Сталина, называй как можно больше фамилий таких несогласных. Всю партию не арестуют. А если будут тысячи таких протоколов, то возникнет мысль (у кого? — А. В.) о созыве чрезвычайного партийного съезда, возникнет надежда на «его» свержение...» Неудивительно, что призыв посадить возможно большее число партийцев и членов их семей (мыслит Сагидуллин вполне по-сталински) не находит отклика у Евгении Гинзбург, тут все понятно — нормальная человеческая реакция. Интереснее другое: «хотя я и чувствовала смутно, еще не зная этого точно, что вдохновителем всего происходящего в нашей партии кошмара (только в партии? — А. В.) является именно Сталин, но заявить о несогласии с линией я не могла. Это было бы ложью». Воистину: «свои» сажают «своих»...

«Свои» и «чужие»

У многих мемуаристов или у изображенных ими людей ясно просматривается это деление на «своих» и «чужих», убеждение, что хотя они сами, их друзья, родные и соратники арестованы совершенно невиновными, но в принципе есть в обществе и настоящие враги (и много врагов), которых сажать, расстреливать, ссылать и можно и нужно. «Как должен вести себя коммунист в «своей» тюрьме?» — этот вопрос в той или иной формулировке встает перед многими мемуаристами. Даже общая камера не соединяет «чужих». Снова читаем у Гинзбург: «...Свои горести после допросов Аня-маленькая поверяет только мне, как партиец партийному. Еще больше Аня опасается ушей Дерковской, эсерки.

— Понимаешь, Женя, ведь по сути она — настоящий классовый враг. Меньшевики и эсеры. Правда, по учебникам я их иначе представляла. Такая, в общем, славная и несчастная старуха. Но жалости нельзя поддаваться... И материалов против партии нашей им нельзя давать».

Однако жалость вызывает скорее сама Аня с ее искалеченным (похоже, неизлечимо) «партийным» сознанием, а не «старуха» Дерковская, сидевшая с 1907-го по 1917-й, а с 1921-го — в ссылке, с 37-го — снова в тюрьме. Но и она, страдающая без папирос, принципиально не берет их у Гинзбург, как коммунистки, которая тем более не участвовала в «оппозициях». Та же узость? Скорее уж та единственная форма политического достоинства, которая ей осталась. «Лично мне вас жаль,— говорит она Гинзбург.— Но вообще-то не скрою, рада, что коммунисты наконец почувствовали на себе многое, о чем мы им давно говорили...»

Ощущение, что враги, конечно, были и вредили, остается у некоторых авторов на всю жизнь. С. Швед уже в 70-е годы продолжает утверждать: «строительство новых предприятий велось без достаточного опыта (что было *неизбежным злом*), и этим, безусловно, пользовались *вредители* — совершенно *реальные классовые враги из буржуазной технической интеллигенции*, которые нарочно создавали диспропорции между взаимосвязанными предприятиями, между отдельными цехами (...). Но, между прочим, вредители на то и вредители, чтобы пролезать в любую щелку...» Она же: «Я никогда не зарекалась от того, чтобы передать органам правосудия настоящих, заведомых, активных врагов (из буржуазной технической интеллигенции? — А. В.), но быть соглядатаем среди невинно пострадавших женщин?» Она же: «Помните... Потому что никто не может дать вам гарантии, что безумие 37-го года (а других лет? — А. В.) никогда не повторится... Многие вообще ничего не знают или не верят рассказам о репрессиях, преследованиях *честных коммунистов*. (...) недоверие Сталина к *своим* людям — забывать все это тоже нельзя».

О «честных коммунистах» в «своем» лагере Яков Шестопал записал со слов бывшей заключенной такую «быль» («ЧП в лагере», «Неделя», 1988 № 25): в одном из северных лагерей лютой зимой «жены» репрессированных партработников, объединившиеся в подпольную партячейку, решились от отчаяния на протест — их гонят почти босыми на лесоповал; им уже ничего не страшно, потому что то — смерть и это — смерть. Одна из заключенных, Анна Сергеевна, подбрасывает вверх шапку («нечто похожее на ушанку», запомним это), и, «как последнее «ура» в смертельной атаке, сто двадцать женщин одновременно закричали:

— Не пойдем на работу, пока не получим обуви!»

Затем следует такая необычайно выразительная и поистине символическая сцена «Через полчаса перед ними предстал начальник лагеря. Черный п о л у ш у б о к на нем был расстегнут. (...) Рванув с себя, как Анна Сергеевна, т е п л у ю м е х о в у ю ш а п к у, он негромко, но так, чтобы слышали все, отчаянно проговорил:

— Фашисты на Волге... Бои под Сталинградом. Стране нужен лес! А вы... вы... дерьмо, а не коммунисты!

Две шеренги почти б о с ы х женщин, по шестьдесят в каждой, безо всякой команды повернулись правым плечом вперед и зашагали к воротам лагеря (на лесоповал.— А. В.)». Вдумаемся: устами этого мерзавца говорит сама система[2], допустившая немцев на Волгу, и именно этим фактом (враг в сердце страны) оправдывающая свои изуверства и призывающая свои жертвы «идейно» отнестись к своим страданиям. И самое главное: жертвы эту дьявольскую логику принимают. Как же нужно было искалечить их сознание еще на «воле», как глубоко должна была проникнуть система в их душу, чтобы по первому точно угаданному начальником сигналу, повинуясь социальному «условному рефлексу», бедные женщины сразу исчерпали весь запас, казалось бы, отчаянно-решительного сопротивления!

Но, с другой-то стороны, как они еще могли поступить? Жизнь слишком часто и не обязательно в чрезвычайных обстоятельствах ставит перед нами задачи без возможности однозначно-позитивного решения; ситуация ГУЛага, вероятно, была именно такой задачей без положительного ответа — любое из решений «хуже». Не случайно Варлам Шаламов настаивал на том, что лагерь — это лишь «отрицательный» опыт. Несостоявшийся бунт женщин еще только более наглядно выявляет безвыходность их ситуации, безнадежность их положения, невозможность активной борьбы против системы в рамках системы.

Понимал ли автор, ч т о он описал, понимала ли рассказчица, о ч е м она поведала писателю?..

Скажут: человек исполняет свой служебный долг, мог бы и не апеллировать к идейности, просто убить; некоторые заключенные и в тюрьме не сразу могли освободиться от такого «образа» своих мучителей. У Гинзбург заключенные в камере смеются (конечно, за глаза) над бестолковым надзирателем.

«— Замолчите!..

Юлия Анненкова с искаженным, побледневшим лицом подняла руку движением боярыни Морозовой:

— Вы не смеете издеваться над ним. Он здесь представляет Советскую власть. Он исполняет свои обязанности. Вы не смеете, вы не смеете!»

Это не случайность, не казус, но потом приходило прозрение: «только первые недели я продолжал считать надзирателей, следователей такими же людьми, как я, ну, ошибающимися или же негодяями, но все же людьми. Потом у меня это прошло. (...) они не такие, как мы... С этими нельзя вступать в человеческие отношения, нельзя к ним относиться, как к людям, они людьми только притворяются, и к ним нужно тоже относиться, притворяясь, что считаешь их за людей» — убийц и мародеров. «Некоторые из них получали готовые квартиры, со всем, что в них было: мебелью, книгами, бельем, одежой, всем, включая зубные щетки и засохшие куски мыла в умывальнике (так нацисты въезжали в «освободившиеся» еврейские дома.— А. В.). А другие на каких-то базах, куда свозили все это добро, выбирали себе по вкусу. И, конечно, по чинам. Которые повыше — снимали сливки: картины, дорогие ковры, антиквариат, книги в красивых переплетах... Которые чином поменьше, удовлетворялись не баккара, а простым хрусталем; не саксонским фарфором, а морозовским... Прошло почти полвека, но наследники грабителей, а может, и еще сами грабители и убийцы живут среди этих картин и ковров, едят с этой посуды...» (Лев Разгон). И живы еще уцелевшие жертвы репрессий, их родные и близкие, что были не только сломаны, изувечены, лишены свободы, но и ограблены системой в самом вульгарном смысле слова (безотносительно, куда и кому пошло их имущество), даже чисто материальный долг системы своим жертвам поистине

[2] Я все время пишу «система», потому что для ЭТОГО у меня нет адекватного определения; впрочем, в прежних публикациях я скорее по инерции неоднократно употреблял выражение «сталинизм», но «система» больше «сталинизма», начало которого отсчитывают обычно от «великого перелома». Элементы этой системы начали складываться еще в 1918 году. (См. об этом подробно исследования Р. Медведева «Трудная весна 1918 года», «Волга», 1989, №№ 1—2.)

беспределен, и отдавать этот долг она, похоже, не собирается[3].

Надежда Мандельштам видела в этой системе абсолютное зло (правда, ее многочисленные выпады против системы — не самое существенное в ее обширных мемуарах, еще не изданных у нас целиком), а, скажем, Галина Колдомасова и ее подруги по Акмолинскому лагерю «всегда оставались теми же советскими женщинами, какими были, и винили во всем лишь одного человека» — Сталина; между этими «полюсами» простирается область п р о з р е в а ю щ и х. И в этом смысле уникальны воспоминания заведующего отделом НКИДа Евгения Гнедина «Себя не потерять» («Новый мир», 1988, № 7, рукопись известна под названием «Катастрофа и второе рождение»). После отставки Литвинова, когда подчистую выгребались его бывшие сотрудники, Гнедин прошел самые страшные тюрьмы (как Сухановская), и не сдался, и вместо неизбежного расстрела получил лагеря. Преданный функционер сталинского государства, отринутый (воистину преданный) своими хозяевами, ввергнутый в ад «своей» государственной машины, он сумел взглянуть на себя и на мир совершенно новыми глазами, полностью сменить свою нравственно-политическую ориентацию. Под пытками палачей он учился заново отличать добро от зла. Отвергнув догмы, которыми он руководствовался ранее, Гнедин освободился от представления, «будто надлежит во имя абстрактных дальних целей жертвовать тем теплом и теми благами, которые таятся в простых человеческих чувствах и в выполнении долга перед близкими людьми»; кстати, именно в тюрьме к нему вернулось «непосредственное поэтическое восприятие мира», он пишет в заключении стихи. По Гнедину, человек обретает внутреннюю свободу по отношению к «деспотическому государству и деспотической идеологии» (примечательно, что сам кремлевский деспот ему уже как бы «не интересен»), если «не поддается самообольщению, самообману, не лжет, по крайней мере самому себе». Духовное освобождение Гнедина не было чудесным озарением свыше, это была долгая духовная работа, путь через полное отчаяние и фаталистический оптимизм к трезвому стоическому знанию. «В 1939 году в тюрьме, хоть я уже непосредственно познакомился с обликом Берии, Кобулова, их подручных (они его лично пытали.— А. В.), я все же не мог даже вообразить, что они станут сотрудничать с берндтами, розенбергами и прочими фашистскими злодеями. Берндты были в моих глазах воплощением гитлеровского режима, а кобуловы — не только выродками, но и уродливыми исключениями в том обществе, к которому принадлежал и я сам. Так думал не только я один. Так рассуждают и сейчас многие». Последние фразы мемуариста говорят о том, что сам он не сразу переменил свою точку зрения на кобуловых как на патологическое исключение, неадекватное системе.

Кстати, прямое сопоставление сталинизма и гитлеризма (особенно после опубликования романа Гроссмана) вряд ли должно нас смущать. Оно проходит через многие «лагерные» мемуары. «Вот так, наверное, там, в Германии, привыкли и к газовым печам, и к виселицам. Ко всему привыкаешь...» — размышляла о ГУЛаге Е. Гинзбург; она же — из тюремных разговоров: «Немки, побывавшие в гестапо, уверяют, что тут не обошлось без освоения опыта. Чувствуется единый стиль. В командировку заграничную посылали их, что ли? (кстати, кого — куда? — А. В.)».

Очевидные «психологические совпадения тоталитаризма сталинизма с тоталитаризмом фашизма» отмечает сегодня доктор философских наук М. Капустин («Книжное обозрение», 1988, № 38), а Ян Каплинский на страницах таллинской «Радуги» (1988, № 7) утверждает, что Гитлер обладал по сравнению со Сталиным какой-то цинической откровенностью: он не объяснялся в любви к евреям и славянам и не требовал славословий от тех, кого собирался уничтожить.

Впрочем, стоит прислушаться и к мнению немецкой писательницы Кристы Вольф, возражающей против уравнивания сталинизма и нацизма; у последнего, по ее мнению, не было никаких внутренних резервов для демократической эволюции (то есть и «XX съезд», и «перестройка» в национал-социалистическом варианте были бы заведомо невозможны).

«Все начиналось с детей Николая»?

Вшами она посыпала мою голову, приговаривая: «Всем поровну, всем поровну, к коммунизму идем».

А. Л а р и н а (Бухарина).

«Пришел конец жестокой силе. /Которой слепо мы служили, /Когда по молодости лет /Еще глаза незрячи были. /За это дали мы ответ, /А он, п р и ч и н а н а ш и х б е д, /Лежит в торжественной могиле. /И скорбный марш звучит нам

[3] Когда статья уже была написана, появились сообщения о том, что Совет Министров Литовской ССР отменил постановления 1949 и 1951 годов о депортациях «кулаков и их семей», предусмотрена материальная компенсация пострадавшим. Чуть позже ЦК КПСС постановил внести на рассмотрение Президиума Верховного Совета СССР предложение — отменить внесудебные решения, вынесенные «тройками» и «особыми совещаниями», возместить пострадавшим материальный ущерб.

сегидильей»,— так откликнулся в свое время на смерть Сталина бывший разведчик, ставший в ГУЛаге поэтом, Юлиан Тарновский («Даугава», 1988, № 9). В самом ли деле И. В. Джугашвили (Сталин) — «причина наших бед»? Спор о нем не завтра закончится, но, несмотря на такие факты, как процесс Адамовича, все-таки полемика идет уже не о том, гений Сталин или преступник (преступник!), а о том, как соотносятся Сталин и система: кто кого породил. Пожалуй, самый яркий пример — полемика в газете «Московские новости» (1988, № 24) в связи с известной статьей В. Кожинова «Правда и истина». Суть полемики иронически точно сформулировала А. Латынина: «христианин Игорь Шафаревич напоминает нам (...) о том, что наивно объяснять национальную катастрофу зловещей ролью одного человека, а марксист Рой Медведев упрямо настаивает на том, что историческая закономерность склонилась перед одной криминальной личностью». Опасаются, что упоминание каких-то исторических закономерностей есть стыдливая выдача индульгенции Сталину, но говорим же мы об исторических корнях национал-социалистического режима в Германии, и никто не воспринимает это как нравственное оправдание Гитлера.

Кстати, все явственнее витает в воздухе идея посмертного судебного процесса (наподобие Нюрнбергского) над Сталиным; такой процесс был бы возможен и полезен, и все-таки не принимает душа идею такого «суда», если на скамье подсудимых будет (незримо) сидеть один убийца, а другие, скажем, Зиновьев, будут (незримо) проходить свидетелями обвинения только потому, что *в конце концов* стали жертвами подсудимого[4]. Из недавних мемуаров: «Когда Юденич стоял уже под самым городом (...) Зиновьев (...) требовал, чтобы его немедленно первым вывезли из Петрограда (...) ему было чего бояться: перед этим он и приехавший в Петроград Сталин приказали расстрелять всех офицеров, зарегистрировавшихся согласно приказу... А также много сотен бывших политических деятелей, адвокатов и капиталистов, не успевших спрятаться» (Лев Разгон). Кровавая каша заваривалась задолго до 37-го, и хватит наконец противопоставлять невинную ЧК «переродившемуся» НКВД, что делал Бухарин в своем ныне известном завещании. Многие из тех партийцев, чекистов, идеологов, что были безвинно (с точки зрения официально предъявленных обвинений) репрессированы в 30-е годы, заслужили кару за то, что они сделали со страной и народом за предшествующие два десятилетия (конечно, только они сами, а не их жены и дети); об этом *нужно* говорить именно *после* того, как публично признано, что они не виновны в приписываемых им преступлениях, нужно говорить о том, в чем и перед кем они на самом деле виновны. Безнравственно оправдывать поджигателей тем, что и они сами сгинули в пламени раздутого ими пожара,— об этом справедливо напоминает экономист Гавриил Попов (запишем и его в сталинисты?).

«Все начиналось с детей Николая... /Что бормотали они, умирая, /в смрадном подвале? / Все те же слова, / что и несчастные дети Арбата... / Что нам считаться — судьба виновата. / Не за что — а воздастся сполна» — это из уже цитированного стихотворения С. Куняева (редкая для него по незлобной печали и благородству строфа, и, к сожалению, на этом уровне ему не дано удержаться даже в пределах одного стихотворения). Впрочем, нельзя с ним не согласиться, что «от подвала в Ипатьевском доме / и до барака в республике Коми, / как говорится, рукою подать»; но ведь и дети Николая были безвинными (безусловно, безвинными) жертвами за вполне реальное государственное насилие дореволюционного режима[4] (а зачем нам так скоропостижно забывать об этом?). Но стоит двинуться по этой дороге, как увидим, что одно отвратительное насилие цепляется за другое, словно зубцы страшных шестерен, и вся эта кровавая механика уходит в непроглядную тьму прошлого чуть ли не к первым государствам на земле, чуть ли не к возникновению «хомо сапиенса», или в христианской концепции — к Каину и Авелю, к первородному греху. Что же?.. Станем на позиции анархизма, вовсе отрицающего государственную власть? Но анархизм (толстовцы тут исключение) сам прекрасно уживается с насилием. Обратимся к христианской альтернативе? Но она никому и ничему не может реально помешать. Поверим, как либеральный гуманист Стефан Цвейг, что у всякой земной тирании есть свой естественный предел, за которым «кулак» сам разжимается? Не знаю. Нет у меня ответа.

«Он долго не понимал, что делают с ними, но в конце концов понял и стал спокойно ждать смерти» (Варлам Шаламов, «Новый мир», 1988, № 6); увы, те, кто *понял*, в большинстве своем уже никому не расскажут, *что* открылось им в аду ГУЛага, их мемуаров мы, за редкими исключениями, не прочтем; а те, кто выжил, зачастую (неловко об этом говорить) мало что поняли и ничему не научились. Я говорю уже не о семинском «страдании памяти», а о том, что люди думают, будто они поняли... «В нашей партии, в нашей стране снова царит великая ленинская правда»,— пишет Евгения Гинзбург уже в начале 60-х (впрочем, это похоже на заговаривание «страдания памяти»). Снова царит... Трудс Рихтер вспоминает Колыму: «золотые рудники и прииски, на которых заключенные тяжелым трудом добывали драгоценный металл, помогавший финансировать строительство социализма. Добыча велась примитивным способом, и все же все вместе взятое (?) было значительным достижением второй пятилетки». Скажут, что я по своему жизненному опыту не имею права их судить. Безусловно, так. Потому и не сужу. Констатирую факт: ничему не научились. Иногда кажется, что страшный опыт утекает бесследно, как свет в «черную дыру» (не в 48-м и не в 78-м, а в 1988-м выходит и выдвигается на премию Ленинского комсомола книга, в которой молодой критик Екатерина Маркова заявляет, что Советский Союз есть... «апофеоз свободы и братства»). но показания все-таки даются, и никто не смеет сказать, что он ничего не слышал да и *без* «показаний». Только взгляни в себя и окрест. И не лги...

«Так наз. лагерная тема — это очень большая тема, где разместятся сто таких писателей, как Солженицын, пять таких писателей, как Лев Толстой. И никому не будет тесно»,— считал Варлам Шаламов («Новый мир», 1988, № 6). Это — тема не менее значительная, не менее трагическая и всечеловеческая, чем, скажем, Отечественная война, число книг о которой огромно, и конца им не видно. Постепенно нарастающий объем советских публикаций о ГУЛаге и репрессиях вообще кощунственно мал по сравнению с требованиями жизни да и просто с зарубежными изданиями. Многое уже написано, существует, и дело только за типографским станком... Между тем то, что появляется на страницах нашей печати (пока), *не отвечает ни на один* из наших сегодняшних вопросов. Напротив, эти публикации (и мемуарные в том числе) *возбуждают все новые и новые вопросы*. И это, наверно, хорошо. Не мной замечено, что для того, чтобы получить правильный ответ, надо как минимум «правильно» задать вопрос. И если мы по мере знакомства с запечатленным в мемуарах опытом ГУЛага начинаем понимать, что раньше «не о том» спрашивали, что сами вопросы должны быть иными,— это тоже, вероятно, приближение к истине о нас самих и мире, в котором мы живем.

[4] Разумеется, более «мягкое», авторитарное, но не тоталитарное. Сравнение дореволюционного государственного насилия с советским проходит через многие мемуары, конечно, не в пользу ГУЛага.

Абрам ТЕРЦ

Прогулки с Пушкиным

ФРАГМЕНТ

В наши дни вновь приживляется к стволу отсеченная было ветвь отечественной культуры С нею возвращаются на свое место в современной духовной жизни и произведения Андрея Синявского (Абрама Терца).

Андрей Донатович Синявский (1925 г. рождения) получил известность в 50—60-е годы как одаренный литературовед, автор работ о Горьком, Пастернаке, Бабеле, Ахматовой, о поэзии революционных лет. Сотрудничал в «Новом мире» А. Твардовского. С 1955 года А. Синявский начал писать и художественную прозу. Сам писатель называет ее «утрированной прозой», или «второй литературой», то есть не той, которая преобладала в наших литературных изданиях недавних десятилетий. «...Я мечтал создать вторую литературу. Вторую не в смысле антисоветскую, а другую по стилю»,— сказал он в одном из недавних интервью. «Я хорошо понимал, что книги, которые я писал, не могли быть в то время опубликованы в Советском Союзе». Именно поэтому он пересылает их за границу и там публикует под псевдонимом Абрам Терц («Суд идет», «Графоманы», «Любимов», «Пхенц» и др.).

В 1965 году за эти произведения, за печатание их за границей писатель был арестован. Процесс над ним и Ю. Даниэлем, тоже публиковавшимся во Франции под псевдонимом Николай Аржак, стал некоей вехой в истории нашего общества: он ознаменовал конец хрущевской «оттепели» 60-х годов. Шестьдесят два советских писателя обратились к правительству с письмом в защиту Синявского и Даниэля. К. Паустовский готов был выступить перед судом с защитительной речью, но получил отказ. Широкая волна протестов против процесса и приговора прошла по многим странам мира. Несмотря на это, А. Синявский и Ю. Даниэль были осуждены Синявский был приговорен к 7 годам лагерей строгого режима

В лагере он написал книги «Прогулки с Пушкиным» и «Голос из хора», переслав их в виде писем к жене. Через два года после освобождения, в 1973 году, по разрешению советских властей А. Синявский выехал с семьей во Францию. С этого времени и по сей день он профессор русской литературы в Парижском университете, но главное—продолжает писать художественную (роман «Спокойной ночи» и др.), а также критическую и исследовательскую прозу («В тени Гоголя», «Опавшие листья» В. В. Розанова», многочисленные статьи). Открывая любую из этих работ, надо иметь в виду, что и они написаны по законам «утрированной прозы» с высокой долей иронии, парадокса, остранения. Далеко не все в них подлежит буквальному и элементарному пониманию. Но как раз в этом их обаяние.

Когда редакция «Октября» обратилась к Андрею Донатовичу с предложением опубликовать что-либо в журнале, он выбрал фрагмент из «Прогулок с Пушкиным», сказав, что это произведение считает особенно важным для себя.

Старый лагерник мие рассказывал, что, чуя свою статью, Пушкин всегда имел при себе два нагана. Рискованные натуры довольно предусмотрительны: бесшабашные в жизни, оии суеверны в судьбе.

Несмотря иа раздоры н меры предосторожности, у Пушкина было чувство локтя с судьбой, освобождающее от страха, страдания и суеты. «Воля» и «доля» рифмуются у него как синоиимы. Чем больше мы вверяемся промыслу, тем вольготнее нам живется, и полная покорность беспечальна, как птичка. Из множества русских пословиц ему ближе всего, пожалуй, присказка: «Спи! утро вечера мудренее».

За пушкииским подчинением року слышится вздох облегчения — независимо, принесло это успех или ущерб. Так, по милости автора, вещая смерть Олега воспринимается нами с энтузиазмом.

Ход конем оправдался: князь получил мат: рок одержал верх: дело сделано — туш!

Бойцы поминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились оии.

В общении с провидением достигается — присущая Пушкину — высшая точка зрения на предмет, придерживаясь которой, мы почти с удовольствием переживаем несчастья, лишь бы они содействовали судьбе. Приходит состояние свободы и покоя, нашептанное сознанием собственной беспомощности. Мы словно сбросили тяжесть: ныне отпущаеши.

«Разъедемся, пора! — сказали,—
Безвестной вверимся судьбе».
И каждый конь, не чуя стали,
По воле путь избрал себе.

Вопреки общему мнению, что свобода горда, непокорна, Пушкин ее в «Цыганах» одел в ризы смирения. Смирение и свобода одно, когда судьба иам стаиовится домом и доверие к ней простирается степью в летнюю ночь. Этнография счастливо совпала в данном случае со слабостью автора, как русский и как Пушкин неравнодушного к цыганской стезе. К нищенским кибиткам цыгаи — «сих смиренных приверженцев первобытной свободы», «смиренной вольности детей» — Пушкин привязал свою кочующую душу, исполненную лени, беспечности, страстей, праздной мечтательности, широких горизонтов, блуждания,— и все это под попечением рока, не отягченного бунтом и ропотом. под сенью луны, витающей в облаках.

Луна здесь главное лицо. Конечно — романтизм, но не только. Эта поэма ему сопричастна более других. Пушкин плавает в «Цыганах», как луна в масле, и передает ей бразды правлеиия над своей поэзией.

Взгляни: под отдаленным сводом
Гуляет вольная луна;
На всю природу мимоходом
Равно сиянье льет она.
Заглянет в облако любое,
Его так пышно озарит —
И вот — уж перешла в другое;
И то недолго посетит.
Кто место в иебе ей укажет,
Примолвя: там остановись!
Кто сердцу юной девы скажет:
Люби одно, не измеиись? *.

В луне, как и в судьбе, что разгуливают по вселенной, наполняя своим сиянием любые встречные вещи,— залог и природа пушкинского универсализма, пушкинской изменчивости и переимчивости. Смирение перед неисповедимостью Промысла и некое отождествление с ним открывали дорогу к широкому кругозору. Всепонимающее, всепроникающее дарование Пушкииа много обязано склонности перекладывать долги на судьбу, полагая, что ей виднее. С ее позиции и впрямь далеко видать.

* Ср. отрывок «Зачем крутится ветр в овраге», где похожая ассоциация — ветра, девы, луны и т. д.— замыкается на певце.

В «Цыганах» Пушкин взглянул на действительиость с высоты бегущей луны и увидел рифмующееся с «волей» и «долей» поле, по которому, подобно луне в иебе, странствует табор, колышемый легкой любовью и легчайшей изменой в любви. Эти пересечения смыслов, заложенные в кочевом образе жизни, свойственном и женскому сердцу, и луне, и судьбе, и табору, и автору,— сообщают поэме исключительную органичность. Мнится, все в ней вращается в одном световом пятне, охватывающем, однако, целое мироздаиие.

С цыганским табором как символом Собрания сочинений Пушкина в силах сравниться разве что шумный бал, занявший в его поэзии столь же почетное место. Образ легко и вольно пересекаемого пространства, наполненного пестрым смешением лиц, одежд, наречий, состояний, по которым скользит, вальсируя, снисходительный взгляд поэта, озаряющий минутным виимаиием то ту, то иную картиину,— вот его творчество в общих контурах.

Друзья! Не все ль одно и то же:
Забыться праздною душой
В блестящем зале, в модной ложе
Или в кибитке кочевой?

Ясио — одно и то же. Светскость Пушкина родственна его страсти к кочевничеству. В «Онегине» он запечатлел эту идею. «Там будет бал, там детский праздник. Куда ж поскачет мой проказник?» Наш пострел везде поспел,— можно смело поручиться за Пушкина. Недаром он смолоду так ударил по географии. После русского Руслана только и слышим: Кавказ, Балканы... «...И финн, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык», прежде чем попасть в будущие любители Пушкина, были им в «Братьях разбойниках» собраны в одну шайку. То был мандат на мировую литературу.

Подвижность Пушкина, жизнь на колесах позволяли без проволочек брать труднейшие национальные и исторические барьеры. Легкомыслие становилось средством сообщения с другими народами, путешественник принимал эстафету паркетного шаркуна. Шла война, отправляли в изгнание, посылали в командировки по кровавым следам Паскевича, Ермолова, Пугачева, Петра, а бал все ширился и множился гостями, нарядами, разбитыми в пыль племенами и крепостями.

Так Муза, легкий друг Мечты,
К пределам Азии летала
И для венка себе срывала
Кавказа дикие цветы.
Ее пленял наряд суровый
Племен, возросших на войне,
И часто в сей одежде новой
Волшебница являлась мне...

Пушкин любил рядиться в чужие костюмы и иа улице, и в стихах. «Вот уж смотришь,— Пушкии серб или молдаван, а одежду ему давали знакомые дамы... В другой раз смотришь — уже Пушкин

турок, уже Пушкин жид, так и разговаривает, как жид». Эти девичьи воспоминания о кишиневских проделках поэта могли бы сойти за литературоведческое исследование. «Переимчивый и общежительный в своих отношениях к чужим языкам»,— таков русский язык в определении Пушкина, таков и сам Пушкин, умевший по-свойски войти в любые мысли и речи. Компанейский, на короткой ноге с целым светом, терпимый «даже иногда с излишеством», он, по свидетельству знакомых, равно охотно болтал с дураками и умниками, с подлецами и пошляками. Общительность его не знала границ. «У всякого есть ум,— настаивал Пушкин,— мне не скучно ни с кем, начиная с будочника и до царя». «Иногда с лакеями беседовал»,— добавляет уважительно старушка А. О. Смирнова-Россет.

...И гад морских подводный ход,
И дольной лозы прозябанье.

Все темы ему были доступны, как женщины, и, перебегая по ним, он застолбил проезды для русской словесности на столетия вперед. Куда ни сунемся — всюду Пушкин, что объясняется не столько воздействием его гения на другие таланты, сколько отсутствием в мире мотивов, им ранее не затронутых. Просто Пушкин за всех успел обо всем написать.

В результате он стал российским Вергилием и в этой роли гида-учителя сопровождает нас, в какую бы сторону истории, культуры и жизни мы ни направились. Гуляя сегодня с Пушкиным, ты встретишь и себя самого.

...Я, нос себе зажав, отворотил лицо.
Но мудрый вождь тащил меня все дале,
дале —
И, камень приподняв за медное кольцо,
Сошли мы вниз — и я узрел себя в
подвале.

Больше всего в людях Пушкин ценил благоволение. Об этом он говорил за несколько дней до смерти — вместе с близкой ему темой судьбы, об этом писал в рецензии на книгу Сильвио Пеллико «Об обязанностях человека» (1836 г.).

«Сильвио Пеллико десять лет провел в разных темницах и, получа свободу, издал свои записки. Изумление было всеобщее: ждали жалоб, напитанных горечью,— прочли умилительные размышления, исполненные ясного спокойствия, любви и доброжелательства».

В «ненарушимой благосклонности во всем и ко всему» рецензент усматривал «тайну прекрасной души, тайну человека-христианина» и причислял своего автора к тем избранным душам, «которых Ангел Господний приветствовал именем ч е л о в е к о в б л а г о в о л е н и я».

Был ли Пушкин сим избранным? Наверное, был — на иной манер.

В соприкосновении с пушкинской речью нас охватывает атмосфера благосклонности, как бы по-тихому источаемая словами и заставляющая вещи открыться и воскликнуть: «Я — здесь!» Пушкин чаще всего любит то, о чем пишет, а так как он писал обо всем, не найти в мире более доброжелательного писателя. Его общительность и отзывчивость, его доверие и слияние с промыслом либо вызваны благоволением, либо выводят это чувство из глубин души на волю с той же святой простотой, с какой посылается свет на землю,— равно для праведных и грешных. Поэтому он и вхож повсюду и пользуется ответной любовью. Он приветлив к изображаемому, и оно и нему льнет.

Возьмем достаточно популярные строчки и посмотрим, в чем соль.

Зима!.. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь...

(Какой триумф по ничтожному поводу!)

Что ты ржешь, мой конь ретивый?..

(Ну как тут коню не откликнуться и не заговорить человеческим голосом?!)

Мой дядя самых честных правил...

(Под влиянием этого дяди, отходная которому читается тоном здравицы, у вечно меланхоличного Лермонтова появилось единственное бодрое стихотворение «Бородино»: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром...»)

Тиха украинская ночь...

(А звучит восклицательно — а почему? да потому, что Пушкин это ей вменяет в заслугу и награждает медалью «тиха» с таким же добрым торжеством, как восхищался достатком героя: «Богат и славен Кочубей», словно все прочие ночи плохи, а вот украинская — тиха, слышите, на весь мир объявляю: «Тиха украинская ночь!»)

Прибежали в избу дети,
Второпях зовут отца...

(Под этот припев отплясывали, позабыв об утопленнике. Вообще у Пушкина все начинается с праздничного колокольного звона, а заканчивается под сурдинку...)

С Богом, в дальнюю дорогу!
Путь найдешь ты, слава Богу.
Светит месяц; ночь ясна;
Чарка выпита до дна

(Ничего себе — «Похоронная песня»! О самом печальном или ужасном он норовит сказать тост) —

Итак,— хвала тебе, Чума!..

Пушкин не жаловал официальную оду, но, сменив пластинку, какой-то частью души оставался одописцем. Только теперь он писал оды в честь чернильницы, на встречу осени, пусть шутливые, смешливые, а все ж исполненные похвалы. «Пою приятеля младого и множество его причуд»,— валял он дурака в «Онегине», давая понять, что не такой он отсталый, а между тем воспел и приятеля, и весь его мелочный туалет. Прочнее многих современников Пушкин сохранял за собою антураж и титул певца, стоящего на страже интересов привилегированного предмета. Однако эти привилегии воспевались им не в форме высокопарного славословия, затмевающего предмет разговора пиитическим красноречием, но в виде нежной восприимчивости к личным свойствам обожаемой вещи, так что она, купаясь в славе, не теряла реальных признаков, а лишь становилась более ясной и, значит, более притягательной. Вещи выглядят у Пушкина как золотое яблочко на серебряном блюдечке. Будто каждой из них сказано:

Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный,—
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!

И они являются.

«Нет истины, где нет любви»,— это правило в устах Пушкина, помимо прочего, означало, что истинная объективность достигается нашим сердечным и умственным расположением, что, любя, мы переносимся в дорогое существо и, проникшись им, вернее постигаем его природу. Нравственность, не подозревая о том, играет на руку художнику. Но в итоге ему подчас приходится любить негодяев.

Вслед за Пушкиным мы настолько погружаемся в муки Сальери, что готовы, подобно последнему, усомниться в достоинствах Моцарта, и лишь совершаемое на наших глазах беспримерное злодеяние восстанавливает справедливость и заставляет ужаснуться тому, кто только что своей казуистикой едва нас не вовлек в соучастники. В целях полного равновесия (не слишком беспокоясь за Моцарта, находящегося с ним в родстве) автор с широтою творца дает фору Сальери и, поставив на первое место, в открытую мирволит убийце и демонстрирует его сердце с симпатией и состраданием.

Драматический поэт — требовал Пушкин — должен быть беспристрастным, как судьба. Но это верно в пределах целого, взятого в скобки, произведения, а пока тянется действие, он пристрастен к каждому шагу и печется попеременно то об одной, то о другой стороне, так что нам не всегда известно, кого следует предпочесть: под пушкинское поддакиванье мы успели подружиться с обеими враждующими сторонами. Царь и Евгений в «Медном Всаднике», отец и сын в «Скупом Рыцаре», отец и дочь в «Станционном смотрителе», граф и Сильвио в «Выстреле» — и мы путаемся и трудимся, доискиваясь, к кому же благоволит покладистый автор. А он благоволит ко всем.

Перестрелка за холмами;
Смотрит лагерь их и наш;
На холме пред казаками
Вьется красный делибаш.

А откуда смотрит Пушкин? Сразу с обеих сторон, из ихнего и из нашего лагеря? Или, быть может, сверху, сбоку, откуда-то с третьей точки, равно удаленной от «них» и от «нас»? Во всяком случае, он подыгрывает и нашим и вашим с таким аппетитом («Эй, казак! не рвися к бою», «Делибаш! не суйся к лаве»), будто науськивает их поскорее проверить в деле равные силы. Ну и, конечно, удальцы не выдерживают и несутся навстречу друг другу.

Мчатся, сшиблись в общем крике...
Посмотрите! каковы?
Делибаш уже на пике,
А казак без головы.

Нет, каков автор! Он словно бы для очистки совести фыркает: я же предупреждал! и наслаждается потехой, и весело потирает руки: есть условия для работы.

Как бы в этих обстоятельствах вел себя Сильвио Пеллико? Должно, молился бы за обоих — не убивайте, а если убили, так за души, обагренные кровью. Пушкин тоже молится — за то, чтоб одолели оба соперника. Осуществись молитва Пеллико — действительность в ее нынешнем образе исчезнет, история остановится, драчуны обнимутся, и всему наступит конец. Пушкинская молитва идет на потребу миру — такому, каков он есть, и состоит в пожелании ему долгих лет, доброго здоровья, боевых успехов и личного счастья. Пусть солдат воюет, царь царствует, женщина любит, монах постится, а Пушкин, пусть Пушкин на все это смотрит, обо всем этом пишет, радея за всех и воодушевляя каждого.

Бог помочь вам, друзья мои,
В заботах жизни, царской службы,
И на пирах разгульной дружбы,
И в сладких таинствах любви!

Бог помочь вам, друзья мои,
И в бурях, и в житейском горе,
В краю чужом, в пустынном море
И в мрачных пропастях земли!

Вероятно, никогда столько сочувствия людям не изливалось разом в одном — таком маленьком — стихотворении. Плакать хочется — до того Пушкин хорош. Но давайте на минуту представим в менее иносказательном виде и «мрачные пропасти земли», и «заботы царской службы». В пропастях, как всем понятно, мытарствовали тогда декабристы. Ну а в службу царю входило эти пропасти охранять. Получается, Пушкин желает тем и другим скорейшей удачи. Узнику — милость, беглому — лес, царский слуга — лови и казни. Так, что ли?! Да (со вздохом) — так.

«Не мы ли здесь вчера скакали,
Не мы ли яростно топтали,
Усердной местию горя,
Лихих изменников царя?»

Это писалось на другой день после 14 декабря — попутно с ободряющим посла-

нием в Сибирь. Живописуя молодого опричника, Пушкин мимоходом и ему посочувствовал, заодно с его печальными жертвами. Уж очень славный попался опричник — жаль было без рубля отпускать...

«Странное смешение в этом великолепном создании!» — жаловался на Пушкина друг Пущин. Он всегда был слишком широк для своих друзей. Общаясь со всеми, всем угождая, Пушкин каждому казался попеременно родным и чужим. Его переманивали, теребили, учили жить, ловили на слове, записывали в якобинцы, в царедворцы, в масоны, а он, по примеру прекрасных испанок, ухитрялся «с любовью набожность умильно сочетать, из-под мантильи знак условный подавать» и ускользал, как колобок от дедушки и от бабушки.

Чей бы облик не принял Пушкин? С кем бы не нашел общий язык? «Не дай мне Бог сойти с ума»,— открещивался он для того лишь, чтобы лучше представить себя в положении сумасшедшего. Он, умевший в лице Гринева и воевать и дружить с Пугачевым, сумел войти на цыпочках в годами не мытую совесть ката и удалился восвояси с добрым словом за пазухой.

«Меня притащили под виселицу. «Не бось, не бось»,— повторяли мне губители, может быть, и вправду желая меня ободрить».

Сколько застенчивости, такта, иронии, надежды и грубого здоровья — в этом коротеньком «не бось»! Такое не придумаешь. Такое можно пережить, подслушать в роковую минуту либо схватить, как Пушкин,— помощью вдохновения. Оно, кстати, согласно его взглядам, есть в первую очередь «расположение души к живейшему принятию впечатлений».

Расположение — к принятию. Приятельство, приятность. Расположенность к первому встречному. Ко всему, что Господь ниспошлет. Ниспошлет — расположенность — благосклонность — покой — и гостеприимство всей этой тишины — вдохновение...

Хуже всех отозвался о Пушкине директор лицея Е. А. Энгельгардт. Хуже всех — потому что его отзыв не лишен проницательности, несмотря на обычное в подобных суждениях профессиональное недомыслие. Но если, допустим, фразы о том, что Пушкину главное в жизни «блестеть», что у него «совершенно поверхностный, французский ум», отнести за счет педагогической ограниченности, то все же местами характеристика знаменитого выпускника поражает пронзительной грустью и какой-то боязливой растерянностью перед этой уникальной и загадочной аномалией. О Пушкине, о нашем Пушкине сказано:

«Его сердце холодно и пусто; в нем нет ни любви, ни религии; может быть, оно так пусто, как никогда еще не бывало юношеское сердце» (1816 г.).

Проще всего смеясь отмахнуться от напуганного директора: дескать, старый пень, Сальери, профукавший нового Моцарта, либерал и энгельгардт. Но, быть может, его смятение перед тем, «как никогда еще не бывало», достойно послужить прологом к огромности Пушкина, который и сам довольно охотно вздыхал над сердечной неполноценностью и проживал пространства так, как если бы желал насытить свою пустующую утробу, требующую ни много ни мало — целый мир, не имея сил остановиться, не зная причины задерживаться на чем-то одном.

Пустота — содержимое Пушкина. Без нее он был бы не полон, его бы не было, как не бывает огня без воздуха, вдоха без выдоха. Ею прежде всего обеспечивалась восприимчивость поэта, подчинявшаяся обаянию любого каприза и колорита поглощаемой торопливо картины, что поздравительной открыткой влетает в глянце: натурально! точь-в-точь какие видим в жизни! Вспомним Гоголя, беспокойно, кошмарно занятого собою, рисовавшего все в превратном свете своего кривого носа. Пушкину не было о чем беспокоиться. Пушкин был достаточно пуст, чтобы видеть вещи как есть, не навязывая себя в произвольные фантазеры, но полнясь ими до краев и реагируя почти механически, «ревет ли зверь в лесу глухом, трубит ли рог, гремит ли гром, поет ли дева за холмом»,— благосклонно и равнодушно.

Любя всех, он никого не любил, и «никого» давало свободу кивать налево и направо — что ни кивок, то клятва в верности, упоительное свидание. Пружина этих обращений закручена им в Дон Гуане, вкладывающем всего себя (много ль надо, коли нечего вкладывать!) в каждую новую страсть — с готовностью перерождаться по подобию соблазняемого лица, так что в каждый данный момент наш изменник правдив и искренен в соответствии с происшедшей в нем разительной переменой. Он тем исправнее и правдивее поглощает чужую душу, что ему не хватает своей начинки, что для него уподобления суть образ жизни и пропитания. Вот на наших глазах развратник расцветает тюльпаном невинности — это он высосал кровь добродетельной Доны Анны, напился, пропитался ею и, вдохновившись, говорит:

...Так, разврата
Я долго был покорный ученик,
Но с той поры, как вас увидел я,
Мне кажется, я весь переродился.
Вас полюбя, люблю я добродетель
И в первый раз смиренно перед ней
Дрожащие колена преклоняю.

Верьте, верьте — на самом деле страсть обратила Гуана в ангела, Пушкина в пушкинское творение. Но не очень-то увлекайтесь: перед нами — вурдалак.

В столь повышенной восприимчивости таилось что-то вампирическое. Потому-то пушкинский образ так лоснится вечной молодостью, свежей кровью, крепким румянцем, потому-то с неслыханной силой явлено в нем настоящее время: вся полнота бытия вместилась в момент переливания крови встречных жертв в порожнюю тару того, кто, в сущности, никем не является, ничего не помнит, не любит, а лишь, наливаясь, твердит мгновению: «Ты прекрасно! (ты полно крови!) остановись!» — пока не отвалится.

На закидоны Доны Анны, сколько птичек в Гуановом списке, тот с достоинством возражает: «Ни одной доныне из них я не любил»,— и ничуть не лицемерит: все исчезло в момент охоты, кроме полноты и правды переживаемого мгновенья, оно одно лишь существует, оно сосет, оно довлеет само себе, воспринимая заветный образ, оно пройдет, и некто скажет, потягиваясь, подводя итоги с пустой зевотой:

На жертву прихоти моей
Гляжу, упившись наслажденьем,
С неодолимым отвращеньем:
Так безрасчетный дуралей,
Вотще решась на злое дело,
Зарезав нищего в лесу,
Бранит ободранное тело...

Скорее в путь, до новой встречи, до новой пищи уму и сердцу,— «мчатся тучи, вьются тучи» (невидимкою луна)...

Не странно ли, что у Пушкина столько места отводится непогребенному телу, неприметно положенному где-то среди строк? Сперва этому случаю не придаешь значения: ну умер и умер, с кем не бывало, какой автор не убивал героя? Но речь не об этом... В «Цыганах», например, к концу поэмы убили, похоронили двоих, и ничего особенного. Особенное начинается там, где мертвое тело смещается к центру произведения и переламывает сюжет своим ненатуральным вторжением, и вдруг оказывается, что, собственно, все действие протекает в присутствии трупа, который, как в «Пиковой Даме», шастает по всей повести или лежит на протяжении всего «Бориса Годунова».

Гляжу: лежит зарезанный царевич...

И хотя его вроде бы похоронят, он будет так вот лежать по ходу пьесы («Мы видели их мертвые трупы»,— скажут в апофеозе) — в виде частых упоминаний о теле убиенного отрока, бледным эхом которого откликается Лжедимитрий, тем и страшный царю Борису, что пока *этот* царевич растет, *тот* царевич лежит, и его образ двоится.

Из страхов Бориса видно, что его терзает сомнение, не уцелел ли законный наследник, давит тяжесть греха, тревожит успех самозванца, но, помимо этого, рядом с этим действует главный страх, продирающий до костей в допущении, что ему, царю,— вопреки здравому смыслу радоваться такому безделью — противостоит *мертвый* царевич, пребывающий в затянувшемся зарезанном состоянии, которое само по себе заключает опасность подтачивающей Борисову династию язвы. Именно в эту точку бьет умный Шуйский, уверяя и ужасая царя, что Димитрий мертв, да так мертв, что от его длительной, выставленной напоказ мертвизны становится нехорошо не одному Борису.

Три дня
Я труп его в соборе посещал,
Всем Угличем туда сопровожденный.
Вокруг его тринадцать тел лежало,
Растерзанных народом, и по ним
Уж тление приметно проступало,
Но детский лик царевича был ясен
И свеж и тих...

Двусмысленное определение «спит» не возвращает умершего к жизни, но тормозит и гальванизирует труп в заданной позиции, наделенной способностью двигать и управлять событиями, выворачивая с корнями пласты исторического бытия. Оно вызвано к развитию алчным, нечистым томлением духа, рыщущего вблизи притягательного кадавра и сопровождающего следом за ним громадное царство — с лица земли в кратер могилы. Мощи царевича не знают успокоения. В них признаки смерти раздражены до жуткой, сверхъестественной свежести не заживляемого годами укуса, сочащегося кровью по капле, пока она наконец не хлынет изо рта и ушей упившегося Бориса и не затопит страну разливом смуты.

От мальчика, кровоточащего в Угличе, тянется след по сочинениям Пушкина — в первую очередь к воротам Марка Якубовича, у сына которого, после кончины незнакомого гостя, появился похожий симптом:

К Якубовичу калуер приходит,—
Посмотрел на ребенка и молвил:
«Сын твой болен опасною болезнью;
Посмотри на белую его шею.
Видишь ты кровавую ранку?
Это зуб вурдалака, поверь мне».

Вся деревня за старцем калуером
Отправилась тотчас на кладбище;
Там могилу прохожего разрыли.
Видят,— труп румяный и свежий,—
Ногти выросли, как вороньи когти,
А лицо обросло бородою,
Алой кровью вымазаны губы,—
Полна крови глубокая могила.
Бедный Марко колом замахнулся,
Но мертвец завизжал и проворно
Из могилы в лес бегом пустился...

Теперь оглянемся: вон там валяется, и здесь, и тут... Прохожий гость подкладывает подарки то в один дом, то в другой. Но — чудное дело — появление трупа вносит энергию в пушкинский текст, точно в жаркую печь подбросили охапку березовых дров. «Постой... при мертвом!.. что нам делать с ним?» — вопрошает Лаура Гуана, что, едва приехав, закалывает у ее постели соперника и, едва заколов, припадает к несколько ошарашенной такой переменой женщине. Как — что делать?! — пусть лежит, пусть присутствует: при мертвом все происходит куда веселее, лихорадочнее, интереснее. При мертвом Гуан ласкает Лауру, при мертвом же затевает интригу с неприступной Доной Анной, которая,

не будь тут гроба, возможно, осталась бы незаинтригованной. Покойник у Пушкина служит если не всегда источником действия, то его катализатором, в соседстве с которым оно стремительно набирает силу и скорость. Так тело Ленского, сраженного другом, стимулирует процесс превращений, в ходе которого Онегин с Татьяной радикально поменялись ролями, да и вся динамика жизни на этой смерти много выигрывает.

Зарецкий бережно кладет
На сани труп оледенелый;
Домой везет он страшный клад.
Почуя, мертвого, храпят
И бьются кони, пеной белой
Стальные мочат удила,
И полетели, как стрела.

Рассуждая гипотетически, трупы в пушкинском обиходе представляют собой первообраз неистощимого душевного вакуума, толкавшего автора по пути все новых и новых запечатлений и занявшего при гении место творческого негатива. Поэтому, в частности, его мертвецы совсем не призрачны, не замогильны, но до мерзости телесны, являя форму оболочки того, кто, в сущности, отсутствует. Жесты их выглядят автоматическими, заводными, словно у роботов.

И мужик окно захлопнул:
Гостя голого узнав,
Так и обмер: «Чтоб ты лопнул!» —
Прошептал он, задрожав.

С перепугу можно подумать, это назойливый критик Писарев (безвременно утонувший) приходил стучаться к Пушкину с предложением вместо поэзии заняться чем-нибудь полезным. Но факты говорят обратное. Голый гость, обреченный скитаться «за могилой и крестом», ближе тому, кто целый век был одержим бесцельным скольжением по раскинувшейся равнине, которую непременно следует всю объехать и описать, чем возбуждал иногда у чутких целомудренных натур необъяснимую гадливость. Писарев, заодно с Энгельгардтом ужаснувшийся вопиющей пушкинской бессодержательности, голизне, пустоутробию, мотивировал свое по-детски непосредственное ощущение с помощью притянутых за уши учебников химии, физиологии и других полезных наук. Но, сдается, основная причина дикой писаревской неприязни коренилась в иррациональном испуге, который порою внушает Пушкин, как ни один поэт, колеблющийся в читательском восприятии — от гиганта первой марки до полного ничтожества.

В результате на детский вопрос, кто же все-таки периодически стучится «под окном и у ворот»? — правильнее ответить: — Пушкин...

Строя по Пушкину модель мироздания (подобно тому, как ее рисовали по Птоломею или по Кеплеру), необходимо в середине Земли предусмотреть этот вечный двигатель:

...Есть высокая гора,
В ней глубокая нора;
В той норе, во тьме печальной,
Гроб качается хрустальный
И в хрустальном гробе том
Спит царевна вечным сном.

Все они — нетленный Димитрий, разбухший утопленник, красногубый вампир, качающаяся, как грузик, царевна,— несмотря на разность окраски, представляют вариации одной руководящей идеи — неиссякающего мертвеца, конденсированной смерти. Здесь проскальзывает что-то от собственной философской оглядки Пушкина, хотя она, как всегда, выливается в скромную, прописную мораль. Пушкинский лозунг: «И пусть у гробового входа...» содержит не только по закону контраста всем приятное представление о жизненном круговороте, сулящем массу удовольствий, но и гибельное условие, при котором эта игра в кошки-мышки достигает величайшего артистизма. «Гробовой вход» (или «выход») принимает характер жерла, откуда (куда) с бешеной силой устремляется вихрь действительности, и чем ближе к нам, чем больше мрачный полюс небытия, тем мы неистовее, полноценнее и художественнее проводим эти часы, получившие титул: «Пир во время чумы».

Чума — причина пира, и фура, доверху груженная трупами, с черным негром на облучке, проезжая подле пирующих, лишь на минуту давит оргию, с тем чтобы та, притихнув, заполыхала с удвоенной страстью (сравнение с топкой, куда подбрасывают дрова, — опять напрашивается). Потому-то мертвечина в творчестве Пушкина не слишком страшна и даже обычно не привлекает наше внимание: впечатление перекрыто положительным результатом. Как поясняет Председатель, уныние необходимо,—

Чтоб мы потом к веселью обратились
Безумнее, как тот, кто от земли
Был отлучен каким-нибудь виденьем...

Пир во время чумы! — так вот пушкинская формулировка жизни, приготовленной в лучшем виде и увенчанной ее предсмертным цветением — поэзией. Ни одно произведение Пушкина не источает столько искусства, как эта крохотная мистерия, посвященная другому предмету, но, кажется, сотканная сплошь из флюида чистой художественности. Именно здесь, восседая на самом краю зачумленной ямы, поэт преисполнен высших потенций в полете фантазии, бросающейся от безумия к озарению. Ибо образ жизни в «Пире» экстатичен, вакханалия — вдохновенна. В преддверии уничтожения все силы инстинкта существования произвели этот подъем, ознаменованный творческой акцией, близкой молитвенному излитию. Слышно, как в небе открылась брешь и между ней и землею ходят токи воздуха, чему способствует в средневековых канонах выдержанная композиция росписи, разместившая души возлюбленных на небесах — Матильду и Дженни,— вознесенных над преисподней по обе стороны картины, в начале и в конце трагедии.

О, если б от очей ее бессмертных
Скрыть это зрелище!..
. . . .
. . . .
...Святое чадо света! вижу
Тебя я там, куда мой падший дух
Не досягнет уже...

Да, падший. Да, не досягнет. Но взоры, звуки, лучи оттуда и туда — пересеклись; воздушность мысли достигнута благодаря паденью, стыду, позору; от них уже не откупиться тому, кто осудил себя искусству.

На требовательную речь Священника оставить стезю разврата Председатель ответствует отказом. Внимание: его устами искусство говорит «прости» религии; представлен обширный перечень причин и признаков, удерживающих грешное на месте — в том самом виде и составе, в каком взрастил его, и бросил в яму с мертвецами, и исповедовал как веру (назвав искусством для искусства) иной беспутный Председатель.

Не могу, не должен
Я за тобой идти: я здесь удержан
Отчаяньем, воспоминаньем страшным,
Сознаньем беззаконья моего,
И ужасом той мертвой пустоты,
Которую в моем дому встречаю,—
И новостью сих бешеных веселий,
И благодатным ядом этой чаши,
И ласками (прости меня, господь)
Погибшего, но милого созданья...

Судя по Пушкину, искусство лепится к жизни смертью, грехом, беззаконьем. Оно само кругом беззаконье, спровоцированное пустотой мертвого дома, ходячего трупа. «Погибшее, но милое созданье»...

В утешенье же артисту, осужденному и погибшему, сошлемся на Михаила Пселла, средневекового схоласта: «Блестящие речи смывают грязь с души и сообщают ей чистую и воздушную природу» *.

---

* А Эдмонда не покинет
Дженни даже в небесах!

По страницам книг и журналов

Самоосуждение и самооправдание

•

Лидия Гинзбург. Заблуждение воли. «Новый мир», 1988, № 11.

Нравственность свободного человека. «Литературная газета», 1989, № 2.

•

Лидия Гинзбург — примечательное явление в нашей литературе. Это одновременно и известный литературовед, и создатель нового типа прозы — глубокой, размышляющей, критически всё оценивающей. Недавно она была награждена Государственной премией за свои книги. Л. Гинзбург известна главным образом как литературовед, а не как прозаик. А между тем она один из крупнейших мастеров прозы нашего времени. Ищущая и находящая мысль — главный двигатель ее произведений.

В интервью «Нравственность свободного человека» (беседа с И. Фоняковым) поставлен и отчасти решается ряд вопросов о судьбах современной (не только нашей) литературы. На вопрос о том, что такое «настоящая проза», Лидия Гинзбург, подумав, отвечает: «Не берусь ответить исчерпывающе. Но вот один из возможных ответов: у подлинного писателя-художника всегда есть слово, свое слово. Конечно, все пишущие пользуются словами. Но есть множество книг — в том числе очень нужных, очень полезных, проникнутых благородными устремлениями,— которые написаны случайными, «любыми» словами. Слово в их контексте имеет лишь словарный смысл. А в настоящей прозе — как, разумеется, и в настоящих стихах,— происходит некое преображение слова, оно приобретает обобщенное, расширенное значение».

Именно проза Лидии Гинзбург написана такими «настоящими словами». Вот как, например, начинается рассказ «Заблуждение воли»:

«Здесь рассказана история одной вины. Вины человека, именуемого Эн.

Каждый раз, как эта тема подступала к нему, она шла долгим потоком разорванных мыслей. И уже непонятно — теперешний ли это поток или тот самый, который непрестанно гудел в голове в те первые дни после смерти отца. Гудение каждый раз почему-то начиналось наплывом светло-желтых стен соседнего дома (он стоял по другую сторону двора в том пригородном поселке, где все это случилось), потом уже следовало все остальное. Круговорот представлений, весь смысл которых состоял в их мучительности. Этим потоком управляли две силы — раскаянье (оно с болью проникало глубже и глубже) и самооправдание, логичное и тусклое».

Здесь каждое слово так глубоко продумано, выпестовано, что сразу видишь: это — н а с т о я щ а я проза.

...Эн? Не тот ли самый Эн, о котором говорится в «Записках блокадного человека» — одном из недавних произведений Лидии Гинзбург?[1] Да, пожалуй, именно тот. Впрочем, нет, может быть, и не тот. В «Записках блокадного человека» Эн — объект пристального, но беспристрастного рассмотрения автора. В «Заблуждении воли» Эн — главный обвиняемый.

Масштаб этих двух вещей резко различен. В «Записках...» дана коллективная, широкая картина жизни, бедствий, переживаний множества людей, оказавшихся в ходе войны в чудовищных условиях голода, холода, непрерывно грозящих бедствий и смерти.

В рассказе «Заблуждение воли» фигурирует малое, ничтожно малое число персонажей. Из них центральное лицо — сам Эн, совокупность противоречивых переживаний которого — главный объект внимания автора. Рядом — его отец, старик, готовящийся к смерти и умирающий в ходе рассказа. Несколько в стороне — тетка, сестра старика, легкомысленное существо с иллюзиями. Еще дальше — Лиза, предмет поздней и, возможно, не очень счастливой любви Эна. Это — единственный персонаж, которому дано имя,— остальные безымянны. Как тени, проходят они по страницам: врачи, медсестры, сиделки. Эта безымянность сообщает всему написанному обобщенный характер: как будто ни о ком — и обо всех.

Новый жанр произведений Лидии Гинзбург как бы опровергает ее суждение в интервью. Там она скептически оценивает возможности современной прозы, говорит об «исчерпанности» человеческих характеров. А мне, наоборот, кажется, что новая проза (в частности, советская) не дает оснований для такого вывода, и в том числе проза самой Лидии Гинзбург. Это — проза странная, разорванная, сочетающая в себе острый, критический взгляд на все происходящее, ум и смелость. И вообще я считаю, что наша литература (даже относившаяся к самым застойным временам) в своих лучших образцах с честью удержала знамя, завещанное ей великой русской литературой XIX века.

Обратимся, однако, к прозе Лидии Гинзбург. Главная черта этой прозы — б е с с т р а ш и е, с каким автор подходит к любому явлению — массовому или

[1] Лидия Гинзбург. Литература в поисках реальности. Л., «Советский писатель», 1987.

индивидуальному. Это, в общем-то, нелегкое чтение. Рассказ «Заблуждение воли» требует немалой работы мысли: это рассказ-требование. Главный его мотив — борьба в сознании человека самоосуждения и самооправдания, вин и раскаяний в них. На все оттенки, все противоречия этой борьбы направлен все просвечивающий, пронизывающий взгляд автора. Это даже не «рентген», а скорее «томограмма» души, которая просвечивается пласт за пластом.

Композиция рассказа — его самое уязвимое место. Создается впечатление, что это, по-видимому, лишь часть какой-то другой, более обширной вещи, написанной, возможно, уже давно (об этом говорят отдельные бытовые реалии). Старик с давних пор живет отдельно от сына, живет в пригородном поселке, сообщение с городом — электричкой, за керосином приходится ездить. Это все минусы в жизни старика, и за них цепляется самоосуждение Эна. Но — возражает самооправдание — комната у старика большая, светлая; в любую минуту он может выйти, посидеть на бульваре... В каком-то отношении он живет даже лучше меня!

Характер и поведение старика определены его бесправием, рано осознавшей себя жалкостью, бездельем. Он сам варит себе овощной соус (бабье занятие!), возит из города керосин, который, боже упаси, пролить или как-то обнаружить (штраф сто рублей!). Однажды керосин все-таки протек, и красноармеец с соседней скамьи дал газету, чтобы прикрыть лужу. «Старик рассказывал об этом, волнуясь, долго хвалил красноармейца с добрым лицом...»

Отношение Эна к отцу — один из сложных моментов рассказа. Когда-то в детстве он любил отца (воспоминания!), но прошли годы, любовь прошла, выветрилась. Осталось чувство долга. Эн регулярно ездит к отцу, это его раздражает, нарушает его планы (например, на встречу с Лизой). «Он ехал туда с желанием исправиться и исправить; с сожалением о том, что в нем уже нет любви,— таким сильным, что оно граничило с любовью» — вот какие странные, пограничные состояния совести не боится вывести на свет Лидия Гинзбург. А лично, при встречах со стариком, Эн нетерпелив, говорит о своей занятости, о невозможности ездить чаще...

Большую роль в рассказе «Заблуждение воли» играет мысль о трагедии необеспеченной старости. «Старики могли быть благополучны, когда, теряя деятельность, они не теряли власти над жизнью и юностью, оставляя за собой власть в качестве хранителей, завещателей жизненных благ... В н и щ е й с р е д е с т а р и к и в с е г д а б ы л и н е н у ж н ы и т р а г и ч н ы» (разрядка моя. — **И. Г.**)

Мотив нищеты нашей интеллигенции так и кричит со страниц рассказа. Старик получает пенсию — шестьдесят рублей, которую сперва дали, потом отобрали, потом опять дали. Конечно, ему должен помогать сын. В рассказе бегло упомянуто, что Эн «занимается своей психологией»,— значит, научный работник? Вряд ли крупный, скорее всего какой-нибудь МНС (младший научный сотрудник), с окладом 125 рублей, это без вычетов, а с вычетами — много меньше. По существу, он бедняк, к деньгам равнодушен, не считал бы себя бедняком, если бы не обязанности (отец, любимая женщина). Кругом — множество людей, формально более нищих, чем он, но все они как-то устраиваются, есть какие-то приработки, а то и вовсе незаконные источники доходов. Почти никто не живет на зарплату. Но «приработки» для Эна исключены (да и что он мог бы делать из того, за что платят деньги?). Именно поэтому деньги, не пользуясь вообще вниманием Эна, так часто упоминаются в рассказе «Заблуждение воли» — то «выложил на стол больше денег, чем собирался сначала», то «на все, какие были, деньги он купил курицу...» Мысль о том, что жалкое положение старика могло бы быть исправлено простыми материальными средствами, посещает время от времени Эна, но все-таки есть и что-то другое — совесть...

Одна из особенностей прозы Лидии Гинзбург — трагически-вольное соединение черт. Например, узнав, что отцу стало хуже, Эн заторопился к нему, купив предварительно курицу. «Только бы успеть — любовью и курицей отменить предыдущее». «Любовь» и «курица», поставленные рядом, говорят об эгоизме Эна громче, чем сделали бы любые описания...

В рассказе, пересекаясь, все время борются две тенденции: к сжатому, предельному лаконизму и густым, подробнейшим описаниям. «Проходные» лица даны еле прочерченными штрихами, но зато старик умирает нестерпимо подробно: ему давно уже пора испустить дух, а он все еще живет, «борется». Создается впечатление словно от фотоснимка, данного в непривычном ракурсе: одни детали кажутся огромными, словно бы лезут вперед, другие прячутся в неопределенности. Убийственно предсмертное молчание старика: он даже берет неверными пальцами апельсин, принесенный Эном, пробует его есть, но молчит, молчит... Страшнее всего, как в агонии искажается лицо умирающего: «Лицо еще больше вытянулось и стало вдруг сокращаться. Оно вытягивалось и сокращалось ритмически, принимая теперь участие в предсмертной борьбе». Читать это мучительно, но — надо. И вот наконец: «Смерть не ударила и не загремела. Какой-то из вздохов и всхлипов оказался последним. И сиделка с облегчением сказала:

— Кончился.

Эн встал и наклонился над диваном, проверяя себя; он не знал, испытает ли страх, коснувшись мертвого тела. Он не

испытал страха». ...Он, он, он... Крутой замес эгоиста!

Подробности долгого умирания кончились. Снова лаконизм. Эн проходит послесмертную волокиту (крест в паспорте, ликвидацию всего, что было связано со стариком — живым). Все это было еще ничего, терпимо, пока он был занят этими делами. Хуже стало, когда он остался один — сам с собой, со своими раскаяниями. Если бы он тогда не мотался по городу в поисках курицы, он бы мог подольше побыть со стариком, может быть, услышал бы от него что-то внятное... Если бы он не торопился на встречу с Лизой... Если бы...

«В сущности,— думает он после смерти отца,— ему не это было нужно. Я не жалел для него денег, а надо было отдать себя... Просто сесть с ним рядом и гладить, гладить его руку, до самого конца... Но поздно, ничего уже не изменишь».

Лучше всего по этому поводу высказалась Лиза: «Ты заметил — люди, которые в самом деле любили своих родителей, к их смерти относятся довольно спокойно. Мучаются же эгоисты — вместо того чтобы думать об исчезнувшем человеке, они думают о своей вине». Но Лиза хорошо это понимает — она сама такая, сама эгоистка...

Рассказ прочитан. Он неотвязно прицепляется к мысли, мучит, тревожит, заставляет снова и снова к себе возвращаться. Читатель думает: «Неужели и я такой?» и отвечает себе: «Да, не во всем и не всегда, но и я — такой». Не помню, кому из известных людей принадлежит мысль: литературное произведение сильно́ «узнаванием себя». Если читатель подумает: «Это—про меня, я ведь сам такой!»— задача произведения выполнена.

Смерть вообще непоправима, а смерть близкого, когда-то родного человека — особенно. Прекрасно дано у Лидии Гинзбург временное ощущение «поправимости» причиненного тобой вреда.

Разумеется, не всякому читателю придется по душе этот странный и страшный рассказ. Он — обо всех «пламенных эгоистах», каких во множестве порождает наша действительность. Всем нам некогда, все мы куда-то торопимся и проходим мимо самого близкого, самого дорогого, чтобы потом — когда уже поздно! — казнить себя.

Проза Лидии Гинзбург существует уже очень давно. Не помню, сколько десятилетий тому назад я уже ее слушала в изумительном авторском исполнении. Это было впечатление необыкновенное, порядка взрыва. Мало того, что философские размышления автора были на редкость точны и метки, все это было заключено в оболочку прекрасно и точно найденных «преображенных» слов. Но о том, чтобы печатать тогда прозу Лидии Гинзбург, не могло быть и речи. Слушать, только слушать в какой-нибудь отовсех удаленной комнате. Теперь мы читаем ее напечатанной...

Рядом с произведениями, посвященными посмертному разоблачению Сталина, эта проза кажется недостаточно «кричащей». Помню, в 60-х годах мне пришлось читать в одной иностранной газете слова: «Русские свергли мертвого царя и очень этому радуются». Увы, «радость» тогда оказалась непрочной, «царь» снова воцарился, и уже надолго... Неужели наше время кончится таким же бесславным «пшиком»? Не хочется в это верить. Слишком многое уже сделано.

Прозаические произведения Лидии Гинзбург — пример нового типа прозы, в существовании которой она сама в своем интервью высказала такие глубокие сомнения. Это именно новый тип прозы, содержащий одновременно элементы публицистики и совершенные, тщательно сделанные, свои слова, которыми говорится о любом явлении, любом человеке.

Небольшое замечание: при подготовке рассказа к печати в него были вставлены заключительные фразы, по-моему, чрезвычайно рассудочные, как бы «резюмирующие» текст. Думаю, что такую рассудочность хорошо было бы из рассказа убрать. Человек сам может резюмировать прочитанное. Но, может быть, тут я и не права. Над рассказом надо и надо еще думать. Вообще мне кажется, что проза Лидии Гинзбург — это своего рода загадка, над которой надо задуматься, и не мне одной.

И. ГРЕКОВА

Между небом и обстоятельствами

•

В. Токарева. Летающие качели. Ничего особенного. Повести и рассказы. М., Советский писатель, 1987.

•

Название сборника повестей и рассказов Виктории Токаревой объединяет заглавия двух предыдущих книг писательницы, в его состав входят в основном опубликованные в них произведения. Многие из них знакомы публике и по кино- и телефильмам, телеспектаклям («Шла собака по роялю», «Кто войдет в последний вагон», «Между небом и землей», «Шляпа», «Стечение обстоятельств» и т. д.).

Рассказы в книге, насколько можно судить, расположены по хронологическому принципу. Их герои — мужчины и женщины, что, конечно, не новость; но в данном случае это именно мужчины и женщины, а не врачи, физики, художники, журналисты; то есть, конечно, и врачи, и физики, но это уже потом, во вторую очередь. Это рассказы про мужчин и про женщин (точнее, конечно, про женщин и про мужчин) и их отношения между собой: любовь, страдания, мечты, разлуки и встречи.

Впрочем, в рассказе «Рарака», одном из первых в сборнике, Токарева еще пытается измерить соотносительную ценность «счастья в личной жизни», противопоставив его «успехам в труде». Вот примерно о чем в нем шла речь: две девочки, подруги, учатся в музыкальной школе. Одна талантлива, другая не слишком. Одна никого не любит, кроме музыки, другая влюблена в преподавателя. Искусство вознаграждает за преданность, любовь остается безответной. Но на этом рассказ не заканчивается: героини встречаются через тринадцать лет (Токарева точна в деталях). Одна становится известной пианисткой, «лауреатом всех международных конкурсов», другая выходит замуж и рожает трех дочерей. Они пытаются понять, кто счастливее, и не могут. «Служенье муз» и извечное женское предназначение как бы уравновешиваются.

Казалось бы, вот актуальная тема, заслуживающая внимательного исследования. Но нет: эксперимент по полному разделению «успехов в труде» и «счастья в личной жизни» Токарева больше не повторяет. И другие две ее героини — медсестры из рассказа «Один кубик надежды» — демонстрируют иной вариант соотношения любви к профессии и женского счастья:

«Лора верила людям. Словам. Лекарствам. Каждая инъекция для нее была— кубик надежды.

Для медсестры Тани каждая инъекция — старый зад.

Таня была замужем, но в глубине души считала, что это не окончательный вариант ее счастья, и под большим секретом для окружающих и даже для себя самой она ждала Другого».

Дальше Тане дается развернутая характеристика, но, как, может быть, уже догадывается читатель, главной героиней рассказа оказывается тихая и доверчивая Лора. Именно она встречает в автобусе светловолосого, бородатого, загорелого «князя Гвидона в джинсах». А не любящая свою работу и ждущая Другого Таня, по иронии судьбы, вынуждена подменять ее на дежурстве.

Итак, ситуация выбора между любимой работой и женским счастьем для героинь Токаревой чаще всего решается довольно просто. Они выбирают и то, и другое. Оставаясь женщинами, становятся прекрасными работниками, то есть делаются тем, что так и называется — «современная женщина».

Именно такова журналистка Вероника из рассказа «Длинный день». Внешне — это «нежная женщина, похожая на «Весну» Боттичелли». Но «если пойти от первого впечатления ко второму и углубиться в третье, то перед вами — танк, усыпанный цветами. Кажется, что это клумба, а если подойти поближе, то под хрупкой зеленью и розовостью проступает железная броня. Она талантлива, почти как пианистка из рассказа «Рарака». Счастлива в семейной жизни, почти как другая героиня этого рассказа: у нее тоже дочка, правда, брошенная на домработницу, и трезвый, положительный муж. Далее, она достаточно цинична — почти как Таня из «Одного кубика надежды». И тоже ждет Другого. И этот Другой приходит к ней, как к тихой и доверчивой Лоре, правда, конечно, не совсем так: когда дочка внезапно заболевает, Вероника, используя все свои врожденные и приобретенные качества, пробивается к гениальному хирургу Егорову. При этом она неожиданно влюбляется в него, но его ответное чувство немного запаздывает, а когда оно наконец приходит, она уже знает, что он не спасет ее из бурной, но почему-то показавшейся безрадостной жизни.

Но почему? — может спросить читатель. Почему довольно еще молодая и симпатичная героиня не может связать свою судьбу с подходящим ей «по росту» мужчиной? «Она пошла ему навстречу во вторник. А он к ней — в среду. Их дороги не совпали на один день. Но все трагедии — в несинхронности». И это все? И это ответ?

Но подождем недоумевать. Вот еще два сюжета. В рассказе «Шла собака по роялю» (не путать с одноименным кинофильмом, поставленным по совсем другому токаревскому произведению — повести «Неромантичный человек») главный герой — учитель литературы по имени Евгений. Он разведен, у его жены — новый муж, у его дочери — новый отец, а у него — любимая девушка по фамилии Касьянова. Он почти счастлив с ней и даже собирается «со временем» никогда с ней не расставаться. Но пока он слишком часто вспоминает о своей дочке, о прежней семье, которую он разрушил своими руками. Касьянову это пугает, и она уходит от него. Она уже уходила от него и раньше, один раз прямо из машины, в мороз, сняв сапоги и идя по снегу в одних чулках. В этот раз она тоже уходит прямо из машины, и он думает, что она бросает его только на сегодня, но теперь она исчезнет уже навсегда.

Героине рассказа «Между небом и землей» Наташе уже под сорок. Она тоже была замужем, но очень давно и недолго. Избранник ее сердца Китаев тоже немолод и при этом женат, но жена «ничему не мешала, а Наташа ничего не требовала». И вот она летит к нему в Баку на симпозиум, потому что ему скучно там без нее, и во время полета испытывает необычайно острое чувство к сидящему рядом молодому человеку. Молодой человек ощущает то же самое,

он думает, что это все должно иметь какое-нибудь продолжение, однако умудренная жизнью Наташа не оставляет ему даже надежды на встречу.

Зачем? Почему? Наивный, быть может, какой-то «несовершеннолетний» вопрос, но почему они все-таки уходят — одни, как Касьянова, после проведенных совместно лет, другие, как Наташа и Вероника,— едва только успеет замаячить возможность любви, возможность хотя бы мимолетного счастья? Почему, страстно взыскуя романтики, токаревские женщины (и в большинстве своем мужчины) не бросаются ей навстречу, едва лишь она забрезжит на горизонте? Почему бы, например, Наташе, наконец дождавшейся чувства, похожего на которое она «ни разу в своей жизни не испытывала», не бросить «усохшего пристарка» (так у Токаревой) Китаева и не прийти в объятия юного попутчика?

Именно в рассказе «Между небом и землей» автор предлагает, по-видимому, общее обоснование подобного поведения: «Люди и обязательства соотносятся друг с другом, как Земля и Деревья. Корни деревьев как гигантские руки уходят глубоко в землю, держат ее и держатся сами. ...Надо быть хорошо уверенным, что, вырвав дерево, ты посадишь на его место новое, оно приживется и вырастет. А то ведь одно вырвешь, другое не посадишь — и будешь стоять над развороченной воронкой и смотреть на дело рук своих».

И вот по мере чтения сборника можно видеть, как романтика Токаревой, вначале менее всего склонная считаться со всякого рода «обстоятельствами» и «обязательствами», постепенно спускается с «неба» на «землю». Социальная защищенность, к которой стремятся и к которой так или иначе приходят современные женщины — героини ее рассказов, старые могучие корни обязательств перед собой и другими — все это держит крепко и не позволяет делать лишних движений. И мятущиеся, лишенные подобных корней, не приспособленные к жизни мечтатели по мере движения от начала книги к ее концу встречаются все реже. Такова, впрочем, общая тенденция развития определенной части нашей прозы: неприкаянный, одинокий, разочаровавшийся в жизни герой, «гражданин убегающий» (по терминологии нероматничного В. Маканина), столь часто появлявшийся в ней в конце 60-х — начале 70-х годов, почти исчезает по мере взросления авторов и затухания последних искорок романтики в общественном сознании. И проза Токаревой, прежде так цельно и полно выражавшая романтически-радостное мироощущение,— все более решительно отодвигает с авансцены легкомыслие и очаровательную беспечность.

И уже для Вероники и Наташи романтика — отнюдь не хлеб насущный. Ведь романтика такого рода всегда снаружи, всегда на виду: это «неодолимая тяга», как у Наташи, или необоримое желание «встать перед ним на колени и сказать: «спаси», как у Вероники. Наиболее адекватной формой выражения такой романтики является жест. Выйти из автомобиля — и босиком по снегу («Шла собака по роялю»); или из просмотрового кабинета — и по следу (совершенно незнакомой женщины), но тоже босиком («Коррида»); или, позвонив по ошибке опять же незнакомой женщине, приехать к ней, увезти ее на сутки в Ригу и доставить в целости и неприкосновенности обратно («Зигзаг»). Или просто сесть: «Он — в кресло. Она — на пол. У его ног. ...Поиграть в восточную покорность» («Лошади с крыльями»). Это скорее прелестное наваждение, морок, насылаемый судьбой в лице чужого и прекрасного Другого, чтобы, вовремя очнувшись, героиня смогла лучше понять и осознать надежность своей семьи, своего мужа (законного или не вполне), своего уклада жизни, своих «корней».

Так за что же мы любим прозу Виктории Токаревой? За романтику, которой нам всем (и критикам, и читателям, и редакционно-издательским работникам) так еще пока недостает? Да, за нее, конечно. Но и не только. Не только в романтике секрет неизменного приятно волнующего впечатления от ее — особенно ранних — рассказов, но и в редкой наблюдательности, проницательности взгляда, в то же время неизменно доброжелательного, в умении расположить читателя к своим героям. Читатели и читательницы Токаревой чувствуют себя очень похожими на ее героев и героинь, и им нравится подобное ощущение, их привлекает подобное сходство... И им точно так же хочется довериться автору в поисках своего, но и общего с героями, романтического «стечения обстоятельств».

Конечно, наметившийся переход от розового мира ранних рассказов Токаревой к «заземленному», потускневшему пространству ее поздних рассказов уменьшает у нас с вами количество приятных эмоций. Зато герои и происходящее с ними делается еще более узнаваемым, более «своим» для читателя. Заставляя, быть может, меньше радоваться, Токарева приглашает основательно задуматься. Над ними. Над нами. Над жизнью.

М. ПРОРОКОВ

Сретенье

Мария Белкина. Скрещение судеб. М., «Книга», 1988.

Данин в предисловии к «Скрещению судеб» уже обратил внимание на несколько странный, выпадающий из стиля самой М. Белкиной подзаголовок книги: «Попытка Цветаевой, двух последних лет ее жизни. Попытка детей ее. Попытка времени, людей, обстоятельств»,— автор-де хочет «дать понять читателю, что она в плену у героини своей книги и что этот плен ей в радость».

«Попытка» — слово действительно цветаевское, однако в попытке М. Белкиной написать художественный портрет Марины Ивановны Цветаевой лично я никакого «плена», тем более «радостного», не обнаружила. Наоборот, чем внимательнее вчитывалась в текст, тем больше удивлялась: и как это ей удалось не поддаться «чаре» — Цветаева!; соблазну имени — Цветаева!!; внушению моды — Цветаева!!!, сохранив и остроту зрения, и свободу суждений. И это при том, что «Скрещение судеб» меньше всего похоже на беспристрастное свидетельство, а автор — на очевидца, последовательно излагающего факты и комментарии к ним. Тут страсть, влеченье (род недуга?), пусть не афиширующая себя, затаенная, но страть — к исследованию, поиску, «добыче»... Хотя в июле 1940-го Мария Белкина, в ту пору студентка Литинститута, наверняка и не подозревала, что она из тех «беспокойных» натур, кто, по слову Лермонтова, готов многим пожертвовать, лишь бы «достать ключ незамысловатой, по-видимому, загадки»... Загадка Цветаевой, правда, оказалась замысловатой. Даже Н. Берберова при всей точности своих наблюдений и оценок, при явном интересе к самому феномену женщины-поэта отодвинулась, отстранилась. Объяснив себе и нам, что природа этой поэтической «аномалии», этой «беззаконной кометы» ей органически, изначально чужда.

Но ведь и в случае с М. Белкиной не было пресловутого «родства душ», и для нее Цветаева — существо от иного корня.

Был, если иметь в виду начало, лишь бойкий литературный перекресток, на котором в последнее довоенное лето встретились мимолетно, по касательной, две женщины — совсем юная и уже немолодая. (А. К. Тарасенков, литературный критик и видный литдеятель, за которого М. Белкина только что вышла замуж, страдал неизлечимой хворью: исступленным, до потери политической бдительности библиофильством и при всей своей видимой лояльности никак не мог отказаться от личного знакомства с автором тех тоненьких стихотворных книжечек, какие собственноручно «издавал» в одном-единственном экземпляре — переписывая, перепечатывая на машинке, переплетая в пестрые ситцы.)

Роковые скрещения начались потом. Сначала судьба почти навязала Белкиной-Тарасенковой (в Ташкенте, в эвакуации) возможность пусть со стороны, но на достаточно близком расстоянии наблюдать за сыном Марины Ивановны Георгием (Муром). Затем, уже после войны, когда А. Тарасенков и Э. Казакевич затеяли издание цветаевского сборника, в дом Тарасенковых вошла Ариадна Эфрон, дочь Цветаевой, а вместе с ней воспоминания, разговоры, письма, стихи... Но и тогда М. Белкина не угадала в этом скрещении своего предназначения, то есть попытки обстоятельств попробовать именно ее на роль если и не разгадчицы загадки, то хотя бы хранительницы ключей к ней. Увы, и этот шанс Белкина упустила и лишь после внезапной кончины Ариадны Сергеевны спохватилась и, оглядевшись окрест, не увидела никого, кто мог бы вместо нее исполнить то, что надлежало исполнить: сделать хотя бы попытку сохранить для истории то, что еще можно было отнять у забвения...

Но прежде чем случилось то, что в конце концов вопреки обстоятельствам случилось, автору пришлось совместить почти несовместимое: свое тогдашнее видение натуры («тогда все виделось на близком расстоянии, и изображение получалось плоским») и теперешнее — объемное, «когда стало видно все окрест в совокупности своей»... Причем надо было именно совместить: два зрения, два изображения и даже две разные жизни, а не выбрать из двух одно, ибо работало, исследовало, добираясь до сути, лишь скрещение; разъятие плоского «тогда» и объемного «теперь» грозило смещением фокусной наводки на «момент истины».

Кроме того, требовался приличествующий избранному предмету язык, такой, чтобы разноприродные способы живописного соображения — авторский и цветаевский — не только не разбегались в испуге невстречи и неузнавания, но и не сливались «экстазно» в ложно-стилизованном союзе. Требовалась и неканоническая романно-биографическая форма, достаточно емкая и вольная, чтобы портрет Цветаевой не заслонил фигуры и лица людей, волею то случая, то рока втянутых в ее судьбу, чтобы их воспоминания — порой почти слепые любительские негативы, попорченные временем и небрежным хранением, самовосстановились.

И все это нашлось. Не сразу, не с лету, но нашлось, и портрет получился. Впрочем, портрет не совсем то слово, ибо М. Белкина не просто лепит образ, но и пытается постигнуть ход цветаевской судьбы. На героиню своей книги автор смотрит сквозь трагический сюжет ее последней попытки: удержаться на лю-

бимой земле, пустить в родимую, ставшую такой каменистой «почву» хотя бы слабое подобие отростков.

Точно выбранный ракурс и позволил М. Белкиной разглядеть то, что не заметил куда более осведомленный Б. Пастернак (Цветаева, мол, сунула голову в петлю как под подушку, испугавшись не пропущенного через творчество хаоса повседневности): «Не впопыхах она сунула голову в петлю, она давно уже была готова к смерти... И не отшатнулась в испуге, увидев вокруг хаос, а мужественно и стойко повела борьбу. И будет бороться еще полтора года (с ноября 1939-го по конец августа 1941-го) и уступит лишь тогда, когда поймет, что дальше бороться бессмысленно»...

По сюжету жизненной случайности вышло так, что первым познакомился с Мариной Цветаевой А. К. Тарасенков и от настойчивых расспросов жены — ну, какая же она, эта эмигрантка парижанка,— сначала отмахивался, но наконец сказал: «Для нее это совершенно неважно, какая она. Она — это есть она».

В пору «плоского зрения» М. Белкина с этим сугубо мужским взглядом не согласилась, женским чутьем угадав, что Марине Ивановне совсем не безразлично, какая она и даже как она смотрится (отсюда и «цыганские» кольца, и ребристые боа из простой овчины). В «Скрещении судеб» вообще много простого вещества живой жизни. И этот якобы «сор» интересен М. Белкиной не сам по себе, она использует его как материал, как средство, помогающее разрешить наитруднейшую для произведения биографического жанра задачу: не сотворить из Цветаевой позлащенного кумира на утеху-потеху экзальтированному идолопоклонству.

Однако сделав круг (диаметром почти в половину века), М. Белкина в итоге возвращается к той самой характеристике Марины Цветаевой, какую ей дал по первому впечатлению А. Тарасенков: о н а — это есть о н а. Но возвращается во всеоружии не только осмысленной и пережитой, но и художественно обработанной фактографии. И в результате происходит то, чего, казалось бы, совсем не обещала первая, почти случайная, непредназначенная встреча в июле 1940 года: с р е т е н ь е. И с живой Цветаевой, и с живой историей, не той, что, окаменев, становится «достояньем доцентов», а той, что не проходит, ибо существует сразу в трех временах: прошлом, настоящем и будущем.

Алла МАРЧЕНКО

К сведению уважаемых авторов:

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.

Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.

Рукописи менее двух печатных листов редакция не возвращает.

Отклик

СТРАНИЦЫ ВОСПОМИНАНИЙ БОРИСА ЯМПОЛЬСКОГО в февральском (1989) номере «Дружбы народов» составили две работы — «Да здравствует мир без меня» (о Юрии Олеше) и «Последняя встреча с Василием Гроссманом». Страницы трагедийные, по-писательски зоркие, полные искренней веры в истинность таланта и предназначение художника... Открывая с ними нечто новое в облике двух замечательных писателей, постоянно испытываешь при этом и чувство вины за то, что при жизни мы так мало знали самого Ямпольского, мало дорожили его пером. А он ведь был художник божьей милостью! Неудивительно, что и эти, вроде бы непритязательные, заметки об ушедших товарищах в конечном итоге вырастают в горькую п о в е с т ь о том, что происходило с художником, которого хотели затоптать, «задушить в подворотне», выбросить из литературы — а он не сдавался, пытался выстоять и все превозмочь... Этот сюжет минувших лет еще не раз привлечет внимание других писателей, но у Ямпольского все — из самых первых рук. Ощущение этого тем острее, что тебе, сегодняшнему читателю, и «дальше видно», чем было дано узнать автору: как вернулась к народу гроссмановская «Жизнь и судьба», казалось бы, навек похороненная; как рядом с этой могучей эпопеей, с другими возвращенными книгами встала пронзительная «Московская улица» самого Б. Ямпольского и как по-новому зазвучало для нас имя Юрия Олеши, когда уже всем стало ясно, что это была за эпоха в истории нашей культуры — золотые двадцатые годы, и «Зависть» Олеши в их составе... «Гремели литературные диспуты, симпозиумы, форумы, кипела муравьиная суета, паучья толкотня, подымали на щит жуликов, мазуриков, ловчил, печатали миллионными тиражами и награждали Государственными премиями книги, набитые ватой, которые не только через год, но уже в дни награждения читали только обманутые, дезориентированные, сбитые критическим шумом фальшивомонетчиков, а Василий Семенович Гроссман в своей тусклой, сумрачной комнатке выстукивал одним пальцем на старой разбитой машинке слова, которые будут сжимать сердца людей и через сто лет»,— так, кажется, и стоит в ушах тоскующий голос Бориса Ямпольского, написавшего эти воспоминания поистине в силу своей «Московской улицы».

В. ЛИТ

«РАЗВЕДКА СЛОВОМ», сборник очерков наших известных публицистов, думаю, не затеряется среди аналогичных изданий. Родилась книга довольно случайно. «В конце прошлого года в Москве,— пишет в предисловии к ней ее составитель В. Казаков,— собрались писатели, работающие в документальной литературе. До этого мы еще никогда не говорили так откровенно — и о своей профессии, и о современной жизни, питающей публицистику... Нам жаль было оставлять разговор зафиксированным только в стенограмме». И вот издательство «Московский рабочий» охотно откликнулось на предложение Совета по очерку и публицистике Союза писателей СССР и довольно быстро, по нашим издательским меркам, выпустило книгу в своей серии «Позиция» (1988).

Заинтересованность издателей понять можно: на небольшой площади собраны почти все «звезды» нашей текущей публицистики — Г. Лисичкин, В. Пальман, В. Селюнин, О. Волков, И. Филоненко, Ю. Черниченко и другие не менее достойные и славные писатели. Арал и Каспий, нитраты и импорт хлеба, школа и мелиорация — достаточно произнести лишь одно слово, чтобы в памяти сразу всплыло имя автора, «оттянувшего» на себя именно эту проблему, публициста, посвятившего свое перо не выморочному бытописанию, а скрупулезному исследованию реальной жизни.

Если ты искренне заинтересован в судьбе своего дома, озадачен проблемой бессмертия человечества, то в конечном итоге окажешься в единой группе подлинных радетелей за чистоту воздуха и душевных помыслов, и тебе не придется делать «перестроечное» лицо. Вот такие мысли навеяла мне эта маленькая по объему книжечка, вместившая в себя коллективную боль тех, кто пишет историю современности.

Станислав АСЕЕВ

«ПОМНИТЬ, ОТКУДА ТЫ РОДОМ» (библиотечка «Красной звезды», выпуск 11-й, 1988) — сборник бесед с мастерами литературы и искусства — привлекает внимание как подбором имен, так и проблем, к которым обращаются авторы и составители. Видные писатели — Ю. Нагибин, В. Кондратьев, А. Ананьев, М. Дудин, Г. Поженян — размышляют о вещах непростых и даже на первый взгляд неожиданных, адресуя свое авторитетное слово молодым воинам. О том, как трудно устанавливается «весна перестройки», какое сопротивление встречает она со стороны тех, кто хотел бы сохранить климат «холодного лета». О деформации нравственности в нашем обществе и о том, как остаться человеком в самых нечеловеческих условиях. О чувстве хозяина — как его вернуть, воспитать, сберечь — в любой сфере деятельности, даже применительно к армии, к военной службе...

Тревожная нота звучит, когда разговор заходит об эстетическом воспитании молодежи, особенно в армии. И актер Ю. Никулин, и скрипач И. Фролов, и режиссер Е. Ташков, и директор Эрмитажа Б. Пиотровский разделяют с писателями эту тревогу, единодушны в том, что служба в армии, помимо сурового урока дисциплины и мужества, должна давать солдату импульс к духовному развитию, к постижению исторического опыта нашей Родины. Отсюда и название сборника.

В целом позицию авторов почти афористично выражают слова Ю. Никулина: «Армия — наша забота. Ей очень нужно наше внимание. Добрый совет. Деловая помощь. И на старых своих солдат она всегда может рассчитывать».

М. АФРОНИНА

В публикации **Н. БЕРБЕРОВОЙ «КУРСИВ МОЙ»** («Октябрь», 1988, № 10) упоминается Рыков. Писательница видела его у Горького в Берлине, куда Рыков приехал якобы лечиться от пьянства. В связи с этим хочу сказать следующее: А. И. Рыков в советское время в Берлине был дважды — в 1921-м и 1923 гг. Ездил лечиться, но — в 1921 году в связи с двумя сложными операциями гнойного перитонита, а в 1923 году для удаления опухоли в носоглотке, грозившей глухотой. Документы, подтверждающие это, находятся в ЦГАНХ СССР. Председателем Совнаркома Рыков, как известно, в эти годы не был.

Н. А. РЫКОВА — ПЕРЛИ

Сдано в набор 09.02.89. Подписано к печати 29.03.89. А 07741. Формат 70×108 1/16. Высокая печать. Усл. печ. л. 18,20. Усл. кр.-отт. 18,55. Уч.-изд. л. 22,24. Тираж 390 000 экз. Заказ № 334. Цена 90 коп.

Адрес редакции: 125872, ГСП, Москва, А-1 7, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора — 214-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64, 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдел прозы — 214-71-34, поэзии — 214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва, -37, ул. «Правды», 24.